ИНОСТРАННАЯ *литература*

6

1958

ИНОСТРАННАЯ Литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Хосе Вентурелли (Чили). Из китайских зарисовок.

Содержание

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ АНРИ БАРБЮСА (Вступление Аннетты Видаль) 3

ЛЮ БАЙ-ЮЙ — Неугасимое пламя (Документальная повесть) (Предисловие Алексея Маресьева) 33

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ — Сильвестр Марош. Трубы праздничной почты (Стихи). 93

КОМПТОН МАККЕНЗИ — Ракетная горячка (Роман) 99

ТОЙН ДЕ ФРИС — Олень (Рассказ) 153

КРИТИКА

Г. ШАТКОВ — Гуманизм Лакснесса 170

Л. ОСПОВАТ — Голос непокоренной Гватемалы 182

М. ЯХОНТОВА — От живой борьбы к абстракциям 193

ПУБЛИЦИСТИКА

АНРИ АЛЛЕГ — Допрос под пыткой 196

МЕЖДУНАРОДНАЯ АНКЕТА „ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ“

АЛАН МАРШАЛЛ, СПИРО ДЖАИ, АЛЕХАНДРО КАСОНА, ШАРЛЬ МУАСС, КАМЕН КАЛЧЕВ, ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ, ЖОРЖИ АМАДУ, ЖИГМОНД КИШФАЛУДИ ШТРОБЛ, КУРТ МЕТЦИГ, АРНОЛЬД ЦВЕЙГ, ГЕНРИ П. Л. ВИССИНГ, ХЕРЛУФ БИДСТРУП, ХАНС КИРК, БХАБАНИ БХАТТАЧАРИЯ, СТУДИЯ «БИМАЛ РОЙ ПРОДАКШНЗ», ДЖИНА ЛОЛЛОБРИДЖИДА, ВИТТОРИО ДЕ СИКА, ЛИ ГИ ЕН, ХАН СЕР Я, МАРИЯ ДОМБРОВСКАЯ, ЧЕЗАР ПЕТРЕСКУ, ЛИЛИАН ХЕЛЛМАН, РЕНЕ КЛЕР, ЖАН-ПЬЕР ШАБРОЛЬ, АДОЛЬФ ГОФМЕЙСТЕР, ЭРИК АСКЛУНД 214

6

1958

ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ“ МОСКВА

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ХАНС СЕЛЬМЕР ЭД — Правда о моей стране 233

ИЗ ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СВЯЗЕЙ МАСТЕРОВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Письма Алексею Максимовичу Горькому . . 237

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

М. ХАНАНОВ — Наш друг Ивар Дигернес . . 246

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ПАБЛО НЕРУДА — Хосе Вентурелли 248

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

И. Марцина — Ленин и финны. ◇ Иван Кашкин — Работа по вопросам перевода. ◇ А. Мельников — Поэзия и жизнь. ◇ В. Борисов — Трилогия Нагиба Махфуза. ◇ Н. Дьяконова — Автобиография Альфреда Коппарда. ◇ К. Наумов — По поводу одной рецензии. ◇ А. Коломиец — Повесть о большом художнике. ◇ Ант. Ладинский — Роман о французских парламентариях 257

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 269

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . . 288

Редкая фотография

Анри Барбюс *(Вклейка).*

ПРИЛОЖЕНИЕ

„Об исправлении ошибок в оценке опер „Великая дружба", „Богдан Хмельницкий" и „От всего сердца".

Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 года.

Неизвестные страницы АНРИ БАРБЮСА

Перевод с французского И. Шкунаевой

Исполнилось восемьдесят пять лет со дня рождения выдающегося французского писателя, неутомимого и страстного борца против войны и фашизма — Анри Барбюса.

Помещаемые на страницах нашего журнала не известные советскому читателю его произведения каждой своей строкой вновь и вновь свидетельствуют о том, что Барбюс в своем творчестве с неослабевающей силой продолжает отстаивать дело мира, демократии и прогресса.

Более того: его гневные и беспощадные слова по адресу поджигателей войны, колонизаторов или расистов, его откровенная, искренняя и мудрая отповедь тем, кто стремится загнать литературу и искусство в тупик «нейтрализма» и «аполитичности», чтобы тем самым заставить их служить интересам реакции,— все это сегодня, в наши дни, звучит особенно весомо и актуально.

Как живой с живыми говоря, писатель-трибун Анри Барбюс и сейчас сражается в передовых рядах самых отважных, самоотверженных и убежденных борцов за лучшее будущее человечества. Именно об этом с необыкновенной наглядностью и убедительностью говорят публикуемые в нашем журнале неизвестные страницы творчества Анри Барбюса.

Все произведения Анри Барбюса, с которыми наш читатель получает сейчас возможность ознакомиться, присланы нам по нашей просьбе Аннеттой Видаль — бывшим секретарем Анри Барбюса, сейчас являющейся хранительницей его архива. Ей же принадлежат и краткие примечания. Ниже мы печатаем ее небольшую статью с незначительными сокращениями, касающимися деталей классификации архива Барбюса.

У Анри Барбюса был очень богатый, постоянно пополняемый, классифицированный и содержащийся в порядке архив.

По его желанию, много раз высказанному, я должна была после его смерти вступить во владение этим архивом. Было бы слишком долго, да и бесполезно рассказывать здесь о всех трудностях, которые встали передо мной и помешали осуществить желание Барбюса.

В феврале 1936 года в моем распоряжении были лишь переданные мне Барбюсом рукописи, дубликат описи архива — и сильное желание восстановить, в меру моих возможностей, этот архив.

С 1936 по 1939 год я посвящала этой задаче все свободные часы, которые оставались у меня после работы и политической деятельности (я работала во Всемирном комитете борьбы против войны и фашизма, которым после смерти Анри Барбюса руководили профессор Поль Ланжевен и Франсис Журден). Однако таких свободных часов было немного.

Все же к моменту объявления войны результаты моей работы над архивом были уже довольно значительны. В октябре 1939 года мне удалось вывезти архив из маленького помещения, снятого мною в окрестностях Парижа, где я работала каждую неделю по субботам и воскресеньям, и разместить материалы по разным местам. Часть документов была все же захвачена в Шартре; после войны кое-что из них было мне возвращено. Некоторые документы, закопанные в земле, были повреж-

дены. Зато фотоархив, хранимый в сейфе банка «Сосьете женераль», удалось полностью спасти.

Я снова вступила во владение всем, что уцелело, и начиная с 1946 года возобновила еще более систематическую работу над архивом — отчасти для его восстановления, отчасти для написания книги «Анри Барбюс, солдат мира».

Из каких материалов состоит архив Барбюса?

1. Архив фотографий; около тысячи фотографий, иллюстрирующих жизнь Барбюса, его путешествия.

2. Автографы статей, рабочие записки. В этом разделе — материалы, написанные от руки, а также выправленные Барбюсом машинописные копии.

3. Тексты самого Барбюса и то, что написано о нем (машинописные копии, вырезки из газет, письма и т. д.).

Эти тексты классифицированы. Каждый из имеющихся у меня документов занесен на карточку, его легко найти.

В тех случаях, когда у меня нет документа, известного мне по описаниям, я тоже завожу на него карточку, на которой сведения пополняются по мере поступления новых материалов.

Я определяю примерно в пять тысяч количество имеющихся у меня карточек, распределенных по разделам и датам.

Работа над архивом Барбюса еще далеко не закончена, но она продвигается по мере изучения документов.

Я постаралась вступить в переписку с заинтересованными лицами в нескольких странах. Они присылают мне если не тексты публикаций, посвященных Барбюсу, то, по крайней мере, библиографические сведения о них.

В СССР тов. М. И. Рудомино указала мне многочисленные материалы.

В Чехословакии доктор Бретт, защитивший диссертацию о творчестве Барбюса, доставил мне и продолжает доставлять множество документов.

В других странах, в частности в Италии, также ведутся работы в этом направлении.

Я бы хотела через посредство вашего уважаемого журнала обратиться ко всем организациям и лицам, могущим в данном случае помочь мне, с просьбой облегчить мои труды, успешное завершение которых я считаю своим долгом.

Архивом документов о творчестве и деятельности Барбюса, при всей его неполноте и несовершенстве обработки, широко пользуются.

Я получаю много запросов. Мне удалось помочь в защите диссертаций студентам в Англии, Чехословакии, Италии.

Когда я узнаю, что их труды увенчались успехом,— это очень большая для меня радость и поддержка, ибо мне кажется, что в меру моих слабых сил я служу таким образом пропаганде творчества и идей великого писателя, а стало быть и делу мира.

Аннетта Видаль

Париж, март 1958 г.

ИСПОВЕДЬ ПИСАТЕЛЯ

Есть минуты, когда полезно отдать полный отчет о себе самом перед своей совестью. Многие философы с самых древних времен рекомендовали людям такую умственную и нравственную гимнастику. И несмотря на то, что она, к сожалению, лишь в слабой мере способствовала на деле успехам человеческой морали, ей присуще несомненное достоинство: она позволяет каждому уточнить свою индивидуальную позицию, а всякое уточнение всегда ценно.

Я не претендую на то, чтобы считаться человеком, получающим самое большое количество писем. Все же могу сказать, что меня ежедневно со всех сторон осаждают советами и замечаниями. Многие из них носят критический характер, а некоторые содержат просьбу поделиться своей точкой зрения.

Люди, принадлежащие к авангарду борцов против отживших форм правления, выражают мне свое доверие и одобряют мою решимость четко определить свою активно враждебную позицию по отношению к существующему порядку вещей.

С другой стороны, очень многие из людей, оказывающих мне честь вступить со мною в переписку, резко протестуют против моей непримиримости и моего твердого намерения встать в ряды подлинных революционеров.

Мне говорят: «Роль писателя заключается в том, чтобы всегда быть вне и выше раздражающих, едких и мелочных политических вопросов. Писатель призван изображать, а не судить. Он не должен вставать на чью-либо сторону, иными словами замыкаться в одном узком и исключительном убеждении» и т. д. Избавлю читателей от изложения всех многочисленных вариаций, развивающих тот же лейтмотив — независимость писателя.

Я всеми силами восстаю против такой тенденции. Я считаю, что в интеллигентских кругах слишком долго руководствовались этим правилом поведения и что оно глубоко недостойно людей, претендующих на обладание хоть некоторой ясностью ума и характером.

Свести роль литератора к роли беспристрастного свидетеля и описателя, нейтрального и аморфного наблюдателя — это значит нанести оскорбление его человеческому достоинству и вместе с тем, под флагом либерализма, странным образом — и совершенно произвольно — ограничить пределы его художнической миссии.

Конечно, в течение почти всего того времени, когда происходили события, заключенные летописцами и историками в рамки хронологии, поэт действительно был лишь таким безобидным и бессильным наблюдателем общества. Ему, правда, было позволено обвинять людей в испорченности нравов, осуждать их крупные и мелкие недостатки, но давать оценку самой сути дела — кратко говоря, судить о взаимоотношениях между хозяевами и рабами — ему было запрещено. Служителям лиры, пера или даже автоматической ручки не дозволялось углубляться в область общественных конфликтов. С давних времен и по сей день это была запретная область, и малейшее вторжение в нее считалось преступлением.

Всеобщее и постоянное применение этого правила, лишь подтверждаемого весьма редкими исключениями, привело к тому, что писатель превратился в некое официальное лицо, которому поручалось украшать существующий строй, в чиновника при status quo, в льстивого адвоката традиционной политики.

Когда-нибудь люди поймут, как губительна и презренна такая позиция людей пера, угодливо прислуживающих реакции. Когда-нибудь поймут все зло и всю растрату сил (если можно так сказать), в которых повинны так называемые «независимые умы», использовавшие свой авторитет для укрепления легенды, оправдывающей реакцию. Интеллигенты, соблазненные почестями, которые даруются правящими кругами, иной раз побуждаемые силой или жизненной необходимостью, а иной раз своим невежеством и тупостью, не раз и во многих странах были лишь блистательным орудием реакции.

Наступила эпоха, когда подобное положение вещей должно прекратиться. Художник не может быть мыслителем лишь по видимости, лишь по названию. Он больше не должен быть безвольной марионеткой, говорящей и пляшущей по прихоти властей предержащих (будь то короли, министры или академики).

Мы требуем, чтобы те, кто пишет, имели право и должны были судить тех, кто несет ответственность за социальные бедствия, чтобы писатели заняли свое место в конфликте, который может только углубляться и шириться: в столкновении угнетенных народных масс с паразитами, которые, изменяя свои названия — от деспота до банкира, — сменяли друг друга на троне.

Но я не вполне согласен с теми все более многочисленными людьми, которые, разделяя эту точку зрения, считают все же, что нейтральность в борьбе между революционерами и реакцией не идет целиком на пользу реакции.

Есть два способа быть верным себе в битве людей и событий: «положительный» и «утопический».

«Утописты» — это все те, кто под влиянием очевидности осуждает современное положение вещей, но не идет так далеко, чтобы представить себе, что же может с успехом его заменить. «Утописты» также и все те, кто предлагает детские средства исцеления, робкие паллиативы, несостоятельность которых окончательно доказана ходом истории и гением великих мыслителей.

На мой взгляд, из всей интеллигентской братии наиболее опасны те, что красуются в роли мужественных и смелых деятелей, стремятся прослыть героями, преданными идее, и однако остерегаются малейшего поступка, способного привести к действенным результатам. Советовать людям, чтобы они добивались несостоятельных реформ,— это значит совершать предательство.

Большое нравственное преимущество «борцов», объединяющих в настоящее время свои мысли, свою энергию, свои усилия в надежде произвести справедливое преобразование общества, заключается в стремлении найти практические пути, в умении сопротивляться соблазну компромиссов.

Проповедь самых высоких идеалов не служит ничему, если не видеть положительного пути к их достижению; зачем искать по всему миру сотни тысяч и миллионы людей, ненавидящих войну, если те, кто держится такого образа мыслей, будут отворачиваться и отступать, как только им попытаются указать на меры, которые, в случае их применения, могли бы окончательно положить конец войнам? В самом деле, такая позиция отдает либо на редкость большой наивностью, либо чересчур уж большим лицемерием.

В силу изложенных выше причин я пришел к выводу: для того, чтобы остаться лояльным и честным, я должен определить свою политическую и социальную позицию полностью и до конца — если даже это и угрожает мне потерей некоторой доли симпатии со стороны расплывчатого и легковесного общественного мнения... Еще не так давно лишь за то, что с высоты публичной трибуны я призвал французских солдат не стрелять в немецких рабочих, против меня была пущена в ход судебная машина моей страны.

Осторожными умолчаниями, ловким умением воздержаться, когда надо, я мог бы конечно создать себе некую двусмысленную позицию, при которой моя скромная особа располагала бы гораздо большим, чем сейчас, количеством симпатий или полусимпатий, одним словом, я не скомпрометировал бы себя. Друзья, интересующиеся моей судьбой, порадовались бы, если бы я сумел, постоянно маневрируя, держаться одинаково далеко от всех «крайностей» и никого против себя не восстанавливать.

Но, повторяю, от этих повадок интеллигентам надо отвыкать, если они не хотят, чтобы великая народная масса заслуженно их презирала и ненавидела. Стараться, чтобы были «и волки сыты, и овцы целы», соглашаться с тем, кто говорит «черное», и с тем, кто говорит «белое», самому всегда придерживаясь сероватых тонов,— это ведь и приводило наших предшественников к ничтожеству. Тем, кто придет нам на смену, будет непонятна такая неопределенность, и надо, чтобы и мы перестали ее понимать.

Быть революционером — не значит, как представляют себе некоторые

добропорядочные люди, ничего не смыслящие в этих вопросах, выступать в роли какого-то разбойника, который хочет все вокруг перебить и разгромить. Наоборот, это значит смотреть на вещи трезво и разумно. Это значит применить к человеческим взаимоотношениям метод, посредством которого экспериментальная наука по-революционному сокрушила толщу суеверий, когда-то считавшихся наукой.

Это значит сообщить своей воле, а стало быть и морали, такую же ясность и силу; не отступать перед неразрывной связью причин и следствий, понимать взаимосвязь между добром и злом.

Было бы слишком большой смелостью с моей стороны пытаться точно характеризовать будущее. Однако мне представляется — и я могу сказать об этом не мудрствуя,— настанет эпоха, когда покажется странным, что тому, кто соглашался с логикой и хотел применить ее во всех аспектах, приходилось оправдывать себя в глазах окружающих и поступать наперекор боящимся за него друзьям.

Написано в 1924 году. На русском языке публикуется впервые.

ПОЭЗИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Эта поэтесса обладает виртуозностью зрелого мастера и на редкость характерна для своего времени. Я удивляюсь этому юному существу, проявившему себя в поэзии (с самим автором я не знаком); типичная по всему своему облику парижанка, с цветущим лицом и живыми глазами, берет в руки древний скипетр и принимается управлять царством поэзии, странствуя по нему радостно, уверенно, с изяществом.

Ее стиль отличается почти сказочной утонченностью. Она достаточно уверена в себе, чтобы писать лишь самые лаконичные картины. Она обладает умением великолепного портного — умением распределить оттенки, складки и заставить нас увлечься модой, благодаря своей папской непогрешимости в выборе деталей.

Форма? Конечно, это современный «свободный стих», считающийся новой формой уже довольно давно. Для меня эта разновидность частичного распада поэтического искусства все менее приемлема — она ведь не дает того, что обещали ее теоретики и зачинатели. Что бы там ни говорили, она осталась формой промежуточной, в общем неопределенной, чем-то средним между поэзией и прозой, между птицей и мышью, формой, в которой слишком большую роль играют неожиданные фокусы. Встает вопрос: можно ли таким способом омолодить классический стих, произведя над ним определенные хирургические операции? И действительно ли удалось чем-нибудь заменить гармонию, виновную лишь в том, что она не нова? Я думаю, что в таком решении эстетической проблемы, в такой попытке разрубить этот гордиев узел есть немало искусственности и натяжек. Музыкальность, разбитая в куски, густо замешанная прозой, может считаться поэзией лишь в той мере, в какой автор, лукаво обходя законы стихосложения, восстанавливает более или менее заметно элементы гармонии посредством ритма и консонансов. Говорят, поэме необходим прозаический аморфный элемент для того, чтобы оттенить поэтичность всего построения в целом. Концепция произвольная, таящая в себе немало опасностей!..

Но сейчас речь идет не об этом. Когда-нибудь мы еще поговорим о тех обвинениях, которые выдвигаются против классических форм, якобы банальных и изживших себя, о примитивных способах, которыми хотят освободить классику от банальности, о том, какое употребление сделал стих из своей свободы. Еще придется нам задуматься над тем, не оказались ли мы в положении детей, которые, затеяв необычайную игру, что-то

сломали и не могут исправить, и над тем, не устарела ли уже теперь наша новая форма больше, чем старая?

Как бы там ни было, Соланж-Розенмарк использует именно эту форму, обязательную в наши дни для каждого, кто не хочет быть осмеянным за отсталость. На вечные темы любви, юности и смерти она нанизывает множество красочных, аристократически изящных и милых впечатлений. Ее тонкая кисть (вспоминается Фужита), ее любовь к воздушным пейзажам, к ярким тонам в ненавязчивом сочетании (вспоминается Мари Лорансен), ее умение вдохнуть жизнь в схему — все это вместе с некоторым количеством бенгальских огней и джазбандных изломов вовлекает нас в головокружительную карусель современности.

Упрек, который можно бросить автору, это упрек самому ее мастерству. Тот самый талант, который дает кристаллическую отчетливость видениям поэтессы и с такой соблазнительной остротой выражает ее мечты, удерживает ее против воли на поверхности жизни, где у нее в распоряжении достаточно красок и форм. В ее поэмах больше изящества, чем страсти, и больше оркестровых красок, чем чувства.

Автор думает, что идет вглубь; однако это удается далеко не в той мере, как полагает сама поэтесса. Заменой глубины здесь служит утонченность, возведенная в ранг добродетели.

Соланж-Розенмарк — этот новый голос, присоединившийся к плеяде поэтических талантов,— как и все певцы сердца, заслуживает упрека в эгоизме.

Главная черта произведений, рожденных жизнью чувства,— их исключительность. Сердце хочет главенствовать над всем, начиная с действительности. По воле сердца возникают причудливые пейзажи. Так или иначе формируется внешний мир; и весна, и солнце, и Париж, и все живущее втягивается в эту игру произвола. Сердце — средоточие всего на свете, вне сферы его влияния мир представляется очень бедным. Да и существует ли вообще что-нибудь, помимо чувств самой поэтессы? Соланж-Розенмарк не всегда в этом уверена. Правда, она упоминает иногда о людях, принадлежащих к внешнему миру; так, например, в одном из перечислений у нее есть «грациозная и милая работница». Или она заговаривает вдруг о боге и даже о дьяволе и сообщает, что когда-нибудь, впрочем не так-то скоро, придет «новый дух», и когда он воцарится, люди увидят нечто такое, что заставит их поверить в бога (ну нет, дело будет куда как серьезнее!). Но все это — лишь манера выражаться; а сущность здесь составляют преднамеренное невежество, изящная, но ожесточенная изоляция, равнодушие ко всему, что выходит за пределы красивого мирка поэтессы. Эта чародейка довольствуется сферой чувства, а если и выходит из области причуд собственного сердца, то удовлетворяется истинами, заимствованными из бабушкиных сказок и соловьиной метафизики любви.

Она — близорукая рабыня солнца, весны и любви, как почти все поэты, и надо добавить: как почти все женщины вплоть до наших дней. Ну, и в хорошей компании оказываешься среди этих почти единодушных поэтов и женщин! Они представляют свою эпоху, цивилизацию и — употребим точное слово — класс. Пусть общность с ними не столько успокоит Соланж-Розенмарк, сколько заставит ее задуматься!..

Написано в 1931 году. На русском языке публикуется впервые.

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ В ГАРЛЕМЕ

Товарищи и друзья!

Как я недавно говорил молодым друзьям из Говардского университета в Вашингтоне, мое пребывание в Соединенных Штатах доставляет

мне много радости и в то же время немного грусти. Много радости потому, что я мог соприкоснуться с новым для меня миром, многое узнать, а также отдать себе отчет в том, что сильные радикальные тенденции в гораздо большей степени, чем я предполагал, захватили широкие круги американского народа, с которым я встретился впервые. Немного грусти потому, что моя поездка по этой стране, в силу обстоятельств, была слишком поспешной, слишком скупо отмерены были минуты, невозможно было узнать все, что мне хотелось бы, увидеть всех, с кем я желал бы встретиться. Однако я все же настоял на том, чтобы единственный день, проведенный мною в Вашингтоне, был посвящен поездке к студентам Говарда и выступлению перед ними с речью. Как ни многочисленны другие мои обязательства, я настоял также на том, чтобы сегодня вечером был организован этот митинг, на котором я хочу приветствовать Лигу защиты прав негров и ее мужественный орган «Освободитель Гарлема»; я хочу также передать вам и в вашем лице всем американским неграм братские чувства — не только от меня, но и от имени всех комитетов и всех участников Всемирного движения борьбы против войны и фашизма, представляемых мною в Нью-Йорке, от имени миллионов умов и миллионов сердец, какие бьются сегодня в согласии с нашими сердцами.

Не одна лишь гуманность и не отвлеченное сочувствие побудили меня выразить нашу братскую солидарность с негритянской расой; наши принципы, наши идеи, самый смысл нашего существования меня к этому обязывают. Хотя антивоенное и антифашистское движение, о котором я говорю, является движением единого фронта и потому, собственно, не связано со взглядами какой-либо одной политической партии, развивается оно под знаком социализма в самом широком смысле слова. Движение это основано на борьбе против капиталистического и империалистического режима, режима эксплуатации человека человеком и угнетения человека человеком, и потому, естественно, направлено против всех форм эксплуатации — будь то эксплуатация трудящихся или расовый гнет. Таким образом, вопрос о черной расе и о ее судьбе в современном мире логически и в силу внутренней необходимости связан с тем общим делом освобождения человечества, за которое мы боремся и которое стараемся довести до победы.

Негритянский вопрос по-разному ставится в Старом и Новом свете. У нас эта проблема относится к тем формам обращения с населением, какие применяются во всем огромном мире колоний, принадлежащих великим европейским державам. Вы же здесь являетесь, так сказать, *колониальным народом внутри самой метрополии.*

Мы уже давно приняли участие в защите американских негров. Мы неустанно протестуем и никогда не перестанем протестовать против унизительного положения негров в Соединенных Штатах, которое ничем нельзя оправдать. Мы решительно отрицаем взгляд на черную расу, как на «низшую расу». Низшая раса! Давным-давно было доказано обратное, и мы считаем позором современной цивилизации то чувство презрения, какое испытывали и по сей день в большой мере испытывают белые американцы по отношению к неграм, вывезенным некогда из Африки, но давно ставшим частью американской нации.

Можно ли утверждать, что это проблема нравов или унаследованного от предков инстинкта? Нет, это проблема социального строя. Доказательством является пример страны, имеющей совсем иную социальную систему — пример Союза Советских Социалистических Республик, где посредством справедливых законов национальный вопрос разрешен радикально и навсегда. В качестве конкретного образца я возьму лишь одну часть этой страны — ту часть, какую я знаю, так как специально ее

изучал. Это — Закавказье. Некогда в Закавказье насчитывалось около шестидесяти различных народов и народностей, враждовавших друг с другом и находившихся в состоянии непрерывной борьбы. Там жили тюрки, православные русские, грузины и армяне с их особыми религиозными доктринами, евреи, полудикие горцы и т. д., и все эти люди не могли встретиться без того, чтобы не наброситься друг на друга. Извечная ненависть, нападения, беспрерывные войны. Теперь же все эти народы трудятся совместно, в полном согласии, а от прежних предубеждений и вражды не осталось и следа. Объясняется это тем, что все национальности в Советском Союзе ныне свободно развивают свою культуру, свою этническую индивидуальность, и нет различного отношения к представителям различных народов. Для того, чтобы умиротворить Кавказ и навсегда разрешить национальный вопрос, оказалось достаточным нескольких лет.

Пример этой страны (а во всей остальной России происходит то же самое, что и на Кавказе) доказывает: не закон подчиняется нравам, а нравы изменяются под воздействием основного закона.

К тому же в данном случае речь идет не только о презрительном и унизительном отношении, но и о варварских действиях, направленных против негров в Америке, особенно на юге. Существует чудовищный суд Линча. Мы призвали общественное мнение всего мира к борьбе против этого средневекового обычая. На весь мир прозвучало наше разоблачение ужасающих зверств суда Линча — если только можно назвать «судом» такое проявление разнузданного бандитизма. Мы создали Комитет защиты черной расы, и я вошел в его центральный орган. Мы также решительно протестовали и против действий обычного суда, подобных линчеванию, и я с гордостью могу сообщить вам, что являюсь одним из инициаторов создания специального комитета защиты негритянских юношей из Скоттсборо. Когда в Европу приехала Эда Райт, мать одного из этих негров, мы помогли тому, чтобы крик о помощи из уст этой матери и женщины был услышан всей общественностью. В прошлом году она присутствовала на Всемирном антивоенном конгрессе в Амстердаме, и делегаты конгресса слушали ее с гневом и содроганием.

Во Франции (я говорю только о Франции, но это в равной мере относится также к другим странам — к Англии, Бельгии, Голландии и т.д.) негритянский вопрос — это вопрос о колониях. На всем большом пространстве африканских и азиатских владений Французской империи с зависимыми народами обращаются не менее ужасно, чем с неграми в Америке. Мы видели — если говорить лишь о черной расе, — как крупные французские капиталистические компании, поддержанные правящими империалистическими кругами Франции, допускали грубый произвол, захватывая огромные районы Африки. Негров не только грабили и выгоняли с территорий, на которых они жили; их превратили в настоящих рабов, вынужденных обрабатывать свою же землю для крупных компаний за такую нищенскую плату, что ее нельзя даже выразить в американской валюте, ибо плата эта меньше цента. Мало того, негров обложили непомерными налогами. Им сказали: «Ты имеешь честь быть французским подданным — так начинай с уплаты налогов». Когда же они не могут уплатить эти налоги, деревни их уничтожают, а их самих убивают. Известны карательные экспедиции, в результате которых бывало убито по 1500 человек сразу. Известно также, что крупные компании, стараясь увеличить сбор каучука, силой вынуждали негров безвыходно находиться в районах с нездоровым климатом, где свирепствуют желтая лихорадка и сонная болезнь; в этих районах эпидемии уничтожали негров в ужасающем количестве, целыми массами. Некоторые территории в Африке совершенно опустошены. Как пишет наш друг, негритянский пи-

сатель Рене Маран, в течение нескольких лет численность населения там снизилась с семи до трех миллионов человек.

И это еще не все. Негров берут в солдаты. Их вербуют во французскую армию, пуская в ход возвышенные слова и заманчивые обещания, а если они все-таки не соглашаются — то и силу. Я видел негров, доставленных во Францию для участия в мировой войне; на пароходе, во время перевозки их так грубо связали, что некоторым из них сломали руки. И этих людей именовали «добровольцами»! Надо ли еще упоминать о чудовищном истреблении черных солдат, которых всегда в первую очередь посылали под заградительный огонь?

Теперь правящие круги Франции рассчитывают использовать черную армию, чтобы, в случае необходимости, ее руками подавлять забастовки и обуздывать защитников рабочего класса. Париж окружен поясом казарм, так называемым «черным поясом», где размещены колониальные полки для расправ над рабочими.

Вот как поступает французский империализм с цветными народами; злоупотребляя присущей им искренностью и доверчивостью, империалисты делают эти народы не только жертвами, но и орудием поработителей Франции.

Такому положению, повторяю, можно противопоставить лишь одно: союз всех угнетенных против угнетателей. В этом и заключается весь смысл амстердамского движения, поставившего перед собой, как одну из своих целей, борьбу против преследования негров. Совсем недавно, на Всемирном конгрессе молодежи, происходившем в Париже при нашем участии, был единогласно принят манифест, требующий энергичных действий против преступлений колониализма и против порабощения негров в условиях так называемой французской демократии, а также в условиях так называемых демократий других стран. Мы требуем не только абсолютного и подлинного равенства белой и черной рас на всем земном шаре, но также и борьбы за освобождение всех трудящихся, всех рабочих, независимо от цвета кожи и расовой принадлежности, ибо цель у них одна. И если мы выступаем за пересмотр несправедливых версальских договоров, то не для того, чтобы какая-нибудь колония — скажем, Камерун — перешла из когтей одного империализма в когти другого, а во имя освобождения колоний путем ликвидации империалистического господства.

Вот почему, товарищи и друзья, я обращаюсь к вам не только с дружескими словами, но и с просьбой поддержать и отстаивать тот широкий массовый подъем борьбы против империализма, какой нам удалось вызвать на основе борьбы против войны и фашизма, под знаком равенства трудящихся всех рас и убеждений. Примкните к этому движению через ваши американские Комитеты, чья деятельность получила новый импульс в результате созыва Национального американского конгресса борьбы против войны и фашизма, происходившего в Нью-Йорке. Я не сомневаюсь, товарищи, в том, что вы это сделаете, и дружески протягиваю вам руки в знак приветствия и союза!

Речь произнесена в ноябре 1933 года. Публикуется на русском языке впервые.

ПРОЩАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ

По профессии я литератор, занимаюсь писательским ремеслом. Профессиональная честность заставила меня увидеть не только живописную внешность событий, но и скрытую их сущность — то есть механизм, управляющий делами людей. В силу профессиональной честности я и стал революционером. Перед войной я был таким же, как и многие другие интеллигенты, настроенные неопределенно-анархически, ибо в каждом

интеллигенте есть и нечто от анархиста. И я был невежественным, как большая часть интеллигентов; в те смутные времена интеллигенты — за небольшим исключением, только подтверждающим правило,— были поразительно невежественны. Дело Дрейфуса, взбудоражившее Францию в годы моей молодости, потрясло меня и вырвало из состояния индивидуалистической инертности. Я посвятил себя служению пацифизму, выступив с этой идеей довольно смело по тем временам в своем романе «Ад». Но тогда еще мой взгляд не проникал в глубины современного социального ада. Война воспитала меня на полях сражений, со всем их ужасом и отчаянием, которые ни один художник не смог бы изобразить. Я научился не только видеть бедствия, но и понимать смысл империалистической войны.

Я был среди простых солдат и сам был простым солдатом. Мой друг Дана в очень хорошей статье, напечатанной в журнале «Борьба против войны», допустил небольшую ошибку в этом отношении (не говоря уже о чрезмерно высокой дружеской оценке моих заслуг). Он пишет, что я был произведен в лейтенанты. Я не был лейтенантом, и всегда — хотя мне это и предлагали — отказывался быть кем-либо, кроме простого, рядового солдата.

Я жил бок о бок с людьми из народа, я общался с представителями народных масс.

Я увидел, что именно на этих людей судьба обрушивает всю свою сокрушительную тяжесть. От них требуют всего и все у них отнимают: их энергию, счастье, их сердца, их жилища. И они страдают и гибнут не за самих себя.

Официальные представители правительства, порывшись в груде костей, извлекли оттуда скелет неизвестного солдата и с большой помпой похоронили его под Триумфальной аркой. Я тоже воспринял эту церемонию как символ — но не тот, что был возвещен важными официальными лицами. Я еще лучше понял, что не только парижская Триумфальная арка и подобные же военные монументы в других столицах, а все современное общество покоится на костях неизвестного солдата. Одновременно я понял, что долг мой состоит в служении делу масс, приносимых в жертву. И я подумал: эти массы могут все.

Они вынуждены сражаться. Это — труженики войны. Почему же они соглашаются воевать теми руками, которые созданы скорее для того, чтобы творить, а не разрушать? Я думал об этом не только в связи с безыменными солдатами, убитыми в огне атак, но и в связи со специальными командами, расстреливающими солдат. Случилось так, что я был свидетелем расстрела солдата, виновного лишь в том, что он отстал от своего взвода на один день и явился, когда его подразделение, отдыхавшее в тылу, уже выступило на фронт. Виновного только в этом солдата два-три человека в медных касках осудили на смерть — ради устрашения других. В этом эпизоде, тысячи раз повторявшемся в те годы, проявились, как мне показалось, две одинаково трагические стороны империалистической войны: беспощадное и бессмысленное систематическое уничтожение человеческих жизней и пассивное рабское послушание людей, стреляющих в своих товарищей.

Я вернулся оттуда, где совершались человеческие жертвоприношения, преждевременно состарившимся, физически больным, но заболевшим вместе с тем и желанием трудиться для общего дела. Могу сказать, что я хотел своеобразно продолжить свой литературный реализм, распространив его на общественную деятельность, ибо писатель — человек общественный, и если он ошибается, то направляет людей по неверному пути. И потом, можно ли изобразить эпоху, выявляя лишь частные случаи и индивидуальные характеры? Чтобы быть правдивым, необходимо

также показать все многочисленные нити, связывающие людей и события. Главная сила писателя не в прямой пропаганде. Ему достаточно изобразить вещи, как они есть. В наши дни правда революционна.

Я начал работать вместе с моими собратьями, ветеранами войны. Еще до окончания войны, в начале 1917 года, я создал организацию солдат, отпущенных с фронта. Она ставила перед собой две цели: во-первых, защищать интересы бывших фронтовиков и жертв войны и, во-вторых, бороться против войны, чтобы следующим поколениям не пришлось повторить судьбу нынешнего. В 1920 году эта организация выросла в Интернационал бывших фронтовиков, учрежденный в Женеве.

Здесь встретились бывшие фронтовики — французы, немцы, австрийцы, англичане и итальянцы, сражавшиеся друг против друга во имя целей, совершенно им чуждых. Помнится, мы спросили немецких ветеранов: «Что вам сказали, чтобы заставить вас воевать?» Они ответили: «Нам сказали, что Франция — хищная страна, она стремится уничтожить нашу родину, наши дома, наши семьи». И они спросили нас в свою очередь: «А что же было сказано вам?» И мы ответили: «Нам говорили то же самое о Германии». В Женеве, на Первом международном конгрессе бывших фронтовиков, мы поклялись никогда не поднимать оружие друг против друга и выработали программу антивоенной борьбы, направленную против социальных причин войны,— то есть против капиталистической и империалистической системы. Эта программа впоследствии легла в основу выработанной в Амстердаме программы.

После Женевского конгресса я много работал в группе «Кларте», которая имела свои ячейки в различных странах и ставила перед собой цель — привлечь интеллигенцию на сторону рабочего класса. Я вел также борьбу против террора на Балканах, в Индии и в других странах, в защиту национальных меньшинств и жертв политических преследований.

В Амстердаме мы попытались наметить реальный путь антивоенной борьбы — действенный путь после стольких разглагольствований и пустых деклараций. Мы заявили: недостаточно лишь провозгласить лозунг «Долой войну!». Если мы удовлетворимся провозглашением такого лозунга, то все будут на нашей стороне — даже сами виновники войны. Но, сказав это, мы еще не скажем ничего и ничего не сделаем. Поэтому мы изучили глубокие и постоянные причины войны и объединили антивоенную борьбу с борьбой эксплуатируемых народных масс против эксплуататоров. Мы стремились создать на этой основе широкое международное единение масс.

В дальнейшем, опираясь на те же принципы, мы выступили как организаторы всеобщей борьбы против фашизма; оба движения — антивоенное и антифашистское — объединились. В настоящее время это движение, под лозунгом союза...* без различия партийной принадлежности и национальности, развивается и достигло внушительных масштабов.

Антивоенный конгресс в США дал нашей организации новые большие силы. Я буду счастлив и горд донести до Европы живое эхо этого конгресса.

Мы — люди разумные и последовательные, и мы идем по прямому пути. У нас есть чувство собственного достоинства, мы трезво смотрим на вещи и — действуем.

Мне кажется, дорогие друзья, что это краткое изложение моих взглядов — лучшая форма, в которую я мог сегодня вложить чувство признательности к вам.

Речь произнесена в ноябре 1933 года. Публикуется на русском языке впервые.

* Пропуск в тексте *(ред.)*.

ДВЕ НОВЕЛЛЫ

ЧУЖЕЗЕМЦЫ

Это было во время войны, в 1916 году, в уже забытые времена.

Они молчали. Никто из них не мог сказать ни слова, пока они находились в этой богатой кухне.

Трое солдат из части, расквартированной на отдых в маленьком городке, сидели бок о бок в кухне, стараясь не очень запачкать ее покрывавшей их грязью и не слишком испугать своим видом тех людей, которые, неизвестно почему, так приветливо их встретили.

Вот что произошло.

Вернувшийся из окопов полк наполнил шумом и лязгом весь городок. Над городком, подобно прекрасному венцу, возвышался замок. В этом замке солдаты и находились.

Они были здесь в гостях, а не на постое. Триаду, Пуйон и Пэпэ оставили свои вещевые мешки и винтовки в сарае, отведенном их взводу (ветер и дождь хозяйничали в этом сарае и делали его более пригодным для водопоя, чем для жилья); перед тем как помыться, почиститься и сесть за письма, они решили немного пройтись. Они с удовольствием прогуливались, подняв головы, отдыхая и радуясь тому, что ходят по улицам, как свободные люди.

Дорога привела к службам замка, их пригласили зайти. В кухне собрались шофер, горничная, старший сын садовника, вскоре пришли еще и маленькие дочки привратницы. Солдатам налили по стакану вермута, этого странного вина с привкусом соуса.

И все принялись их разглядывать.

Серая кора, покрывавшая их лица, придавала им сходство с толстокожими животными, и глаза их на этом фоне походили на окна. Даже Пэпэ чем-то напоминал слона. На самом деле он был немногим толще собственного скелета; но только археолог мог бы докопаться сквозь пласты ужасающей грязи до подлинных пропорций этих тел.

Присутствующие занимались тем, что рассматривали их, а они, если можно так выразиться, были заняты тем, что давали себя рассматривать. Мало слов было произнесено в этой чистой, просторной, блистающей медью и алюминием кухне, с углами прямыми, как у книжных переплетов. Солдаты опустили головы. Полы их шинелей деревянными крыльями ниспадали на чисто вымытый плиточный пол. Издали со всех сторон, с небес и звездных сфер, доносилось громыханье пушек, и если бы эти пришедшие с войны люди заговорили, они, может быть, извинились бы за этот грохот.

Но вот в кухню, превращенную в зоологический сад, спустилась мадемуазель Клотильда — девушка с красивыми ласковыми глазами, дочь графа и графини, хозяев замка. Ей было около двадцати лет — столько же, сколько новобранцам призыва пятнадцатого года.

При волшебном появлении молодой хозяйки вся прислуга встала как один человек. Солдаты тоже приподнялись с сидений, но тут же под действием собственной тяжести опять опустились на них. Однако и за это время можно было заметить, что блеск полированного дерева потускнел от мокрых шинелей.

Девушка подошла к солдатам. Шофер взял на себя миссию представить ей фронтовиков. Он больше, чем другие, был в курсе дела. Словоохотливый, как политик, он гордился своим умением рассказывать и сам переживал свои рассказы.

— Они пятьдесят раз ходили в атаку. В их полку пять тысяч солдат, но перебывало в нем тысяч тридцать. Кто в нем служил с самого начала, тот был уже шесть раз приговорен к смерти.

Слова шофера относились к иному, далекому миру, из которого ненадолго вырвались трое солдат. Те, что в этом мире сами не побывали, ровно ничего не знали о нем. Но вдруг на мгновение кухонная стена раздвинулась, словно театральный занавес, и перед глазами присутствующих во всей своей реальности встало зрелище войны — столь явственно, что у всех вырвался вздох. Нельзя было не понять, что означает бездонная пустота кровавого грохочущего ада, нельзя было не понять, что люди, выжившие там, еще не канувшие на дно, не сраженные в немыслимом поединке человека со смертью, были удивительными существами, воплощенным чудом.

Тридцать месяцев прожили они под ливнем миллиардов свинцовых капель. Если одна такая капля настигнет вас, вы превратитесь в бесформенную массу и навсегда, на веки вечные, погрузитесь в землю. Достаточно одной лишь капли... А ведь все это еще продолжается, и те, что на время пришли сюда, стоят одной ногой в братской могиле.

Девушка воскликнула:

— Бедняги!

Но стоило ей произнести это слово, как она почувствовала, что надо было сказать что-то совсем другое.

Солдаты молчали. Они сидели на своих стульях выпрямившись, как по команде «смирно». Они только глядели на молодое лицо, свежее и милое, на котором едва появилась и тотчас погасла улыбка.

Было очевидно, что слова сострадания тут ни при чем — слишком они мелки и лживы.

Как трудно говорить! А вместе с тем все очень просто. Вот они сидят, так ясно видимые, и так же ясно видна их судьба. Но потому-то и трудно говорить об этом, что все так просто.

Девушка начинала чувствовать страх перед путниками, идущими к смерти и задержавшимися здесь на этом своем пути. Она опустила голову и пробормотала:

— Вы герои.

Солдаты опять ничего не ответили, даже бровью не повели. Они слышали, но, казалось, не поняли. Эти слова тоже не относились к ним. Ибо героями они не были. Конечно, при желании и они могли бы вспомнить, что время от времени совершали на войне поступки, похожие, в конечном счете, на подвиги героев Плутарха. Но надо быть сумасшедшим, чтобы сказать о них «герои».

Пэпэ полез в карман за носовым платком. Он откинулся на спинку стула, вытянул ногу, распахнул, как дверь, свою шинель и выгреб из кармана платок вместе с зажигалкой, шнурками от ботинок и военным крестом.

Героизм — это для них мелочь, они носят его в кармане.

Значит, и эти бедные слова тоже были неуместны, надо было найти какие-то другие.

Пришлось приглядеться к солдатам повнимательнее. И тогда заметили, что и они не вышли вполне невредимыми из своего безумного шествия сквозь ливень свинца. Все-таки за эти тридцать месяцев их немного оцарапало, разукрасило багровыми рубцами.

У Пэпэ, например, левый профиль был изуродован пулей и искусственно восстановлен, более или менее похоже на правый.

— Я восхищаюсь вами, — решилась еще на одну попытку девушка.

Все три головы чуть-чуть шевельнулись. Первый солдат сделал движение, чтобы повернуться к девушке той стороной своего сделанного хирургами лица, на которой не было шрамов. Второй выпрямился, треща суставами — ураганы огня сделали его чувствительным к сквознякам. Третий попробовал согнуть и разогнуть ногу — после перелома она пло-

хо сгибалась и от неподвижности окостеневала (как отдохнешь, тут тебе и крышка).

— Я жалею вас, — тонким голосом проговорила девушка. И тотчас же, словно раскаиваясь, сказала: — Простите!

Странно, в ту самую минуту, когда она просила у солдат прощения за жалость к ним, Пэпэ закашлялся, Пуйон поежился будто от озноба, а лицо Триаду перекосило судорогой. Девушка хотела сказать другое — ведь у этого мотылька было много решительности и отваги: «Вы выполнили ваш долг, как французы и...» Но эта фраза звучала так фальшиво, что ее невозможно было произнести; все увидели, что слова застряли у нее в горле.

И раззолоченная девочка застыла, раскрыв рот, перед человеческими фигурами из глины, которых беда превратила в грандиозные статуи. Сегодня они сидели в этой кухне, но вчера они были и завтра снова будут палачами.

И жертвами.

Вокруг безмолвной группой стояли слуги.

Молодая хозяйка отважилась еще раз обратиться к солдатам:

— Господа...

И затем:

— Друзья мои...

Но солдаты не были господами и еще меньше того ее друзьями.

Они бы и сами не прочь вставить вежливое словцо, да не могли: сейчас они были чем-то бóльшим, чем они сами,— неотделимой частью всего своего класса, класса страдающих людей.

Так развивался этот диалог, который вовсе не был диалогом и в котором сквозила драма, лишенная обычных признаков драматических коллизий. Здесь случайно, и не испытывая друг к другу злобы, встретились две породы людей, пришедших с двух противоположных полюсов жизни.

Однако надо же было, в конце концов, что-то сказать. Пэпэ раскрыл рот и проговорил:

— Да.

Это слово прозвучало веско и всей своей тяжестью водворилось в комнате, как слово из другого мира.

Наконец Триаду поднялся, но лишь потому, что надо было уходить, и заговорил — лишь для того, чтобы сказать:

— Ну, пошли в наш хлев. Идете вы, что ли?

Сарай, где они расположились, не был, собственно, и хлевом, но так они всегда называли теперь любое свое жилье.

Солдаты попятились к двери, отвешивая быстрые поклоны, смущенные собственным отражением в великолепии этой кухни. А девушка, униженная, с глазами, полными слез, убежала. На роскошной лестнице она встретила хорошо одетого, благожелательного господина.

— Я видела солдат.

— Это такие же люди, как мы, — философски заметил господин.

— Нет,— сказала она,— не такие. С ними невозможно разговаривать.

«Между нами и ими как будто черта, которую нельзя стереть»,— подумала она.

Ей было стыдно этого признания. В этих словах было немного грусти и много страха, и чувствовалось, что, когда она станет старше и жестче, страх превратится в ненависть.

«Есть мир людей, и это — мир войны, а над ним — мир красивых домов с дверями, как двери сейфов, и кухнями, сверкающими, как часовни. Другой мир, другая страна, населенная чужеземцами».

Мысли, подобные этим, смутно приходили в голову Пэпэ, когда он

молча и сосредоточенно шагал рядом со своими товарищами. И через несколько минут он высказал истину, понятную всем троим:

— Какой же может быть разговор, когда говоришь на разных языках?

— В самую точку, — ответили они.

— А вот и наш замок,— сказал Триаду. К нему стала возвращаться его словоохотливость.

Неподалеку от сарая помещалось нечто вроде курятника, где уже давным-давно перевелись куры. В этом курятнике за частой проволочной сеткой сидел человек.

Это был пленный немец. Рота повсюду таскала его с собой. Солдаты подошли к нему. Его караулил солдат, держа винтовку с примкнутым штыком. Часовой сидел на чурбане, на котором некогда рубили шеи уткам, и, поставив винтовку между колен, набивал трубку.

Пленный тоже подошел поближе и ухватился руками за гибкую решетку. Он был в лохмотьях, морщинистый, грязный, на его лице были стерты все признаки возраста. Одет он был точно в такую же, как французские солдаты, форменную одежду — кору из засохшей грязи.

Пэпэ просунул руку сквозь дыру в сетке и похлопал его по плечу. Человек улыбнулся, как ребенок.

А затем скороговоркой выпалил на немецком языке что-то совершенно им непонятное.

Услышав эту темную для них, как китайский язык, немецкую речь, солдаты рассмеялись, потерли руки и, довольные, принялись изъясняться жестами.

— Не горюй, старина, чего там!

Все трое протянули ему руки через дыру в сетке, и он пожал их, а старый резервист-часовой на них поглядывал с видом отца семейства.

Затем солдаты скрылись в свою залитую водой конуру.

Будто освободясь от большой тяжести, они говорили друг другу:

— По крайней мере, на этот раз нашелся хоть кто-то, кто говорит с нами на одном языке.

Написано в 1932 году. На русском языке публикуется впервые.

ДВА ЕПИСКОПА

Я переоделся епископом для того, чтобы с меньшими помехами завладеть коллекцией художественных безделушек — собственностью маркиза Цицерона.

Я вор—что правда, то правда. Признаюсь в этом без ложного стыда, ведь воровство — профессия не хуже других, и я ее сознательно выбрал. Но ни один художественный критик не станет отрицать, что у меня есть вкус. Мой бедный отец позаботился о моем художественном воспитании, и из чужого добра я отбираю лишь то, что в самом деле обладает большой и подлинной ценностью.

Я так верен этому принципу, что, несмотря на множество удобных случаев, долго воздерживался от того, чтобы присоединить к своей коллекции современных изделий новые банкноты, рисунок которых, по-моему, плох. Понадобились мольбы моей дорогой жены, чтобы я все-таки решился на это. За всю мою воровскую карьеру я только один раз попался в руки полиции, и всё из-за того, что захотел во что бы то ни стало водворить на место большую античную статую — мраморную, как я полагал, но на самом деле оказавшуюся алебастровой подделкой.

Однако возвратимся к маркизу Цицерону.

Этот богач, всем известный ханжа и собиратель медалей, живет почти круглый год в своем замке де Шюссет. Замок этот поднимается из болота, со дна окруженной горными террасами долины, похожей скорее на водосточную канаву, ибо местность эта невероятно сырая. Надо добавить, что жилище богобоязненного коллекционера находится в восьми километрах от городка Буржьен, куда приблизительно каждые шесть часов прибывает пригородный поезд. Нерегулярность движения этого поезда так велика, что могла бы войти в пословицу, знай о ней кто-нибудь, кроме двух-трех туповатых местных пассажиров.

Все эти обстоятельства благоприятствовали успеху задуманного мною плана. И вот однажды вечером, в грозу, под видом случайно заблудившегося и до нитки промокшего епископа я постучался в ворота поместья и попросил гостеприимства. Дрожа от счастья, аристократический хозяин замка сказал:

— Монсеньер, будьте как дома.

Одежду мою просушили, меня обогрели. На кухне зазвенела посуда— начались приготовления к ужину. Из уважения к моему сану мне не задали ни одного вопроса. Такая почтительная деликатность имела свою хорошую сторону: должен сознаться, в вопросах религии я был полнейшим профаном. Я получил блестящее образование, но только в области искусства, и мои познания не распространялись на область церковных дел. Я знал лишь то, что было строго необходимо: что я — епископ in partibus * в Сидоне, что у меня лиловая сутана и аметистовый перстень и что я из предосторожности послал местному священнику телеграмму с коварной просьбой отправиться за три лье отсюда причастить умирающего, которого никогда не было в живых.

Перед ужином я попросил разрешения осмотреть медали — я о них немало слышал... Маркиз скромно заметил:

— Позже, вам надо сначала отдохнуть, монсеньер.

Однако я настаивал на своем с такой благожелательностью, что хозяин замка, поклонившись с угодливой поспешностью, повел меня на галерею, по дороге то и дело задевая дверные косяки.

В то время как я, покачивая головой и выражая свое восхищение, решал про себя, что именно следует ночью похитить, а также замечал все выходы, снизу послышался шум.

Перепуганный мажордом вбежал на галерею.

— Господин маркиз! Епископ! Еще один епископ, застигнутый грозой!

Мы оба застыли на месте, обуреваемые противоположными чувствами. Затем потрясенный маркиз пробормотал какие-то извинения и бросился к лестнице, куда и я проследовал через несколько минут, исполненный достоинства и мужества,— впрочем, успев захватить с собой серию испанских дублонов, валявшихся в куче еще не разобранных монет.

— Вы у себя дома,— лепетал маркиз, прикладываясь губами к перстню, величественно протянутому моим «поддельным» коллегой, настоящим епископом!..

У епископа была гордая осанка, и он царственным взглядом обводил комнату.

Отчаяние придало мне силы, я подошел и подал ему руку.

— Добрый день, монсеньер, как вы поживаете?

Он посмотрел на меня; казалось, моя фамильярность несколько удивила его. Однако он ответил елейным голосом:

— Добрый день, монсеньер. А как ваше преосвященство?

---

* Католический священник в иноверческой стране *(лат.)*.

— Вашими молитвами, святой отец,— ответил я, радуясь, что вовремя вспомнил приличествующую обстоятельствам формулу.

— Благодарю вас,— сказал он любезно.

Во время этого разговора хозяин дома держался в стороне. Теперь он снова приблизился к нам.

— Монсеньеры, кушать подано! — прогнусавил мажордом.

Ослепительные двери, дрогнув, широко распахнулись, и мы с епископом плечом к плечу, в полном молчании вошли в зал.

— Да извинит меня ваше преосвященство,— произнес маркиз, обращаясь к моему коллеге,— я не знаю, кого же из вас я должен посадить от себя по правую руку?

— Да, да,— ответил священнослужитель, по-видимому не расслышав, и решительно уселся на первое попавшееся место.

— Какое смирение! — млея от восторга, пробормотала маркиза, когда увидела, что и я схватился за спинку стула, стоявшего поблизости.

Все сели за стол, но затем поднялись, словно в ожидании чего-то...

Я последовал их примеру, опустив глаза, смущенный, недовольный собой и, главное, испытывая сильное беспокойство.

— Молитва! — прошептала маркиза, обращаясь к дочери. Тогда второй епископ сложил на груди руки, благословил трапезу и затем произнес необыкновенно звучную речь, в которой говорил о смутных временах и неведомых мне событиях, об упорстве австрийской короны в вопросе об инвеституре, о нерешительном поведении французского короля и о необходимости как можно быстрее справиться со страшной чумной заразой, идущей из Германии и Женевы и угрожающей всему христианскому миру.

Он закончил свою речь широким жестом, ударил себя в грудь и так сверкнул глазами, будто готовился к возражению со стороны невидимого противника.

Затем он снова опустился на стул, и все присутствующие, пораженные его речью, в молчании начали поглощать суп.

Маркиз попробовал вставить фразу, другую... Никто, кроме маркизы, ему не ответил.

Я не говорил ничего, предпочитая делать вид, что размышляю. Что же касается епископа, то он, очевидно, собирался с новыми силами, ибо при первом же сделанном кем-то намеке на политические события разразился громовой речью, продолжающей его первое выступление. Он говорил о булле Ungenitus и интригах в подземельях Ватикана.

— Это правда,— сказал маркиз.— Я как раз вчера читал об этом в «Le Temps».

— И в то время как множатся преступления,— продолжал епископ,— что делает святая инквизиция? Что делает Европа? Что делает Карл, восседающий, подобно германскому быку, на троне Фердинанда Католика?

После этих слов высокий гость не раскрывал больше рта до тех пор, пока не пришлось это сделать, чтобы съесть десерт.

Благодаря счастливой случайности, мне удалось ни разу за целый вечер не выказать своего невежества в вопросах богословия, что выдало бы меня с головой. Конечно, я постарался сократить время этого испытания и, важно встав с места, по очереди протянул всем свой перстень, после чего поспешил удалиться к себе в комнату в сопровождении лакеев.

Комната моя выходила на галерею. Ночью мне оставалось лишь отомкнуть одну дверь. Переходя от витрины к витрине, я собрал богатейшую жатву из всех, какие мне были дарованы за все мое земное существование.

После этого я счел излишним дожидаться утра. Я спустился в конюшню, местоположение которой предусмотрительно выяснил заранее, мгновенно оседлал лучшего коня и вскочил на него, не забыв при этом завернуться в широкий охотничий плащ, висевший на стене. Я скрылся в ночном тумане и на рассвете был уже в Буржьене. Там я оставил своего прекрасного коня в конюшне гостиницы, «занял» у хозяина сто франков, добрался до вокзала и на ходу сел в поезд — это был тот же, на котором я приехал.

Как только я вошел в вагон, там раздался крик ужаса. Забившись в угол, какой-то человек со страхом смотрел на меня.

Это был епископ!

— Пощадите! — заикаясь, произнес он. — Пощадите, монсеньер, не выдавайте меня! Я всего лишь бедный актер... Вчера на утреннем представлении нашего театра я играл роль епископа в пьесе «Папа и император»... После спектакля, не успев переодеться, мы выпили немного с приятелями. Из одного кабачка — в другой, вот мы и заблудились... Я постучался в двери замка и не посмел сказать правду господину Цицерону, когда увидел, какой прием он мне оказывает. Не выдавайте же меня, не то меня выгонят из труппы... Вот, монсеньер, вся наша вчерашняя выручка, мы почти ничего не истратили... Возьмите эти деньги для бедняков из вашей паствы!

Мое лицо приняло надменное, презрительное выражение. Я помолчал немного.

— Принимаю эти деньги для моих бедных прихожан, — проговорил я наконец ледяным тоном.

И в карман, уже набитый старинными медалями, положил протянутый мне кошелек — единственные деньги в жизни, заработанные мною.

Дата написания не установлена. На русском языке публикуется впервые.

ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА

Эскиз киносценария

ОБЩЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Главная идея этого фильма — то есть то, что должно сообщить ему оригинальный характер, новое звучание, сделать его необычным с художественной, а также идейной и социальной точек зрения,— это обильное и методическое введение в развертывающуюся на глазах у зрителя драму коллективного элемента: общих планов, обзоров целых стран, континентов, масс, генеральных сражений. Но изображение великих событий в таких картинах, которые состоят из целых массивов живых и конкретных объектов, было бы однообразным и даже утомительным в своем величии, если бы мы не возвращались на каждом шагу, так сказать, на землю — к непосредственной жизни, как она есть,— если бы мы не привлекали постоянно для контраста индивидуальные факты и интригу, воплощенную в персонажи-типы и позволяющую придать волнующий, занимательный, увлекательный характер фильму в целом.

Именно благодаря тому, что зритель сопоставляет образы массового, почти планетарного масштаба с перемежающими их человеческими драмами, образы коллективные и образы индивидуальные — трагедии, драмы и комедии повседневной жизни,— благодаря тому, что зритель следит за тесной связью событий, восходит и нисходит от причин к следствиям и от следствий к причинам, он, благодаря всему этому, видит, к чему приводят в недрах жизни воспринятые им широкие массовые движения и большие общественно-исторические линии. Широкая точка зрения ведет к пониманию, частная точка зрения рождает чувство.

I

Нечто вроде очень краткого пролога ко всему, что будет дальше представлено.

Мы находимся в пространстве. Земной шар вращается наподобие крупной звезды. Приближаемся к нему с самой большой, головокружи-

тельной быстротой, какая только может позволить нам понять, что происходит. Вот уже можно разглядеть географические очертания, освещенную карту, рельеф и контуры Старого мира; потом остается лишь часть поверхности шара в форме Франции. Линии, очерчивающие страну в целом, растягиваются, исчезают. Мы приближаемся вплотную к земле. Равнина, война, окопы. Из траншей показываются четыре-пять лиц под касками: это главные герои фильма. Над каждым написано его имя: Норбер, Бебер и т. д.

Потом — заграждения из колючей проволоки. Мы снова отдаляемся, видим хаотическое переплетение проволоки. Геометрическая игра линий; они превращаются в телеграфные провода — скрещения, переплетения; параллельный бег, стремительность. Провода последовательно и очень быстро — мгновенно всякий раз — ведут за собой сменяющиеся видения-кадры, три или четыре характерных интерьера: командный пункт, министерство, правительственные учреждения и, наконец, Административный совет (большой стол с глобусом посредине) — и, крупным планом, головы с надписанными именами: это тоже персонажи, которым предстоит сыграть значительную роль.

Теперь задача определена: будет показана мировая трагедия; типы людей будут корнями, связывающими ее с почвой.

II

СЕМЕРО ПОДРОСТКОВ ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ

Это группа молодых людей. Они держатся вместе, дружны. Вместе растут, гуляют, разговаривают, развлекаются. Им по 15-16 лет. Молоденькая Лиа кокетничает с красивым Беппо. Норбер несчастен и вздыхает. Все же среди них — сердечность, дружба.

Годы проходят. Вот все семеро сошлись в скромной квартире, где живет один из них, в провинциальном городе.

«Это наша последняя встреча». Вскоре жизнь разбросает в разные стороны веселую компанию беззаботных друзей.

В этой компании есть Беппо, красивый парень, честолюбец и фат: «Я освобожден от военной службы. Я уеду попытать счастье». Брата его, Норбера, волнуют общественные проблемы, он настроен даже революционно: «Я хочу уехать, чтобы говорить людям правду и объединить вокруг себя как можно больше людей». Лиа, ослепленная внешностью Беппо, была его любовницей, но у нее здоровый, ясный ум; эгоизм, самодовольство и глупость красавца Беппо оттолкнули ее от юноши. Она не поедет с ним: «Нет, ты мне решительно не нравишься».— «Ты мне не всегда это говорила».— «Тем хуже для меня, тем лучше для тебя». Самолюбие Беппо задето, но все же он рад своей свободе: «Хорошо, что избавился,— думает он,— *там* для меня найдется что-нибудь получше, поинтереснее». Рабочий Бебер — человек насмешливый, скептический, умный. Это он на поле боя будет громко протестовать против войны. Леонс — интеллигент, обладающий всеми характерными для этого слоя пороками. Чванится и тем, что принадлежит к людям свободной профессии, и своей образованностью, и своим сборником стихотворений. Он глубоко консервативен и боится всякой новизны. Однако он искренен и честен и, насколько допускает его посредственность, нравствен. Это типичный представитель «Лиги прав человека» с ее чисто словесными идеалами, аптекарь Омэ современной демократии. Впоследствии он признает, что ошибался. Молодой семинарист Мезанже — лицемер: этот елейный проповедник любит, глядя поверх очков, поговорить о доброте, о братстве,

о любви, о боге и о сборе денег в пользу церкви. Нельзя сказать, чтобы он был так уж нечувствителен к земным благам: «Я видел в церкви статую святой девы, всю увешанную драгоценностями, по меньшей мере на сотню тысяч франков». Сказав это, Мезанже выпучил глаза и уставился в пустоту. «Пусть себе мечтает, что женится когда-нибудь на святой деве». Жакотт, славная, но легкомысленная девушка, думает только о себе. Она открывает рот лишь для того, чтобы произнести: «У Марты Ламбер богатый друг» или «Как вы думаете, я фотогенична?».

Чувствуется, как глубоко различны в основе характеры этих молодых людей и будущие начертания их судеб. Их натуры, различия между ними дают себя знать уже в этой картине, где в довольно коротком разговоре каждый говорит о себе нечто существенное. В конце концов они ссорятся и, отвернувшись друг от друга, читают газеты. Вот что они читают. Норбер: «В зале Бюлье состоялось большое профсоюзное собрание». Беппо: «Нужен деятельный молодой человек на должность агента в контору Вандом». Жакотт: «Требуются хорошенькие девушки. Явиться к господину Брабансону, режиссеру театра «Фантэзи тражи-комик» и т. д.

III

Беппо в поезде. Он купил себе билет в вагоне первого класса. Он строит глазки красивой особе, которая отвечает на его авансы. Но она, как выясняется,— горничная. Разочарование. На вокзале Беппо грубо от нее отделывается.

Вечер в Париже. Беппо глядит на окна роскошного, ярко освещенного ресторана. За витриной — ослепительные огни, ослепительные туалеты, черные фраки, красивые декольтированные и сверкающие драгоценностями женщины. Беппо глядит на все это, скрываясь в темноте улицы, с маленьким чемоданчиком в руке. «Мое место там. Надо уйти отсюда, проникнуть туда».

Беппо — служащий в банке. Господин Мелюссон, тусклый, стертый, упорный чиновник без будущего, вводит его в курс дела. «Это, знаете ли, не слишком блестящее ремесло. Нужно быть гибким, бережливым, иметь терпение и тянуть лямку. Тогда к шестидесяти годам можно уйти на покой. Господин де ля Риссот, наш патрон, богат, как Ротшильд».— «Ждать — это не по мне,— говорит Беппо.— Я не из тех, кто тянет лямку. Я посмотрю, как пойдут дела, и воспользуюсь первым же удобным случаем».— «Я знаю людей. Вы слишком спешите. Предсказываю вам, что вы никогда ничего не добьетесь»,— говорит Мелюссон.

Зал Глобуса. Он расположен в большом, роскошном, как дворец, особняке. Мы уже видели этот зал в коротком прологе. Это просторный холл, посредине стоит стол, на нем глобус. Вокруг стола восседают члены Административного совета. Беппо, неся несколько набитых документами портфелей, почтительно следует за господином, перед которым отвешивают низкие поклоны лакеи, швейцары и секретари. Беппо проникает на минуту в зал Административного совета. Он входит туда со своим багажом и, ослепленный, разглядывает все вокруг — так же, как в день своего приезда в Париж разглядывал шикарный ресторан. Затем выходит на цыпочках из этого святилища и закрывает за собой дверь. В течение пятнадцати секунд декорации не меняются, и за это время мы успеваем услышать отрывок разговора:

— Господа, осталось еще самое важное из всех дел — дело Ян Цзы.

— Э, оно чревато серьезными дипломатическими осложнениями.

— Как раз это и делает его значительным и интересным.

— Вам известна немецкая нота, господа,— говорит принадлежащий к духовенству старик, подняв указательный палец.

— Что вам до этого? — насмешливо и нагло отвечает молодой капиталист.— Ведь вы уже вышли из призывного возраста.

На этом эпизод кончается.

Беппо задумчиво сходит вниз по лестнице. Навстречу ему поднимается дама. Жена господина директора. Это женщина не первой молодости, но элегантная и кокетливая. Перед ней — ярко освещенный сиянием люстр Беппо. Мадам де ля Риссот, зрелая светская дама, поражена. Поднявшись на несколько ступенек, она оборачивается. Короткое молчание, между ними пробегает электрический ток. Она снова медленно идет вверх по лестнице. Он сначала колеблется, затем, приняв смелое решение, следует за ней. Надпись: «Он поднимается по ступеням богатства и славы».

Прошел год. Беппо сидит в директорском кабинете, принимает у себя сенсационно важную персону и в пять секунд решает какое-то дело. Столпившиеся на пороге служащие украдкой поглядывают на него и объясняют, что он сделал такую блестящую карьеру благодаря покровительству жены директора, которая вертит мужем как хочет. Кроме того, неизменно прислуживаясь к алчному хозяину, Беппо предал своего друга, доверившегося ему. Впоследствии господин де ля Риссот, устав сверх меры, удалился от дел и Беппо оказался на вершине. «Он великий человек, этот юноша, и далеко пойдет. Я это всегда предсказывал»,— говорит Мелюссон.

IV

ЗАЛ ГЛОБУСА

Взгляд зрителя проникает сюда в разгар оживленного заседания Большого административного совета. Слышен конец фразы, брошенной одним из заседающих господ: «...следовательно, по разнообразию представленных интересов мы составляем здесь подлинный Административный совет Европы».

Ряды голов крупным планом. Классические типы толстого капиталиста в духе гравюр Мазерееля (это необходимо для ясности и простоты). Очень старый и расслабленный президент восседает на подушке на большом кресле-троне. Но мы видим и более реальные типы современных дельцов — активных, энергичных, умных, франтоватых и хищных. На одном из позолоченных кресел — Беппо; он быстро взобрался вверх по социальной лестнице. Шум голосов, жестикуляция. Однако слышны лишь обрывки разговоров, из которых мы узнаем самое главное, сталкиваемся с несколькими основными характерными фактами. Такой сценический прием, при котором из всего звучащего и движущегося ансамбля выделяются наиболее значительные фразы, позволяет не теряться в деталях, что неизбежно произойдет при попытке передать эту сцену во всей ее полноте. Впрочем, этот прием должен быть применен и в других частях фильма.

Звуковые элементы, составляющие каркас этой сцены, особенно важной в развитии всего произведения, относятся:

к уничтожению значительных запасов продовольственных товаров, а также большого количества автомобилей («Дженерал моторс»), не распроданных и отягощающих балансы;

к установлению демпинга на один из продуктов Центральной Европы — операция, которая будет проведена тем более успешно, что в прессе усилится кампания против «советского демпинга»;

к снижению производства стали, во-первых, для того, чтобы удержать

на нужном уровне цены, а также для того, чтобы иметь убедительную причину уменьшить, посредством нескольких локаутов, количество занятой рабочей силы. Чтобы упростить дело, решено попытаться спровоцировать забастовку.

Рассматривается возможность получения некоторых важных заказов на поставку новой, восхитительной модели пулемета. Предполагается снабдить такими пулеметами разные страны, соразмерно величине их армий — «чтобы никому не было завидно». Для проведения этой коммерческой операции предполагают вступить в переговоры с некоторыми политическими деятелями, а также открыть филиалы, которые тут же проектируются на бумаге.

Затем говорят об одном важном предполагаемом событии.

— Вам кажется, этот народец склонен начать военные действия?

— Да, если у него будет много оружия и снаряжения.

— Это будет операция с астрономическими цифрами, ведь мы сможем выпустить большие надежные займы.

— Нам это дорого обойдется,— говорит капиталист старого закала.— Заказы и комиссии по займу не покроют наших расходов, ведь у нас немало промышленных сооружений на границе.

— Восстановление разрушенного само по себе может стать выгодным дельцем. Но, кроме того, сколько бы мы ни истратили — все это ничто по сравнению с тем, что представит для нас выгодный торговый договор. А мы получим такой договор либо от одной, либо от другой враждующей стороны, если сумеем вовремя устроить наши дела, ориентируясь на тот поворот, какой примут события.

— Но необходимо провести кампанию в печати. И еще какую кампанию! Здесь нелегко идти против течения.

— Вот увидите. Я возьмусь за это сам!

Они начинают говорить еще и о других делах, но тут старый президент вдруг жалобно вскрикивает. Все вскакивают с мест, суетятся вокруг него. Он бормочет:

— Господа, это мочевой пузырь. Вот уже пятнадцать дней, как мне невероятно трудно мочиться.

Один из членов совета бросается к президенту.

— Мы будем ухаживать за вами, господин президент. Моя жена будет за вами ухаживать.

Они, как рабы, суетятся вокруг старой позолоченной развалины.

Примечание автора к этому эпизоду. Я колебался между несколькими возможностями: как дать в этой картине обобщенное, но ясное и обладающее подлинностью изображение алчности крупных капиталистов. Показать ли реальных людей, сохранив портретное сходство, привлечь действительные факты, в частности факты, вызвавшие войну 1914 года? Или же собрать факты, имевшие место то тут, то там, проверенные в смысле истинности, но произвольно объединенные, и представить их как первопричину войны (иными словами, «романизировать» этот отрывок, сохранив за ним вместе с тем полное правдоподобие)? Можно ли использовать первый способ? Я думаю, по различным соображениям, что нельзя; однако, может быть, это и не совсем исключено. Что думает по этому поводу Союзкино? Есть еще третья возможность: представить себе условия, при которых может возникнуть война в настоящее время, например между Францией и Италией или Японией и США. Это придало бы картине предостерегающий смысл.

Должен добавить, что набросок предыдущего эпизода сделан мною лишь с целью дать приблизительное представление об этой части фильма и не является окончательным решением.

V

Что означают в жизни эти замыслы капиталистических верхов?

Телефонные звонки по поводу заказов и биржевых спекуляций. Дипломатические телеграммы, в духе телеграмм и официальных коммюнике,

опубликованных после войны 1914 года в качестве документов, характеризующих причины ее возникновения.

Телефонный звонок редактору газеты. Газеты искажают факты и затем распространяют дезинформацию в нескольких миллионах экземпляров. Крупный делец звонит по телефону в редакцию. Он велит своему секретарю прочитать полученные верные сведения и тут же диктует информацию, совершенно искажающую действительность.

Эпизоды, воссоздающие атмосферу первой фазы войны, могут быть дополнены символическим, но реальным изображением индустриальной техники, используемой для уничтожения миллионов людей, а также типографских машин, которые, втягивая в себя кусок живой действительности, пропускают его через свои вальцы и превращают в испещренные ложью листки бумаги, разлетающиеся во все стороны.

Маленькая вставная сцена. Действие происходит в парижской епархии. Короткий диалог между особой высокого церковного сана и важным подчиненным. Речь идет о фальсификации заповедей божьих в Парижском катехизисе (что на самом деле имело место в 1914 году).

Затем мы возвращаемся, так сказать, на землю. Известие об объявлении войны проносится по всему миру как ураган. Долгий барабанный бой захлестывает все пространство, и мы видим, как возникают неясные контуры призванных на войну людских толп. Мы приближаемся к ним не только зрительно, но и в слуховом отношении. Они собираются в трех различных местах — во Франции и в двух далеких от нее странах. Поражающее сходство внешней обстановки и тех чувств, какие обуревают эти три разноязычные толпы. Им говорят в точности одно и то же: «На нас напали. У нас хотят отнять наш родной дом и т. д.». Заразительная горячка, безумие, охватывающее ослепленные толпы. Демагогическая речь господина Леонса, интеллигента-краснобая: «Мы — чемпионы свободы!» На фоне декораций, воспроизводящих характерную архитектуру иностранного города, длиннобородый господин изрекает ту же фразу перед неподвижно застывшей толпой.

Внутренность нескольких домов. Бросаем взгляд — и проходим мимо. Сын или отец семейства готовится к отъезду. Господин Мелюссон, живущий со своими родителями, укладывает багаж. Бебер экипируется. Норбер также. К нему приходит Лиа. Она говорит: «Ваш брат Беппо всемогущ. Если бы вы обратились к нему...» — «Не хочу»,— отвечает Норбер.— «Вы правы»,— произносит Лиа и вздыхает.

VI

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

На борту самолета. Внизу виднеются долины, обозначены линии границ. Впечатляющее и ни разу еще не показанное в кино зрелище: реальные границы между странами, увиденные с высоты птичьего полета. Ясно, что разные страны ничем не отличаются друг от друга, их разделяет искусственная черта (франко-немецкая, франко-итальянская, австро-немецкая границы и т. д.). Ничто не обладает бóльшим сходством, чем две страны по обе стороны границы.

Штабной пункт генерала, командующего армией. Линии окопов. Мы стремительно приближаемся к ним. Вот они уже совсем близко от нас, и мы проносимся вдоль нескончаемых траншей, заполненных солдатами всех наций.

Пунктирный рисунок атаки, увиденной с высоты восьмисот метров. Каждая точка на рисунке — это человек. Мы приближаемся достаточно близко, чтобы различить людей. Вот те, что окопались и ждут.

Изображение расплывается, уступая место другому: группе солдат другой национальности. Образы повторяются чередуясь. Два священника (эпизод из моей книги «Огонь»), в немецкой армии и во французской; оба они выкрикивают сами и заставляют выкрикивать солдат «С нами бог!», с одной стороны — "Dieu est avec nous!", с другой стороны — "Gott mit uns!".

Драматический эпизод сближения войск и схватки врукопашную. *Замедленная* съемка падающих солдат, *замедленная* съемка ныряющего в пустоту смертельно раненного солдата, истекающего кровью...

Издали, из тумана, над этими сценами выплывает призрачная фигура господина Леонса, апостола «Священного Союза» и «жертв, необходимых во имя Свободы». Он исчезает, и вместо него появляется священник, благословляющий солдат на поле боя. В руках у него крест с распятием. Крест постепенно вырастает, контуры его искажаются и нависают над землей, Христос приобретает чудовищный, грозный облик, пальцы его превращаются в когти, и крест постепенно обрушивается на людей как огромное орудие пытки (эффект, достигаемый мультипликацией).

VII

В верхах живут счастливо. Беппо выходит из огромного сверкающего автомобиля и подымается по царственной лестнице. Он направляется к молодой, красивой, обладающей четырьмя миллионами долларов мисс Дороти Хабсон, за которой он ухаживает. Дело продвигается успешно. Однако в тот самый момент, когда Беппо уже намечает день свадьбы, появляется непредвиденный соперник. Этот соперник не кто иной, как аббат Мезанже; пользуясь тем, что богатая наследница не чужда мистических настроений, он сперва покоряет ее духовно, а затем решает завладеть всей ее особой. Мисс Дороти уже заметила, что этот высокий, бледный юноша бывает очень красив, когда снимает очки.

Лиа работает в Париже. Беппо приходит к ней. Продолжая рассчитывать на то, что ему удастся поладить с богатой наследницей, он все же хотел бы возобновить прежние отношения с Лиа — этого требуют его чувственность и уязвленное самолюбие. Он надеется произвести на нее оглушающее впечатление рассказами о богатстве, приобретенном им в столь короткий срок. Лиа с большим достоинством выпроваживает его. Ее нельзя заворожить богатством. Беппо, набивая себе цену, сделал ей несколько признаний, в которых сквозит вся его низость. Он ей противен.

VIII

На этот раз мы входим в дом простых людей. Этот эпизод должен изобразить и заклеймить чудовищный эгоизм тех, кто обычно живет припеваючи в дни народного бедствия, нисколько не смущаясь тем, что множество других людей страдает. Из большой прессы богачи знают, что происходит в мире, но такого рода новости лишь нагоняют на них скуку. Мелкое и эгоистическое восприятие событий; они интересуются ими лишь в той мере, в какой из них можно извлечь выгоду для своих ничтожных личных дел.

Семья Мелюссона, средней руки чиновника, вступившего первым в сношения с Беппо-триумфатором, но продолжавшего прозябать, пока ему не пришлось отправиться на войну. На фронте он был произведен в лейтенанты. Его отец и мать очень гордятся этим и показывают всем большой портрет сына в офицерском мундире. Они хотели бы, чтобы война продолжалась — тогда их сын станет капитаном или даже майо-

ром. Возвращение Мелюссона. Он искалечен. У него нет руки и ноги. Это подпрыгивающее на одной ноге чудовище появляется рядом с портретом, на который он так недавно был похож.

IX

На поле боя у людей пробуждается самосознание. Когда в их ужасающей жизни изредка выдаются передышки, они собираются вместе и в раздумье спрашивают себя: «Для чего мы сражаемся?» Кое-кто просвещает их, раскрывает перед ними всю правду. Но командиры следят за солдатами. Военные трибуналы действуют. Судят Бебера по обвинению во вредном образе мыслей, а также старого ополченца-резервиста, отца семейства, который, ошибочно приняв дежурных по кухне за немецкий патруль, крикнул «боши!» и был осужден за это как сеющий панику (действительный случай).

Ускоренное заседание военного трибунала, наспех разместившегося на какой-то ферме. Обоих солдат допрашивают в кухне. Пытаются заставить их признаться в политической деятельности. «Признайся, что ты агитировал против своей родины». «Признайся, что ты агитировал за революцию». Наплыв — и перед нами сцена из эпохи инквизиции. Священники склоняются при допросе над обвиняемыми. «Признайся, что ты богохульствовал»,— требуют они. Капрал Норбер защищает Бебера. Покоряющая правдивость его защитительной речи подействовала на военный трибунал (разумеется, это не речь, а всего несколько сжатых фраз).

Но вот в зал суда как буря врывается генерал. Он строго выговаривает членам военного трибунала: «Вы слишком либеральничаете! Расстрелять их, чтобы другим неповадно было». Офицеры молчат и повинуются. У выхода генерал, гордый только что совершенным поступком, встречает кинооператора, посланного на фронт снимать кадры для официальной пропаганды. У генерала появляется идея (эта важная персона каждую минуту хлопает себе по лбу и восклицает: «У меня есть идея!») — надо заснять казнь, пусть она послужит примером для других. Он дает соответствующие приказания. Конец этого эпизода.

Рассвет. Перед нами долина. На пригорке — большое дерево, смутно напоминающее крест. Человек роет яму. Мимо проходит солдат. Человек объясняет ему, что вырыл могилу для двух приговоренных к смерти. Сейчас их сюда приведут и расстреляют.

Их приводят. Церемония казни весьма парадная — в назидание другим. Киноаппарат вращается. Сама казнь не показана. Ее загораживают спины солдат и кинооператор. Но незадолго до того, как командир взвода скомандует «пли!», раздастся крик привязанного к столбу Бебера — великолепный крик протеста, возвышающийся надо всем, что происходит перед самим залпом: «Да здравствует братство трудящихся!».

Декорации меняются. Другая сцена, которая никогда еще — и не без причин — не только не снималась в фильмах, но даже не была описана: расстрел каждого десятого в роте. Рота отказалась идти на передовую. Солдат арестовали, отняли у них оружие, и командование приняло решение — расстрелять каждого десятого. Солдат приводят. Им читают приговор. Двести солдат долго и тщательно строят по ранжиру. Потом им приказывают рассчитаться. Десятого заставляют выйти, его ведут на расстрел. Так же — двадцатого, тридцатого и т. д. Крупным планом — лица людей, которых жребий обрек на казнь. Несколько потрясающих эпизодов: например, один раз произошла ошибка в счете; выражение ужаса и затем безумного счастья на лице того, кто сначала думает, что жребий пал на него, а затем узнает, что на соседа.

После этой картины — другая, столь же короткая и столь же трагическая: речь идет о подлинном эпизоде — бунте в Суассоне. Взбунтовавшихся солдат, в конце концов, удалось захватить врасплох, обезоружить и арестовать. Здесь еще больше солдат, чем только что расстрелянных «десятых» из отказавшейся сражаться роты. Их собирают, им говорят: «Вас отправят на передовую; там выдадут оружие». Сажают их в поезд. Вечером поезд прибывает в незнакомую местность. Уже почти стемнело. Солдат заставляют выйти из вагонов и пойти по усеянному трупами полю, перерезанному колючей проволокой. Затем их собирают всех вместе на небольшом участке. Им говорят: «Стойте здесь. Сейчас получите оружие». Сопровождающий их офицер с лицом, искаженным странной гримасой, отходит на несколько шагов, пригибается и, устремившись вперед, бежит, как злоумышленник. Солдаты ждут, опоминаются, начинают переговариваться. Один из них, рассматривая местность, говорит: «Мы окружены со всех сторон проволокой». Вдруг где-то, довольно далеко от них, падает и взрывается снаряд. Затем другой — поближе. Наконец третий бьет прямо по живой человеческой массе. Солдаты пытаются бежать, но они не могут вырваться из круга, по которому продолжают бить снаряды. Сплошной поток огня вскоре превращает их в груду трупов. Мы видим лужу крови, растекающуюся все шире и шире. Это — работа 75-миллиметровых французских орудий. Вот как Франция относится к своим сынам.

Кадр застывает перед нашими глазами, и в ту же минуту чей-то отчетливый голос произносит дикторский текст: «Кто виновен в этом? Кучка людей. Что они сейчас делают? Вот они!» И перед нами уже не поле боя, а сверкающий огнями ресторанный зал, смеющиеся, блестяще разодетые, роскошные, торжествующие люди, и среди них — кое-кто из тех ответственных за войну дельцов, которых мы уже видели за работой.

Мы снова у пригорка с деревом в форме креста, где похоронены Бебер и старый ополченец. Это место посещает группа журналистов и высокопоставленных лиц в сопровождении штабных офицеров.

После осмотра этими лицами боевого участка фронта генерал возвращается с ними в замок, где он расположился за третьей линией обороны. Окруженный своим штабом генерал говорит гостям: «Мы покажем вам несколько заснятых на пленку эпизодов». Прежде всего — сцены разжалования и казни. У генерала «идея»: «прокрутить фильм с конца!». И вот перед нами столб с привязанным к нему чудовищно изуродованным трупом. Но фильм крутится в обратную сторону, и мы видим, как этот труп оживает. Дым, звуки выстрелов; раны на теле казненного затягиваются, он выпрямляется, его искаженное лицо проясняется. Человек улыбается и кричит: «Да здравствует братство трудящихся!».

Увиденная с птичьего полета полоса «ничьей земли» — пространство между двумя линиями окопов. Справа, перпендикулярно к зрителю,— французские окопы. На левом краю — немецкие. Две маленькие человеческие фигуры движутся в этих окопах на двух противоположных сторонах необъятно широкой равнины. Они взбираются на бруствер и идут навстречу друг другу. По мере продвижения фигуры солдат все растут и растут, а огромное пространство, разделяющее их, уменьшается. По некоторым различиям в мундирах мы узнаем, что это люди, принадлежащие к воюющим армиям разных стран. Вот они уже замечают друг друга, останавливаются в раздумье, нерешительно протягивают руки и, наконец сблизившись, обмениваются крепким рукопожатием. Когда мы видим их рядом, нам начинает казаться, что они очень похожи. Появляется надпись: «Когда же, наконец, повсюду увидят, что все люди так похожи друг на друга?».

X

Следующая картина должна, с помощью нескольких массовых сцен — обобщенно, но вместе с тем более точно и полно, чем это делается обычно, — запечатлеть военные разрушения. Надо отказаться от описания частностей — их уже достаточно дали фильмы о войне — и показать нечто вроде живой статистики, сохраняющей, однако, конкретность. Перед нами поле, на котором развертывается атака. Люди падают. Здесь используется не замедленная съемка, а, напротив, ускоренная. На огромном пространстве — переплетающиеся между собой тела убитых солдат. Над этой лежащей и скорчившейся толпой проносятся приметы разных времен года. Ясное небо сменяется грозовым, ночь следует за днем, яркое солнце приходит на смену дождю и снегу. На переднем плане дерево сначала покрывается почками, листьями, затем ветви его обнажаются. Толпа мертвецов также обнажается. Тела теряют форму, тают, лохмотья, оставшиеся от одежды, развеваются ветром. И вот на экране — глубоко впечатляющая фотография черепов у Дуомона.

Так можно было бы оживить некоторые данные статистики, зафиксированные на экране; вызвать, например, наглядное, чувственное представление — что означает цифра 3 или 4 тысячи убитых (то есть показать, какой была длившаяся четыре года мясорубка империалистической войны, когда ежедневно истреблялось так много людей).

Если в процессе постановки фильма окажется возможным на несколько минут удлинить эту картину, можно также показать вызванный войной материальный ущерб: разрушенные деревни и города.

В этой же части было бы уместно изобразить несколько подлинных сцен потрясающего варварства — например, истребление штыками, по приказу капитана Матиса, более сотни безоружных немецких пленных. Этот факт, много раз описанный и осужденный мною, можно показать с помощью нескольких кадров. Пленные выстраиваются. Капитан Матис приказывает их уничтожить. Солдаты не решаются выполнить этот приказ, но капитану удается сломить волю одного из них, и тот, бросившись на пленного немца, прокалывает его штыком. Затемнение. Наплыв. Пленные распростерты на земле, а на угрюмых лицах палачей, вытирающих свои штыки, выражение какого-то садистского безумия.

XI

После войны. Официальная церемония, на которой сообщается о решении захоронить останки Неизвестного солдата. Пышные речи; часть их передается по радио, и мы видим, как разные люди из различных общественных кругов слушают эту официальную проповедь.

Члены комиссии, получившие поручение доставить тело Неизвестного солдата, проезжают по полю боя. Они останавливаются возле пригорка, где похоронены двое солдат. Никто не знает, что они были расстреляны. Тело одного из них выкапывают — по какому-нибудь признаку зритель узнает Бебера. Труп Бебера попадает в число трупов, из которых посредством очень сложной и запутанной процедуры будет выбран тот, кому отныне суждено покоиться под Триумфальной аркой.

XII

Но, кроме убитых, есть еще и оставшиеся в живых — не люди, а обрубки людей. Двое безногих, похожих на жалких калек Двора Чудес, пришли навестить фронтового товарища. Тот сидит, по-стариковски развалясь в кресле, и кашляет. «Тебе повезло, у тебя все четыре конечности

целы, и еще получаешь пенсию». На его лице — гримаса улыбки. Оставшись один, он рассматривает рентгеновский снимок: «Вот мои внутренности!». Его тело становится прозрачным. Сквозь ребра видны дырявые легкие. Он кашляет, и его внутренности содрогаются. Он подносит руку к черному пятну на снимке. Рука в свою очередь оголяется от покровов, превращается в скелет руки, в глазных орбитах нет глаз — это две черные дыры, такие же, как те, что мы видели в его легких.

XIII

Перед нами Норбер — он еще в солдатской шинели — и Лиа. Только что умер старик отец. У его смертного одра они становятся женихом и невестой. Норбер говорит о неизбежной старости и смерти: есть нечто в человеческой судьбе, чего изменить нельзя; но многое можно изменить в ходе развития общества — это отношения между людьми. Несправедливые отношения. Нельзя помешать смерти, но можно помешать человеку эксплуатировать, угнетать и убивать других людей. Лиа приходит к ясному выводу: «Значит, надо исцелить те недуги, которые исцелимы». Картина открывает перспективы будущего, перспективы человечной жизни. Эта перспектива вся озарена светом и пронизана радостью.

XIV

Ложь и действительность. Официальная интермедия. Министр (тот самый, что красовался на Административном совете) проводит на заседании Совета министров решение уменьшить пенсии. Заседание Совета министров. Несколько хорошо известных нам лиц. «От каждого требуются жертвы!» Вдруг министр смотрит на часы. Он торопится. Он должен ехать на открытие памятника жертвам войны. Мы видим его на трибуне, в центре празднично украшенной площади. Жестикулируя, он произносит речь о том, как государство заботится о бывших фронтовиках, как оно любит их. Голосом, в котором от волнения появляется дрожь, он произносит две-три характерные фразы, предназначенные для толпы инвалидов войны, притащившихся на эту церемонию.

XV

Все начинается сначала.

Беппо вытеснен аббатом Мезанже, который — внезапный театральный эффект! — сбрасывает свою сутану и женится на богатой американской наследнице. Оба беспринципных авантюриста теряют голову при мысли о столь богатой добыче. Они бросают друг другу в лицо обвинения, лишний раз обнажающие их собственную роль, роль их класса и касты. После этого Беппо смиряется. «Я потерял миллионы,— говорит получивший отставку «влюбленный».— Ничего, я еще найду их».

Перед нами снова кишащий людьми зал Глобуса. Это все те же лица — вплоть до старого, все еще живого идола, возлежащего в центре зала на своем троне, как злокачественная лихорадка возлежит на своем троне — ложе больного.

Все начинается сначала... Мы слышим, как они произносят: «Забастовки нельзя ни в коем случае допустить... Если им начнут подражать рабочие-туземцы, все погибло...».— «Придется двинуть войска». После этой короткой сцены — несколько характерных эпизодов, воспроизводящих резню в Вин, в Индокитае, где войска стреляли в безоружных демонстрантов.

РЕДКАЯ фотография

Помещаемые в этом номере фотоснимки Анри Барбюса взяты из его архива в Париже и присланы по нашей просьбе Аннеттой Видаль.

Август 1914 г. Барбюс (третий справа) на фронте. →

← 1919 г. Лион, конгресс ветеранов войны.

1925 г.

←1932 г. Конгресс в Амстердаме (?)

1933 г. Нью-Йорк

← 14 июля 1935 г.

XVI

У каждого своя судьба. Норбер и Лиа. Любовь совместно борющихся людей. Они приехали в Бретань помочь бастующим бретонским рыбакам. Зимняя буря. Любовная сцена на фоне разбушевавшейся природы. Их чувство основано прежде всего на взаимопонимании двух близких людей и радости совместного труда. Оба они видят высокую конечную цель: освобождение человеческих масс. Это для них единственный рай, и это — земной рай. Уже есть на земле место, где он возникает. (Вдали, в тумане, на фоне неба вырисовываются контуры московского Кремля; образ очень ясный, но возникающий на короткое время и переданный в сдержанной, строгой изобразительной манере). Надо любить жизнь и не сторониться ее. Любовь озаряет жизнь, преображая все, даже природу. Прекрасный кинематографический эффект: гроза бушует, высоко вздымаются волны, дерево гнется, порывы ветра срывают с крестьян плащи. Эффект замедленной съемки: все это движение становится гармоничным, как танец; великолепный изгиб больших пенистых волн, вздымающихся и плавно ниспадающих, рисунок наклоняющихся веток, тканей, развевающихся на ветру.

Молодые люди сознают, что их судьба неотделима от общей судьбы человечества. Как бы трагичны ни были отдельные этапы схватки и грозовые удары судьбы, борьбу увенчает сладостная победа.

XVII

Панорамический эпилог, в котором вновь возникают образы пролога.

Вдоль стола на стульях-тронах — представители верхов. Мы уже видели этих людей, главных виновников войны, хозяев. Они держат в своих руках нити. Каждая из этих нитей связывает их с другими действующими лицами, с марионетками, агентами, исполняющими их приказания: генералом, судьей, министром, редактором газеты, епископом, ученым. Те в свою очередь держат в руках нити, превращающиеся в телеграфные провода, которые покрывают огромную часть рельефной карты земного шара. Снова, как в начале, калейдоскопический поток сети проводов.

Наплыв. Затемнение. Затем — мы движемся вниз. Мы под землей. Сначала — мрак. Перед нашими глазами — гроб; намечается и затем вырисовывается человеческая фигура, подымающая над собой пласт земли. Это Неизвестный солдат. Это казненный. Вначале расплывчатый и бесформенный, он все отчетливее встает перед нами, и мы видим точно ту же улыбку, какая была у него на лице, когда его убивали. Рот раскрыт, чтобы издать клич борьбы и веры в торжество будущего. Человек выпрямляется, поднимает пласты земли и, как гигант, сотрясает и обрушивает декорации, воздвигнутые над ним для пышных церемоний, подмостки, с которых болтают ораторы власть имущих... Человек, вставший из могилы и поднявший пласты земли, остается один. Рядом с ним появляется фигура капиталиста — может быть, Беппо, элегантного, сильного, беспечного, который произносит: «У нас есть миллиарды». Человек, восставший из могилы и уже наполовину выпрямившийся, раскидывает широко руки и говорит: «Нас миллиарды!»

На экране появляется двойная заключительная надпись: «Между нами и ими — весь мир и человечество».

«Войну можно сокрушить, лишь поразив ее в голову, скрытую за этими масками».

Эскиз сценария написан в 1932 году для Союзкино. Окончательный вариант сценария не был создан. Появляется в печати впервые.

«НЕУГАСИМОЕ ПЛАМЯ». *Рис. В. Богаткина.*

Лю Бай-юй

НЕУГАСИМОЕ ПЛАМЯ

Документальная повесть

Перевод с китайского В. Смирнова

ПОДВИГ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА

Китайский писатель Лю Бай-юй написал интересную повесть о трактористе Ли Лай-цае, одном из тех людей, которые своей настойчивостью, выдержкой и терпением сумели преодолеть тяжкий недуг и полностью включиться в трудовую жизнь. Я хорошо помню Ли Лай-цая, приезжавшего в нашу страну в составе одной из китайских делегаций. Жизнерадостный и деятельный, он мне очень понравился. Он удивлялся, как мне удается управлять сложным механизмом самолета. Я, в свою очередь, разъяснил ему, что трактором управлять труднее — требуется куда больше физических усилий.

Но мне хочется сказать не только о подвиге Ли Лай-цая, а вообще о силе и мужестве характера упорных и смелых людей социалистического общества, о той воле и устремленности, которая позволяет простым людям ежечасно совершать славные подвиги: новоселам осваивать целину, людям во имя науки в труднейших условиях полярной ночи зимовать во льдах, вернувшемуся к труду Прокофию Нектову сесть за комбайн, советским ученым создавать искусственные спутники Земли, а инвалиду Отечественной войны Н. Г. Евдокимову работать над проектом монумента в честь первого советского спутника.

Чем вдохновляются эти люди, какая сила движет ими? Повесть о Ли Лай-цае правильно подчеркивает эту необычайную силу, это неугасимое пламя — коммунистическую идейность, целеустремленную убежденность. Ли Лай-цай обеспечен государством, он ни в чем не нуждается, но во что бы то ни стало, несмотря на все трудности, добивался и добился места в трудовом строю. Его усилия были направлены не на создание личного благополучия; он старался работать, как все, как миллионы строителей нового социалистического Китая, и упорно преодолевал все и всяческие препятствия.

Кое-кто не поймет этого, потому что не захочет понять. Как-то Борис Николаевич Полевой рассказывал мне: два приехавших в Москву американских туриста поспорили между собой, основана ли «Повесть о настоящем человеке» на действительных фактах или это вымысел писателя? Поспорили, как это принято в Америке, на сотни долларов. За разрешением спора обратились к Б. Н. Полевому. Тот не стал ничего доказывать, а просто взял телефонную трубку, чтобы звонить мне. Тогда один из спорящих с тяжелым вздохом пересчитал приготовленные доллары и протянул другому.

Год назад один польский писатель позволил себе с иронией говорить о «жертвенности», которую, дескать, проповедует литература социалистического реализма. Никакой проповеди жертвенности в нашей литературе нет! Стоит прочитать не только книги советских авторов, но и повесть Лю Бай-юя, чтобы убедиться в этом. История Ли Лай-цая полна жизнеутверждения, полна торжества полноценной человеческой личности, полна мужества и уверенности в победе. Пример Ли Лай-цая — пример упорства и настойчивости, которые характеризуют нового человека — преобразователя мира.

Алексей Маресьев

Ранним майским утром — это было в 1956 году — я приехал в одну из гостиниц на западной окраине Пекина для встречи с товарищем Ли Лай-цаем. Я мало что знал о нем, мне было только известно, что в корейской войне он потерял ноги, но снова научился ходить и даже сделался трактористом. Войдя в гостиницу, я увидел на площадке лестницы молодого человека среднего роста, в синей форменной куртке и коричневых ботинках. Заметив меня, он быстро подошел, протянул руку и, улыбаясь, сказал, что он и есть Ли Лай-цай. До сих пор, вспоминая нашу встречу, я невольно удивляюсь. Неужели у этого загорелого, улыбчивого, подвижного парня, взгляд которого так и светится дружелюбием, — неужели у него нет ног? Ведь он легко и свободно переступает ногами в коричневых ботинках и синих брюках, совсем как мы с вами! Он пригласил меня в свою комнату...

И вот мы сидим в этой комнате, сплошь залитой золотыми потоками солнечного света. Я выглянул в окно, и перед моими глазами открылось чудесное зрелище — живая картина построения нового мира. Проносились поезда, груженные стройматериалами, и белые клубы дыма серебром сверкали на солнце; несметные армии рабочих на лесах строительных площадок устанавливали металлические каркасы зданий и возводили кирпичные стены; высоченные подъемные краны с трепещущими на крышах кабин красными флажками плавно ворочали стрелами в вышине. Этаж за этажом, словно из земли, вырастали красные и синие громады домов. Я все смотрел и смотрел в окно, как вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел молодой человек с книгами в руках. Ли Лай-цай поднялся и взял у него книги. Мне удалось разглядеть названия: «С-80» и «Эксплуатация и обслуживание венгерского трактора «ДТ-413». Кем был Ли Лай-цай раньше? — невольно задал я себе вопрос. Сын многострадальной китайской деревни, он жил в беспросветной нищете и лишениях, в темноте и невежестве, понятия не имея о том, что такое наука. А теперь в руках у него книги, знания, он полон надежд.

Да, Ли Лай-цай лишился ног, лишился возможности сражаться с оружием в руках. Когда он с болью в сердце вынужден был оставить передовую линию, жизнь, как ему казалось, утратила для него всякий смысл. Но великим огнем горела его душа, и великий огонь пылал вокруг него. Теперь он не только вернул утраченное, а движется все вперед и вперед по солнечному пути, ведя свой тяжелый трактор «С-80». Я невольно спрашиваю себя: разве он необыкновенный человек? Нет, он такой же, как любой из нас, из нашей братской семьи. Мне вспоминается: за последнее время, находясь в гуще народной жизни, я неоднократно открывал в нашем народе чудодейственную силу, давшую нам возможность вытерпеть поистине нестерпимые муки, преодолеть поистине непреодолимые трудности. Пусть же предстанет перед нами сам простой и бесхитростный Ли Лай-цай и правдой всей своей жизни поможет понять это.

1

Всю ночь дул северный ветер, горные склоны и леса оделись снегом. На фронте в Корее наступило самое холодное время года. После перехода через Ялуцзян часть, в которой служил Ли Лай-цай, днем и ночью безостановочно двигалась на сближение с противником. Бойцы видели на своем пути лежащие в руинах деревни, выжженные поля и леса. Повсюду, куда ни кинь взгляд, днем и ночью полыхало пламя и вздымались к небу столбы черного дыма. Ли Лай-цай понимал: вся Корея сейчас в огне, вся Корея истекает кровью. И без того скупой на слова, он теперь стал еще молчаливее, и только во время переходов усерднее помогал уставшему товарищу нести винтовку да шагал чуть быстрее обычного.

Но вспомним: разве в ту тяжелую пору не все наши люди рвались в бой сквозь сплошной артиллерийский огонь столь же безоглядно, как и он?

Сегодня, перед рассветом, когда ночной мрак сгустился еще больше, а ветер выл еще яростнее, часть Ли Лай-цая расположилась биваком на лесистом горном склоне; всю ночь она преследовала отходящего противника. Земля в каштановой роще, где они остановились, была сплошь устлана толстым и мягким ковром побуревших сухих листьев. Многие из бойцов, едва опустившись на землю и подложив под голову вещевые мешки, тотчас уснули. А Ли Лай-цай? Взглянув на небо, он увидел на востоке холодный свет утренней зари и тут только почувствовал, как застыли его плечи: его бил озноб. Он тотчас поднялся: надо поскорее, еще до начала действий вражеской авиации, отыскать походную кухню, съесть что-нибудь горячее и товарищам принести согреться. Ведь могут дать срочный приказ — и опять придется выступать. Он шел под гору, северный ветер взметал сухие листья по обочинам дороги. Лес полнился их шуршанием, они словно говорили: погоди, скоро закружит вьюга, забушует ветер. Ли Лай-цай продолжал шагать вперед, но вдруг, обойдя гору и глянув перед собой, он застыл на месте с широко раскрытыми глазами. Что это? Откуда зарево впереди? Он прибавил шагу, потом побежал. Держась извилистой, петлистой тропинки, он пересек небольшую речку, затем рощу, и на его лицо легли багровые отсветы.

Это горела придорожная корейская деревня — несколько крытых соломой домиков. Багровое пламя с ревом вырывалось из клубов черного дыма. Ветер стал утихать, но огненные столбы бурно вздымались к небу, трепеща и струясь, словно красная матерчатая завеса.

Ли Лай-цай посмотрел себе под ноги. Так и есть — вот пустые консервные банки, бутылки из-под вина, штыки, латунные гильзы, вот беспорядочное сплетение рубчатых следов автопокрышек и отпечатки солдатских сапог, вот пачки из-под сигарет и истрепанные иллюстрированные журналы с фотографиями красоток. Все говорило о недавнем пребывании американцев.

«Только что были здесь, гады!» — подумал Ли Лай-цай, и его взгляд упал на один из брошенных штыков. Ли Лай-цай нахмурился, подошел поближе и поднял штык. На нем была кровь, совсем свежая, незасохшая кровь! Значит, враги только что убивали здесь людей. Ли Лай-цай медленно обвел взглядом пожарище, и до его слуха донесся детский плач. Сердце его мучительно сжалось. Перед горящим домом, стоя на коленях, одиноко плакала корейская девочка лет двенадцати, в белом платье; плечики ее были высоко подняты, лицо закрыто руками. Вокруг Ли Лай-цая собралось несколько корейских крестьян; они рассказали, что девочка вместе с семьей — их было восемь человек — спряталась в окопе за домом. Там их нашли американцы и всех перекололи штыками, а напоследок дали очередь из автомата. Из всей семьи осталась в живых она одна.

Неукротимое пламя ненависти запылало в сердце Ли Лай-цая, когда он выслушал рассказ крестьян. Он долго смотрел в ту сторону, где скрылся беспорядочно отступавший противник: предутренний мрак прошивали красные стежки трассирующих пуль...

Политрук, спускавшийся с горы, заметил Ли Лай-цая и подошел к нему. Он сразу понял, что́ произошло, и, повернувшись к Ли Лай-цаю, мягко сказал:

— Не у вас одного, товарищ Ли Лай-цай, у каждого из нас сердце кровью обливается, когда видишь такое...

Огонь рос и грозно ширился, надломились и рухнули стропила, языки пламени яростно взмыли ввысь, озарив красными отблесками низко нависшее предрассветное небо. Ли Лай-цай молча смотрел на маленькую

корейскую девочку, а она, совсем еще ребенок, с тоненькими бровками и большими глазами, полными слез, смотрела на Ли Лай-цая. И он подумал: «Если бы мы сюда не пришли — быть бы и нашим людям в такой же беде».

2

Да! В не столь отдаленном от нас прошлом, всего в 1941 году, такая же грозная беда черной тучей нависла над необъятными просторами нашего Китая. Всю страну тогда заволокло дымом, повсюду слышались ружейные выстрелы. Заглянем же ненадолго в это недавнее прошлое и посмотрим, что происходило в те годы в одной из деревень Китая, в деревне Сицзылин, лежащей у отрогов гор Тайсиншань, к северу от реки Хуанхэ. Здесь, делая прихотливые изгибы, протекает река Циньхэ и, щедро обводняя прилегающие земли, превращает край в богатую житницу. Повсюду звенят быстрые горные ручьи. Эти места славятся не только необычайной тучностью нив, но и обширными бамбуковыми рощами. Бамбук — редкое дерево на севере Китая, и пришлые люди в радостном изумлении назвали этот край «Малая Цзяннань»*. Тут, на берегах Циньхэ, довольно далеко друг от друга стоят две деревни — Дунцзылин и Сицзылин, одна восточнее, другая западнее. Дунцзылин — большое село, в дни ярмарки на его улицах полным-полно народу. А Сицзылин — обычная китайская деревня. В ней-то и родился Ли Лай-цай. Казалось бы, кто родится в этом плодородном, цветущем крае, непременно родится для счастливой жизни; однако, когда Ли Лай-цаю исполнилось двенадцать лет — это было в 1942 году, — засуха, такая, какой никто и не помнил, сожгла весь край, как степной пожар, высушила Циньхэ, разорила хлеборобов Сицзылин. В раскаленном воздухе тучей носилась пыль, земля потрескалась и так пересохла, что, казалось, поднеси спичку — и она вспыхнет от края до края.

Вслед за засухой пришел голод. Весной мать Ли Лай-цая внезапно заболела и слегла. Закрыв глаза, она упорно отказывалась от еды и тихо угасала день за днем. Так она и умерла на глазах у родных.

Какие бы горести и несчастья ни обрушились на человека, в его душе всегда теплится огонек надежды.

Люди надеялись на яровую пшеницу, но кроваво-красное солнце подчистую спалило едва пробившиеся из земли ростки.

Люди надеялись на озимую пшеницу, но песчаная буря, затмившая небо и солнце, иссушила, испепелила и без остатка унесла нежные озими.

Настало страшное голодное время. Люди много лет подряд орошали тучную землю своим потом и кровью — неужели у них в закромах теперь не осталось ни зернышка? Ответ был простым: хлеб лежал под замком в амбарах у богатых, а бедным есть было нечего. Отец Ли Лай-цая каждый день ходил в поле и при свете солнца, расплывчатым пятном маячившего на небе, осматривал свою добела выжженную землю. Но что она могла ему дать? Хотя семья и билась в нужде, отец понимал: уже и то хорошо, что они пока вместе — как-никак одна семья, а почем знать, что будет завтра. Страшнее всего зима. Если они переживут ее, это будет просто чудо. Молча думая свою думу, отец вскидывал голову, подолгу смотрел вдаль, на подернутые голубовато-зеленой дымкой горы Тайсиншань, и скупая слеза катилась по его морщинистой щеке.

Наступила зима. Северный ветер неистовствовал днем и ночью. Нечего стало есть, нечем топить очаг; дети плакали, на них больно было смотреть. Отец подолгу останавливался взглядом на старшем сыне.

---

* Цзяннань — плодородная местность к югу от реки Хуанхэ.

По справедливости — где жить ребенку, оставшемуся без матери, как не в родной семье? Но что делать, если семье нечего есть?

У отца все время что-то вертелось на языке, но он никак не решался высказаться вслух. Наконец, дождавшись, когда младшие дети заснули, он горестно сказал:

— В деревне жить — только себя изводить, Кэ-цай, а выжить никто не выживет. Уходил бы ты, сынок, из дому, бежал бы от голодной смерти...

— Отец! — твердо ответил Кэ-цай. — Если спасаться, так сперва тебе, старику, да меньшому брату.

Отец подошел к старшему сыну, дрожащими руками обнял его и, бросив в окно быстрый взгляд, зашептал:

— Беги в горы, Кэ-цай! Беги в горы, к Восьмой армии. Забыл ты, что ли, как люди, что пришли из Маньшани, говорили: наконец-то вода в Хуанхэ стала светлой — отряды Восьмой армии дошли до Сицзылин. У нас тогда жил командир взвода Чжан, он говорил: бедняки мира — одна семья. Сколько они отсыпали нам зерна из закромов богатеев! Потом армия ушла далеко-далеко, неведомо куда, а сейчас она снова вернулась и находится в горах Тайсиншань. Уходи, сынок, отыщешь ее — тогда, считай, спасся от смерти. А если там хорошо, вернешься за Лай-цаем, глядишь, как-нибудь и выкарабкаемся.

Жена старшего брата заплакала, закричала в голос, и старику поневоле пришлось замолчать. Невестка поплакала-поплакала, да и собрала брату в дорогу мешочек толченой древесной коры, поднесла обеими руками.

Так и случилось, что старший брат Ли Лай-цая ночью оставил Сицзылин и отправился в горы Тайсиншань, темневшие на горизонте в голубовато-зеленой дымке.

Старшие молчали об этом, только на следующий день Лай-цай спросил у невестки:

— Где мой брат?

— Твой брат пошел искать заработков, Лай-цай. Коли найдет, глядишь, и все мы переживем беду,— ответила жена брата, и на ее желтом изможденном лице мелькнул проблеск надежды. Какой стуже, ветру каких жизненных невзгод под силу выстудить человеческое сердце?

Однако на четвертый день после ухода брата к баочжану* нежданно-негаданно пришел человек с известием, будто Кэ-цай украл у кого-то зерно и сидит теперь под стражей у японцев в подземелье блокгауза. Чтобы его отпустили, надо внести залог — четыре доу** кукурузы.

Баочжан, остолбенев от неожиданности, спросил:

— Что такое? Четыре доу зерна, говоришь?

— Ну да, четыре доу зерна.

— Да ведь семья старого Ли сколько времени сидит на толченой коре! У них не то что четырех доу, а и четырех лянов*** зерна не найдешь. Нет, говорить мы семье ничего не будем, а уж вы там как хотите, так и решайте!

Семья Ли Лай-цая все еще ничего не знала. Но однажды со стороны блокгауза раздалось несколько винтовочных выстрелов. Отец в это время стоял у кана, и никто не заметил, как он вздрогнул, словно в ознобе, запахнул полы своего изодранного ватного халата и собрался выйти из дому.

---

* При гоминдановском режиме начальник группы дворов деревни, связанных круговой порукой.

** Китайская мера сыпучих тел, равная 10,3 литра.

*** Китайская мера веса, равная 37,3 грамма.

— Батюшка, чего там еще ходить смотреть? Неровен час, опять нагрянут японские черти...

С этими словами невестка схватила старика за руку. Он остановился, поглядел на нее, покачал головою и со вздохом отвернулся.

Немного погодя — и трубки не успеешь выкурить за это время — появился живущий по соседству дед Ли Лай-цая, поставил на край кана чашку с зерном. Отец увидел его и спрашивает:

— Ты что? Что-нибудь случилось?

— Вот принес малость поесть невестушке, а вы шли бы к блокгаузу за покойным-то!

Отец больше не плакал, он сидел на кане, уставясь невидящими глазами в пространство. Отец плакал, когда умерла мать, отец плакал, когда уходил брат,— теперь он не пролил ни слезинки...

Ли Лай-цай и невестка вместе с дедом пошли к блокгаузу, завернули тело брата в старую рваную циновку и похоронили на равнине, у подножия гор Тайсиншань.

С тех пор отец по нескольку дней кряду мог не проронить ни слова. Он разобрал соломенную крышу дома и ходил продавать солому в Дунцзылин. Старик таял у всех на глазах, но упорно отказывался съесть хотя бы зернышко из той пшеницы, которую выменивал на солому. Так промаялись зиму. Наступила весна, сошел снег; теплый ласковый ветер вздул на деревьях нежную зелень почек, легкую дымку яровых на полях. Люди собирали и ели не только траву, но и всю зелень, какая только росла на земле. За неурожайным, голодным годом в этот некогда цветущий край пришла страшная моровая язва. Какую семью, какую деревню по обоим берегам Циньхэ ни возьми — этой весной люди умирали повсюду. Прохожий страшился войти в деревню и обходил ее. Часто бывало — идет человек по дороге, падает и больше не встает. Засуха прошла, повсюду в оросительных каналах забулькала, зажурчала вода. А люди? Людей нигде не было видно. Только воронье черными тучами носилось над полями. Настал день, когда отец продал в Дунцзылин вязанку соломы с крыши, купил два ляна арахисовых орехов и, накормив и обласкав обеих дочерей, отдал девочек чужим людям; те увели их. У отца сохранился прежний клочок земли, и он посеял пшеницу. Насилу дождались, пока она налилась вполколоса; дальше ждать стало невтерпеж, часть пшеницы сжали, хорошенько просушили, обкатали катком на току, сварили похлебку. К тому времени все опухли от голода и ослабли, а дорвавшись до еды, совсем обессилели. С тех пор, как погиб брат, невестка так исхудала — в чем только душа держалась, но никто не слышал от нее ни слова жалобы или упрека. Болезненная, слабая женщина, она заняла место брата и вместе с Лай-цаем вела все хозяйство, сама и пахала и сеяла. Едва дождавшись жатвы, они собрали с участка дань* зерна. Эта пшеница была им дороже золота, невестка и Лай-цай наглядеться на нее не могли, однако стали расплачиваться с долгами — глядишь, за взятый доу зерна надо отдать три. Восьми доу пшеницы как не бывало. Отец тогда был уже совсем плох; лицо его до того отекло, что вместо глаз остались две узенькие щелки; к тому же он страдал одышкой. Когда у него на глазах забрали весь урожай, он слег и больше не вставал. Единственной опорой семьи осталась невестка; она долго лежала в слезах, но под конец подняла голову и сказала Лай-цаю: «Ничего, мы еще посеем осенью». И вот Ли Лай-цай двенадцати лет отроду стал за соху, в которую впряглась невестка. Откуда им было знать, что едва озимые пойдут в колос, как черной тучей налетит саранча и подчистую сожрет весь хлеб на корню; только и слышно было, как нива шуршала всю

* Китайская мера сыпучих тел, равная 103,5 литра.

ночь, точно пересыпали песок. Что еще оставалось у людей? Ради чего надо было надрываться? Началось все одним страшным годом, за ним и другие пошли один другого лютее. Выйди из Сицзылин да посмотри, где, в какой деревне дымятся трубы домов? Послушай, в какой деревне звучат человеческие голоса? Они слышны теперь по дорогам, скрывшимся в клубах пыли: целыми семьями, целыми деревнями уходят из родных мест люди, спасаясь от голода.

Одна из теток по отцу увела Лай-цая из дому. Влившись в поток беженцев, они направились в горы Тайсиншань.

Невестка проводила Лай-цая за деревню. Семьи больше не было: кого нет в живых, кто покинул родной край. Она до темноты простояла в слезах на том месте, где они расстались.

А Ли Лай-цай с теткой добрались до гор Тайсиншань и остановились в уездном городе Цзесю, где тетушкин сын — его звали Ли Цзинь-цай — и еще несколько человек открыли на паях книжную лавку «Чжуниндэ». В Цзесю и протекли юношеские годы Ли Лай-цая. Одним из пайщиков был боец партизанского отряда Ван Хун-энь; он вынужден был вернуться в город к матери, которая по старости лет потеряла зрение. Ночами он часто посылал Ли Лай-цая караулить лавку, а сам, засветив лампу в маленькой задней комнатушке, нелегально делал штампы и печати для Восьмой армии. Впоследствии Ли Лай-цай узнал, что некоторые из заходивших в лавку покупателей с белыми повязками на голове и с мешками, перекинутыми через плечо, были товарищами из Восьмой армии. Сам Ли Цзинь-цай частенько тайно вывозил из города гектографы и восковую бумагу.

Память о Восьмой армии жила в сердце Ли Лай-цая. Отец сказал, что брат ушел в освобожденный район искать работу... Части Восьмой армии стояли тогда в горах, в тридцати ли от Цзесю, в деревушке под названием Сидицунь. Из разговоров Ван Хун-эня с перекупщиками, приходившими в лавку «Чжуниндэ» за товаром, Ли Лай-цаю было известно, что они из Сидицунь. Поздней ночью, кончив гравировать свои штампы, Ван Хун-энь часто рассказывал о своей жизни в партизанском отряде. Он говорил о боевых делах, о походах, о том, как они били врага. Оба юноши мысленно переносились на передний край борьбы, в особенности когда Ван Хун-энь горячо шептал: «Стоит только показать на пальцах восьмерку — и сердца людей потянутся к тебе. Мы открывали амбары помещиков и богатеев и раздавали хлеб беднякам...» Ли Лай-цай заслушивался его рассказами. Возможно ли такое на свете? Если бы в свое время нашлись люди, сумевшие открыть амбары богатеев с хлебом, — не умерли бы его отец и мать, не был бы расстрелян японскими дьяволами старший брат, не рассеялась бы семья по лицу земли. Однажды он спросил Ван Хун-эня: «А что, тяжело служить простым солдатом в Восьмой армии, братец Хун-энь?» — «Почему тяжело? — ответил тот.— В Восьмой армии все равноправны, там нет стены между командирами и простыми бойцами». Неужели на свете возможно такое? Все, что Ван Хун-энь рассказывал о Восьмой армии, глубоко запало в душу Ли Лай-цая.

В 1945 году, когда Япония капитулировала, Ли Лай-цай решил возвратиться в родную деревню. Тетушка, которая привела его в Цзесю, давно вернулась в Сицзылин. Обдумав все хорошенько, Ли Лай-цай объявил о своем намерении Цзинь-цаю. Тот долго уговаривал Ли Лай-цая остаться, но видя, что его решение непоколебимо, сказал:

— Давай так: отсюда ты пойдешь сперва в Сидицунь, там живут наши земляки, и если непременно хочешь вернуться в деревню, возвращайся вместе с ними.

На том и порешили. Захватив немного денег, вскинув на плечо коромысло с кое-какими вещами и постельными принадлежностями, Ли

Лай-цай на следующий же день отправился в путь. У городских ворот стражники учинили ему допрос, но услышав, что он ученик из книжной лавки «Чжуниндэ» и провожает знакомого на станцию, позволили выйти из города. Обрадовавшись, Ли Лай-цай чуть ли не бегом побежал по направлению к горам и вскоре достиг деревни Сидицунь, где в самом деле нашел своих односельчан. Оказывается, они тоже покинули родные места в тот бедственный неурожайный год; здесь они работали пильщиками, плотничали и столярничали. Узнав, что японским дьяволам пришел конец, все стали собираться домой. Так составилась компания, и они двинулись в путь. Одни несли с собой свернутые постели, у других на руках были ребятишки. Днем шли извилистыми горными тропинками, ночью останавливались на отдых и наконец спустились с гор Тайсиншань. За несколько лет Ли Лай-цай вымахал в рослого, крепкого парня; нрава он был простого и скромного, скуп на слова, мягок в обхождении с людьми, в работу вкладывал всю душу и во всяком деле, малом или большом, непременно старался быть первым. По мере того как сокращалось расстояние, отделявшее их от Сицзылин, на сердце у него становилось все радостнее. Еще бы, он все ближе и ближе подходил к родному дому! Он мечтал о том, как придет и наладит хозяйство, вспашет и засеет свою землю и сделает все, чтобы семья жила в довольстве и достатке.

Поистине в самое небо возносятся горы Тайсиншань: три дня люди спускались к равнине. Но вот Ли Лай-цай, шедший со своим коромыслом впереди всех, обогнул выступ горы, глянул вниз и засмеялся ясным, чистосердечным смехом юности — он увидел свой родной край! Внизу раскрылись необъятные зеленеющие дали — равнина, прорезанная извилистой линией Циньхэ. Далеко-далеко, на самом краю неба, ему бросилась в глаза белая полоска. Может быть, это облака? Но возможно ли, чтобы облака тянулись ровно, как по нитке? Ли Лай-цай, щурясь, смотрел и не мог наглядеться на необъятное степное раздолье. Легкий ветерок обдувал и приятно холодил его потную, разгоряченную грудь. Он утерся платком. Подошли старики, тянувшиеся в хвосте; увидели простор, открывшийся перед ними, и один старик заплакал. Все заговорили, перебивая друг друга и оживленно жестикулируя. Ли Лай-цай показал на белую полоску по краю неба, и ему объяснили, что это не туман и не облака, а Хуанхэ,— Хуанхэ, катящая свои бурные волны с запада на восток!

Ли Лай-цай пустился бегом с горы.

Гляди! Словно и не бывало в этих местах лихолетья, словно не бывало огненно-красного солнца, добела выжженной земли, пересохших ручьев и рек, пепельно-серой пыли, вихрившейся по дороге, и огромных стай воронья, затмевавших небо. Теперь повсюду золотятся нивы, кукуруза уже выстрельнула свои красные усики, хлеба поспели и ждут серпа жнеца. А серпы давным-давно наточены. Ли Лай-цай глядел и не мог наглядеться. Он покинул деревню в голодный год, а вернулся в урожайный! Эта мысль неотступно вертелась у него в голове, он забылся, а когда поднял глаза — перед ним была уже Сицзылин.

Сицзылин, Сицзылин! Чем-то ты встретишь Ли Лай-цая, Сицзылин?

По молодости лет, по простоте душевной Ли Лай-цай над этим не задумывался, он не мешкая вошел в деревню и заспешил к родному дому.

Взгляни на этот старый ясень, наполовину облитый золотым светом заходящего солнца! А вот с крыши людского жилища свисают гибкие плети тыкв, их зеленые листья тихонько колышутся на ветру. Как тихо в деревне! Видно, все в поле на уборке, только откуда-то издалека доносится шум работающей водочерпалки.

Ли Лай-цай дошел до ворот своего дома и вдруг остановился как

вкопанный. Неужели это его дом? Неужели это его родной дом, которым он грезил во сне и наяву все эти годы?

Двор сплошь зарос бурьяном высотой в человеческий рост вперемежку с кустарником, сквозь их буйные заросли не видно было даже входной двери.

Где же дом? Где родные?

Невестка держалась до конца, а когда жить в деревне стало совсем невмочь, ушла с детьми на юг за Хуанхэ, неизвестно куда.

Младший брат стащил у кого-то с голоду горсть зерна, и его до смерти забили на улице Дунцзылин.

Тоненько посвистывая, задувал во двор свежий осенний ветерок, и согласно покачивались травы и деревья, словно соболезнуя Ли Лай-цаю в его горе и скорби.

Ли Лай-цай положил свою ношу на землю. Слезы застлали его глаза.

3

Семья погибла, один он, Ли Лай-цай, остался в живых. Он не стал расчищать двор и заново обживаться в родном гнезде, а ушел жить к тетке.

Не было счастья Ли Лай-цаю, не было покоя и мира на обоих берегах Циньхэ. Сицзылин находилась в освобожденном районе, и когда гоминдановцы заняли город Циньян, фронт еще ближе придвинулся к деревне.

Зимой в Сицзылин прибыла бригада кадровых партийных работников. Одна из женщин, членов бригады, поселилась у тетушки Ли Лай-цая в западном крыле дома. Дуань Ли-пин — так звали эту женщину — при всей своей молодости уже имела за плечами восьмилетний опыт работы в условиях антияпонской войны; в свободные вечерние часы у нее в комнате нередко собирались бедняки и батраки.

Ли Лай-цай от души радовался каждой встрече, каждому разговору с людьми из бригады. Так как дело было зимой, когда вечера у крестьян свободны, Ли Лай-цай частенько наведывался в западное крыло дома. Дуань Ли-пин давно приметила этого молчаливого парня. Как она слышала, он сумел обработать и свою землю, и землю тетки. Не было скота — он сам впрягался в соху. Управившись со своими делами, он шел помочь по хозяйству другим; в семьях, где ему приходилось работать, его кормили, а женщины иной раз делали для него то, чего не умел делать он сам — чинили одежду, шили матерчатые туфли. В домах бедняков хвалили его трудолюбие и усердие.

Как-то вечером Ли Лай-цай по обыкновению зашел в комнату рабочей бригады. Собрания в тот день не предвиделось, одна Дуань Ли-пин сидела и что-то писала за столом у кана при желтом свете масляной плошки. При появлении Ли Лай-цая она отложила бумаги в сторону и пригласила его присесть на кан.

Завязался разговор.

— Сколько лет твоей матушке, Ли Лай-цай?

— Она мне не мать, товарищ Дуань Ли-пин, моей матери давно нет в живых...

Слово за слово Ли Лай-цай подробно рассказал Дуань Ли-пин о своей жизни. А кончил тем, как, вернувшись из далекого Цзесю, подошел к воротам родного дома и увидел двор, заросший бурьяном в человеческий рост. Была раньше большая семья — уцелел он один.

Его горестный рассказ не мог не вызвать сочувствия у Дуань Ли-пин. Она долго молчала, потом спросила:

— От невестки до сих пор нет вестей, Ли Лай-цай?

— Никаких. Если бы была хоть малейшая надежда выжить, она бы не ушла.

— Видишь, где еще на свете ты найдешь такую женщину, как наша китайская женщина? Тяжек ее труд, горька ее доля, и сколько таких замечательных женщин погибло! А знаешь ли ты,— продолжала Дуань Ли-пин, — кто виноват в несчастье, которое постигло твою семью?

— В ту моровую зиму,— подумав, начал Ли Лай-цай,— когда нужда подошла дальше некуда, отец скрепя сердце продал часть дома и четыре му* земли, купил соевых бобов и стал торговать соевым творогом и бобовым студнем; мы сами ели творожные выжимки. Только гоминдановские мерзавцы и прихвостни — что ни вечер тут как тут, подавай им студня, а платить — нет денег, запишут в долг да уйдут. Писали-писали, так и объели нас. Что было делать? Оставалось продать хибарки, крытые соломой,— их три у нас было. Нашлись покупатели — дают всего шесть доу кукурузного зерна. Отец говорит: ладно, шесть так шесть, лишь бы ребятишкам не дать с голоду помереть. Только покупатели поставили условие: сделали купчую, чтоб назавтра же вон из шалашей, им, дескать, там овец устроить надо! Отец как услышал — в слезы: что мы, хуже скота, что ли?..

Глаза у Ли Лай-цая покраснели, он замолчал.

Дуань Ли-пин тоже разволновалась и говорит:

— Не только с одной вашей семьей так было. Погляди, сколько семей в деревне либо совсем повымерло, либо подались от голода на чужбину. Разве им не приходилось на каждом шагу терпеть всяческие притеснения?

— Как же,— согласился Ли Лай-цай,— прежде ведь как было — идешь по улице, головы не смеешь поднять.

— Теперь мы должны бороться против богатеев и помещиков. Хватит ли у тебя для этого мужества? — подхватила Дуань Ли-пин.

— Что значит... бороться, товарищ Дуань?

— То, что мы, бедняки, подымемся во весь рост и сведем счеты с помещиками и богатеями. Наша рабочая бригада для того и пришла в Сицзылин, чтобы помочь здешним беднякам распрямить спины, вырвать землю из рук помещиков. Что ты об этом думаешь?

Ли Лай-цай встал и ответил:

— Я готов.

Дуань Ли-пин тоже встала и с улыбкой спросила:

— А не боишься?

Ли Лай-цай твердо и решительно ответил:

— Товарищ Дуань, чего бояться, если все дело — в руках рабочей бригады?

Этой зимой многие узнали правду, собираясь вьюжными ночами при ярком свете масляных плошек в крытых соломой домах. Люди поднимались на борьбу за землю, за жизнь, достойную человека.

Ли Лай-цай — один из этих людей, один из самых юных. Правда, как весеннее солнце, согрела его сердце. Да только ли его? Только ли сердца этих людей? Нет, тронулся, пошел лед, тысячелетиями сковывавший миллионы людских сердец.

Памятуя о старшем брате, погребенном у подножия гор Тайсиншань, памятуя о младшем, до смерти забитом на улице Дунцзылин, памятуя о невестке, которая одна с тремя малышами ушла за Хуанхэ и скиталась теперь неведомо где,— Ли Лай-цай первым поднялся на собрании и заклеймил старый помещичий строй как виновника страданий народа.

Его слова огнем зажглись в сердцах жителей Сицзылин. «Кто бы мог

* Китайская мера площади, равная приблизительно 600 кв. м.

подумать, что Лай-цай способен на такой смелый почин, Лай-цай, этот скромник — ведь он человеку в лицо посмотреть и то стесняется»,— говорили односельчане.

Однажды, поздно ночью, когда вся деревня спала, тетка тихонько подсела к нему на кан и спросила: «Сынок! Тебе не страшно после всего того, что ты наговорил на собрании?» Горячая волна захлестнула сердце Ли Лай-цая. С той голодной зимы, когда тетушка привела его в Цзесю, она обращалась с ним как с родным сыном. Что ей сказать? За три ли отсюда, на границах освобожденного района, кипит борьба не на жизнь, а на смерть. В этот поздний ночной час стрельба слышна особенно отчетливо. Даже в самой Сицзылин последнее время стали постреливать из-за угла (впоследствии, при освобождении Циньяна, был обнаружен черный список, в котором стояло и имя Ли Лай-цая). Он понимал, как болеет за него душою старая женщина. Но может ли он, Ли Лай-цай, отойти от борьбы? Он смотрит тетушке в глаза и говорит: «Тетя! Мы станем хозяевами всего Китая, чего ты боишься?» Но разве успокоишь ее так просто? Она, сокрушенно вздыхая, уходит. Этой ночью Ли Лай-цай тоже не мог совладать с душевным волнением. После того разговора с Дуань Ли-пин он уже не будет жить так, как прежде, он навсегда отдал свое сердце народу. Нельзя сказать, чтобы он запустил хозяйство: на его участке волнуется густая нива, а после полевой работы он снова в первых рядах борцов. Этот сызмала не отличавшийся разговорчивостью парень с годами отнюдь не стал многословнее, но он безгранично верил товарищам из рабочей бригады, исполнял все, что ему поручали, и с крестьянами говорил так, как с ним говорили товарищи из рабочей бригады. Ли Лай-цай стоял на переднем крае борьбы с помещиками в Сицзылин, и люди с полным основанием могли сказать: «Он страшен помещикам, он дорог народу».

В 1947 году на демократических выборах крестьяне избрали его деревенским старостой; при голосовании тогда опускали в чашку бобы. Однако Ли Лай-цай тут же на собрании поднялся и сказал:

— Спасибо землякам за доброе ко мне отношение, только по молодости лет и из-за моей необразованности работа старосты мне не по плечу. Лучше дайте мне наш отряд народных ополченцев.

Так и случилось. Старостой избрали Жень Чжень-цая, а Ли Лай-цай во главе отряда отправился бить врага под Циньян.

Партия ведет человека вперед и вперед, озаряя его путь. Дуань Ли-пин и созданная в Сицзылин партийная организация неустанно воспитывали Ли Лай-цая в борьбе. Он прошел хорошую боевую школу, и в апреле 1947 года секретарь партячейки Го Цюань-гао завел с Ли Лай-цаем речь о таком важном и серьезном деле, как вступление в партию. Многое передумал Ли Лай-цай в ночь после этого разговора. Он тогда знал только, что существует коммунистическая партия, сердцем он был на ее стороне, ведь ее дело — дело всех бедняков; однако и понятия не имел, что такое члены партии, и тем более не мог подозревать того, что в Сицзылин была партийная организация. Го Цюань-гао сказал, что ему бы следовало стать членом партии. Сперва Ли Лай-цай подумал: «А достоин ли я звания члена партии? Что делать, после того как станешь им? Враг вовсе не оставил намерения перейти против нас в наступление — что делать тогда? Но для чего же партия воспитывала меня? Благодаря кому народ воспрянул от рабства и я вместе с ним?» На сердце у него сделалось так светло, словно солнце выглянуло и ночь стала днем! На следующий день, под вечер, он поспешил в Дунцзылин: туда к этому времени переехала Дуань Ли-пин.

Отыскав ее, Ли Лай-цай рассказал ей обо всем. Она спросила:

— Это не так просто, Ли Лай-цай. Вполне ли ты уверен в себе?

Если враг перейдет в контрнаступление, что тогда?

Глаза у Ли Лай-цая вспыхнули, он встал и не мог сдержать слов, которые переполняли его сердце:

— Товарищ Дуань! Пусть партия испытает меня! Я твердо решил идти вместе с партией, моя жизнь навеки неразрывно связана с революцией!

Видя по лицу юноши, как он прямодушен и честен, Дуань Ли-пин сказала:

— Правильно, мы не склоняем головы перед трудностями, мы обязательно построим коммунизм!

Тогда Ли Лай-цай еще не вполне ясно представлял себе, что такое коммунизм, но всякий раз, когда произносилось это слово, он ощущал его как нечто родное и близкое, светлое и лучезарное.

— Что же,— продолжала Дуань Ли-пин,— заполняй анкету, подавай заявление.

— Видите ли...— смущенно покачал головой Ли Лай-цай.— Уж вы заполните за меня анкету, товарищ Дуань!

И вот настал этот день — самый важный и торжественный день в жизни Ли Лай-цая. Секретарь партячейки Го Цюань-гао привел Ли Лай-цая в одну из служб на задворках большого деревенского дома. Тогда, в период обострения борьбы с гоминданом, партия работала на селе нелегально. Один из односельчан Ли Лай-цая со строгим и серьезным лицом стоял на посту у входа. Войдя в комнату, Ли Лай-цай увидел на стене портрет председателя Мао. Под портретом сидело несколько человек, среди них Ли Линь-го, Ли Ин-лян — все из одной с ним деревни, он близко знал их, но даже не подозревал, что они члены партии. Но теперь они встретились не так, как всегда, а строго и торжественно, и все же чуточку теплее обычного. Объявили, что начинается прием новых членов в партию. Ли Лай-цай вместе с двумя другими товарищами плечом к плечу встали перед портретом Мао Цзэ-дуна. Сколько раз прежде видел Ли Лай-цай этот портрет, но сегодня председатель Мао смотрел на Ли Лай-цая как-то по-особенному ласково и вместе с тем строго. Ли Лай-цай поднял руку для клятвы и почувствовал, как горячие слезы навертываются ему на глаза: здесь, в этой деревне, ему пришлось испытать холод и голод, с ним обращались хуже, чем со скотом, а теперь он стал коммунистом. И он произнес слова клятвы:

— Я буду всегда там, где будет партия, я буду бороться до конца, невзирая на любые трудности. Я буду бороться за дело революции, сколько хватит сил!

Это были для него не обычные слова, которые слышишь от других и не задумываясь повторяешь за другими. Нет, он вложил в эти заветные слова всю боль прошлого и радость настоящего. Отныне его жизнь будет целиком принадлежать партии.

К тому времени освободительная война достигла своей наивысшей критической точки, пожар войны полыхал повсюду к северу от Хуанхэ. Скоро партия перебросила Ли Лай-цая в уезд Боай, расположенный поблизости от горнопромышленного района Цзяоцзо. Ему поручили организовать здесь вооруженную рабочую бригаду. Днем товарищи из бригады, разбившись на группы в два-три человека, расходились по деревням и вели среди крестьян работу по воспитанию классового сознания. Враг то и дело устраивал на них налеты. Поэтому ночью они снова собирались вместе и как партизанский отряд патрулировали четыре-пять деревень. Борьба в этой богатой местности между Боаем и Цзяоцзо шла беспримерно жестокая. Каких трудов, например, стоит поднять и организовать крестьян против помещиков, как вдруг является враг, и все идет насмарку; гоминдановцы рубили головы сельским работникам и вывеши-

вали их на телеграфных столбах. Случалось, партизанский отряд ищет ночью врага, а враг, оказывается, следует за ним по пятам. Во время боевых действий отряд попадал в такие положения, что и нарочно не придумаешь. К примеру, партизаны располагаются на ночлег на восточной окраине села, а гоминдановцы—на западной. Кажется, вот-вот столкнутся, но нет — разминулись. Или однажды ночью собралась бригада Ли Лай-цая в одной деревне, однако враг выследил ее, и пришлось под покровом ночной темноты перебираться в другое место. Перед рассветом Ли Лай-цай и его товарищи выставили охранение, а сами, смертельно усталые, задремали. Вдруг загремели выстрелы: враг окружил их. Собравшись, партизаны выступили из деревни, и в этот решительный момент один отважный пулеметчик был тяжело ранен. Ли Лай-цай с товарищами подхватили и понесли его. Двигаясь в густом утреннем тумане, они прошли поймой реки под прикрытием деревьев и высокого речного берега и вырвались из окружения. Одежда Ли Лай-цая была обагрена горячей кровью пулеметчика. Позднее Ли Лай-цай и его товарищи выждали случай и расквитались с врагом.

Дав клятву быть достойным славного звания коммуниста, Ли Лай-цай бросился в самую гущу борьбы; днем и ночью, в ветер и дождь он сновал под пулями и снарядами, презирая смерть. Уже много месяцев он вел напряженную, полную опасностей и лишений жизнь; и вот ясным весенним днем 1948 года, когда в бамбуковых рощах на тысячи голосов пели птицы, на реке тронулся подтаявший лед и горы Тайсиншань, словно волнистая облачная гряда, синели вдали, — среди бела дня глаза Ли Лай-цая вдруг застлало черной пеленой. Он слег от истощения, и с того дня был прикован к постели, не в силах двинуть рукой или ногой.

Так он лежал двенадцать дней и ночей. Даже поили его другие, с ложечки.

Но неугасимо горело в Ли Лай-цае пламя жизни. Совсем поправившись, он прощается со своей вооруженной рабочей бригадой, прощается с Сицзылин. На этот раз он направляется в вооруженный отряд посменного военного обучения четвертого Тайсинского подрайона.

Старая тетушка расплакалась и заявила:

— Никуда я тебя не пущу, Лай-цай, один ведь ты из троих братьев остался!

Ли Лай-цаю пришлось долго уговаривать старушку.

— Тетушка! — говорил он. — Раньше идешь по улице — головы не смеешь поднять, а теперь мы сами себе хозяева. Разве братец Цзинь-цай не терпит до сих пор притеснений от чужих людей в Цзесю?

В конце концов тетушка с ним согласилась и попросила только об одном:

— Ладно, Лай-цай, идешь, так иди! Только письма присылай почаще.

4

Зимой Ли Лай-цай вместе со своей частью возвратился в уезд Боай командиром отделения новобранцев. Боай расположен по соседству с уездом Циньян, оттуда до Сицзылин рукой подать, всего несколько десятков ли.

Как-то раз в комнату к Ли Лай-цаю вбегает культпросветработник и весело кричит:

— Командир пятого отделения! Политрук просит вас явиться в штаб, да поживее!

Ли Лай-цай, с винтовкой за плечом, бегом в штаб роты. Командир роты Чжао и политрук Лян оба там. Ли Лай-цай доложился по форме и вошел. В комнате было так тепло, что наледь на оконных стеклах об-

таяла, и казалось, будто окна застланы легкой мглистой пеленой; снаружи на карнизах грелись на солнце огненно-красные петухи. Командир роты сидел на кане и курил трубку, он молча улыбнулся Ли Лай-цаю, а политрук спросил:

— У тебя есть невеста, Ли Лай-цай?

Вопрос застал Ли Лай-цая врасплох, он не сразу нашелся, что ответить. Вспыхнув до ушей, он сказал:

— Нет.

Но политрук настойчиво расспрашивал:

— Нет? Как же так?

Ли Лай-цай вскинул голову и сконфуженно засмеялся.

Еще стажируясь в вооруженном отряде посменного обучения, он каждый выходной день проводил в Сицзылин.

Всякий раз, когда кто-нибудь в деревне говорил Ли Лай-цаю, что пора бы ему найти девушку по душе и жениться, он неизменно вспыхивал, как кумач, и протестующе махал рукой. Но однажды у соседки тетушки Ли он снова встретился с девушкой по имени Жень Гуй-цин, с которой был знаком раньше. Ее дом стоял на той же улице напротив дома Ли Лай-цая, такой же бедняцкий двор, как и его.

В годы борьбы с гоминдановцами ее отец заведовал деревенскими общественными складами. В его амбарах хранился не только хлеб, но и боеприпасы, и оружие. К тому времени, о котором идет речь, он стал учительствовать в вечерней школе для крестьян. Ли Лай-цай и Жень Гуй-цин сызмала росли вместе и крепко дружили между собой. Последние годы боевая жизнь занимала все время Ли Лай-цая. Мальчик и девочка превратились во взрослых молодых людей и уже не могли часто видеться. Однако, по правде говоря, Ли Лай-цай был всей душой привязан к Жень Гуй-цин.

Сама Жень Гуй-цин давно знала Ли Лай-цая как хорошего человека. Он никогда никому не отказывал в помощи; пусть у него самого хлопот полон рот — он бросит наполовину сделанную работу и поможет другим. «Ты свои-то дела еще не все справил, — корила его тетушка, — а идешь работать на чужих!» Он ей отвечал: «Разве люди не помогут нам, когда настанет горячая пора?»

Жень Гуй-цин только радовалась тому, как складывались ее отношения с Ли Лай-цаем.

Но никто не мог предполагать, что ее мать решительно воспротивится сговору, заявив:

— Он солдат, а раз так, еще неизвестно, что из всего этого получится!

Брат поддержал ее:

— Вот-вот! Отдадите дочь солдату, а почем знать, как еще все обернется?

Когда слух об этом дошел до Ли Лай-цая, он очень огорчился, расстроился и подумал: «Ладно, если кто боится нашего брата, солдата, мы никому навязываться не собираемся!»

Он решил поставить крест на этом деле.

Но Жень Гуй-цин сама пришла к нему. Раз ее мать так себя повела, ей остается самой постоять за себя. Жень Гуй-цин, вспыхнув, сказала Ли Лай-цаю, что она согласна выйти за него замуж.

Когда Ли Лай-цай услышал эти слова, сердце так и запрыгало от радости у него в груди, и он начал было:

— Я хоть и солдат...

Но Жень Гуй-цин не дала ему договорить и тихо прошептала:

— Не век же тебе ходить в солдатах!

Она дала ему свой платок, а он ей — свой. Так состоялась их помолвка.

И вот теперь командир роты Чжао, молча сидевший на кане, улыбнулся и сказал:

— Ладно! В таком случае, Ли Лай-цай, можешь идти играть свадьбу!

Оказывается, тетушка прислала с оказией письмо из Сицзылин, в котором просила командование отпустить его в деревню по случаю женитьбы. Политрук подал ему письмо.

Ли Лай-цай спросил:

— На какой срок я могу отлучиться?

— Даем тебе недельный отпуск,— ответил командир роты,— часть будет дожидаться тебя здесь. Сыграешь свадьбу — быстро возвращайся в отряд.

Опустив голову и подумав, Ли Лай-цай сказал:

— Товарищ командир! Мои обязанности еще не выполнены до конца. Не лучше ли мне сперва проводить моих новобранцев по назначению?

Командир роты и политрук все же решили отпустить его. Когда разговор был закончен, Ли Лай-цай отдал честь и, повернувшись кругом, пошел было к выходу, но его остановил политрук.

— Товарищ политрук, вы хотите еще что-то сказать? — спросил Ли Лай-цай.

Политрук подошел к нему:

— Будь на этот раз особенно осторожен.

Ли Лай-цай, не сводя глаз с политрука, понимающе кивнул.

— Тебе уже приходилось работать в деревне,— продолжал политрук,— поднимать односельчан на борьбу. Если ты сейчас появишься в селе, кое-кто из наших врагов, быть может, захочет тайком навредить тебе. Ты должен быть вдвойне осторожен.

Командир роты подошел к Ли Лай-цаю и, похлопав по винтовке, висевшей у него за плечом, сказал:

— Возьми-ка эту штуку с собой!

Так Ли Лай-цай, захватив винтовку и патронташ, покинул часть и направился в Сицзылин.

Зима кончалась, погода стояла ясная, но холода еще держались. В поле повсюду громоздились сугробы и ослепительно сверкал на солнце снег. Ли Лай-цай шел, глядя на необозримое раздолье полей, и на душе у него было радостно и светло. Деревни на равнине, по берегам Циньхэ, теперь нельзя было узнать; они были совсем не те, что прежде.

Его семью развеяло по лицу земли. Но если бы он сейчас женился, разве не завел бы он новую семью? Ему вспомнилось, какие теплые проводы устроили ему товарищи, сколько наказов и советов он получил, сколько заботы проявил командир роты, и его сердце обдало волной тепла — тепла, какое может дать только великое братство солдат революции. Ли Лай-цай улыбнулся своим мыслям; когда он возвратился из Цзесю в родную деревню, ему казалось, что он остался на свете одинодинешенек, без дома, без семьи. Но включившись в борьбу народа, вступив в партию, он увидел, что родных у него не перечесть. Он не знал, где, в каких краях работает теперь товарищ Дуань, заполнившая за него анкету при вступлении в партию, направившая его по пути революции. Ему очень хотелось бы ее увидеть. Однако политрук верно сказал — все не так просто, как думается. Возможно, в деревне найдутся недоброжелатели. Задумавшись, он и не заметил, что наступает вечер и Сицзылин близка.

Едва он вступил в деревню, как почуял знакомые ему с детства запахи родного села. Студеный северный ветер стлал по земле теплый дым

очагов. Этот дым радостно волновал его. Ли Лай-цай прошел несколько десятков ли, приближалось время ужина.

Когда он пришел к Жень Гуй-цин, она, вместо того чтобы броситься к нему, посмотрела долгим взглядом и сказала:

— Хорошо, что ты вернулся. А наше с тобой дело... боюсь, разладилось.

Откуда такая резкая перемена? Для Ли Лай-цая это было прямо как ушат ледяной воды на голову. Недоумевая, он спросил:

— Почему?

Оказывается, подруги, вместе с которыми Жень Гуй-цин училась в вечерней школе для крестьян и которые всегда первыми узнавали деревенские новости, сказали, будто бы военные из части Ли Лай-цая уверяли, что он болен чахоткой. Сначала Жень Гуй-цин не поверила, но как не поверить, когда несколько человек хором говорят тебе одно и то же и клянутся, что это сущая правда? Поневоле потеряешь покой и начнешь сомневаться. Теперь, встретившись лицом к лицу с Ли Лай-цаем, Жень Гуй-цин знала одно: он болен, и она не согласна идти за него замуж.

— Странно,— сказал изумленный Ли Лай-цай,— сколько раз я проходил в армии медицинское обследование и ни разу не слышал, чтобы у меня была чахотка. Откуда в деревне известно об этом?

— Если ты вправду болен, можем мы пожениться? — спросила Жень Гуй-цин.

Ли Лай-цай долго сидел, ничего не отвечая. Сумрачно было у него на душе.

— Неужели, как только я появился в деревне, кто-то стал исподтишка наговаривать на меня?

Жень Гуй-цин неуверенно покачала головой, не отрывая взгляда от Ли Лай-цая. Любовь и сомнение были в ее глазах.

Ли Лай-цай встал, вскинул винтовку за плечо и, нахмурившись, возмущенно сказал:

— Каждый поступает, как хочет. Я завтра же утром уйду обратно.

Жень Гуй-цин хотела что-то ответить, но Ли Лай-цай повернулся, толкнул дверь и вышел.

Не оборачиваясь, он шел по деревенской улице. Мягкий желтый свет проникал сквозь затянутые бумагой окна домов. «Каждая семья, большая или маленькая, собралась сейчас под одной крышей при свете лампы,— подумалось ему.— Вот она, счастливая мирная жизнь». Словно в забытьи, он долго глядел на огни деревни; невыразимая тоска камнем давила его.

Он достал из своего заплечного мешка платок, подаренный Жень Гуй-цин, и отдал его соседке тетушке Ли.

— Тетушка! Сделайте милость, верните ей платок.

— Как? Что такое, Лай-цай? — изумленно вскрикнула тетушка Ли.

— Что говорить... Завтра утром я ухожу.

— Не можешь ты этого сделать, сынок! Что может быть важнее этого дела! Вдруг уйти, ничего не выяснив!

Не ответив ни слова, Ли Лай-цай вернулся домой, сел у лампы и задумался, глядя на ее яркий огонь. Жень Гуй-цин... Они с детства знают друг друга — ему ли ее винить? Кто пустил эту злостную клевету? С тех пор, как он в армии, он редко писал ей, она ли виновата во всем, что произошло?

Утром, только он встал с постели, Жень Гуй-цин пришла сама. Войдя в комнату, она остановилась с поникшей головой. Ее приход, ее вид все объяснили без слов. Любовь глубоко пустила корни и выдержала испытание.

Ли Лай-цай начал успокаивать Жень Гуй-цин:

— Если ты мне не веришь, я еще раз пройду освидетельствование в госпитале. Но ты пойми — кто-то в деревне оговаривает меня...

Жень Гуй-цин не дала ему докончить и подробно рассказала о вечерней школе и болтовне своих подруг, попросив только не давать делу дальнейшего хода. На следующий день они пошли регистрироваться в район и вернулись со свидетельством о браке.

Жизнь во всей своей полноте открывалась перед Ли Лай-цаем. Словно недавно пробушевала гроза, и восток разгорался алой утренней зарей.

Счастливые дни потекли у молодоженов после свадьбы. В это время Ли Лай-цай вспомнил, что его отец, умерший в тот несчастный год, так с тех пор и лежит в земле отдельно от матери. Ли Лай-цай купил гроб и вторично захоронил прах отца и матери, на этот раз в одной могиле. Затем со спокойной душой стал готовиться к возвращению в отряд.

Теперь Ли Лай-цай был не одинок. Расставаясь с ним, Жень Гуй-цин сказала:

— Будешь в армии, не тревожься о нас, служи и ни о чем не думай. А уж о наших близких я сама позабочусь.

Ли Лай-цай покинул Сицзылин. Впервые его сердце было согрето теплом семейной жизни. Все вокруг для него было напоено солнцем. С величественных громад гор Тайсиншаня, прячущихся в фиолетовой дымке, веял легкий ветерок, обдувая неоглядное раздолье степей. Снег сходил, обнажая маслянисто-лоснящуюся черную землю. Все дышало весной.

Прибыв в Боай, Ли Лай-цай не застал там отряда. С винтовкой и вещевым мешком за плечами, думая, как догнать своих, он пошел вдоль линии железной дороги. Еще несколько десятков ли — и вот он в горнопромышленном районе Цзяоцзо, а затем и в Хоцзя. Ему сказали, что идти придется еще шестьдесят ли, и он заночевал в доме районного управления. В полдень следующего дня он наконец нагнал свою часть.

В 1949 году занялась заря народной победы. Весной, когда на обоих берегах Хуанхэ бушевала сильнейшая песчаная буря, часть Ли Лай-цая незадолго до освобождения Пекина заняла город Синьсян. Северный берег Хуанхэ, весь этот обширный, богатый край стал подлинно свободным.

Ли Лай-цай, выросший в трагическую для своей родины пору, с винтовкой в руках прошел от берегов Циньхэ до Синьсяна по железной дороге Боай — Цзяоцзо — Синьсян и вышел к берегам радостно и легко несущей свои воды Вэйхэ.

Хотя война закончилась, часть Ли Лай-цая продолжала идти вперед.

Весной 1950 года она прибыла в уезд Цзиюань, лежащий к северу от Хуанхэ,— поднимать залежные земли. Отсюда до Сицзылин всего двадцать ли пути. Земля тут словно создана для хлебопашества, но с приходом японцев народ разбежался из деревень куда глаза глядят, спасаясь от войны и голода. Весь этот край превратился в сплошную пустошь, поросшую травой.

Добравшись до места, бойцы сбросили с себя ватники, так как солнце палило вовсю, и сразу взялись за дело.

Это было настоящее сражение: повсюду в полях установили радиосвязь. В полдень, во время обеда, по подразделениям ходили агитаторы и сообщали результаты работы. Пятое отделение, где командиром был Ли Лай-цай, завоевало красное знамя за лучшие показатели труда. Знамя простояло у них на участке день и было отобрано другим взводом.

На третий день Ли Лай-цай и его бойцы поднатужились и снова отвоевали его.

Вся равнина, насколько мог охватить глаз, была усеяна работавшими бойцами; сплошь белые рубахи, глянуть издали — точь-в-точь хлопковое поле. Трава падала перед движущимся людским валом; пустошь на глазах преображалась в маслянисто-черные тучные поля. Со всех сторон раздавался барабанный бой и перезвон гонгов.

Бойцы не только собственной кровью завоевали свободу родному краю, но и пóтом своим вспоили его землю.

Этим летом вспыхнула война в Корее. Весть о высадке американских войск в Инчоне набатным колоколом отозвалась на берегах Хуанхэ.

5

Война в Корее продолжалась.

В конце 1950 года на корейском фронте развернулась потрясшая весь мир операция прорыва на тридцать восьмой параллели. В те необыкновенные, незабываемые дни снежный буран бушевал по всему театру военных действий. Леса стояли засыпанные снегом, льдины на реках яростно сталкивались друг с другом. В эти дни, отмеченные огнем и кровью, Ли Лай-цай с помощью друзей написал домой письмо, в котором рассказывал:

«Мы одержали немало побед на корейском фронте и отогнали американских бандитов на тысячу ли от мест, непосредственно граничащих с нашей родиной. Сейчас мы преследуем противника, перед нами тридцать восьмая параллель. Всего несколько дней остается до Нового года. Мы собираемся крепко всыпать врагу, прорваться за тридцать восьмую параллель. Это будет праздничный подарок народу родной страны...»

Действительно, в последний день декабря был получен боевой приказ.

Командир взвода Го Си-цзюнь сделал знак Ли Лай-цаю, и они вместе вышли из блиндажа.

Был предрассветный ранний час, в воздухе медленно кружились мелкие снежинки. Небо на востоке светилось холодной, как сталь, прозеленью.

По возбужденному, взволнованному лицу командира взвода Ли Лай-цай догадался, что есть важные новости.

— Получили приказ?

— Да.— Командир взвода сделал широкий жест рукой.— Видишь, вот тридцать восьмая параллель,— получен приказ прорвать фронт противника и перейти параллель.

Ли Лай-цай обрадовался, а командир взвода, положив ему руку на плечо, сказал, взвешивая каждое слово:

— На нас теперь смотрят миллионы людей. Именно здесь американцы вторглись в Северную Корею. Они прорвались. Посмотрим, сможем ли прорваться мы.

В предрассветных сумерках они стояли плечом к плечу один подле другого. Как братья: командир взвода — рослый, могучий и Ли Лай-цай — худощавый, пониже ростом; их сердца бились согласно.

Ли Лай-цай понимал чувства командира взвода и был тронут тем, что тот вызвал его в этот серьезный и торжественный час, чтобы сообщить важную новость.

Взводный Го Си-цзюнь был известен в полку как отважный и преданный общему делу командир. На ночлегах он почти всегда располагался вместе с пятым отделением; бойцов не смущало его присутствие.

Встречаясь с трудностями, он никогда не сетовал и не роптал, а советовался с командирами отделений, и все налаживалось как нельзя лучше. Ли Лай-цай хорошо помнил тот день, когда его часть выступила в поход и перешла корейско-китайскую границу в ответ на призыв дать отпор американским агрессорам и оказать помощь Корее. Го Си-цзюнь получил отпуск по случаю женитьбы. Дома у него все было готово к свадьбе, и он собирался уехать на следующий день. Но в роте объявили призыв записываться в народные добровольцы на корейский фронт.

Го Си-цзюнь пришел в штаб батальона и спокойно сказал:

— Раз получено боевое задание, я остаюсь.

Так вместе со своей частью он перешел через Ялуцзян.

С того дня Ли Лай-цай преисполнился необычайной любви и уважения к своему командиру взвода.

И теперь боевые друзья стояли рядом на заснеженной корейской земле.

— Командир пятого отделения!

— Слушаю, товарищ командир взвода!

— Мы — коммунисты, и к тому же члены партбюро, в этом походе все бойцы равняются на нас,— сказал Го Си-цзюнь.

— Товарищ командир взвода...

— Погоди, не перебивай. Мы давно знаем друг друга, и я уверен в тебе, уверен, что в бою на тебя можно положиться.

Ли Лай-цай вспомнил клятву, которую он дал при вступлении в партию, и порывисто сказал:

— Я верен партии, а твои слова — это ее слова, и я каждую минуту буду их помнить.

Они пристально посмотрели в глаза друг другу.

Го Си-цзюнь ничего не сказал Ли Лай-цаю о своих замыслах и планах предстоящей операции. Он только схватил и потряс его руку своими большими руками.

Взгляды и улыбки, которыми обменялись боевые друзья, были значительнее всяких слов.

Снег повалил еще сильнее. Начались боевые действия. Ли Лай-цай получил задание: взять высоту Чунпонсан, а затем и господствующую над местностью высоту Хвааксан — самую высокую горную вершину на этом участке тридцать восьмой параллели. Она темной громадой высилась среди снегов и льда. Чтобы себя не выдать, часть Ли Лай-цая, избегая дорог, двигалась лесистой лощиной и незаметно шла на сближение с противником. Идти пришлось по глубокому снегу. Бойцы вывернули наизнанку ватники, повязали головы белыми полотенцами и стали неразличимы на снегу. Когда в небе появлялись вражеские самолеты, бойцы падали ничком и застывали без движения. В три броска добрались до подножия горы и вошли в лес. Впереди, за проволочными заграждениями и минными полями, притаился враг... В лесу стояла такая тишина, что слышно было, как падал снег с ветвей. Во время перебежек и переходов с бойцов градом катился пот, но стоило опуститься на снег, как одежда ледяной коркой примерзала к спине.

Весь день они передвигались лесом по горным склонам; снег валил до самого вечера.

В полночь второй батальон, находившийся впереди, открыл огонь. В темноте были видны вспышки выстрелов. Едва заслышав стрельбу, Ли Лай-цай с отделением бросился вперед, минуя район боевых действий второго батальона. В лесу факелами полыхало несколько деревьев. Перед самым рассветом батальон поднялся на склоны горы Хвааксан, бойцы шаг за шагом приближались к основным позициям противника на тридцать восьмой параллели. В лесочке они остановились. Последняя

ночь 1950 года миновала. Свет наступающей зари будет светом первой зари в 1951 году. Сколько глубокого смысла, сколько торжественности в этом мгновении! После обильного ночного снегопада неожиданно налетел ветер, да так яростно, что, казалось, рушится гора Хвааксан. Но какие воодушевленные и вместе с тем напряженные лица были у бойцов в этот час! Ночной мрак еще низко нависал над землей, ветер и снег, казалось, рвали и метали, стараясь не пустить к людям эту первую, новогоднюю зарю. Но она все равно пришла, потихоньку, но пришла. Уже можно было различить зеленые лапы сосен, клонящиеся к земле под тяжестью снега и наледи. Как они ласкали глаз, эти зеленые сосновые ветки! Под утро мороз стал крепчать. Он жег людей, как огонь, словно тысячи игл впивались в лица и руки.

Ли Лай-цай отрыл в снегу окоп в половину человеческого роста, но так и не докопался до земли, словно они попали в Арктику, столько льда и снега было вокруг!

Штаб полка расположился в том же лесу. По снегу и по ветвям деревьев протянулись телефонные провода...

Политрук роты распорядился накормить людей жареными бобами и кукурузными хлопьями.

— Кто хочет пить, товарищи,— прошу, мороженое! — весело пошутил он.

Бойцы рассмеялись и пригоршнями стали есть ослепительно белый снег.

Ли Лай-цай только теперь почувствовал, что ноги у него замерзли — хоть криком кричи. Ботинки насквозь промокли и за время стоянки так залубенели от мороза, что и шнурков не развяжешь. Всякому известно, что здоровые ноги для солдата — все. Выйдут из строя ноги — не сможет он передвигаться, какой из него тогда боец? Ли Лай-цай ладонями стал отогревать ботинки; ботинки и впрямь оттаяли, он стал развязывать шнурки, чтобы переобуться. Но вдруг впереди замелькали, засверкали огненные всполохи. Давящую тишину утра нарушила пулеметная очередь.

Противник, укрывшись за гребнем горы, атаковал позиции полка в ста метрах от леса, где расположилось отделение Ли Лай-цая.

Молодой трубач высунул голову из снежной лунки, чтобы посмотреть, в чем дело, но тут же осел на дно окопа: в него попала пуля.

Командир полка вскочил и закричал:

— В атаку, вперед!

Не в силах встать, трубач, полулежа на снегу, дал сигнал атаки. Пронзительный зов трубы поднял людей. Так и не успев переобуться, Ли Лай-цай тоже вскочил и огляделся. Ночной мрак еще не рассеялся, и яркие полосы трассирующих пуль разрезали темноту, повсюду были слышны звуки горнов.

Отделение Ли Лай-цая, следуя вдоль гребня горы, атаковало противника, тот отошел. Бойцы, сев прямо на снег, словно отряд лыжников, молниеносно спустились в низину. Тут снег был еще глубже. Бой разгорался вовсю. Пули громко цокали о стволы деревьев или зарывались в снег. Командир взвода Го Си-цзюнь встал во весь рост перед бойцами и, вытянув руку, указал отделению пулеметчиков позиции левее. Пуля попала ему в шею. Коротко взбросив вверх руки, он упал. Ли Лай-цай, неотступно следовавший за взводным, подбежал и приподнял его. Го Си-цзюнь, как-то странно притихший, взглянул на Ли Лай-цая.

— Командир пятого отделения. Выполняйте свои обязанности. Скажите бойцам, пусть как следует используют местность.

Его лицо стало мертвенно-бледным, он морщился от боли, но плотно сомкнул губы и не издал больше ни звука.

Ли Лай-цай с несколькими бойцами перенес командира взвода под дерево и расстегнул его ватник. Рана была бескровная, с почернелыми, как от ожога, краями. Го Си-цзюнь, тяжело дыша, нетерпеливо отбросил руку Ли Лай-цая:

— Оставьте меня! Живо по местам!

Сквозь огонь и дым бойцы бросились на врагов и закидали их ручными гранатами. Противник, находившийся перед ними, был уничтожен.

Казалось, бой закончился. По горному хребту часть быстро двинулась вперед.

Командир роты поручил пятому отделению охрану и транспортировку раненых, и Ли Лай-цай со своими бойцами остался на месте. Из всего отделения уцелело лишь три человека. Одного бойца Ли Лай-цай послал отыскать и привести санитаров, а затем отослал и другого. Ли Лай-цай остался один. Внезапно внизу, под горой, на склоне которой занимало позицию отделение, появилась группа вражеских солдат. Ли Лай-цай изменился в лице: здесь, на этом участке, врагу противостоял он один, один боец, одна винтовка. Взгляды Ли Лай-цая и Го Си-цзюня встретились. Командир взвода не сказал ни слова, но по его глазам Ли Лай-цай понял, что он прощается с ним. С этого мгновения Ли Лай-цай словно забыл о себе. Его поступки лучше всего говорили о том, что творилось в его душе.

Ли Лай-цай разгреб снег, сделал углубление и осторожно положил туда командира взвода, а сам с винтовкой лег подле. На лбу у Го Си-цзюня выступил холодный пот, от жара во рту пересохло, он то и дело ел снег. Когда Ли Лай-цай доложил ему, что обнаружен противник, к взводному вернулась воля к борьбе, голос зазвучал твердо и уверенно.

— Как следует отрой себе окоп, Ли Лай-цай, и готовься!

— Идут, товарищ комвзвода, идут! Нет, впереди только один.

Вокруг мертвая тишина, только ветер тихонько посвистывает в ветвях дерева.

— Подпусти поближе и стреляй!

— Хорошо.

На разгоряченное лицо командира взвода медленно падают хлопья снега.

— Не увлекайся, береги патроны!

— Подошел, подошел к тому большому дереву!

— Стреляй!.. Стреляй же!

Гулко грохнул первый выстрел. Испуганной птицей заметалось по горной теснине эхо.

— Ну, что?

Ли Лай-цай повернул голову и улыбнулся. По его измазанному лицу градом катился пот.

— Есть один, товарищ комвзвода.

Критический момент боя пришел через минуту. Противнику оставалось либо сидеть в заснеженной теснине, как в ловушке, либо, овладев позицией отделения, искать спасения на этом пути. Вражеские солдаты, крича во все горло, пошли на штурм.

Ли Лай-цай был как в лихорадке, все его тело горело. Хотя командир взвода лежал и не мог сдвинуться с места, он стал помогать Ли Лай-цаю: зубами вынимал предохранители из ручных гранат и подавал их ему. Го Си-цзюнь и не подозревал, сколько сил придавало Ли Лай-цаю одно его присутствие.

По дереву, под которым они лежали, остервенело строчил вражеский пулемет: было видно, как дрожит и бьется у его ствола язычок пламени. Пули впивались в дерево, перебитые ветки взлетали высоко вверх

и с шумом сыпались на землю. Ствол винтовки Ли Лай-цая раскалился от беспрерывной стрельбы, ее не удержать в руках. Что же, прекратить стрельбу? Враги тотчас сделают бросок вперед. Ни в коем случае нельзя подпустить противника к командиру взвода. Ли Лай-цай быстро сует раскаленный ствол в снег. Пш-ш! — шипит железо, Ли Лай-цай снова досылает патрон в патронник и продолжает вести огонь. Противник пытается овладеть высотой, он яростно атакует. Вдруг в самый разгар боя за спиной Ли Лай-цая раздается пулеметная очередь. Го Си-цзюнь и Ли Лай-цай разом оборачиваются. Враг или свой? Если враг — их жизнь висит на волоске. Но это из полка подоспели тяжелые пулеметы. Взяв противника под обстрел, они подавили его.

Когда пришли санитары, Ли Лай-цай собственными руками уложил командира взвода на носилки. Они вместе заглянули смерти в глаза, и теперь прощаться с командиром было особенно тяжело. Нагнувшись, Ли Лай-цай посмотрел ему в лицо. Командир взвода после огромного напряжения ослабел, лицо его стало пепельно-серым. Выживет ли он? Вряд ли. Однако, поборов волнение, Ли Лай-цай сказал:

— Хорошенько отдыхайте в тылу, товарищ командир взвода, а вернетесь — опять вместе воевать будем.

Го Си-цзюнь слабо пожал ему руку, мгновение молча смотрел на него, а потом сказал:

— Ты не знал страха, Ли Лай-цай!.. Держись молодцом и впредь... Обо мне... не беспокойся.

Видно было, что Го Си-цзюнь сознает, как он тяжело ранен. К носилкам подошел батальонный инструктор, запахнул ему ватник и дал знак санитарам нести. Ли Лай-цай невольно сделал несколько шагов, остановился и, не отрывая глаз, смотрел вслед медленно удаляющимся носилкам. Только сейчас он почувствовал, что ноги у него совсем онемели от холода и не сгибаются. Лишь с помощью толстого сука, спотыкаясь на каждом шагу, он еле-еле поднялся вверх по склону.

Ли Лай-цай явился в свою роту. Он снова оказался среди боевых товарищей после того, как несколько часов подряд пробыл один на один со смертью. Ли Лай-цай весь до нитки промок. Во время боя было не до своих ощущений, а теперь он почувствовал смертельную усталость, хоть ложись прямо в снег и отсыпайся, только страшно — сразу замерзнешь. Заместитель командира взвода велел ему располагаться на ковре, оставленном американцами. Едва он сел, как ноги потеряли чувствительность, словно отнялись. Насилу отогрев ботинки теплом рук, он расшнуровал их, глядит — ботинки, носки, ступни — все смерзлось в один ком, ноги холодные и твердые, как кусок льда, совсем чужие. Его охватил страшный, пронизывающий холод. День прошел в напряжении боя, а к вечеру изо всех горных ущелий, изо всех лесов потянуло стужей, она охватывала людей, словно собираясь заморозить кровь у них в жилах. Наступала самая лютая морозная ночь за всю корейскую войну. В расположении роты появился политрук. Он громко скомандовал:

— Подъем! Готовиться к выступлению! Обмороженные и все, кто не может ходить, остаются!

Ноги не слушались Ли Лай-цая, ему полагалось остаться. Но мог ли он остаться? Нет, это исключено. Он растер ноги руками и с грехом пополам поднялся. Зашатавшись, он едва не упал. Политрук, подхвативший его, спросил:

— Может, останешься?

— Я могу, могу идти,— твердо ответил Ли Лай-цай.

Стемнело настолько, что очертания дальних гор и лесов слились, яростными порывами налетал шквальный ветер. С тыла подошло

несколько кашеваров, и Ли Лай-цай тотчас справился у них о Го Си-цзюне. Ему ответили, что командир скончался, едва его донесли до штаба. Ли Лай-цай вспомнил, как любили бойцы своего командира взвода, сколько раз помогал он ему самому, как, обсуждая текущие дела, глядел прямо в глаза и с неизменной улыбкой приговаривал: «От нас зависит и мы отвечаем за то, плохим или хорошим будет взвод». Го Си-цзюня нет больше в живых. Вспомнился Ли Лай-цаю их последний разговор на рассвете. Так что же, теперь он поддастся морозу? Он неловко переступал окоченелыми, точно отнявшимися по колено ногами, тащил их, как деревяшки. Полк спустился с одной горы и стал подниматься на другую, была уже полночь. «Разве я не сказал, что мы сделаем родине подарок на Новый год? Ведь уже Новый год»,— подумал Ли Лай-цай. Когда взобрались на гору, вьюга гуляла вовсю. Снег бил в лицо с такой силой, что нельзя было глаз открыть, ветер яростно набрасывался на людей, словно хотел свалить их с ног. Впереди в хаосе снежного вихря вспыхивал огненно-красный пунктир трассирующих пуль. Внизу, под горой,— противник. Надо немедленно атаковать. Войсковая часть останавливается, мимо колонн темными тенями проносятся вперед разведчики. Стужа пронизывает до мозга костей, ноги не держат больше Ли Лай-цая. Он валится в снег, ему свело от холода руки и ноги, их невозможно разогнуть. Мороз, кажется, выстудит из него последнюю частицу тепла. Загремели выстрелы, товарищи пошли вперед. Ему не двинуться с места, он остался лежать на снегу под леденящим ветром, теряя сознание. Но тут вдруг пробилась мысль: «Неужели мне так и погибнуть здесь, на этой горной вершине? Тридцать восьмая параллель еще впереди. Неужели я так и не смогу пробиться через тридцать восьмую параллель?» Он встрепенулся и пришел в себя.

Ли Лай-цай крепко ухватился за ствол дерева и, опираясь на винтовку, встал на ноги. Он шел шатаясь, с трудом переставляя ноги, и, несмотря ни на что, догнал товарищей. Высоко в небо ударило пламя. Он наступил, этот незабываемый исторический момент — бойцы бросились на врага и прорвались через тридцать восьмую параллель!

Американские войска получили первый серьезный удар в Корее. Бой закончился, Ли Лай-цай одержал победу над стужей, одержал победу над врагом. Опершись на винтовку, он стоял и глядел на поле битвы. Повсюду неподвижно застыли американские автомашины, огромные гаубицы, танки с белыми звездами на башнях. Полыхали ярким пламенем железнодорожные вагоны. Пленные вражеские солдаты шагали с поднятыми руками прочь от колеблющегося разлива огня.

Бой закончился. Обмороженные ноги окончательно отказались служить Ли Лай-цаю.

6

Поставь себя на его место, читатель. Подумай, что может испытывать человек, отряхнувший с ног своих прах бедственной, многострадальной жизни и неуклонно и бесстрашно стремившийся вперед,— что испытывает он, когда падает на своем пути? Он еще так молод, он — едва народившийся день, он — полураскрывшийся цветок. Его жизнь еще только начинается, она бьет ключом в его крепком здоровом теле. Неоглядные дали раскрыты перед ним, и он знает, что в этом просторе его ждет прекрасное будущее! Но он должен крепко держаться на ногах, идти шаг за шагом к намеченной цели — только тогда он дойдет! А он упал...

У Ли Лай-цая был сильный жар, его ноги распухли, кожа стала иссиня-черной, словно под ней была запекшаяся кровь. Раны на ногах

начали гноиться, его положение с часу на час ухудшалось. Довелось ли тебе когда-нибудь испытать такое, читатель? Как бы ты поступил на его месте? Человек даже в худшем положении будет надеяться — надеяться на выздоровление. Так было и с Ли Лай-цаем. Он надеялся еще встать на ноги — ему нельзя не встать! Когда врач, кончив осмотр, поднялся, Ли Лай-цай хриплым от волнения голосом спросил:

— Их можно вылечить, доктор?

Затаив дыхание, не спуская глаз с врача, он напряженно ждал ответа. Этот ответ, пусть это будет одно слово, решит его судьбу.

Врач сочувственно смотрел на Ли Лай-цая. Больной еще так молод, у него не меньше прав на веселую, счастливую жизнь, чем у любого другого молодого человека. Но священный долг врача превыше всего. Он вынужден был сказать:

— У вас слишком сильное обморожение, товарищ.

Ли Лай-цай побледнел, но, еще не в силах отказаться от последней надежды, спросил снова:

— Значит, полностью неизлечимы, доктор? Скажите правду!

Доктор много повидал на своем веку и понял, что можно целиком положиться на этого бойца. Сказав чистую правду, он приобретет в нем союзника в последующей борьбе с гангреной. И он сказал:

— Необходима ампутация, товарищ. Дело не только в ногах, в опасности ваша жизнь.

Ли Лай-цай больше не проронил ни слова. Он медленно отвел взгляд, надежда постепенно угасала в его глазах. Слова не шли на язык, лоб покрылся холодной испариной.

Что же теперь будет?

В палате воцарилось молчание.

Ли Лай-цай лежал, стиснув зубы, и глядел в пространство остановившимся взглядом. Казалось, его окружила глухая стена несчастья.

Неожиданно над госпиталем появились американские самолеты. Вот уже ведущий с ревом устремился вниз и дает очередь из пулемета. Пули хлещут по крыше дома, искры разлетаются во все стороны. На бумаге, которой затянуты окна, заплясали багровые отблески огня, комната мгновенно наполнилась дымом и пылью. Рев моторов и грохот разрывов слились в сплошной гул, словно в небе внезапно разразилась гроза. Врач и несколько медсестер, находившихся в палате, опустились на циновки, служившие единственным украшением этого корейского дома. На лице Ли Лай-цая ничего не отразилось. Он не слышал ни рева моторов, ни грохота разрывов, он ничего, ровным счетом ничего не слышал и думал только одно: «Как же теперь быть? Как же быть?»

— Не надо так отчаиваться, товарищ,— попробовал утешить его доктор.

— Часть ушла вперед, а я остался здесь, навсегда остался здесь! — сказал Ли Лай-цай, словно отвечая на какие-то свои мысли.

Самолеты улетели. Врач, склонившись к Ли Лай-цаю, продолжал:

— Все мы сыновья одной родины, товарищ. У меня за вас сердце кровью обливается. Разве бы мы не постарались поскорее поставить вас на ноги и помочь вернуться в строй? Но мы должны немедленно принять меры. У вас поражена гангреной нижняя половина голени, а если заражение охватит всю ногу, ваша жизнь окажется в опасности.

Ли Лай-цай поднял на врача глаза. Смятение и боль выражал его взгляд, но он не произнес ни слова.

Он не был единственным обмороженным в этой палате, та же участь

постигла нескольких бойцов. Никто не сомкнул глаз в эту ночь. У Ли Лай-цая сердце разрывалось от горя, а боль в ногах все усиливалась. Стиснув зубы, он молчал. Вдруг до его слуха донесся какой-то еле слышный звук, этот звук заглушил его боль, его муки. Ли Лай-цай явственно расслышал, что это плачет боец, лежащий на соседней койке. С трудом повернувшись на бок, Ли Лай-цай протянул руку и нащупал в темноте плечо соседа:

— Ты бредишь, товарищ?

Тот ничего не ответил, но затих. Ли Лай-цай понял, что только нестерпимая боль могла вызвать эти слезы. Он тихо зашептал:

— Не падай духом, товарищ! Нога ранена — с этим ничего не поделаешь, врач верно сказал. А в госпитале нам положено слушаться врача, как в роте — командира...

Неожиданно Ли Лай-цай понял, что, в сущности, он это говорит самому себе. Разве сам он послушался врача? Согласился на ампутацию? Ведь он в таком же положении...

Вспомнив о себе, он опять не мог успокоиться. Нужно принять какое-то решение. Неужели стать безногим, обреченным ползать по земле? Ему остается только позавидовать участи командира взвода Го Сицзюня. Лучше пасть в бою, чем такая жизнь. Попадешь в тыл — куда деваться? Возвращаться домой ползком?

Мысли бежали одна за другой. Он невольно отдался их течению.

Ему вспомнилась жена, навестившая его перед отправлением в Корею. Они не долго жили вместе после свадьбы, но были так счастливы! Ведь они вместе росли, вместе мыкали горе в старой Сицзылин, вместе отбросили от себя тяжкое наследие прошлого. Как она любит и понимает его. Однажды он спросил: «Ты не для того приехала, чтобы позвать меня домой?» — Она, глядя на него сияющими глазами, ответила: «Ты думаешь, я хочу, чтобы ты вернулся домой? Но ведь это значит порвать с революцией!» Как он был благодарен ей за это понимание! Его часть вот-вот должна была выступить. Они расстались без тени печали — они были уверены в будущем. На прощание она просила лишь об одном: «Куда бы ни забросила тебя судьба — напиши мне, и я буду за тебя спокойна». Именно потому, что она так любила и понимала его, она рассталась с ним с легкой душой и теперь надеется, ждет! Откуда ей знать, в каком он сейчас положении! У него нет ног, он никогда больше не будет ходить. Как она встретит его, если он вернется? Заплачет? При нем нет, она будет плакать украдкой. У нее на руках окажется человек, могущий только ползать по земле. Жена будет ухаживать за ним всю жизнь, без счастья, без радости! Интересно, что она делает сейчас? Может быть, тоже не спит в эту ночь и думает о нем, уверенная, что он сейчас на фронте, в бою, в стремительном движении и что он вернется, встанет перед ней и улыбнется хорошей, ясной улыбкой. Теперь всему конец... При этой мысли сердце Ли Лай-цая мучительно сжалось, ноги пронизала жгучая боль, словно огонь жег их изнутри. Он яростно ударил кулаком по кану, хотел сесть, но не успел и приподняться, как в глазах потемнело и замелькали искры. Стиснув зубы, он откинулся на подушку и попытался взять себя в руки. Ему казалось, что от боли голова разломится на части. Тут его словно осенило — он вспомнил о родине. Родина, родина — это все, она позаботится о нем! Но его мысли опять смешались, и в отчаянии он повторял про себя: «Позаботится! Позаботится! Разве человеку надо только то, чтобы о нем заботились! Чтобы сидеть на месте, пить, есть и ждать, когда о тебе позаботятся! Хоть бы совсем не думать обо всем этом, не растравлять себя!»

Сон не шел. Взмахнув рукой, он запел:

Восток алеет,
Солнце встает...*

После первых же слов песни у него стало легче на сердце. Он ощутил, что еще живет, его голос по-прежнему чист и звонок, уже не болят больше раны, и он поет во весь голос. Никто из товарищей по палате не спал, все слушали, как он поет. Наконец, кто-то сказал:

— Чего радуешься, Лай-цай? Отнимут утром ноги, тогда узнаешь.

Чистым и звонким голосом Ли Лай-цай ответил:

— Пусть отнимут, мы все равно не должны унывать, товарищ!

Затем он снова принялся петь, пока не заснул крепким сном.

Наутро, едва он успел раскрыть глаза, перед ним улыбаясь стоял врач. Ли Лай-цай спокойно сказал:

— Делайте операцию, доктор. Мне первому.

Так как он очень ослаб, ему нельзя было оперировать сразу обе ноги, и сначала отняли правую. Его уложили на операционный стол, сестра прикрыла ему лицо куском марли — давали общий наркоз — и велела считать: один, два, три, четыре... Он зашевелил губами, стал считать и заснул.

Когда Ли Лай-цай проснулся, он ничего не помнил из того, что было накануне, и чувствовал себя бодрым и свежим.

Товарищи по палате собрались возле его постели и внимательно наблюдали за ним. А он чувствовал только, что превосходно выспался; правду говоря, он еще никогда так хорошо не спал с того дня, как они перешли через Ялуцзян. Зажмурившись от яркого солнечного света, он улыбнулся и спросил:

— Время уже не раннее, вы позавтракали?

Он хотел подняться и сесть.

Однако, едва Ли Лай-цай пошевелился, товарищи, глядевшие с каким-то странным выражением лица, удержали его:

— Врач запретил тебе двигаться. Ведь ты только что с операции.

— С какой операции?

Подняв голову, он увидел, что нижней половины правой голени у него нет. Нога покрыта толстой повязкой. Со всей силы стукнув кулаком по постели, он откинулся на подушки и потерял сознание.

Прошло некоторое время, и вот он будто сквозь сон стал различать голоса товарищей, окликавших его. Мало-помалу он пришел в себя. В оперированную ногу теперь вступила нестерпимая боль, точно там прыгал и метался какой-то зверек, и каждый раз, как он делал прыжок, все тело обдавало горячим потом. От притока крови культя распухла и, казалось, готова была лопнуть. Тут только Ли Лай-цай понял, что у него действительно нет ноги, что он уже не поднимется, не вернется в часть к своим боевым товарищам, чтобы продолжать поход. Где теперь его товарищи? В Пхеньяне? В Сеуле? Ведут бой или расположились на привале? Но что ему до этого? Ему уже не бывать среди них. Он навсегда оставил их ряды. Превозмогая боль, Ли Лай-цай закусил одеяло: нет, он ни единым звуком не выдаст себя. Так он лежал, неподвижный и безмолвный. Состояние его стало ухудшаться.

Товарищи по палате заботливо ухаживали за ним, по очереди дежурили у его постели.

У Ли Лай-цая был сильный жар, он бредил. Ему виделось, что он находится на снежной горе и бесчисленные полчища врагов накатываются на него, он отчаянно бьется с ними и в конце концов падает с горы. Три дня и три ночи провел он в бреду, то открывал глаза, метался,

* Слова известной китайской песни.

то снова терял сознание, его тело горело как в огне, для него не существовало ни боли, ни голода, а только охваченный пламенем мир. Самой критической была третья ночь; нога раздулась, товарищи по палате не смыкали глаз у его постели. Один раз он пришел в себя на минуту, открыл глаза, и один из товарищей спросил его: «Ты, браток, все кричишь, чтоб отбивались ручными гранатами, с кем ты схватился? Как можно столько воевать?» Ли Лай-цай стал сам на себя не похож: лицо осунулось и сделалось изжелта-черным, белки глаз покраснели. «Когда это?» — спросил он.— «Последние три дня и три ночи ты беспрестанно кричишь: в атаку! в бой!» Да, Ли Лай-цай вел бой! Ему и во время болезни чудилось, что он сражается.

На двенадцатый день Ли Лай-цая снова положили на операционный стол — оперировать левую ногу. Отняли только переднюю часть стопы, сохранив пятку. На этот раз он не стонал и не кричал в бреду, а только крепче стискивал зубы, когда от боли и впрямь становилось невтерпеж. Огромным усилием воли он сдерживал себя. Он почти перестал разговаривать, и молчание это пугало окружающих. Когда сестры или врач обращались с вопросом, Ли Лай-цай на все отвечал отрывистым «да», «нет». Глаза на его исхудалом, осунувшемся лице, казалось, становятся день ото дня больше.

Поставь себя на его место, читатель. Подумай, какое упорное сердце бьется в груди человека, если он, собственными руками распахнув дверь в свободную жизнь из жизни горькой и бедственной, увидев впереди себя свет и надежду, вдруг падает в бездну отчаяния, но находит в себе силы выбраться из нее!

7

Холодной весенней ночью 1951 года Ли Лай-цай приближался через Синыйчжу к реке Ялуцзян.

С вечера ярко светила луна, но после полуночи поднялся туман, небо затянулось мглою и внезапно налетела песчаная буря; она выла по-волчьи и больно хлестала песком по лицам людей. Ли Лай-цай не ожидал, что так быстро покинет Корею, и теперь, невзирая на бурю, оглядывал все вокруг, готовясь проститься со страной, которую полюбил всей душой. Вот у разрушенного бомбами моста стоит молодая корейская девушка в белой одежде. Взмахивая белым флажком, она направляет машины в объезд. У Ли Лай-цая больно сжалось сердце. Он вспомнил предрассветный час, пожарище, высоко вздернутые плечики маленькой девочки, которая горько плачет, закрыв лицо руками. Санитары, несшие носилки, быстро отскочили на обочину, пропуская колонну грузовиков: ослепительные фары, огромные гаубицы на прицепе. Ли Лай-цаю вспомнились товарищи на передовой: как они обрадуются, увидев эти пушки! Он и сам улыбается при этой мысли... Когда проходили Синыйчжу, над землей низко нависла мгла, ночной мрак сгустился, потянуло промозглым холодком: значит, скоро рассвет. Несмотря на ветер, бросающий в лицо песок, санитары приближались к Ялуцзян. Однако в такой кромешной тьме невозможно было разобрать, где, в конце концов, река. Ли Лай-цай укрылся с головой одеялом и закрыл глаза. До него вдруг донеслись радостные голоса санитаров, они о чем-то громко переговаривались. Он отбросил одеяло и невдалеке увидел красный фонарь. Санитары уверяли, что, если пойти на этот красный свет, непременно придешь к мосту через Ялуцзян.

Разноречивые чувства охватили Ли Лай-цая. Еще немного, и он снова увидит любимую Родину. Совсем недавно такой же глубокой ночью

он вместе с товарищами — частичка огромного войска — переходил Ялуцзян по этому же мосту. Кто бы мог подумать, что сегодня ему придется так возвращаться. Носилки остановились перед деревянной будкой. Дверь со скрипом распахнулась, во мраке ночи ярким квадратом вспыхнул дверной проем и заплясали красные языки огня в дверце печи. Кто-то в будке связывался по телефону с противоположным берегом, просил разрешения пропустить санитаров через мост. Наконец из будки вышел человек, низко нагибаясь к носилкам, осмотрел раненых... Однако Ли Лай-цай ничего не видел и не слышал. С тех пор, как ему ампутировали ноги, он не проронил ни единой слезинки, он спрятал горе глубоко в сердце. А теперь, перед лицом Родины, сердце дрогнуло, и горячие слезы потекли из глаз. Он не сдерживал себя, укрылся с головой и прикусил одеяло зубами, чтобы ничего не было слышно снаружи, и, судорожно вздрагивая плечами, зарыдал, как несправедливо обиженное дитя перед родной матерью.

Санитары двинулись по мосту, который словно парил над рекой. Здесь, на высоте, ветер особенно неистовствовал, а внизу, под мостом, бурля и клокоча, несся темно-бурый поток воды — Ялуцзян. Ялуцзян, водный рубеж отчизны, кипучая, живая, порывистая река! Не зная ни отдыха, ни усталости, день и ночь бессменным, чутким часовым сторожит она родные границы. Этой зимой ее опалил огонь войны, но она стала еще величественней и сильней.

Великая скорбь Ли Лай-цая пронеслась, как живая, порывистая река, и он успокоился. Неожиданно до его сознания дошло, что вокруг стоит необычайная тишина. Только слышно, как санитары негромко топают по мокрому шоссе. Луч света забрался под одеяло, и Ли Лай-цай одним махом откинул его: это фонари на улицах Аньдуна. Яркий, спокойный, мягкий свет. Ли Лай-цай увидел стрелой уходящую вдаль глянцевито-черную асфальтированную улицу, отороченную сверкающими фонарями, словно ниткой белого жемчуга. Утро уже занялось, холодную мглу пронизали лучи света, на небе вспыхнула первая золотисто-алая полоска зари, ослепительно-яркая, как огонь в горне. По улице шла группа школьников, увидев на них красные галстуки, Ли Лай-цай радостно засмеялся.

Зима, одна из самых трудных и холодных зим на нашем веку, прошла, и хотя весна еще по-настоящему не наступила, Ли Лай-цай чувствовал ее дыхание. Сидя в поезде, он то и дело выглядывал в окно. Окно! Сколько утешения доставляет окно возвращающемуся с фронта бойцу! Вот в предрассветном мраке Бэньсийский металлургический завод. Изумительная, прекрасная картина! Колыхаясь, проплывают в вышине белые облачка пара. Глядя на россыпь огней, подумаешь, что это Млечный Путь пролился с небес на землю. Огоньки тихо-тихо дрожат в воздухе, словно лукаво подмигивают. Вот сверкают и гаснут голубые искры сталеплавильной печи. Утром, когда в небо брызнет первый алый луч солнца, за окном проносятся бескрайние равнины и маленькие речушки. По шоссе мчатся грузовики; по проселочной дороге едет большая повозка, возница кричит на волов, а ты не слышишь его голоса, зато видишь, как он размахивает кнутом с красной кисточкой на конце. Поезд мчится, мелькают станционные пути, поблескивают и пропадают белые колпачки изоляторов на телеграфных столбах, просвечивает на солнце дым от паровоза; по черной земле, погоняя волов, медленно бредет девочка лет десяти. Промелькнула станция, на перроне, украшенном красными полотнищами с лозунгами, мелодично звучит свисток кондуктора. Все это безостановочно проносится перед окном, наплывают все новые и новые волнующие пейзажи. Вот она, мирная

жизнь! Смотришь на все это, и тебе кажется, будто вот-вот всплеснешь, как птица, крыльями и с головой окунешься в эту мирную жизнь.

Действительно, жизнь, отмеченная огнем и кровью, постепенно отдалялась от Ли Лай-цая, и ясное утро Родины, полное напряженного труда, открывалось перед ним. Как ему было не радоваться, не воспрянуть духом, глядя на эту картину! Но постепенно застыл и померк его взор. Отмороженные ноги можно отнять, но что сделаешь с охладевшим сердцем? Другие могут птицей унестись к новой жизни, но разве может он, как птица, всплеснуть крылами? Нет, они у него подрезаны.

Как тяжелораненый, нуждающийся в продолжительном лечении, Ли Лай-цай был направлен в госпиталь в Цзиньчжоу. Прибыл он туда в очень тяжелом состоянии, до того исхудалый, что его невозможно было узнать — кожа да кости. Медсестра, совсем еще молоденькая девчонка, одна подняла его с носилок и перенесла на койку. Очутившись в палате, он огляделся вокруг: в госпитале было чисто и уютно, ослепительно-белые стены, на окнах светло-желтые занавеси до полу, на подоконнике бледно-розовые гортензии. Сестры и врачи, в снежно-белых халатах и таких же шапочках, ступают бесшумно, в разговоре всегда мягки и предупредительны. Но как непривычен для него весь этот уют, как болезненно сжимается у него сердце! Конечно, он растроган до глубины души, все здесь показывает, как щедро заботится родная страна о своих сынах и дочерях, раненных на фронте. Он ощущает тепло этой заботы, и оно мало-помалу начинает согревать его сердце. Но, честно говоря, именно сознание этой заботы и причиняет Ли Лай-цаю боль. Иной раз, случается, он пьет молоко, обласканный врачами и медсестрами, но вдруг резко отставит стакан и, стиснув зубы, пересиливая боль, резко отвернется к стене.

Он вспоминал о Жень Гуй-цин. Что она теперь делает? Все ли еще учится в школе? Сейчас вся страна, как один человек, поднялась на борьбу за увеличение производства. Может быть, она вступила в бригаду взаимопомощи?

— Сяо-сюэ! — попросил он медсестру.— Поможешь мне написать письмо?

— Кому?

— Жене.

— Что будем писать?

— Напиши, значит, так: я ранен, вернулся с корейского фронта, мне отняли обе ноги...

— Полегче! — стала уговаривать Сяо-сюэ.— Недолго перепугать женщину насмерть.

— Нет, товарищ Сяо-сюэ! Рано или поздно сказать все равно придется. Лучше скажем сейчас, пораньше!

Письмо написали и отправили. День проходил за днем, а ответа все не было.

Однажды утром Ли Лай-цай услышал в коридоре громкий смех и говор. Неизвестно почему, это взволновало его.

Дверь палаты была неплотно закрыта, и сквозь щель он увидел в коридоре, залитом ярким солнцем, группу выписавшихся из госпиталя бойцов. Они шли по коридору с охапками первых весенних цветов в руках, чудесных, дышащих свежестью красных, белых, желтых цветов. Следом за ними шли сестры, врачи, раненые, остающиеся пожимали товарищам руки, хлопали их по плечу.

Голос молодой медсестры, очень хорошо знакомый Ли Лай-цаю, громко сказал:

— Значит, уезжаете, оставляете нас здесь!

— Товарищ Сяо-сюэ! Вам еще тут не надоело? А то бы посмотрели нас на передовой, а?

— Не забудьте писать нам с фронта!

— Ладно, ждите хороших вестей!

Сколько счастья слышалось во всех этих голосах, но как больно они отдавались в сердце Ли Лай-цая! Ему-то никогда больше не встать на ноги, не пройдет он в ярком блеске солнца, весело разговаривая с людьми, лицо его никогда не засветится радостью; никто не подарит ему первых цветов и не будет надеяться, что однажды от него придет весточка с фронта. Никому больше он не доставит радости — все будут его только утешать, ласкать, жалеть, нянчить. Ли Лай-цай круто повернулся к стене. Он хотел заглушить голоса, изгладить из своей памяти эту картину, но все его существо восставало против этого. Как ни хотелось ему забыться — ни одно слово, ни один звук не прошли мимо него, так чутко и внимательно он прислушивался. Голоса и шаги людей постепенно удалялись и наконец совсем затихли. Ли Лай-цай попытался сесть. Со двора в палату ворвалась буря восклицаний, напутственных и прощальных слов, затем послышался шум мотора.

— А я не могу... И не смогу больше никогда!

Это был горький крик души, крик сердца! Ли Лай-цай тяжело упал на подушку.

Он не сомкнул глаз этой ночью. Его нравственные страдания достигли высшего предела. Боясь потревожить крепко спавших товарищей по палате, он безмолвно сидел в темноте, и слезы неудержимо катились по его щекам.

Ему никогда не быть бойцом на передовой, ему остается лежать на боку, есть, пить... Пенсия... Это ли весна жизни?.. Огневой задор и силу молодости — все высосет койка. Какой смысл жить? Смотреть, как люди работают, слушать, как поют песни? А ведь самому всего двадцать два года.

Погруженный в мучительные мысли, Ли Лай-цай не заметил, как кто-то тихо подошел к его кровати. Блеснул свет фонаря, и Ли Лай-цай испуганно вскинул голову: это была Сяо-сюэ. Она изумленно застыла на месте, затем наклонилась к Ли Лай-цаю.

Веселую, с ласковыми, всегда улыбающимися глазами медсестру Сяо-сюэ больше всех любили в госпитале. Неизменно внимательная и терпеливая, она была для раненых бойцов родной сестрой.

— Как, ты сидишь и даже не думаешь спать? — спросила она.— Время за полночь, мы только что приняли смену.

Ли Лай-цай ничего не отвечал, но Сяо-сюэ заметила следы слез на его щеках.

— Ты плакал? Почему?

Ли Лай-цай сгорал от стыда. Не желая признаваться молодой девушке в том, о чем она догадывалась, он попробовал отговориться.

— Ничего я не плакал.

— Не плакал? А слезы откуда?

Припертый к стене, Ли Лай-цай, нахмурившись, ответил:

— У меня ноги болят.— И отвернулся.

Сяо-сюэ тихонько провела рукой поверх одеяла, потом повернулась и ушла, покачивая на ходу фонарем.

Через несколько минут в палате появился доктор Сюй, а с ним опять Сяо-сюэ.

— Что такое? Сильно болит?

Ли Лай-цаю ничего больше не оставалось, как повторять сквозь зубы: «Болит, да, болит».

Вспыхнула лампа. Зажмурившись от яркого света, Ли Лай-цай повернулся на бок и умолк. Врач развязал бинты, осмотрел раны. Однако, как он ни ощупывал ноги, ему ничего не удалось обнаружить: оперированные места не пульсировали от притока крови, не горели и были в прекрасном состоянии.

Доктор Сюй поглядел на Ли Лай-цая, присел на край койки и сказал:

— Дело в чем-то другом.

Зная, что врача не обмануть, Ли Лай-цай промолчал.

— Не надо слишком много об этом думать, товарищ. Вы стали инвалидом, защищая Родину, и Родина позаботится о вас...

Ли Лай-цай повернул голову и устремил на врача горящие глаза.

— Разве я этого не знаю? Разве это меня мучает?

— Родина обеспечит вас на всю жизнь...

— Ну да, всю жизнь — ешь, пей, ни о чем не думай! — не выдержав, перебил Ли Лай-цай врача. Он был обижен до глубины души непониманием окружающих, и чем больше его утешали, тем нестерпимее становилась обида.— Разве я об этом? Мне всего двадцать два года, и если с этих лет на всю жизнь...

— Вы, раненые, это заслужили,— горячо перебила его Сяо-сюэ.

Но Ли Лай-цай не хотел ничего слушать, он страшно разволновался, сердце, казалось ему, вот-вот выпрыгнет из груди. Обычно он был очень мягок в обращении с людьми, никому не перечил, а тут не выдержал:

— Уходите! Уходите все.

Он так резко отвернулся к стене, что кровать заходила под ним ходуном. Переглянувшись, доктор Сюй и Сяо-сюэ погасили свет и бесшумно удалились.

8

На следующий день утром дверь в палату распахнулась, и вместе с золотым потоком солнечного света в комнате появился человек. Веселым и звонким голосом он обратился к находившимся в палате раненым:

— Здравствуйте, товарищи! Я вижу, у вас все уже поднялись.

Никто из раненых и не думал подниматься с постели. Говоря «поднялись», вошедший в силу многолетней армейской привычки хотел сказать «проснулись».

Человек этот, высокий, коренастый шаньдунец с румянцем во всю щеку, был политрук. Он тоже был ранен, его принесли с корейского фронта на носилках, но лежачая жизнь была не по нем. Он с раннего утра был уже на ногах, наведывался во все палаты, сновал между всеми кроватями и, без зазрения совести нарушая госпитальную дисциплину, смеялся громким гулким басом. Где бы ни показался политрук, всюду слышался веселый смех бойцов. Когда он приходил в палату, уныние оттуда уходило. И вот теперь, в этот ранний утренний час, он неожиданно вырос в дверном проеме. Голова его и лицо были наполовину скрыты под белоснежной повязкой — все знают, что у него пробиты пулей челюсти, ему дважды делали операцию, и сейчас он говорит еще не вполне чисто и внятно. Но что раны, что бинты! У него они словно не имеют никакого отношения к боли.

Войдя в палату, политрук не подошел сразу к койке Ли Лай-цая. Хотя Ли Лай-цай и чувствовал сердцем, что его появление связано со вчерашним происшествием; политрук, казалось, не обратил на него особого внимания: стоя в дверях, он оглядел всю палату, каждому кивнул и улыбнулся, а в числе прочих также и Ли Лай-цаю.

Затем политрук подошел к раненому бойцу Юй Ши-юну и потрепал его по волосам.

— Ну, как дела, зенитчик?

Юй Ши-юн был парень с образованием, служил в зенитных частях; в одном из боев на корейском фронте, во время отражения воздушного налета, его ранило в левую ногу. Сейчас рана заживала, и он уже мог понемногу ходить на костылях. Всякий раз, встречаясь с политруком, он полушутя, полусерьезно просил его:

— Товарищ политрук, замолвите словечко перед начальником госпиталя, чтобы отпустил. Я как сяду на машину — так до самого фронта, к тому времени о ранении и разговору не будет.

Он и сейчас сказал то же самое, а в подтверждение своих слов выпростал из-под одеяла забинтованную ногу и подрыгал ею.

Наклонив голову, политрук с серьезным видом наблюдал за его движениями, а затем сказал:

— Очень хорошо! Совсем как здоровая! Обязательно скажу начальству!

Юй Ши-юн так и задрожал от радости:

— Скажете, да, товарищ политрук? Что скажете?

— А вот, значит, и скажу,— политрук словно взвешивал каждое слово,— что за товарищем Юй Ши-юном нужен глаз да глаз, горячая он голова, скажу, и пусть сидит в госпитале до полного выздоровления...

Едва он успел докончить, вся палата покатилась со смеху.

Политрук тем временем направился к другому товарищу, чернобородому бойцу, который совсем не мог двигаться. Наклонившись, политрук взял его пожелтевшую распухшую руку, лежавшую на груди, и тихо спросил, как он себя чувствует. В глазах у бойца зажегся огонек, и, улыбнувшись политруку, он сказал, что этой ночью крепко спал и сейчас чувствует себя хорошо.

Ли Лай-цай уже не сомневался в том, что политрук ради него пришел в палату, но не представлял себе, как он будет говорить о вчерашнем происшествии. Когда политрук, обходя койку за койкой, приблизился к нему, все, о чем Ли Лай-цай только что думал, разом вылетело у него из головы.

Политрук быстро подошел к его койке и сел рядом на стул.

— Как дела, Ли Лай-цай?

— Хорошо, товарищ политрук! — ответил Ли Лай-цай.

— Есть жалобы?

— Нет.

Голос политрука звучал отечески мягко, на губах играла легкая улыбка. Свои большие руки он держал на коленях, и на одной Ли Лай-цай заметил синий шрам. Понизив голос, чтобы их никто не слышал, политрук спросил:

— Как медсестры? Врачи? Если чем недоволен, скажи...

Эти слова страшно взволновали Ли Лай-цая. Они могут подумать совсем не то! Он отрицательно затряс головой:

— Они ухаживают за нами днем и ночью, лучше быть не может, все равно что сестры и братья родные...

Видя, что Ли Лай-цаю от волнения кровь бросилась в голову, политрук понял, что дальнейшими расспросами он, чего доброго, доведет до слез прямодушного, бесхитростного молодого бойца, и сам заговорил о цели своего прихода.

— Я не то имел в виду, я только хотел сказать, ранение у тебя тяжелое, другие выбираются погулять, ходят в театр, в кино, а ты ходить не можешь. Боюсь, как бы ты не приуныл совсем...

— Я не унываю, товарищ политрук.

— Плохо тебе сейчас приходится?

Под чутким, добрым взглядом политрука Ли Лай-цай опустил глаза

и молчал. Он не может сказать неправду перед лицом партии и таиться от нее дальше не может.

Политрук придвинул стул поближе и, положив свою руку на руку Ли Лай-цая, негромко сказал:

— Не надо меня больше обманывать, Ли Лай-цай! Ты — коммунист, почему ты не можешь сказать партии все, что лежит у тебя на сердце?

Ли Лай-цай был растроган до глубины души. Действительно, был ли у него когда-нибудь хоть малейший разлад с партией? Утаил ли он от партии хоть что-нибудь с того дня, как вступил в нее? Ничего не тая, он рассказал о сбивчивых и путаных мыслях, которые не давали ему покоя с тех пор, как он упал в снег на передовой линии в Корее. Он все говорил и говорил, а политрук, не отрываясь, глядел на него понимающе и сочувственно. Он не прерывал Ли Лай-цая, только изредка кивал в знак согласия, улыбался и подбадривал.

Они так заговорились, что солнце заглянуло уже в окна палаты и озарило бледно-розовые гортензии на подоконниках; их шелковистые лепестки просвечивали на солнечном свету, и казалось, будто внутри потаенно струится прозрачный сок жизни. Опираясь на костыли, тихонько вышли из палаты раненые. Тяжело раненный лежачий боец, по-видимому, незаметно заснул. Ли Лай-цай рассказывал, и политрук все больше убеждался в том, что не обманулся в этом молодом парне. Правда, он сейчас очень ослаб — гляди, как почернело и осунулось лицо, какие исхудалые руки,— но вообще парень хоть куда! Сколько в нем жизненной силы, задорной, как огонь! Он из той породы людей, которые и упав не сдаются и борются до конца. Политрук все более проникался сочувствием и симпатией к Ли Лай-цаю. Его боль он ощущал как свою, его терзания — как свои. Будь он на его месте, он тоже не мог бы поступить иначе.

Когда Ли Лай-цай кончил свой рассказ, лицо политрука было уже не прежнее, веселое и бодрое, и не отечески-ласковое, как в начале разговора; он весь стал как-то проще, обыкновенней, доступнее чужому горю, не только политрук, но и самый дорогой товарищ, человек, который, как и ты, был ранен, и не один раз. Политрук долго молчал и наконец сказал:

— Молодой человек имеет полное право беспокоиться о своем будущем.

С тех пор, как он попал с фронта в тыл, многие люди утешали и ободряли Ли Лай-цая, но этим дело и ограничивалось. Он впервые встретил настоящее понимание в человеке, впервые почувствовал, как душа другого близка его душе. С благодарностью смотрел он на политрука.

Тот сидел рядом, чуть хмуря в раздумье брови,— старый воин, прошедший долгий путь борьбы, один из тысяч таких же, не больше. Так прошла минута, и вдруг, без всякого перехода, он заговорил:

— Десять лет назад мы воевали в районе города Лайу в Шаньдуне. Там я был ранен впервые. Бои шли один за другим, я и несколько моих товарищей — мы все сразу получили ранения.— Политрук повертел в воздухе своей большой рукой, той самой, на которой у него синел шрам.— Тогда, во вражеском тылу, трудно было неимоверно, мы и мечтать не могли о всей этой благодати.

Ли Лай-цай, следуя за его взглядом, обвел глазами палату.

— Однажды мы попали к японцам в так называемую «железную блокаду», и нам пришлось отступить к одной горе. Гора была совершенно голая, ни единого деревца, одни камни. Дело было под вечер. Нас осталось всего тринадцать человек, из них пять раненых, в их числе — политрук, секретарь нашей партячейки. Его положение было особенно

тяжелым, он потерял много крови; другие еще могли сами двигаться, а он мог ходить, только если кто-нибудь поддерживал его. Политрук с вершины горы внимательно оглядел окрестность: противник повсюду разложил костры, окружил нас со всех сторон. Тогда он стал обсуждать с нами план прорыва — у кого какая задача. Определил все до мельчайших подробностей, только о себе ничего не сказал. Кто-то из товарищей спрашивает: «Мы с вами пойдем впереди, товарищ политрук?» — «Нет, пойдете одни, а мне оставьте пару гранат». У нас у всех сердце так и упало, товарищи ни в какую не соглашаются его бросить. Он поглядел на каждого и тихо так говорит: «Если вам удастся прорваться, товарищи, вы пробьетесь к своим. Но со мной вам не прорваться. Мы не можем пойти на такие большие потери. Партия мне вас доверила, и я любой ценой должен вывести вас из окружения!» Он за руку попрощался с каждым; я и сейчас помню, что его рука была холодна как лед. Мы осторожно пошли в указанном им направлении и вдруг услышали сзади выстрелы. Сначала мы подумали, что это стреляет враг, но потом прислушались: нет, выстрелы одиночные, стреляет наш политрук. Тут только мы поняли его замысел — он хотел отвлечь врагов на себя, чтобы нам легче было прорваться. Так оно и случилось: на его выстрелы сразу ответил пулемет. Потом вражеские солдаты загомонили, загалдели и ринулись на вершину горы. Мы все обернулись и долго смотрели в ту сторону, где остался политрук. Никакими словами не расскажешь, как тяжело было у нас на сердце. Мы все понимали, что это он ценой собственной жизни вывел нас из окружения. Сосредоточив весь огонь в одном месте, мы действительно прорвали кольцо врагов.

— Но хоть мы и вышли из окружения,— продолжал политрук,— весь район кишел вражескими солдатами. Раненых пришлось прятать в погребах у крестьян. Хлеба нигде нельзя было достать. Весь день мы голодаем, а ночью выберемся в поле, нарвем диких съедобных трав и жуем. Но как бы туго нам ни приходилось — хоть бы кто из товарищей слово сказал. Все помнили о политруке, помнили, как в ту ночь, когда мы пробились через окружение, оторвались от противника и добрались до горной пади,— как в ту ночь мы остановились и, взглянув на вершину горы, увидели: там вспыхнул огонь, потом донесся звук разрывов — и все затихло. Все раненые товарищи помнили об этом. Как бы тяжело нам ни приходилось в той труднейшей и опаснейшей обстановке, ни у кого и в мыслях не было пожаловаться. Каждый был крепок духом, крепок как сталь.

Политрук умолк, видно было, что он старается побороть волнение. О том, что было дальше, он рассказывать не стал.

— Ты потерял обе ноги и, естественно, тяжело это переживаешь. Тебя гнетет мысль, что ты больше не сможешь быть бойцом на передовой. Тебе кажется, что несчастнее тебя нет на свете.— Каждое слово болью отдавалось в сердце Ли Лай-цая. А политрук быстро закончил: — Для нас, коммунистов, не существует безнадежных и безвыходных положений. Известно ли тебе, что в Советском Союзе есть летчик с протезами вместо ног?

Ли Лай-цай отрицательно покачал головой. Нет, ни о каком безногом летчике он ничего не знает. А политрук, схватив его за руку, продолжал:

— Ну да! Такой же инвалид, как и ты, только летчик. У него были перебиты ноги, он несколько суток полз по снегу и отморозил их, а когда попал в тыл, вылечить ноги уже было нельзя, и ему их отняли. Он ходит на протезах!..

Протезы? Человек, лишившийся ног, может ходить на протезах? Ли Лай-цай невольно вскрикнул.

— Протезы... А у нас в Китае тоже можно сделать протезы? — лихорадочно допытывался он, блестя глазами.

— Можно, отчего же нельзя.

Обрадованный Ли Лай-цай порывисто повернулся к собеседнику и в свою очередь схватил его за руку:

— А какие они, товарищ политрук? Какие они, протезы?

— Совсем как человеческие ноги... Да ты слушай, что тебе говорят! Тому советскому летчику вначале было очень трудно, он упорно учился ходить — упадет, подымется и опять идет, делает шаг, другой, медленно, а идет. У него была огромная выдержка. Выучившись ходить, он стал учиться танцевать и потом танцевал так хорошо — и не подумаешь, что он на протезах. А потом он поднялся на самолете в небо и здорово бил врага...

Эти слова, как лучи солнца, хлынули в сердце Ли Лай-цая. Его уныние как рукой сняло. Откинувшись к стене, он с трудом перевел дух и спросил:

— Товарищ политрук, значит, и для меня есть еще надежда? Значит, и я так могу, товарищ политрук?

— Можешь, непременно можешь! Почему другой смог, а ты не сможешь?

Ли Лай-цай был безмерно благодарен этому сорокалетнему воину; он не поучал и не утешал его, но так с ним разговаривал, что слова глубоко западали ему в душу и возрождали надежду. А политрук снова стал весел, снова лицо его светилось заразительной бодростью, как в ту минуту, когда он вошел в палату. Он поднялся со стула — и то ли они слишком заговорились, то ли он сделал резкое движение,— только вдруг схватился за щеку, брови его дрогнули от невыносимой боли, на глазах блеснули слезы. Сердито тряхнув головой, он сказал Ли Лай-цаю:

— Прежде всего тебе надо закаляться. Гляди, как ты исхудал, сам на себя не похож. К чему тебе протезы без здорового тела?

Ли Лай-цай утвердительно кивнул:

— Приму к сведению, товарищ политрук!

— Однако и о сознании не забывай, товарищ. Если заберешь себе в голову, что все пропало,— ничто тебе не поможет.

С этими словами политрук повернулся и пошел.

Ли Лай-цай был вне себя от радости, в него словно вдохнули жизнь, его лицо сияло надеждой.

9

...В палате тихо, совсем тихо. Ли Лай-цай сидит на койке, сосредоточившись, как школьник, и, водя по книге пальцем, вслух читает иероглифы. Он читает внимательно, затем закрывает книгу, упирается головой в стену и с закрытыми глазами твердит наизусть. Поглядите, он еще очень худ. Какой у него трогательный вид, когда он, мучительно роясь в памяти, напряженно шевелит губами, беззвучно повторяя про себя прочитанное! Глядя на него, вся палата не может удержаться от смеха. Он быстро открывает глаза и хохочет вместе со всеми.

Энергия, почти угасшая в Ли Лай-цае, после разговора с политруком мало-помалу возвращалась к нему. Зенитчика Юй Ши-юна он попросил обучать его грамоте.

— В будущем, когда я встану на ноги,— сказал он,— грамотному и работать легче будет.

К его просьбе присоединилась вся палата, Юй Ши-юн раздобыл доску, повесил на стену и стал обучать всех фонетической азбуке и иероглифическому письму.

Сначала Юй Ши-юн предложил:

— Я буду показывать тебе два иероглифа в день.

Проявив необычайное усердие, Ли Лай-цай легко усваивал в день два иероглифа. Одного раненого товарища, часто выходившего в город, он попросил приобрести ему тетрадь, карандаш и маленький иероглифический словарик. Он день и ночь сосредоточенно писал и учил на память иероглифы. За семь дней он освоил всю азбуку и уже мог писать диктанты. Видя, как велико его рвение к учебе, Юй Ши-юн удвоил норму. Однажды, когда Юй Ши-юн, взяв костыли, собрался выйти в город на прогулку, Ли Лай-цай попросил его:

— Товарищ преподаватель! Купите мне какую-нибудь книгу, ладно?

Юй Ши-юн принес ему «Начальное пособие по новой китайской письменности». (Эта книга у него сохранилась, и, когда в 1956 году я встретился с ним в Пекине на Всекитайском совещании передовиков производства, он достал ее из своей синей холщовой сумки и показал мне). Это была первая книга в его жизни, и он чрезвычайно дорожил ею. С того дня, сидя на кровати, он частенько заглядывал в книгу. Его самочувствие становилось лучше день ото дня, боль в ногах уже не мучила, как прежде.

Одно лишь беспокоило Ли Лай-цая — на письмо, посланное жене, ответа до сих пор не было.

Письмо в деревню должно было идти дней шесть, а со времени отправки прошло уже несколько недель. Ли Лай-цай попросил Юй Ши-юна написать за него письмо его двоюродному брату Цзинь-цаю, живущему в уезде Цзесю провинции Шаньси, и через двенадцать дней получил ответ. Цзинь-цай писал, что Жень Гуй-цин по-прежнему живет в Сицзылин и учится в школе. Теряясь в догадках, что же могло случиться, Ли Лай-цай ждал ответа от жены.

Наконец, через два дня после письма от Цзинь-цая, сестра принесла ему письмо из уезда Циньян провинции Хэнань. Страшно обрадовавшись, он тотчас вскрыл конверт — ему так хотелось самому прочитать письмо от любимой! Однако из этого ничего не вышло: он знал слишком мало иероглифов. Пришлось снова обращаться к Юй Ши-юну за помощью. Товарищи по палате, узнав, что Ли Лай-цай получил письмо, с веселым смехом сходились к его постели, кто ковыляя на костылях, кто опираясь руками на койки. Даже чернобородый боец, который все время лежал в лежку, и тот повернулся лицом к Ли Лай-цаю и не сводил с него своих больших глаз. Однако Юй Ши-юн, дважды просмотрев письмо, почесал у себя в затылке, вскинул брови и, крепко выругавшись, сказал:

— Вот так-так!

Бойцы переглянулись, в палате воцарилась мертвая тишина.

— Юй Ши-юн,— горячо заговорил Ли Лай-цай,— мы все тут свои, читай полностью все, что там есть!

Юй Ши-юн присел на край койки и, уставившись на него, молчал, как воды в рот набрал.

Ли Лай-цай начал смутно подозревать, что жена написала ему в письме что-то такое, чего при посторонних лучше не читать. Радость его померкла, он почувствовал, что случилось что-то недоброе.

Наконец, Юй Ши-юн прочел ему письмо. Вот что писала в нем Жень Гуй-цин:

«Мне сказали, что ты давно уже дезертировал с корейского фронта. Как же ты можешь говорить, будто находишься на излечении в Цзинь-чжоу? Го Чжан-юань, который вернулся недавно в деревню из чужих краев, говорит, что своими глазами видел тебя в Сиани, ты был в черном и с белой чалмой на голове. Когда наши деревенские об этом услышали, они страшно возмущались, говорили, что ты не выдержал трудностей и

что ты трус»... Далее Жень Гуй-цин писала, что она показывала односельчанам письмо, которое он ей прислал из Кореи. Секретарь сельской партячейки решительно отказывается верить Го Чжан-юаню, говорит, что, когда Ли Лай-цай уходил на фронт, он был исключительно тверд и такого с ним никак не могло произойти. Однако это никого не убедило — Го Чжан-юань уверял, что не мог обознаться, так как с детства знал Ли Лай-цая. В результате деревня лишила их семью звания «Заслуженная семья воина». «...И вот теперь ты пишешь мне из Цзиньчжоу, что ранен... Если ты и вправду вернулся раненый с корейского фронта, поскорее напиши об этом в деревню!»

Ли Лай-цай молча дослушал письмо до конца. Ему было понятно, что борьба в деревне продолжается. Какие-то негодяи исподтишка мутят воду и стараются ему навредить. Неужели партийные товарищи на селе до сих пор не знают его, Ли Лай-цая, по-настоящему? Чем объяснить иначе, что дело зашло так далеко?

Хотя Ли Лай-цай молчал, раненые бойцы, собравшиеся вокруг, были вне себя от возмущения.

— Что он за птица, этот самый Го Чжан-юань? — гневно спросил бородач, лежавший на койке поодаль.

— Во время освободительной войны я был начальником отряда, он — народным ополченцем,— ответил Ли Лай-цай.— Вместе партизанили...

— Вот оно как, даже партизанили вместе, кровь проливали!.. Живо пиши письмо, задай ему как следует! Пиши, Юй Ши-юн! — запальчиво крикнул бородач.

— Пиши, Юй Ши-юн!

Негодующие возгласы бойцов слились в один сплошной крик. Все наперебой требовали, чтобы Юй Ши-юн писал письмо. Сельским партработникам также предлагалось задать как следует.

Ли Лай-цай лежал молча, думая о Го Чжан-юане. В партизанском отряде они были очень дружны. Мог ли Го Чжан-юань стать на путь сознательного предательства?.. Услышав, чего хотят раненые бойцы, Ли Лай-цай, замахав руками, остановил их:

— Сельские партийцы — все мои старые друзья, так писать негоже...

— Хороши друзья — нисколько тебе не доверяют!.. — крикнул бородач, у которого голос перехватило от возмущения.

— Нет, это дело мы как-нибудь после уладим. Я сам работал в деревне, знаю, сколько там трудностей на каждом шагу.

— Ну что ты за человек в самом деле...

— С тобой так обошлись, а ты нянчишься с ними!

Юй Ши-юн, охваченный, как и все, безудержным порывом, ничего не слушая, вытащил из кармана ручку и принялся писать. Ли Лай-цай решительно остановил его:

— Нет, я — солдат революции и писать такое не буду. Делайте что хотите, товарищи, не могу.

Товарищи стояли вокруг и смотрели на него: вот он сидит перед ними, худой, изможденный, под одеялом в ногах кровати — пустота. От волнения никто не мог слова вымолвить.

Весь день Ли Лай-цай был сам не свой. Случается, борется человек с волнами, выплывет на поверхность, глотнет воздуха и чувствует себя уверенней, готов плыть дальше. Но налетает новая туча, новый порыв ветра, новый вал еще яростнее накатывается на него... Так было и с Ли Лай-цаем. Только он не о себе думал, нет — он думал о любимом человеке. Он хорошо понимал, что должна была пережить жена, услышав весть, принесенную Го Чжан-юанем; а потом вдруг приходит и его

письмо, в котором он сообщает, что потерял ноги. Какое горе на нее свалилось! Хотя в своем письме она ничего об этом не пишет, он знает, что у нее сердце разрывается, поэтому и не было ответа так долго.

От таких мыслей невольно потеряешь присутствие духа. «Потерпи еще немного, Жень Гуй-цин, дай время, и я сам приду к тебе!» Ли Лай-цай постепенно восстанавливал душевное равновесие и уже на следующий день занимался с Юй Ши-юном иероглификой. Ли Лай-цай стал еще более старателен и упорен в учебе. Как человек в пути, которого ждут неотложные дела, он за каждый переход стремится уйти вперед как можно дальше.

Однажды вечером, возвратясь из города, Юй Ши-юн сообщил Ли Лай-цаю:

— Я об одном тебе не сказал, старина,— меня выписывают, хочу проститься с тобой.

— Как? Меняешь профессию или...

— Ну, конечно, отправляюсь на фронт — на корейский фронт.

— Да ведь ты без костыля шагу путем ступить не можешь, неужели врач согласился тебя отпустить? — недоверчиво спросил Ли Лай-цай.

— Согласился, старина, дал полное согласие. Я ему каждый день надоедал: отпустите да отпустите! Мы, зенитчики, говорю, воюем все время на машинах — он и согласился.— Юй Ши-юн старался сдержаться, но радость так и сверкала в его глазах.

Юй Ши-юн и Ли Лай-цай крепко сдружились за это время. Юй Ши-юн боялся, как бы это известие не огорчило друга. Однако Ли Лай-цай был рад за него, рад, что друг возвращается на фронт. Одно лишь мгновение длилось молчание Ли Лай-цая, на одно лишь мгновение угас его взгляд, и вот он уже снова со смехом говорит:

— Вот и хорошо, старина! Ты меня многому научил, и я тебе очень признателен.

— Ты и дальше занимайся, сам занимайся! Когда сможешь писать письма — будем переписываться. Мы с тобой оба партийцы, я верю, что ты справишься с любыми трудностями.

— За это можешь быть спокоен.

На следующий день, уложив в полевую сумку любимые книги, Юй Ши-юн простился с товарищами и отправился на корейский фронт.

Ли Лай-цай еще активнее, еще ревностнее взялся за учебу. Не зная усталости, он занимался днями и ночами, заучивая иероглифы и одновременно упражняясь в письме. Он окреп физически и набирался новых сил.

От Жень Гуй-цин пришло еще одно письмо, полное любви и радости. Она сообщала: недавно в уезде было получено известие о том, что командование объявило Ли Лай-цаю благодарность, а правительство Корейской Народно-демократической Республики наградило его медалью «За боевые заслуги»...

— Значит, фронтовые товарищи не забыли меня, даже вынесли поощрение! — пробормотал Ли Лай-цай. На его глаза навернулись слезы.

Справившись с волнением, он прочел письмо до конца. Жень Гуй-цин выражала твердое намерение тотчас же выехать в Цзиньчжоу повидаться с ним. Ли Лай-цай испуганно подумал: да ведь от Циньяна до Цзиньчжоу сотни ли пути!

Письмо жены согрело его. Так как раны его зажили, здоровье поправилось, и он скоро должен был выйти из госпиталя, в коротком ответном письме он написал, что ей незачем ехать в такую даль. Скоро они встретятся.

10

Долгожданный день, наконец, наступил. Врач в последний раз обследовал его и подтвердил, что здоровье полностью восстановлено. По просьбе Ли Лай-цая столяр сделал ему протез. Как он ждал этого дня, как надеялся снова встать на ноги!

И вот Ли Лай-цай, подвинувшись на край койки, взял тяжелый протез и стал ремешками закреплять его.

Опасаясь, что он будет нервничать и торопиться под их взглядами, товарищи по палате, принимавшие в его судьбе самое горячее участие, нарочно не смотрели в его сторону. Один только чернобородый пристально наблюдал за ним.

Ли Лай-цай спокойно, четкими, уверенными движениями туго затягивал ремни.

И только когда все было готово и он взялся за костыли, сердце его дрогнуло: не устою, свалюсь — что тогда?..

Непоколебимая воля борца подавила мгновенное замешательство, он крепко зажал под мышками костыли и, стиснув зубы, всем телом оттолкнулся от кровати. В тот же миг жгучая, нестерпимая боль пронзила его правую ногу, опиравшуюся на протез. Лицо залило смертельной бледностью, в глазах потемнело, по всему телу прошла испарина. Он тяжело рухнул на койку и припал головой к руке, судорожно сжимавшей костыль. Его глаза закрылись — он был поражен в самое сердце: боец, самозабвенно отдавшийся борьбе и бьющийся из последних сил, он потерпел неудачу в первой же схватке!

В палате стояла гробовая тишина. У каждого болела за него душа, каждый понимал, каким страшным ударом была для него эта неудачная попытка стать на ноги. Каждый, забыв боль собственных ран, внутренне напрягся, словно это могло как-то помочь товарищу.

Ли Лай-цай поднял голову. Его челюсти были плотно сжаты; он перенес всю тяжесть тела на руки и одним рывком встал. На этот раз он проделал все молниеносно. В глазах у него сверкнул огонек, по губам пробежала скорбная улыбка. Он был весь — ликование, весь — страдание. Переставив костыль, он порывисто сделал шаг, другой, застыл на месте, пытаясь восстановить равновесие. Вдруг один из костылей вывернулся из его руки, и Ли Лай-цай рухнул на пол.

Несколько товарищей, которые могли самостоятельно передвигаться и наблюдали за каждым движением Ли Лай-цая, подбежали к нему, перенесли на койку, сняли протез.

Ли Лай-цай отвернулся лицом к стене и молчал.

В палате по-прежнему стояла тягостная тишина. Вдруг тяжело раненный бородач, забыв о боли, с трудом приподнялся на койке.

— Эй, старина Ли! — сказал он.— Не горюй, у тебя это обязательно получится!

Ли Лай-цай ничего не отвечал, стараясь побороть свое отчаяние. Он понимал, как сильно привязались к нему товарищи. Если ему удастся подняться на ноги — поднимутся и они. А он упал. «Человек без ног смог научиться не то что ходить, даже танцевать, даже водить самолет! А я не могу даже стоять на костылях? Отчаиваться? Другой тоже падал и не отчаивался — почему же я должен так легко поддаться отчаянию? Неужели мне вечно ползать по земле?» — думал он. Мысль о том, что ему придется ползать на руках и искалеченных ногах перед лицом всего света, под жалостливыми взглядами людей — эта мысль была невыносима. Она надолго лишила его покоя.

Два дня и две ночи Ли Лай-цай не разговаривал и не смеялся, не притрагивался к учебнику, почти ничего не ел. Глубокой ночью, когда

все вокруг спали, Ли Лай-цай осторожно нащупывал в темноте протез и костыли и поднимался с койки.

К рассвету он весь обливался горячим потом, но нога, казалось, стала постепенно привыкать к нагрузке. Он тихонько похлопывал по ноге и, не снимая протеза, засыпал, когда уже светало.

На третий день, едва пробудившись и увидев, что комната сплошь залита солнцем, он вскочил с постели и, не умываясь, потянулся за костылями, стоявшими у койки.

С помощью костылей он поднялся на ноги. Потом, опираясь на них, уверенно потоптался на месте, ища устойчивого равновесия.

Теперь он не бросился сразу вперед, как в первый раз, а осторожно выдвинул один костыль, прочно установил и, перенеся на него всю тяжесть тела, шагнул протезом; затем, подтянув второй костыль, снова шагнул.

Сделав пять шагов, он остановился. Хотя от ломоты в ноге с него градом катился пот, можно было сказать, что он поднялся на ноги, он ступает, ему не придется вечно ползать по земле! Он ликующе закричал на всю палату:

— Я хожу! Хожу!

Бородач, сияющими глазами следивший за ним с подушки, улыбнулся, кивнул и ободряюще сказал:

— Я все время с тебя глаз не спускаю. Иди, Ли Лай-цай! Иди вперед!

Услышав его голос, Ли Лай-цай, точно по команде, двинулся вперед. Радостно-взволнованные товарищи по палате окружили его.

Ли Лай-цай один не смеялся: взглянув вниз, он увидел, что правая нога, не касаясь пола, висит в воздухе, а держится он на одних костылях. С досадой покачав головой, он омраченный вернулся на койку и, ни слова не говоря, отер со лба пот. «Разве так по-настоящему встают на ноги? — думал он.— Если ты без костылей и шагу ступить не можешь, это ли называется встать на ноги? Разве удобство передвижения для меня главное? Иметь возможность работать, бороться — вот что мне нужно.— Ли Лай-цай поник головой.— Можно ли вести самолет с парой костылей? Разве так по-настоящему встают на ноги!..»

Да, таков он, наш Ли Лай-цай. Другой на его месте удовольствовался бы тем, что может ходить на костылях, а Ли Лай-цаю этого было мало. Он хотел по-настоящему научиться ходить, по-настоящему стать деятельным человеком.

Вскоре из Хэнани в Цзиньчжоу были посланы партийные товарищи, чтобы принять инвалидов войны — уроженцев Хэнани — и помочь им вернуться в родную провинцию. На поезд, шедший в Синьсян, вместе с группой раненых хэнаньцев сел и Ли Лай-цай. Синьсян — город, в освобождении которого Ли Лай-цай лично участвовал. Именно здесь он, боец революции, впервые сражался как солдат регулярной Народно-освободительной армии. Пока поезд в своем стремительном беге приближался к главному городу его родного края, Ли Лай-цаю вспомнился 1948 год, когда он еще служил в роте особого назначения при штабе войск четвертого Тайсинского подрайона. Он был тогда в охране командующего, они принимали участие в штурме Цилиина. Бой был жестокий. Преодолев завал из деревьев, им удалось прорваться в Цилиин.

Повсюду над линией фронта небо было затянуто желтым дымом, разрывы снарядов следовали один за другим. Пронзительно звучали сигналы атаки.

Услышав, что противник отходит, Ли Лай-цай вне себя от волнения прибежал к командиру роты и стал просить:

— Товарищ командир, я еще совсем не бил врага, позвольте мне лечь за пулемет, товарищ командир!

Командир роты улыбнулся и, махнув рукой, сказал:

— Ладно, иди к пулемету, парень, поупражняйся.

Ли Лай-цай примчался на передовую, лег за пулемет, прицелился и дал по врагу три очереди. На первый раз дело этим и ограничилось. После окончательного освобождения Синьсяна он остался в Цилиине, где была расквартирована его часть.

Теперь он снова вернулся в Синьсян и был направлен в интернат инвалидов, расположенный за городом. Ворота интерната выходили прямо на реку Вэйхэ как раз там, где в нее впадает отводный канал из Хуанхэ.

Через этот канал длиною в сто ли, прорытый руками человека, воды Хуанхэ, пенясь и танцуя, сливаются с водами тихой Вэйхэ, а затем по множеству мелких ответвлений орошают обширный степной край с Синьсяном в центре. Места, в прошлом из года в год затоплявшиеся водами Хуанхэ, стали теперь богатым хлопководческим районом.

Как должна всколыхнуться душа человека, вернувшегося с далекого корейского фронта в родной край и заставшего там такие перемены! Ежедневно под вечер, когда закат алыми бликами заиграет на волнах Вэйхэ, многие инвалиды войны — кто на костылях, кто в коляске — отправлялись на берег реки. Ли Лай-цая среди них никогда не было. Он не хотел, чтобы его везли в коляске, он ни на миг не поколебался в своей решимости добиться полной свободы передвижения.

В день приезда, когда все вновь прибывшие собрались в приемной и ждали, кого в какую комнату определят, Ли Лай-цай неожиданно встретился с политруком своей прежней роты Чень Хун-ю. Они вместе перешли Ялуцзян и били американских агрессоров на корейском фронте. Чень Хун-ю тоже был ранен и стал работать в интернате инвалидов. Ли Лай-цай и Чень Хун-ю обрадовались, увидев друг друга. Отныне, думалось Ли Лай-цаю, с помощью своего старшего товарища он сможет еще успешнее продвигаться к цели.

Как-то днем — Ли Лай-цай в это время обедал — в комнату вбежал посыльный и сказал:

— К вам приехали, Ли Лай-цай, из дому.

Когда Жень Гуй-цин вошла, Ли Лай-цай поздоровался с нею, не вставая со скамьи. Увидев его, она просияла от радости, но тут же села на койку и заплакала.

— На что это похоже — только в дверь и сразу плакать? — улыбнулся Ли Лай-цай.— Ну да, я инвалид, но могу ходить на протезе.

Товарищи, жившие с ним в одной комнате, утешали ее как могли; потом они один за другим незаметно ушли. Ли Лай-цай подошел к жене на костылях, сел рядом.

— Посмотри на моих товарищей, разве все они не ходят? Я тоже могу ходить не хуже их.

Жень Гуй-цин вовсе не собиралась плакать. Но увидев мужа после долгой разлуки, вспомнив, сколько ему пришлось перетерпеть на фронте и в госпитале, она не смогла сдержать слез, подступивших к горлу. Справившись со слезами, она взволнованно и сбивчиво стала рассказывать, что произошло в Сицзылин. Оказывается, Го Чжан-юань был введен в заблуждение одним помещиком, у которого экспроприировали землю. Уездные власти положили конец кривотолкам, а Го Чжан-юань получил взыскание. Ли Лай-цай задумался, потом сказал:

— Так и есть! Я был уверен, что враги не успокоятся и будут продолжать борьбу.

У Ли Лай-цая созрело новое, необыкновенно смелое решение.

Однажды, когда к нему пришел для осмотра врач, Ли Лай-цай, дождавшись конца обследования, попросил его сесть и, показав на левую ногу, на которой была отнята только стопа, а пятка сохранилась, сказал:

— Доктор, я хочу ампутировать и эту ногу.

Врач испуганно заморгал:

— Ампутировать? Зачем ампутировать?

— Иначе мне придется вечно ходить на костылях. А если культи будут одинаковой длины, я смогу надеть протезы и тогда действительно встану на ноги...

— Так-то так, да вряд ли начальство разрешит.

— Разрешит, доктор! Мне это необходимо, я все обдумал. Я буду решительно настаивать — начальство не сможет не согласиться.

И Ли Лай-цай высказал все, о чем думал день и ночь. О чем он думал, когда в Цзиньчжоу прошел несколько шагов на костылях и товарищи радовались за него, о чем думал в поезде, на пути в родной край, и при встрече с женою. Одно для него несомненно: он хочет по-настоящему ходить. Пусть он будет работать хоть кладовщиком — его все равно не устраивает постоянно таскаться с костылями, как сейчас. Выход один: только если он сделает операцию, он сможет надеть два протеза и по-настоящему сможет ходить. Он полностью отдает себе отчет, какой трудный, мучительный путь избрал. В госпиталях есть правило, что при ампутациях раненым следует сохранять все, что только можно. Это свидетельство большой заботы о людях. Из товарищей Ли Лай-цая ни один не одобрил его решения. Может быть, он сошел с ума — кто после полного заживления ран, снова рискуя жизнью, требует ампутации конечности? Тем более не согласна с ним жена; она лучше будет работать всю жизнь за двоих, чем позволит ему снова лечь на операцию, терять кровь, мучиться. Конечно, он понимает: вырезать из тела кусочек кожи — и то больно, что же говорить о серьезной операции! Однако не пойти на риск — значит примириться с костылями, на всю жизнь остаться неполноценным. Нет, лучше умереть, чем признать себя побежденным костылями. Глядя на врача горящими глазами, Ли Лай-цай сказал:

— Доктор, прошу вас, поговорите с управляющим товарищем Шэнем!

Врач, склонив голову, подумал немного, потом встал и ответил:

— Я не встречал таких упорных людей, как вы, товарищ. Ничего нет особенного в том, что государство берет на попечение инвалидов. Так считают все раненые. Может человек ходить на костылях — и ладно. Но вы, товарищ, вы — не как все... Я обязательно поговорю о вас...

Ли Лай-цай написал Жень Гуй-цин, что готовится лечь в госпиталь для ампутации левой ноги. Скоро от Жень Гуй-цин пришел ответ: она решительно возражает; он хочет подвергнуть себя чрезвычайно болезненной операции, писала она и просила не делать этого. Ли Лай-цая тронула нежность этого письма; дочитав его до конца, он подпер голову руками и задумался. Затем, очнувшись, медленно сложил письмо. Отвечать на него он не стал, а отправился с ходатайством к управляющему интернатом.

Вопрос, который поднял Ли Лай-цай, был совершенно необычным. Никогда не случалось, чтобы человек после полного выздоровления потребовал ампутировать половину голени!

Однако вопрос был поставлен, и на него надо было дать тот или иной ответ. Дело шло о том, дать ли раненому возможность вернуть себе свободу передвижения или нет. Когда Шэнь услышал сообщение врача, он призадумался. Управляющий Шэнь был старый член партии, со времен антияпонской войны работал военным врачом в Народно-освободительной армии, знал и любил бойцов. Революционные врачи, считал

Шэнь, должны стремиться не только утолять боль и останавливать кровь, но и дать раненым возможность снова жить, жить по-настоящему, по-прежнему оставаться бойцами и продолжать борьбу. Именно в этом, по его мнению, состоит истинный гуманизм. Но ему ни разу не приходилось встречаться с человеком, который бы по своей воле, с риском для собственной жизни пошел на ампутацию голени, сохраненной в тяжелейших фронтовых условиях! Какой беспредельный энтузиазм, какая отвага, какая решимость! «Он коммунист?» — спросил Шэнь.— «Коммунист». Шэнь кивнул, словно услышал подтверждение каким-то своим мыслям. В нем с каждой минутой росло сочувствие к молодому бойцу. Где оно, то чудо, которое было бы не под силу коммунистам? Шэнь решил поддержать Ли Лай-цая. Существующий порядок запрещал ампутировать раненым однажды ампутированные и зажившие конечности. Можно ли рисковать жизнью раненых, снова кладя их на операционный стол? Они уже пролили кровь за Родину, к чему проливать еще хотя бы каплю этой драгоценнейшей крови?

Ли Лай-цай сам поговорил с Шэнем. Тот сказал:

— Выздоровление после ампутации досталось тебе нелегко, а ты опять хочешь подвергнуться операции.

Ли Лай-цай твердо стоял на своем:

— Я надеюсь, что после операции получу возможность работать, как нормальный человек.

Вопрос был поставлен перед ответственными работниками, ведающими обеспечением инвалидов войны, и ответственными работниками госпиталей. По установившимся порядкам они должны были отказать молодому бойцу. Но разве не достоин всяческого сочувствия человек, не соглашающийся всю жизнь жить на содержании у государства? Разве это не соответствует как нельзя более всему духу нашей жизни? Ли Лай-цай, первый из тысяч раненых бойцов поднявший столь необычный вопрос, нашел поддержку.

В мае 1952 года он вторично вступил в операционную.

Это был торжественный день. Товарищ Шэнь, в ослепительно-белом накрахмаленном халате, ходил взад и вперед по комнате — он лично взялся руководить операцией.

Поднявшись с помощью сестер на операционный стол, Ли Лай-цай сказал:

— Я прошу вас, товарищи, ампутировать мне ногу так, чтобы обе стали одинаковой длины, а рану зашить сзади — так нога меньше болит при ходьбе.

— Спокойно, товарищ...— негромко сказал за его спиной врач.— Сейчас я вам сделаю укол, небольшой укол...

Ли Лай-цай почувствовал как бы легкий толчок в спину, но остался совершенно спокоен.

Ли Лай-цай лежал на операционном столе с марлей на глазах. Он слышал, как ходила по его ноге пила — вжж-вжж, вжж-вжж...

С первой же минуты операции он напряженно сжался от этого звука, на лбу выступил пот. Крепко стиснув зубы, Ли Лай-цай овладел собой и сохранял полное молчание.

Секунда за секундой напряженно шло время, точно на поле боя. Товарищ Шэнь стоял возле Ли Лай-цая, подбадривал и успокаивал его и вместе с тем контролировал операцию:

— Быстрее... Не двигаться! Быстрее...

Никто не предполагал, что, тайком взглянув из-под марли, Ли Лай-цай увидит кровь и его дыхание моментально участится... Сестра наложила ему на лицо маску...

...Месяц спустя — хотя опухоль не прошла, но опасность уже не грозила Ли Лай-цаю — он написал жене: «Ногу оперировали, рана скоро заживет».

Вскоре он поехал в Синьсян и на специальном заводе заказал себе протезы. Работники завода, узнав, что он по собственному желанию ампутировал половину голени, пошутили:

— Надо же вдруг снова резать ногу! Не иначе нам побольше хлопот захотел доставить.

Ли Лай-цай с улыбкой отвечал:

— Поставьте всех нас, безногих, на ноги — и конец вашим хлопотам.

И вот наступил день, когда должна была решиться его судьба — сможет он научиться ходить по-настоящему или нет? Ли Лай-цай обернул культи портянками, надел протезы, выглядевшие совсем как настоящие ноги, застегнул пряжки на бедре и встал. Однако не тут-то было: в ноги вступила страшная боль, он сразу потерял равновесие, покачнулся, в глазах у него потемнело. Если бы подбежавшие товарищи не подхватили его, он бы упал. Губы его побелели от боли. Много месяцев он был без ног — и теперь протезы, без костей и кровеносных сосудов, решительно отказывались ему служить!

Но Ли Лай-цай оставался непреклонен. Раз не вышло — пробуй второй, снова не вышло — пробуй в третий! Он упорно тренировался в ходьбе.

Болели ли его раны? Еще бы. Напрягались ли его нервы? Еще бы. Но он, превозмогая боль, продолжал свои попытки и, хотя на глазах его сверкали слезы, он смеялся. Наконец, после долгих усилий он встал, ухватившись рукой за койку. Держась за стену, сделал шаг вперед, переступил с ноги на ногу и застыл на месте. Из штанин выглядывали ботинки, надетые на протезы, но у них такой вид, будто надеты они на живые ноги. Ни за что не подумаешь, что это протезы! Он невольно усмехнулся. Человек, полагавший, что сможет только ползать на четвереньках, теперь ходит, как все нормальные люди! Пусть при каждом шаге боль огнем вспыхивает в ноге — лишь бы идти вперед!

Пройдя несколько шагов, он почувствовал, что рубашка взмокла — хоть выжми, и сделал передышку. Отдохнув, снова двинулся вперед.

Только ли ноги вернул себе в этот день Ли Лай-цай? Нет, он вернул себе самую жизнь, пылающую неугасимым пламенем жизнь! Он действительно распрямился во весь рост.

11

Случалось ли вам когда-нибудь видеть: вытопчут люди костер или зальет его дождем — кажется, осталась от него лишь кучка пепла. Сначала идет от нее тоненькая синяя струйка дыма, но мало-помалу становится все тоньше и тоньше и, наконец, совсем исчезает. Кучка пепла, мертвая зола. Но почем знать, не теплится ли под ней частичка жизни, немножечко огня? Огонь набирает силу, разгорается. И вот снова скачет, танцует, радуется, ликует яркое пламя! Оно еще горячее, чем было миг тому назад. Не то же ли самое случилось теперь с Ли Лай-цаем?

Ли Лай-цай продолжал упражняться в ходьбе, его протезы непрерывно поскрипывали. Словно выполняя заданный урок, он доставал воду из колодца, сажал овощи, работал на брусьях. В постоянном движении он настолько освоил протезы, что через некоторое время играл в волейбол или, став у стола для пинг-понга, энергично ударял ракеткой по мячу. Он необычайно упорно и старательно продолжал учиться. За два месяца он овладел более чем двумя тысячами иероглифов. В январе 1954 года Ли Лай-цай закончил начальную школу и вместе с шестью другими

товарищами сдавал экзамены в среднюю школу. Из семи человек только он один успешно прошел все испытания.

Как-то раз, в субботу, товарищи Ли Лай-цая собрались посетить театр в Синьсяне. Все шумной гурьбой вскарабкались на грузовик, только Ли Лай-цай медлил.

Водитель Чжан Кэ-сань тоже еще не занял своего места в кабине. Ли Лай-цай спросил его:

— Слушай, Чжан Кэ-сань, может наш брат, на протезах, научиться водить машину?

Чжан Кэ-сань бегло взглянул на него и недолго думая ответил:

— Можешь ходить — сможешь и машину повести! Ну, забирайся.

Ли Лай-цай влез в кузов, шофер дал гудок и вывел машину на шоссе. Ли Лай-цай стоял в кузове, его обдувало холодным ветром, но он словно этого не чувствовал. Хотя Чжан Кэ-сань ответил ему первое, что подвернулось на язык, Ли Лай-цай принял его слова всерьез и про себя решил, что непременно добьется своего. Никто не заметил в темноте, как пылали и смеялись его глаза. В его сердце уже заметался, запрыгал маленький огонек...

Через несколько дней, улучив момент, Ли Лай-цай словно невзначай сказал Чжан Кэ-саню:

— Я слышал, в Советском Союзе есть безногий летчик. Как по-твоему, если человек сумел снова взлететь в небо, сумеем мы ездить по земле?

На сей раз старый шофер Чжан Кэ-сань всерьез задумался над его словами.

— Я тоже об этом читал. По-моему, если человек без ног может водить самолет, и вам не так трудно будет водить машину.

— Значит, можно научиться? — обрадованно переспросил Ли Лай-цай.

— Можно.

Ли Лай-цай был вне себя от счастья.

— Только, если учиться,— добавил Чжан Кэ-сань,— то с полной уверенностью в себе. Иначе, сколько ни учись, все равно ничего не выйдет.

— Я решил учиться во что бы то ни стало,— словно давая клятву перед боем, заверил Ли Лай-цай.— Можешь на меня положиться.

Чжан Кэ-саню было за сорок. В молодости ему удалось окончить несколько классов средней школы, с восемнадцати лет он водил машину, в годы антияпонской войны служил водителем танка. Затем Чжан Кэ-сань возвратился на родину, в Шаньдун, и открыл там небольшую авторемонтную мастерскую; к профессии шофера он вернулся только после освобождения. Чжан Кэ-сань собственными глазами видел, какие разительные перемены произошли в стране, и от души радовался успехам Ли Лай-цая. «Верно ли,— спрашивал он себя,— что из безногого может выйти хороший шофер? — И сам себе отвечал: — Во всяком случае, тракторист получится, а они родине нужны». Придя к этому выводу, он сказал:

— Надо поговорить с руководством...

— Поговори, ладно? — попросил его Ли Лай-цай.

Чжан Кэ-сань утвердительно кивнул, и они расстались.

Ли Лай-цай в мечтах уже видел себя за рулем машины, с громким гудением мчащейся по шоссе... Вот бы действительно стать шофером!

Однако время шло, а о дальнейшем ходе дела ничего не было известно.

Когда Ли Лай-цай с товарищами снова выехали на машине в Синьсян, он напомнил Чжан Кэ-саню их разговор. Тот ответил, что с руководством говорил, но какое вышло решение, пока не слыхать.

Ли Лай-цай только и жил ожиданием. Минуло полмесяца — ответа не было, но он продолжал надеяться. Минул месяц — он по-прежнему ждал, однако чем дальше, тем сильнее его охватывало беспокойство. Скоро среди водителей пошли всякие разговоры. Старые опытные шоферы, имеющие за плечами по восьми, по десяти лет водительского стажа, говорили: «Со здоровыми руками-ногами надо три года учиться, а куда там безногим! Пусть не выдумывают!» Кое-кто начал язвить: «Им все равно денег не надо платить, знай переводи государственный бензин!». Тем временем среди руководства интерната шли ожесточенные споры. Большинство товарищей скептически отнеслось к этой идее. Однажды вечером члены партийного комитета собрались на совещание.

После продолжительных прений секретарь парткома встал и сказал:

— Если раненые товарищи хотят овладевать техникой и найти себе место в жизни, нам остается только поддержать их инициативу.

В таком духе послали докладную в Кайфын. Через несколько дней был получен положительный ответ.

Заведующий организационным отделом интерната Чень Хун-ю, бывший политрук роты, где служил Ли Лай-цай, зашел к нему и сказал:

— Ли Лай-цай, по твоей просьбе уже принято положительное решение!

— Не может быть, товарищ политрук!

— Будем учить тебя водить машину, чтобы подготовить из тебя тракториста.

Ли Лай-цай закивал, его глаза радостно блестели.

— Ты берешься за трудное дело, Ли Лай-цай,— продолжал политрук.— Все ли ты хорошо обдумал? Тебе надо настроиться на боевой лад...

Он с деловым, строгим видом шагал по комнате и говорил на ходу — все было, как прежде в армии.

Ли Лай-цай шел рядом с ним, поскрипывая протезами.

— Я хорошо тебя знаю и надеюсь, что ты добьешься успеха.

Чень Хун-ю внимательно посмотрел на Ли Лай-цая, словно еще раз оценивая своего бывшего бойца.

— Это не только твое личное дело. Овладевая техникой, ты сможешь участвовать в государственном строительстве, осуществишь свою заветную мечту. Но, главное, ты проложишь путь своим товарищам инвалидам, подашь им пример. Пусть их горести уступят место радостям, созидательному труду! Ты готов взять на себя такую задачу?

Ли Лай-цай и не подозревал, как важна его инициатива. Так же когда-то говорили с ним его старшие товарищи — командиры на фронте,— спрашивая его о чем-нибудь, ободряли его улыбкой и ждали ответа. Ли Лай-цай твердо сказал, словно ему предстоял ожесточенный бой:

— Вы меня хорошо знаете, товарищ политрук! Я во что бы то ни стало выполню задание, которое мне дают. Я — коммунист и не склоню головы перед трудностями. Прошу определить задачу!

На миг им представилась пурга на корейском фронте и все пережитое памятной зимой 1950 года. Чень Хун-ю горячо пожал руку Ли Лай-цаю.

Ли Лай-цай тотчас же отыскал Чжан Кэ-саня. Тот в замасленной синей спецовке мыл машину и, увидев Ли Лай-цая, сказал:

— Добился-таки своего! Нам уже отпустили сто пятьдесят галлонов бензина, и мне поручено вас обучать. Хотя теоретических знаний у меня нет, но кое-какой опыт я накопил и передам его вам.

Помимо Ли Лай-цая, в группу вошло еще несколько человек: Ма Хай-юань, Ду Дэ-синь — каждый с одним протезом, Сюй Гун-у, так же, как и Ли Лай-цай,— с двумя протезами и Сюй Тао-вэнь — у него была

тяжело повреждена нога. Началась необычная техническая учеба. Они собирались в маленькой комнатушке, садились перед классной доской и внимательно слушали Чжан Кэ-саня, который объяснял им устройство двигателя внутреннего сгорания, систему смазки, электрооборудование автомобиля. Они разбирали мотор и изучали назначение каждой его части, приподнимали домкратом задний мост и запускали двигатель. Сидя на месте водителя рядом с Чжан Кэ-санем, который давал указания, Ли Лай-цай впервые ощутил дрожь работающего мотора. Скоро настал день, когда они должны были самостоятельно провести машину. Начальник интерната и секретарь парткома лично присутствовали на испытаниях. Первым пробовал свои силы Ли Лай-цай. Перед тем, как сесть за руль, он волновался, но, едва мотор заработал, взял себя в руки и, сосредоточив все внимание на управлении, повел машину. Когда машина остановилась, секретарь парткома подбежал к нему и сказал:

— Молодец!

На следующий день по радиосети интерната сообщили: «Один наш товарищ, на протезах, сел за руль и успешно провел машину по шоссе».

Но радость Ли Лай-цая была неполной. Он еще не научился свободно и легко управлять машиной. Ведь шофер должен чувствовать ногой педаль акселератора, только тогда он сможет вести машину с нужной скоростью. Однако вместо ног у Ли Лай-цая были протезы, мертвое дерево, а не живые ноги с гибкой стопой и подвижными пальцами. Не дожмешь газ, отпустишь преждевременно педаль — и мотор заглох без горючей смеси, машина остановилась. Надавишь что есть силы, дашь слишком много горючего — из выхлопной трубы клубами повалит черный дым; растерявшись, сразу сбавляешь газ и снова глушишь мотор, снова остановка. Машина не поддается объездке, точь-в-точь как норовистая лошадь, только что взятая из табуна. Что там говорить, протезы есть протезы — и все. Понурый возвратился Ли Лай-цай в общежитие и молча уселся на койку. Но все-таки ничто его не остановило. Ночью, сидя на кровати, он упражнял ноги, сгибая и распрямляя их, а наутро продолжал тренировку на практическом занятии, в машине. Так прошло три дня, как вдруг в одном совершенно случайном движении Ли Лай-цай нашел тот секрет, который искал. Приподняв ногу повыше, он двинул коленом вперед, и его ступня плавно нажала на акселератор. Вместо стопы чувство педали у него как бы перешло в колено. Теперь акселератор беспрекословно повиновался ему. Ли Лай-цай был близок к тому, чтобы по-настоящему овладеть искусством свободно и легко переводить машину на нужную скорость.

Но Ли Лай-цая ждала новая неприятность. После поездок машину полагалось мыть, обычно этим занимался сам Чжан Кэ-сань. Но сегодня Ли Лай-цай вместе с Ду Дэ-синем и еще двумя товарищами вызвались помочь ему: кто доставал ведром воду из колодца, кто приносил ее, кто обмывал машину. Когда с мойкой было покончено, Ли Лай-цай вдруг ощутил в левой ноге острую боль. Он быстро вернулся в общежитие, снял протез и обнаружил, что рана на ноге стерлась и кровоточит. Врач, пришедший назначить лечение, строго сказал: «Это никуда не годится. Вам нельзя продолжать занятия, пока рана не подживет». Затем выписал Ли Лай-цаю больничный лист и передал его Чжан Кэ-саню.

Что было делать? Хочешь не хочешь — отдыхай.

Утром, соблюдая предписание врача, Ли Лай-цай остался в кровати. Он взял в руки книгу, но читать не смог. Выглянув в окно, он увидел, что солнце стоит совсем высоко. Его так и подмывало подняться и пойти к товарищам. Однако, вспомнив слова врача, он скрепя сердце взялся за книгу. Но смысл прочитанного не доходил до его сознания, и Ли Лай-цай отложил книгу. «Падать столько раз на пути к цели,— думал он,— пре-

терпеть столько мук, подняться, наконец, на ноги, и вот»...— Ли Лай-цай, выпрямившись, сел в кровати. «Неужели он так и будет лежнем лежать из-за какого-то пустячного кровотечения? Взять, например, фронт — разве на фронте нужны такие бойцы?»

Чжан Кэ-сань был целиком поглощен своей ролью учителя, как вдруг, случайно повернув голову, увидел приближающегося на костылях Ли Лай-цая.

— Как, ты все же пришел?

— Не утерпел — не сидится дома. Если мне пока нельзя работать ногами — посижу в машине да погляжу, как вы тут управляетесь.

С этими словами Ли Лай-цай положил костыли и влез в машину. Чжан Кэ-сань подумал: «Вот у кого выдержка так выдержка!»

Немногословный Ли Лай-цай был необычайно усердным учеником, он покупал книги и журналы, читал изданное в Советском Союзе и переведенное в Китае руководство «Устройство автомобиля» и журнал «Автомобиль». Нередко он засиживался за книгой до полуночи, а если чего не понимал, непременно добивался разъяснений. Прихватив книгу, он пришел как-то поздним вечером к Чжан Кэ-саню: тот жил в маленькой комнатке по соседству с гаражом. Ли Лай-цай, увидев у него свет, постучался и вошел — он не мог успокоиться до тех пор, пока не выяснил все непонятное.

Ли Лай-цай день и ночь упорно тренировался в вождении машины. В его руках маленький «джип» показывал чудеса ловкости и проворства. Ночью, засветив фары, он уверенно гонял его по шоссе.

Перед лицом таких успехов люди, первоначально полагавшие, что человек на протезах не способен водить машину, вынуждены были замолчать. Потом они стали говорить:

— Эка невидаль — легковушка, водить ее ничего не стоит. Пусть-ка сядут на грузовик — тогда и посмотрим, на что они годятся со своими протезами!

Ли Лай-цай, обеспокоенный, спросил у Чжан Кэ-саня:

— Скажи, Чжан Кэ-сань, если умеешь водить легковую, сможешь потом пересесть на трактор?

Тот неуверенно ответил:

— Кто его знает. Мне не совсем ясно, насколько сильны у вас протезы. На тракторе нужна сила.

Ли Лай-цай обратился за помощью к руководству интерната и встретил полную поддержку. На следующий же день он пересел с «джипа» на грузовик. Конечно, сразу возникли новые трудности. У «джипа» педаль сцепления ходит легко, знай нажимай — особой силы не требуется. На грузовике наоборот, давишь на нее протезом что есть силы и то не выжимаешь до конца. Прошло много времени, прежде чем он освоил огромный грузовик и смог ездить на нем по шоссе за городом. Однажды он въехал в Синьсян с северной окраины и выехал с южной. Машина легко и свободно катила по гладкому асфальту, а прохожим невдомек было, что человек за рулем — раненый боец без ног. Какая радость переполняла сердце Ли Лай-цая!

Однако самым радостным днем в его жизни был один из весенних дней 1955 года, когда многие кадровые работники интерната выехали на грузовике к озеру Боцюань в уезде Хойсянь. Ли Лай-цай договорился с Чжан Кэ-санем, что тот возьмет его напарником, и отправился вместе со всеми. До Боцюаня было пятьдесят ли — он никогда еще не ездил так далеко; машину вел Чжан Кэ-сань. Они провели чудесный день на берегу озера, в живописной местности. На обратном пути Чжан Кэ-сань позволил Ли Лай-цаю сесть за руль, и хотя дело это было для него не новое, он все же волновался: путь далек, пассажиров за спиной —

полный кузов, вдруг что случится! Как страстно Ли Лай-цай ждал этого дня — наконец-то он сделает настоящий рейс! Он сначала повел машину тихо-тихо, потом волнение прошло, он стал править легко и свободно. Но тут случилось непредвиденное. Они мчались по шоссе так, что дух захватывало, как неожиданно лошадь, ехавшая навстречу, шарахнулась и выскочила со здоровенным возом на самую середину дороги. Ли Лай-цай, который, казалось, пронзал своим взглядом ветровое стекло — так внимательно он следил за дорогой,— вовремя увидел вздыбившееся животное и, затормозив что есть силы, остановил машину задолго до возможного столкновения. Чжан Кэ-сань одобрительно кивнул. Они стремительно помчались вперед. Уверенность Ли Лай-цая в себе еще больше возросла. Сидя за рулем, он имел возможность многократно испытать себя и убедился, что ему легко дается любой поворот, любая скорость. Над шоссе сгущались сумерки. Впереди, точно звезды, сверкали бесчисленные огни — Синьсян. Засветив фары и давая гудки, Ли Лай-цай провел машину по оживленным улицам и подрулил к воротам интерната. Товарищи в кузове были уверены, что машину всю дорогу вел Чжан Кэ-сань, так ровно и спокойно она шла. И только спрыгнув на землю и заглянув в кабину, они обнаружили, что на месте водителя сидит Ли Лай-цай. Посыпались радостные восклицания, Ли Лай-цай открыл дверцу, вышел из машины и сразу оказался в плотном кольце людей. Каким счастьем переполнилось в эту минуту его сердце! Он от всей души благодарил поздравлявших его товарищей. У него было ощущение, будто он, как совершенно здоровый человек, радостно и легко бежит по дороге в безгранично светлую и прекрасную жизнь.

12

Месяц май, чудесная пора!

Небо над головой удивительно синее, солнце припекает, прохладный ветерок, задувающий в кабину, напоен ароматом цветов.

Ли Лай-цай, Ду Дэ-синь, Ма Хай-юань и Сюй Тао-вэнь, направленные стажироваться в Боайский госхоз, и Чжан Кэ-сань, руководитель группы, сменяя друг друга за рулем, едут на грузовике по широкой ровной дороге, соединяющей горнопромышленный район Цзяоцзо с уездом Боай.

Машину ведет Ли Лай-цай. Сиденье мягко пружинит; расстегнув гимнастерку и подставив грудь ветру, он радостно глядит по сторонам: он снова возвращается домой.

Смотри, это и есть твоя родина, родина, которую ты сам освободил, пробившись с винтовкой в руках от берегов Циньхэ до берегов Вэйхэ.

Повсюду, куда ни кинь взгляд, выросли новые шахты.

А эта ровная дорога, разве она пролегала тут прежде? Грузовик идет легко и плавно; улыбка сошла с лица Ли Лай-цая. О чем он призадумался?

Он видит тенистые деревья, подступающие вплотную к дороге, видит спелые нивы, мягким золотым ковром расстилающиеся до самого края неба, и крохотные ручейки, что журчат возле самой обочины, и зеленые купы столь редкого на севере бамбука. Запрокинув голову, он видит на западе горы — не горы ли это Тайсиншань? Внушительными громадами возносятся к небу темно-фиолетовые пики. Его взор застилает слеза, он смахивает ее, хмурится, крепче сжимает рулевое колесо, ведет машину дальше. Он взволнован до глубины души, но силится ничем не выдать своих чувств...

Действительно, подумайте: Ли Лай-цай возвращается не просто как человек, долго пробывший вдали от родины, не просто как солдат, про-

шедший сквозь огонь сражений на корейском фронте. Нет, изведав безграничное отчаяние и безмерные муки, он победителем возвращается в родной край! Все для него неузнаваемо изменилось. Мчится вперед машина, клубится по дороге пыль... Шофер встречного грузовика приветственно машет рукой из окна кабины. Их много, этих грузовиков; одни едут на запад, другие — на восток. Говорят, после Боая и Сюйляна ровная, широкая дорога переваливает через затянутые фиолетовой дымкой горы Тайсиншань и идет дальше, к Чанчжи, к Чуньлю! Куда девалась узенькая, петлистая горная тропа, по которой и человек насилу взбирался, не говоря уже о машинах? Куда девались нищие, многострадальные деревни, стоявшие у дороги? Куда девались голодные дети, голые, со вздувшимися животами и большими глазами, стоявшие в пыли деревенских окраин?

На развилке Ли Лай-цай остановил машину, намереваясь узнать, как ехать дальше. Почему он только приоткрыл дверцу кабины и не вышел?

Несколько молодых женщин, одетых в белое, в белых платках, с граблями и мотыгами на плече, остановились посреди дороги и, не дав Ли Лай-цаю рот раскрыть, закричали:

— Вам в госхоз, товарищи?

— Вы почему знаете, что в госхоз?

У женщин были славные, открытые лица. Одна, стоявшая впереди, особенно обратила на себя внимание Ли Лай-цая: румянец у нее во всю щеку, в глазах так и прыгают искорки смеха, из-под белого платка выбилась и играет на ветру черная прядь. Весело улыбнувшись, женщина сказала:

— Тут у нас то и дело машины останавливаются, а спрашивают всегда одно и то же: где дорога на госхоз? Езжайте вот этой,— она указала рукой влево,— так прямо и приедете!

Они едут дальше, а вдогонку им несется веселый смех. «Все изменилось,— думает Ли Лай-цай,— и место, и люди, в них словно вдохнули новую жизнь...» Он взглянул на поля по обеим сторонам дороги: они больше не напоминали, как прежде, латаную-перелатанную одежду, где заплата сидит на заплате. Нива сплошь текла бескрайним разливом хлебов до самого горизонта. С первого взгляда видно, что это земля госхоза и обрабатывали ее тракторы. Зрелые, налитые колосья пшеницы тихо волновались под налетавшим ветерком. Сердцам сидящих в машине людей эта картина говорила многое. Они долго учились водить машину и трактор. Учеба — учебой, а теперь они прибыли на место стажировки, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Поверят ли им, допустят ли их к работе,— их, инвалидов на протезах? Станет ли у них силы работать наравне с другими? Сидя за рулем, Ли Лай-цай внимательно следил за дорогой. Тучная золотая нива радовала его; сколько раз за последние годы обливалось сердце кровью, когда в походе или в бою он видел вытоптанные посевы. Как его тянуло сейчас же, сию же минуту выйти с серпом в руках! Ему уже слышался духовитый запах спелого зерна, звенящий шелест, с каким серп срезает пшеничные стебли.

Машину тряхнуло на выбоине, и мысли Ли Лай-цая приняли другое направление. Он стал думать о предстоящей работе в госхозе. Мысль о том, справится ли он с делом, его ничуть не беспокоила. Он знал, что главное — не растеряться, не испугаться самой мысли об этом. Хотя он едет в госхоз только на стажировку, однако на этот раз практической работой будет проверено все, к чему он денно и нощно так страстно стремился, все его чаяния и упования. Определится вся его дальнейшая жизнь...

За этими раздумьями он и не заметил, как они доехали до места:

вдали показалась большая купа деревьев и сам госхоз, обнесенный каменной стеной. Было около пяти часов пополудни. Нивы стояли в красноватом блеске закатного солнца. Небесная высь сверкала золотом; вокруг было безлюдно и тихо, надо полагать, работники госхоза еще не вернулись с полей. Откуда ни возьмись, резвясь и играя, выскочил на дорогу жеребенок, замер на миг, глядя на приближающуюся с гудением машину, мотнул головой, заржал и помчался вскачь к ручью. Вслед за ним на дорогу высыпал целый табун лошадей — каурых, белых, вороных, рыжих — и, перебежав шоссе, тоже устремился к ручью. Несколько босоногих женщин вымачивали в оросительном канале лен. Грузовик ехал по подъездной аллее, ведущей к госхозу. Слева тянулась каменная стена, справа высилось большое строение, видно, госхозовские склады. У стены горел костер, над ним курился легкий дымок. Дальше открывался проезд, а сбоку — выложенная из кирпича сторожевая будка. Ясно, это и есть госхоз. Ли Лай-цай дал гудок и въехал в ворота.

Через несколько минут их провели в кабинет директора.

Паренек, встретивший прибывших товарищей, сказал, что директор сейчас в поле; пусть они подождут здесь.

Ли Лай-цай внимательно оглядел кабинет. Это была просторная комната с большими окнами; посредине стоял черный лакированный стол, сверху свисали две электрические лампочки. Видно, работники госхоза частенько сходятся за этим столом на производственные совещания. Ли Лай-цай заинтересовался диаграммами, которыми были сплошь увешаны стены кабинета: в красных линиях и черных стрелках этих диаграмм отражались показатели по отдельным отраслям производства госхоза. Особенно пристальное внимание вновь прибывших привлекла карта земельных угодий госхоза. Они долго ее разглядывали. Госхоз занимал большой массив плодороднейшей земли: здесь были озера, фруктовые сады и бамбуковые рощи, сеть оросительных каналов, охватывающих пшеничные поля. Управление госхоза находилось в центре всей этой обширной территории. Между диаграммами висели почетные знамена, подарки госхозу от различных организаций и школ Хэнани. С плаката возле окна, высоко подняв над головой букет цветов, улыбалась ясной улыбкой, приветствуя новую Конституцию, молодая крестьянка. На столе у стены лежали книги и журналы. Взяв один из журналов под названием «Механизация сельского хозяйства», Ли Лай-цай стал его перелистывать.

В кабинет вошли несколько человек. Обменявшись рукопожатием с каждым из приезжих, директор сказал:

— Мы готовимся к уборке!

Видно, день сегодня в госхозе был напряженный, горячий. Товарищи, вошедшие вместе с директором, сели за стол и стали вытирать пот с красных от загара лиц.

Зазвонили в колокол, мимо окон комнаты замелькали группы рабочих. Донесся мощный рев трактора, послышалось мычанье коров, загудел запускаемый двигатель. Лампочки, висевшие над большим столом, сверкнули раз-другой и вспыхнули ровным желтоватым светом.

Все расселись за черным лакированным столом.

Директор госхоза, старый партизан, родом из здешних мест, выпил стакан воды и заговорил:

— Как говорят старожилы, наш край испокон веков был краем непрекращающихся войн. Когда сюда пришли японцы, они сразу смекнули, какой это для них лакомый кусок. Земля у нас жирная, воды повсюду сколько хочешь. Крестьян-китайцев поголовно выселили, захваченные земли передали японцам, открыли тут рисовую ферму. Может быть, вы заметили, когда проезжали, сторожевую будку у ворот? Это японцы ее

построили и этот дом тоже. Потом мы японцев прогнали, из крестьян кое-кто возвратился. Тут вспыхнула гражданская война, в наши места нагрянули чанкайшисты, начались поджоги, убийства, народ опять разбежался кто куда — каждому жизнь дорога. Не прошло и трех лет, как весь край обезлюдел, запустел — гиблое место, пустошь, да и только...

Ли Лай-цай сидел за столом напротив рассказчика и хорошо видел его. Слушая директора, он мысленно переносился в те не столь далекие годы, когда черная беда пронеслась над родной стороной.

Директор, водя рукой по карте земельных угодий госхоза, продолжал:

— Площадь этой пустоши была немалая — круглым счетом семнадцать тысяч му земли. Когда мы сюда пришли — везде, куда ни глянь, трава росла выше головы, много земли было затоплено. Среди всего запустения осталась одна эта деревня. Комаров было множество, вода на затравянелых местах застоялась и не годилась для питья. Волки в зарослях бегали целыми стаями, чуть станет смеркаться — сиди дома и носа не смей за дверь высунуть. Вам приходилось слышать, как воют волки? Недаром говорится: душа покойника на волчий голос кричит.

Затаив дыхание слушал Ли Лай-цай историю родного края; перед ним развертывалось прошлое его родины, полное горя и страданий, крови и слез.

— Этот двор сплошь порос травой и был затоплен, мы жили, как на реке во время разлива. Ходить можно было только по мосткам да по камням. Люди, что наведывались к нам, говорили: «Какое тут к черту хозяйство, у вас даже свиньи на дворе нет!» Мы поднатужились, купили несколько поросят, построили загон, решили откармливать свиней. Не тут-то было: в первый же день, едва стемнело, волки набежали целой стаей, прыгали через стену во двор, поросенка в зубы — и обратно тем же путем... Что было делать? Голыми руками волка не возьмешь. За две ночи порезали поросят всех до единого. Вот и подумайте, какая тогда была жизнь... Все-таки дело мы наладили, да и как же иначе? Если мы смогли ценою собственной крови отвоевать свой край, так неужто нам было не под силу освоить эту пустошь? Первым делом мы принялись рыть отводные каналы и спускать воду. Люди начали борьбу с водой и вырвали из-под ее власти всю пригодную для обработки землю. Немало трудов мы положили, и только тогда наш госхоз начал мало-помалу расти.

Директор сделал паузу, внимательно посмотрел на вновь прибывших товарищей и перешел к положению дел в госхозе. Сколько тысяч му под пшеницей, сколько — под хлопком, какова у них техническая база, сколько автомашин и тракторов. Он называл разные марки: «С-80», «Польша-45», «Надь», «Форд»... Это вызвало оживление среди сидевшей за столом молодежи, глаза вновь прибывших радостно заблестели.

Когда врач на корейском фронте сказал Ли Лай-цаю, что ампутация неизбежна, это мгновение открыло в его жизни долгий период тяжких страданий. Теперь все пережитое отхлынуло стремительным потоком. Этим тихим вечером в госхозе, среди сердечных людей, от задушевной беседы его сердце преисполнилось безграничной надежды. Он испытывал радостное волнение, как человек, который долго шел лесом в непроглядном мраке и, наконец, на опушке встретил первые лучи зари. Ли Лай-цай вместе с тем напряженно ожидал решения — решения не просто вопроса о работе, а всей своей судьбы.

После директора слово взял Чжан Кэ-сань. Представив присутствующим Ли Лай-цая, Ду Дэ-синя, Ма Хай-юаня и Сюй Тао-вэня, он стал

рассказывать, как мужественно они сражались на корейском фронте, как были ранены, как потеряли ноги.

Начальник отдела механической тяги У Ай-гуан, вошедший незадолго перед тем в кабинет, сидел на другом конце стола и внимательно слушал Чжан Кэ-саня. Пшеница созрела, вот-вот начнется страдная пора, а это все равно что сражение — люди должны работать днем и ночью, чтобы быстрее убрать хлеб. Ему пришлись бы кстати молодые и здоровые бойцы, рвущиеся в бой! Однако едва Чжан Кэ-сань заговорил о том, что у них нет ног, У Ай-гуан удивленно вскинул голову. В его глазах было недоверие. И Ли Лай-цай остро это почувствовал. У Ай-гуан действительно начал сомневаться. Ничья работа в госхозе так не тяжела, как работа механизаторов, а особенно круто им приходится в пору жатвы и вспашки. В это время механическая тяга решает все. Однако подчас приходится работать на мокрой земле, случается и прыгать в глубокую грязь, и лезть под машину в случае неполадок. Это ли подходящее занятие для человека без ног?

Ли Лай-цая охватило беспокойство. До последней минуты он, не теряя мужества, шел вперед, а теперь начал бояться: вдруг их, чего доброго, и впрямь откажутся взять на работу.

Однако Чжан Кэ-сань невозмутимо продолжал рассказывать, как инвалиды освоили протезы, как, не желая всю жизнь находиться на иждивении государства, научились водить автомашину и трактор...

У Ай-гуан — специалист из первого выпуска Дунбэйского особого сельскохозяйственного училища, направленный в госхоз механизатором,— внимательно слушал Чжан Кэ-саня.

Чжан Кэ-сань отлично понимал, что мысль о трудоустройстве безногих людей в госхозе кое-кому покажется несбыточной блажью. Если госхоз паче чаяния откажется принять их на работу — многим инвалидам придется проститься с надеждой заняться созидательным трудом. Чжан Кэ-сань рассказал об отличных результатах, показанных его группой на испытаниях, и этим закончил выступление. За столом воцарилось молчание.

У Ай-гуана рассказ Чжан Кэ-саня необычайно взволновал. «Сколько трудностей им пришлось преодолеть, этим ребятам! Люди без ног научились ходить, мало того, научились управлять машиной и трактором — разве есть трудности, которые им не под силу?» — думал он про себя, с дружеской симпатией глядя на Ли Лай-цая.

А тот поднялся с места и сказал:

— От имени всей нашей группы я хочу заявить: хотя мы и инвалиды, но полны решимости так закалить себя, чтобы ни в чем не уступать полноценным здоровым людям. Мы будем делать все, что делают другие работники госхоза. Пусть у нас еще мало технических знаний, обещаем, что не испугаемся трудностей и надеемся на помощь старших товарищей. Мы не требуем дела полегче, а хотим работать на равных основаниях со всеми.

Голос Ли Лай-цая звучал проникновенно и искренне, казалось, молодой солдат произносит слова клятвы перед боевым знаменем.

У Ай-гуан, не в силах больше сдерживать волнение, ответил:

— Хорошо! Мы беремся сделать все, чтобы товарищи стали настоящими квалифицированными трактористами.

Этот вечер, первый вечер в Боайском государственном хозяйстве, знаменовал важный поворот в жизни Ли Лай-цая, во всей его судьбе. От всего увиденного и услышанного в первый день возвращения на родину он испытывал необычайный подъем. Ведь жизнь здесь так изменилась, так далеко ушла вперед! Настала ночь, госхоз, наконец, угомонился и заснул; в окно комнаты Ли Лай-цая вливался зеленоватый лунный

свет, где-то невдалеке квакали в траве лягушки... Ли Лай-цай задумался. До его родной деревни отсюда совсем близко, каких-нибудь пятьдесят ли. Там, в Сицзылин, у отрогов гор Тайсиншань, жизнь тоже не стоит на месте, а идет вперед. Как живется сейчас Жень Гуй-цин? Наверное, она так же радостно трудится, так же звонко смеется, как и те молодые женщины, которых он встретил днем по пути сюда!

13

Бескрайним золотым морем волнуется нива. Хлеба уже созрели, погода стоит ясная. В госхозе началась жатва — радостный, праздничный день напряженного труда. Носятся над полями облака пыли, повсюду слышится рокот моторов. Словно морские корабли, безостановочно плывут по золотистым волнам пшеницы красные и зеленые комбайны. Солнце зноем опаляет лица, влажно блестят под его лучами потные плечи. Сердца людей переполняет радость, но лица сосредоточенны. Дует сухой, горячий ветер, и, склонившись к земле, тяжело качаются пшеничные колосья. Высоко в небе, то нарастая, то снова затихая, разносятся переливчатые трели птиц: вспугнутые шумом на земле, низким гудением моторов, конским ржанием, людским говором, птицы взмывают ввысь. Полоса за полосой ложатся после прохода комбайна колосья сухой, горячей, душистой пшеницы. Быстро двигаются по полю уборочные агрегаты. Остановится комбайн, откроется заслонка бункера — золотым водопадом хлынет в кузов машины зерно...

Ли Лай-цай был поставлен на перевозку хлеба и работал напарником водителя на малолитражном красном фордовском тракторе.

Горячий денек! Каждая минута, каждая секунда на счету. Утром колокол будит людей затемно, когда на западе ярко светит луна. Поднявшись, люди тотчас выходят в поле, на скоростную уборку. А скоростная уборка — все равно, что на фронте, в бою, вот и Ли Лай-цай снова вышел на передовую.

Бункер комбайна заполняется зерном за двадцать минут и вмещает полтораста килограммов пшеницы. Трактор с прицепом, на котором Ли Лай-цай возит хлеб к сушильному току, оборачивается туда и обратно за полчаса. Трактор никак не угонится за комбайном. Получается большой разрыв во времени — целых десять минут. Приходится держать при комбайне и повозку. Красный фордик крепко подбрасывает на кочках, он жмет что есть сил, с тракториста градом льется пот. Однако нагнать комбайн никак не удается. Дело кончается всегда одним и тем же: навстречу им, кренясь из стороны в сторону, идет груженная доверху повозка. Они опять не поспели вовремя.

Когда комбайн подходит, им подают сигнал красным флажком; они быстро подруливают, заслонка бункера открывается, и в прицеп с громким шумом льется зерно — полтораста килограммов за пять минут. Это самый напряженный момент для Ли Лай-цая: он быстро разравнивает зерно лопатой, равномерно, слой за слоем, распределяет его по кузову. В противном случае в одном конце кузова будет пусто, а в другом зерно взгромоздится горой, угрожая пересыпаться через борт.

В этот день Ли Лай-цай так наработался, что к концу смены все тело ныло от усталости. Когда он лег спать, оказалось, что ему с боку на бок повернуться и то больно. Однако, несмотря на усталость, заснул он не сразу. «Если трактор не оборачивается вовремя туда и обратно и на помощь ему приходит лошадь с повозкой — разве это механизация?» — неотступно вертелось у него в голове.

На следующее утро он проснулся затемно и встал раньше всех. Взяв с собой несколько пампушек, он завтракал на ходу по дороге в поле,

боясь опоздать. Над полями уже занималось свежее, прохладное утро, умытое росой и напоенное ароматом диких трав. Со стороны птицефермы донеслось разноголосое петушиное пение... Протезы сегодня были особенно тяжелы, и Ли Лай-цай понимал, что сказывается вчерашняя усталость; главное — ничем не выдать свою слабость. Все дело в том, что он давно не работал. Не пройдет и нескольких дней, как он опять будет в форме... Когда на востоке заалела первая полоска зари, Ли Лай-цай уже вел трактор на ток.

Так прошел первый, а за ним и второй день работы в госхозе. И только на третий день началась по-настоящему битва за минуты.

С самого начала Ли Лай-цая неотступно тревожил вопрос, который не сразу дал ему заснуть в первую ночь в госхозе. Он решил дать бой времени — изменить соотношение рабочих циклов комбайна и трактора, что до сих пор никому еще не удавалось сделать. Он решил сократить время транспортировки зерна до тока и догнать на своем фордике комбайн. «Лошадь с повозкой, которая то и дело подменяет нас,— это позор»,— сказал он себе. Честь бойца не позволяла мириться с таким положением. Ли Лай-цай, с детства учившийся преодолевать трудности, Ли Лай-цай-коммунист, Ли Лай-цай, неизменно сражавшийся на переднем крае борьбы, этот скупой на слова, чуждый фразерства парень целиком был захвачен работой.

Солнце немилосердно палит. Пыль густо ложится на руки, на почерневшие от загара лица людей. Комбайнеры не желают терять впустую ни минуты времени. Несколько тракторов с прицепами торопливо снуют между полем и током.

Когда фордик, словно красный жучок, добирается до тока, Ли Лай-цай, забыв об отдыхе, бросается помогать рабочим разгружать прицеп. Время разгрузки удается сократить с четырех до трех минут.

Наконец маленький фордик разгружен, он быстро разворачивается и снова трясется по пыльному проселку. Ли Лай-цай и водитель трактора правят поочередно и тем самым выгадывают в скорости.

Прибыв на поле, они не дожидаются остановки комбайна или сигнала красным флажком, а, рассчитав, когда бункер наполнится, сами подруливают к нему и опять выигрывают время.

Как только поток зерна хлынет в кузов, Ли Лай-цай, не теряя ни секунды, взбирается на прицеп и разравнивает зерно сначала с одного конца кузова, затем с другого. Время на погрузку сокращается с пяти до двух с половиной минут.

Июньское солнце все жарче и жарче. По спинам людей ручьем льется пот. Но борьба за время продолжается.

На четвертый день внимание всего госхоза было приковано к маленькому фордику. Вместе с водителем и подручным на тракторе сидел товарищ из Хэнаньского управления по делам госхозов и с часами в руках высчитывал продолжительность рабочего цикла. В результате выяснилось, что он длится двадцать минут, то есть столько же времени, за сколько бункер комбайна целиком наполняется зерном. Двадцать минут! Это был рекорд. Прежняя норма — тридцать минут на ездку — была перекрыта. Новость мгновенно облетела все рабочие участки госхоза, Ли Лай-цай стал ударником. За тринадцать дней до конца жатвы самоходный комбайн «АС-400», который обслуживался его трактором, скосил хлеба на площади 1750 му и дал наибольшую выработку из всех пяти занятых на косовице комбайнов — 341 700 килограммов зерна.

Ли Лай-цаи победил усталость. Когда он возвращался вечером с поля, его тело уже не ныло, как прежде, наоборот, он с каждым днем чувствовал себя здоровее.

Весь отдавшись труду, он нашел в нем радость и подлинное счастье. Начав учиться в госпитале в Цзиньчжоу, он продолжал заниматься самообразованием. Хотя ему и приходилось каждый день снимать и надевать протезы, он уже не чувствовал себя неполноценным. Когда он появился в госхозе, товарищи по работе бережно отнеслись к нему, жалели его и не разрешали забираться в кузов прицепа разгребать зерно. А теперь он работал наравне со всеми. Как на фронте Ли Лай-цай любил свою винтовку, так теперь он любил свой трактор.

После окончания уборки на общем собрании рабочих госхоза водителям красного фордика было присвоено звание лучших трактористов. Когда Ли Лай-цай, одетый по-военному, и водитель трактора встали рядом перед собранием, их встретили бурными аплодисментами.

Однажды, когда день, особенно знойный и удушливый, клонился к вечеру, Ли Лай-цай услышал тревожный звон колокола. Он выбежал из комнаты и увидел, что полнеба затянуло черной тучей, вовсю завывает ветер и вот-вот хлынет проливной дождь. А на сушильном току была разложена пшеница! Колокол точно зашелся звоном. В одно мгновение весь госхоз поднялся на ноги. Люди валом валили отовсюду: из правления, из общежития, из клуба, из библиотеки — выскакивали из всех дверей и что есть духу мчались на ток. Через несколько минут там собралось столько народу, что яблоку негде упасть. Ли Лай-цай мигом сбросил взмокшую от пота гимнастерку. Кто-то пытался удержать его: «Тебя только тут не хватало!» Он, ни слова не говоря, вырвался и бросился на ток. Одни набивали мешки зерном, другие вскидывали их на плечи и относили в амбар. Забыв обо всем, Ли Лай-цай подхватил здоровенный мешок цзиней* на сто, и слышно было только, как поскрипывают на каждом шагу его протезы. Отнеся мешок, он вернулся за другим. Вихрь, словно столб дыма, мчался прямо на госхоз. Люди непрерывной вереницей двигались от тока к амбарам. Никто не кричал, не суетился. Работали не переводя дыхания. Казалось, темный людской поток на земле состязается в скорости с черной тучей, мчащейся на них в свисте ветра. От пота одежда на людях насквозь промокла, на красных, разгоряченных лицах возбужденно сверкали глаза. А холодный ветер завывал все пронзительнее, все ближе и ближе вспышки молнии. Ливень начался неожиданно, хотя все только о нем и думали. Люди со смехом выбегали под дождь освежиться. Считанные минуты прошли с тех пор, как звонил колокол, а пшеницы на току как не бывало. Обнажившись по пояс, Ли Лай-цай подставил грудь навстречу дождю и ветру, приятно холодящему кожу. На его губах играла радостная улыбка.

Они были — дни 1941 года, когда беда степным пожаром пронеслась по его родным местам,— и прошли.

Они были — дни, когда в ночном мраке гремели выстрелы, когда велась борьба за освобождение родного края,— и прошли.

Они были — дни корейской войны, когда над землей бушевала снежная вьюга и весь фронт был охвачен огнем,— и прошли.

Мучительные дни, проведенные на госпитальной койке,— дни, когда он отчаянно пытался встать на ноги и каждый раз падал,— эти дни налетели и схлынули, как река, как бурный поток, как проливной дождь. Ли Лай-цай снова занял свой боевой пост.

Осенью, во время сева озимых, начальник отдела механической тяги У Ай-гуан спросил Ли Лай-цая, где бы ему хотелось работать. Тот ответил: «Мое место там, куда меня направят». И вот Ли Лай-цай стоит перед тяжелым трактором «С-80». Рядом с этой высокой, внушительной маши-

* Китайская мера веса, равная приблизительно 600 граммам.

ной красный фордик выглядит маленьким жучком. Ли Лай-цай невольно вспомнил тяжелые танки, виденные на корейском фронте. Под руководством тракториста Чжан Чэн-фа он стал учиться водить «С-80». Сам Чжан Чэн-фа, хотя и был худощав и невысок ростом, свободно управлялся с тяжелым «С-80». Под его началом Ли Лай-цай скоро стал заправским трактористом. Он крепко сдружился со своими товарищами, работавшими на одной с ним машине. Случалось, работая в ночной смене, они сядут у костра перекусить, и Ли Лай-цай рассказывает случаи из своей боевой жизни. Вечером товарищи сходились в общежитии. Обычно молчаливый и немногословный, в задушевной беседе с друзьями Ли Лай-цай становился красноречив. Особенно если речь зайдет о том, как он партизанил на берегах Циньхэ или как на корейском фронте в пургу преследовал отступающего врага. Его друзья заслушаются рассказа, а он улыбнется и скажет: «Такими же бесстрашными, как наши бойцы, должна быть и наша молодежь». Утром Ли Лай-цай поднимается раньше всех и идет к колодцу умываться, а товарищам принесет ведро ледяной воды. Так они дружно живут и работают. Мощный «С-80», похожий на большой черный паровоз, круглые сутки в поле; в тот год, чтобы скорее выполнить план весенней вспашки, они пахали и зимой, в снегопад. Наперекор ветру и снегу трактор громко гудел в поле, ослепительно сияя фарами, точно двумя прожекторами; когда первые долгожданные лучи зари пронизали ночной мрак, он все еще бороздил степное раздолье. Как было не восторгаться утром первого дня Нового года! Спереди язычком пламени трепетал и струился по ветру красный флажок.

Имя Ли Лай-цая, безногого тракториста, скоро облетело страну. О нем услышали и на корейском фронте.

Там, на крайних форпостах мира, китайские народные добровольцы наперебой требовали газету с фотографией Ли Лай-цая за рулем трактора «С-80». Взгляните на это серьезное, уверенное лицо — лицо человека, ведущего трактор по просторам мирной, свободной, счастливой земли, которую он отвоевал у врага ценою собственной крови и неимоверных страданий! История жизни Ли Лай-цая глубоко взволновала и увлекла бойцов, и в письмах к нему они делились самыми заветными мыслями.

Вот письмо бойца воинской части номер 457 Чжу Си-лу:

«...О твоих доблестных, героических делах знает вся страна. Я всегда буду помнить о твоей решимости преодолевать любые трудности, о твоей преданности делу партии, о готовности служить народу и суровом жизненном опыте. Нам следует вырабатывать в себе такие же ценные качества... Отныне я решил учиться еще упорнее, чем прежде. Обещаю тебе отдать все силы делу, за которое ты боролся,— защите социалистического строительства нашей Родины...»

Вот письмо бойца воинской части номер 440 Ван Дянь-чэня:

«...Я решил следовать твоему примеру... и готов пожертвовать всем для защиты отчизны. Пусть моя молодость вспыхнет искрами героизма в бурном вихре революции...»

Вот письмо Хань Ю-шэна, воинская часть номер 440:

«...Мой дорогой боевой друг! Вы стали для меня родным человеком, чья жизнь достойна подражания... На работе или в часы учебы, днем и ночью я думаю о вас... Я связист... Прошу оказать мне доверие и позволить учиться у вас!»

Вот письмо Бао Гуан-чэна, воинская часть 440:

«...Вы — настоящий человек, ибо все, что у вас было, от чистого сердца отдали партии...»

Вот письмо бойца воинской части номер 457 Ван Сю:

«...Я был взволнован до слез, когда прочел, какую выдержку, стойкость и непреклонность вы проявили в самых суровых условиях. Это

подлинный дух революционного героизма... Вы всю жизнь будете служить для меня примером!..»

А Ли Лай-цай, скромный солдат, тракторист Родины, продолжал учиться и понимал, что все это — только начало, как молодое утро — начало большого дня. Он написал своим боевым друзьям письмо:

«Дорогие соратники, бойцы Народно-освободительной армии и народные добровольцы в Корее!

Я получил от вас много писем, в которых вы спрашиваете, как мне удалось научиться водить трактор, и советуете мне и в дальнейшем повышать мой технический уровень. Отвечаю товарищам на вопрос, как я учился. Я научился водить машину: сначала изучил ее устройство, затем стал ездить. Когда мне в первый раз удалось провести машину по шоссе, поощрение со стороны товарищей-коммунистов, руководства интерната еще более укрепило мою уверенность в собственных силах. Я тогда даже растерялся от радости, не знал, что и говорить; потом еще ревностнее взялся за учебу, и года через полтора мог самостоятельно водить машину. Тогда меня и еще нескольких товарищей послали в Боайский госхоз стажироваться на трактористов.

23 мая 1955 года мы приехали в госхоз. Руководители госхоза сказали, что готовы пойти нам навстречу, однако, поскольку мы все же инвалиды, они опасались за наше здоровье, так как работа на тракторе связана с большой затратой физической энергии. Тогда я заверил руководство: хоть мы и инвалиды, но, думается, с этой работой справимся, будем делать все, что и остальные товарищи. Нам не будет труднее, чем бойцам Народно-освободительной армии и частей народных добровольцев в Корее. Я сказал, что, учась на тракториста, решил так себя закалить, чтобы ни в чем не уступать полноценным, здоровым людям. Меня назначили напарником водителя на малолитражный трактор, временами мне самому случалось его водить. За одно лето я полностью освоил трактор. В страдную пору нам крепко пришлось поработать. Каждый день мы вставали чуть свет, завтракали — и в поле. Иной раз, боясь опоздать, я только забегу в столовую за пампушками, а жую уже на ходу, чтобы не терять времени и заступить на смену вместе с остальными товарищами. Я всегда старался идти в ногу со всеми и боялся только одного — отстать от других. Тогда у меня еще не было велосипеда. От напряженной работы мое здоровье не только не пострадало, но окрепло. Когда жатва кончилась, меня назначили работать на тракторе «С-80», и через десять дней, с помощью старшего тракториста и своих товарищей, я освоил управление этой машиной. За летний пахотный сезон и три осенних месяца я так наловчился водить «С-80», что теперь самостоятельно пашу.

Дорогие друзья-бойцы! Не всегда я имел возможность учиться так, как сейчас. Теми крохами знаний, которые я сейчас имею, я целиком обязан партии и председателю Мао, которые меня воспитали и вырастили. И я от души благодарю партию и председателя Мао за их заботу обо мне и столь же признателен друзьям-бойцам за поощрение и поддержку.

Еще я хочу сказать, товарищи, о том тяжелом моральном состоянии, в котором я находился после ранения. Настроение у меня было самое мрачное. Я все время думал: какие могут быть виды на будущее у человека, в ранней молодости потерявшего ноги? Остается перейти на иждивение народа — лежи на боку, набивай живот, о работе и не думай. Есть ли смысл в таком существовании? Я потерял вкус к жизни. Тогда в госпитале ко мне пришел политрук, и от него я услышал, что в Советском Союзе есть безногий летчик. Он сказал мне также, что я могу сделать себе протезы, научиться грамоте и в будущем непременно быть полезным для родной страны. Тогда в моем настроении произошел перелом. Когда я попал в тыл и научился немного грамоте, я решил, имея перед глазами

пример советского летчика Маресьева, стать шофером, трактористом.

Дорогие товарищи! Пока я овладел лишь начатками технических знаний, и мне еще далеко до старых опытных водителей. По сравнению с тем, что вы приобретаете, осваивая современную военную технику, мои знания — совсем пустяк. На двух различных фронтах мы служили общей цели — строительству социализма в нашем дорогом отечестве, строительству прекрасной, счастливой жизни для народа всей нашей страны. Будем бороться сообща во имя этой цели! От души желаю, дорогие товарищи-бойцы, новых успехов и побед на пути, указанном партией и председателем Мао!».

В мае 1956 года Ли Лай-цай принял участие во Всекитайском совещании передовиков производства, созванном в Пекине, совещании первых ударников — строителей социалистического общества. Несколько тысяч делегатов, воплощающих в себе могучие силы нашего народа, собрались в столицу со всех концов страны. Тут были и геологоразведчики из Кэламаи, и строители Сикан-Тибетского шоссе, рабочие первых в Китае автомобильного и тракторного заводов, люди из города Синьсина, что на Хинганском хребте, словно овеянные ароматами лесов, и люди из Аньшаня, добившиеся новых рекордов по выплавке стали; тут были инженеры с Сяофынманьской гидроэлектростанции и ударники строители Мэйшаньского водохранилища, юноши, обуздавшие Хуанхэ у Саньмыньсь, и крестьяне сел и деревень, разбросанных по необъятным просторам нашей родины,— рисоводы, свиноводы, образцовые работники кооперативов, первые в Китае трактористы, мужчины и женщины...

В праздник трудящихся, Первого мая, колонны этих людей прошли по площади Тяньаньмынь, и жители столицы бурно приветствовали их.

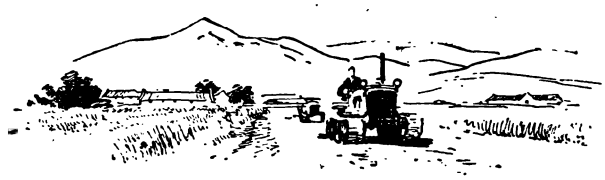
Ли Лай-цай шел возле самых трибун. В этот день солнце светило особенно ярко, погода стояла необыкновенно теплая, и площадь Тяньаньмынь преобразилась в живой сад...

Над головами людей реяли флаги — бесчисленное множество красных полотнищ. Море красных знамен. На площадь бурным разливом хлынула молодежь... Сияющие лица, ясные глаза, звонкие голоса, в руках у каждого букет цветов — желтых, алых, белых, фиолетовых майских цветов... Цветы сливаются в одно целое с молодыми лицами, с улыбками юношей и девушек — люди и цветы, цветы и люди.

Меня не было в этот день в Пекине. После встречи с Ли Лай-цаем я отправился на его родину, на север Хэнани. День Первого мая я встретил в небольшой деревушке на берегу пятидесятидвухкилометрового канала, отводящего часть вод Хуанхэ в реку Вэйхэ. Этот край испокон веков, из года в год страдал от разливов Хуанхэ. Стоило реке прорвать дамбу, и целые районы оказывались затопленными. Вода размывала поля, уносила дома крестьян. А сегодня на канале, в котором клокотали и бурлили воды великой реки, начала давать ток первая электростанция, использующая водную энергию Хуанхэ. Этот праздничный день навсегда остался в моей памяти. Множество крестьян в своих лучших нарядах — стариков, молодых, женщин и детей — с радостными возгласами окружили электростанцию. Полным-полно народу было по обоим берегам канала. Неожиданно людской говор смолк, и только видно было, как полощутся на ветру красные флаги да текут по каналу воды Хуанхэ. Ножницы рассекают красную ленточку, протянутую над шлюзом, массивная стальная плита медленно ползет вверх, и воды Хуанхэ ударяют в лопасти турбины. Сотни людей радостно смеются. Электрические лампочки, повисшие над каналом, наливаются желтоватым светом, мигают раз-другой, наконец ярко

вспыхивают. Хуанхэ впервые дала свет своему краю, навсегда избавленному от наводнений. Люди, не помня себя от восторга, кричат, хлопают в ладоши. Я вижу звездную россыпь огней над каналом, свет радости в глазах у крестьян. Я вспомнил Пекин, вспомнил Ли Лай-цая, вспомнил товарищей и своих детей: должно быть, и в небо над Тяньаньмынем сейчас взвились огни праздничного салюта. Красные, зеленые, желтые, они яркими букетами распускаются над площадью, будто высоко в небе раскрывается изумительный по красоте гигантский павлиний хвост, бьют фонтаны разноцветных искр, огни быстро взлетают над головами людей и плавно опускаются вниз. Ночь покорно отступила перед полыхающим пламенем, и ярко горят глаза людей... Эта теплая майская ночь, как счастье, переполняет сердце. Мне думается, что это пламя горит сейчас не только над Пекином, не только над каналом, на берегу которого я стою, но и по всей стране, в лесах, в ее горных ущельях, на заводах, в деревнях, на строительных площадках. Этим пламенем, высоким пламенем жизни, горят сердца миллионов наших братьев по труду. Если прежде его пытались загасить, не давали ему свободы, то теперь оно пылает везде, где люди трудятся и творят. Да, это пламя горит в груди у наших людей, освещая путь к грядущему счастью.

Вот какие мысли приходили мне на ум, когда, покинув сельскую гидроэлектростанцию, я возвращался ночным поездом в Пекин. Через несколько дней я посетил одно из заседаний Всекитайского совещания передовиков производства. Молодой боец Ли Лай-цай в ослепительном блеске прожекторов, под гром аплодисментов поднялся на трибуну и оттуда сказал своим товарищам по оружию, всем, сколько их есть в его родной стране: он теперь глубже понимает смысл и ценность жизни, еще горячее любит жизнь, любит свою отчизну и преисполнен решимости идти вперед, безостановочно, всегда идти вперед и только вперед!



Константы Ильдефонс Галчинский

Стихи

Перевод с польского Ал. Ревича

СИЛЬВЕСТР МАРОШ

Памяти Эдуарда Шиманского

Была у Сильвестра сестра в Смоленске родном
и были еще у Сильвестра раскосые синие очи.
Но прорвались к Смоленску тяжелые танки с крестом,
и нет ни сестры, ни Смоленска — снарядами весь разворочен.

О, сколько сестер и домов уничтожил огонь смертоносный!
Идея нам стала сестрою, подругою стала,
чтоб новые сестры цвели, словно весны,
чтоб из серого пепла вставали кварталы.

А идея?.. Идея — наш разум, плоды наших рук,
бронза славы, набатная медь, тонны цинка и стали.
Милый пан Крупчаловский, пусть ничто не страшит вас, мой друг,
мы трехсотмиллионною армией стали.

Извините — ошибся: одного не хватает в строю.
Нет Сильвестра! Он должен быть с нами по праву:

Русский парень Сильвестр отдал жизнь за Варшаву мою,
как поляк, за Европу погиб, за Варшаву.

Был разведчик, как мина, оставлен в тылу у врага,
пролетали тяжелые дни над обугленным краем.
Мы готовы на смерть, как бы ни была жизнь дорога,
если знаем, во имя чего мы живем и за что умираем.

Ох, не легкое дело разведка, а тут еще рация,
не просто ее пронести по дорогам военным,
в Польшу с трудом удалось пробраться,
а в Польше прекрасная полька — Хелена.

Рацию в хлеб... поищите получше-ка!
В вагон!.. и дым за окошком клубится.
Хелена глядит и глядит на попутчика.
Красив большевик. Ну как не влюбиться!

Путь на Варшаву. Мелькают поляны, леса.
В мозгу Сильвестра мысли роятся,
не знает он — то ли Хелене в глаза,
то ль глядеть на буханку, где спрятана рация.

Варшавский перрон. До видзенья, голубка моя!
Дождь. Влажны у Хелены глаза. Тротуары мокры.
До свиданья!
Ты пойми: метафизик безграмотный я,
из понятий я знаю одно лишь понятье — заданье.

Приютила Сильвестра глухая окраина,
здесь устроился он. Трущоба, а не жилище!
Был хозяин рабочим, не сладко жилось хозяину,
рядом с ним самый нищий французский поэт —
не такой уже нищий.

А потом переехал Сильвестр на Беляны.
Ночь плывет, первоклассное звездное небо раскинув.
Передатчик стучит. Мир прекрасен. И рядом прекрасная панна
Кристина.

Но пронюхали гады, схватили Кристинку, и с ней
муж Марии пропал, а поздней посадили Марию.
В Павиаке Мария родила сразу двух сыновей —
словно Кастор с Поллуксом, словно звездочки две золотые.

А Сильвестр? Ничего. Как-то с ним повстречалась случайно
на трамвайной площадке Хелена. Ломились в вагон варшавяне...
Ну и давка была в этот час на стоянке трамвайной,
словно пляска шутов сумасшедшая, с визгом и бранью.

Поздоровались. Марош спросил:
— Как там Микусь? Такой же веселый?
— Погляди — вот портрет его. Вылитый Генрик. Упрямый —
каждый раз перед сном на балкон выбегает Микóлай,
говорит: «Мне на ночь поглядеть очень хочется, мама».

(Смерть увидел мальчонка Миколай).

Эта встреча — последняя весть о Сильвестре.
Сколько дней с той поры пронеслось, сколько лет!
Последняя встреча. Никаких о Сильвестре известий,
затерялся и след.
И вдруг у каких-то ворот —
афиша театра смерти. Вот:

Сообщение

. . . . . трусливое нападение . . . . . .
. . . . . убито . . . . . .
. . . . польских бандитов . . . . . .
. . . . . тайной организации . . . . . .
согласно моему приказу лица, из числа приговоренных чрезвычайным судом тайной полиции, и однако помилованных 11.XII.1943,
а также 14.XII. 1943
публично расстреляны:

Следует список 170 имен, среди которых:

СИЛЬВЕСТР МАРОШ.

Подписано: начальник СС и полиции Варшавского округа.
Варшава, 15.XII. 1943.

Помню я — на столбе висели обрывки листка.
В декабре сорок третьего. Вечером.
Скользким был тротуар, и была мостовая скользка,
как дорога разведчика.

О друзья из Москвы, из Варшавы и Праги,
учит всех нас Сильвестр ледяному спокойствию,
жаркой отваге.
Был убит? Что ж — судьба. А идею, друзья, не убили.
О Сильвестре когда-нибудь песню иную спою,
Ведь высокой поэзии нас он учил, как Виргилий,
До патрона последнего биться в последнем бою.

Нынче многое связано с ним —
и кофе, который я пью, и эта живая собака,
и зеленый столетник, и музыка Баха.

Запишите, друзья:
Марош Сильвестр. Псевдоним.

Жив Сильвестр в весеннем цветке и в дыханье свободы
горячем.
Пойте, вольные музы, дарите веселье поэтам!
Пусть по скифу женщины плачут:
на том свете — Кристина,
а Хелена с Марией — на этом.

Чашку кофе, любезная пани? Налейте, пожалуй...
Да, еще запишите, отметьте, друзья, на полях:
Русский парень Сильвестр отдал жизнь за Варшаву,
за Варшаву погиб, за Европу погиб, как поляк.

Мне бы пить этот ливень свободы, сверкающий ливень!
Милый пан Крупчаловский, не время теперь для печали.
Выше голову, друг мой! Мы стали счастливей,
мы свободными стали.

1948.

ТРУБЫ ПРАЗДНИЧНОЙ ПОЧТЫ

Ежечасно во весь опор
мчится почта сквозь черный бор.
Это не диво — под праздники каждый
обуреваем писательской жаждой.
Яцек, не бравший в руки пера,
сотни открыток отправил вчера.
Пишут Адам, Алоизий и Маня.
Распространилась кругом графомания.
В Кракове нынче — видел я сам —
ящик почтовый лопнул по швам.
Вы не видали, как лопнул? Да что вы!
Писем на целый вагон почтовый!
Снова мост и знакомая речка,

снова почта въезжает в местечко.
Мчатся, как зайцы, снежные дали.
Трубы веселые вдруг зазвучали.
Письма, пакеты в фургоне почтовом.
С праздником, граждане, с праздником новым!
В почтовой конторе четыре оконца,
девушка в каждом — прекрасна, как солнце.
Пожалуйста, девушка! Надобно мне
письмо заказное отправить жене.
«...а знаешь, Марыся, на прошлой неделе
щегол со щеглихой в окно улетели,
кот Васька рыбку сожрал золотую,
метель сумасшедшая. Нежно целую...»
А вот телеграмма для пана Ансельма,
пусть деньги скорей высылает нам, шельма.
А в этой посылке лежат корнишоны,
ахнет от радости дед пораженный.
Еще бы! — посылку на праздник получит,
приятно, что помнит о дедушке внучек.
Пусть себе ест. Корнишоны — на славу.
Посылка в Лодзь, телеграмма в Варшаву.
У девушки кудри, как нимба сиянье.
С праздником, пан! До свиданья!
В полдень и в полночь, поутру рано
почта работает беспрестанно,
летят телеграммы и денно и нощно.
Почта, граждане! Почта! Почта!
Столбы вдоль дорог, вдоль берез провода.
В села депеши и в города.
В сторону, зайцы! С дороги, вороны!
Гонит водитель. Спешат почтальоны.
Письма из Вроцлава, письма из Вармии,
это для штатских, а это для армии.
В Щецине ждут поздравленья и в Бресте,
летят по свету добрые вести;
и, как весной полевые ромашки,
рожки золотые горят на фуражке.
Почта! Почта! Сквозь даль, сквозь ненастье!
С праздником! С новым счастьем!

Где-то в доме настраивают пианино,
и на стол накрывают в соседней квартире,
а на улице — у-у! — просто дьявольская мешанина.
О, сколько снежинок —
мильярда четыре!

С депешой, с письмом письмоносец бредет
в густой метели и в сумраке редком.
Всю жизнь бредет он, из года в год,
мелькает белкой по лестничным клеткам.
И только меняется место и фон:
в деревне — петух, а в столице — неон.
И снова посылка, и снова доплата,
и снова — выбыли, нет адресата.
Что хочешь пошли для друзей дорогих —

сердце, штиблеты и стих:
«Люблю я тебя сколько зим, сколько лет!
И трудно с тобой и легко мне.
Лет восемь люблю, а быть может, и нет,
быть может, и девять, не помню.
Все спуталось. Вижу себя в тебе.
Мне кажется часто и снится,
что ты — ежедневная стойкость в борьбе,
а я — нежный взор и ресницы».

Может, сердце мое доконают года.
Вспоминайте, друзья, обо мне иногда,
дескать, жил человек непутевый.

Ветру бросьте мой прах,
в Вислу бросьте перо,
сердце — в ящик почтовый.

1948.

«РАКЕТНАЯ ГОРЯЧКА» *Рис. Бор. Ефимова.*

Комптон Маккензи

Ракетная стрела

РОМАН

Перевод с английского Р. Райт и Б. Грибанова

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Как об этом узнали

— Хоть бы эти проклятые чиновники из министерства обороны решили наконец, что им надо! — сказал мистер Эндрю Вишарт, член парламента от консервативной партии по округу Северный Леннокс и один из заместителей министра по делам Шотландии.

В ответ на это Хью Макиннес, личный секретарь мистера Вишарта, огорченно и сочувственно покачал головой.

— Нам удалось доказать, что создание ракетной базы на острове Западный Уист жизненно необходимо для безопасности свободного мира, а вы сами знаете, Хью, как это было трудно.

— Да, нелегко, — сказал Хью Макиннес, высокий красивый юноша. Он умел решительно и ловко брать самые трудные низкие мячи, что и выдвинуло его в число тех, кто в тяжелую минуту мог оказаться полезным в министерстве по делам Шотландии.

«Взял молодого Макиннеса к себе секретарем,— объявил тогда мистер Вишарт. — Разумеется, в Сент-Эндрю-хаузе мне пытались навязать одного из тамошних молодчиков, но я им так и сказал: нет, ни одного из ваших чиновников я к себе в секретари не возьму. Если моим личным секретарем будет какой-нибудь чинуша — лучше мне прямо залезть под башмак к Данкену Форбсу и сидеть там весь век».

Сэр Данкен Форбс, человек с большими задатками, был постоянным заместителем министра по делам Шотландии, а, как известно, каждый заместитель министра втайне мечтает оставить след своего пребывания в том министерстве, где он работает—за гроши, как ему кажется,—и пуще всего боится, как бы его достижения не приписали постоянным сотрудникам этого министерства.

— Что нам говорили, Хью? — продолжал мистер Вишарт. — Нам говорили, что научно-исследовательская комиссия министерства обороны порекомендовала как можно скорее создать экспериментально-учебную базу для управляемых снарядов и что после тщательного изучения вопроса самым подходящим местом на Британских островах сочли западный берег острова Западный Уист. Министерство по делам Шотландии этот план не одобрило. Министр по делам Шотландии предвидел, что всю вину, как обычно, свалят на него. Но Уолтеру Дуглассу это безразлично. Ему все безразлично, за исключением тех случаев, когда «Дейли эксцесс» в своих статейках укоряет его за то, что он из снобизма пишет

свою фамилию через два «с». Впрочем, даже это его мало трогает. Да, мы знали, что нас станут бранить. Знали, что в газете «Каледониан» появятся десятки глупейших писем от всяких графоманов, от чудаков-националистов и чувствительных якобитов, от орнитологов, не видящих дальше своего носа, да старых дев из Эдинбурга. Мы ждали запросов в парламенте, зная, что безусловно сумеем ответить на них обиняком, так как прямой ответ угрожал бы государственной безопасности. Мы обещали, что, прежде чем начать строительство, проведем опрос общественного мнения — удостовериться, нет ли на Западном Уисте возражений против постройки ракетной базы и не обидится ли Средний Уист, если на нем разместят смешанный контингент учебных войск для овладения техникой ракетной войны. Ведь вы сами, Хью, приносили мне на подпись сотни успокоительных писем. А что мы получили в награду? Нам объявили, что ради сохранения англо-американских отношений мы должны построить гораздо более крупную базу для управляемых снарядов, чем предполагалось вначале. Нас запрашивают, как будут реагировать шотландцы, если эвакуировать население с островов Тодди на побережье, чтобы специалисты могли производить сверхсекретные испытания ракет в полнейшей тайне.

— По-моему, шотландцы будут реагировать довольно бурно, — сказал Хью Макиннес.

— Так я и заявил тем двум чинушам из министерства обороны, когда они задали мне этот вопрос, и как, по-вашему, один из них мне ответил? Он самым серьезным образом попросил меня не говорить так громко, потому что проект пока что совершенно секретный.

— Совсем как мальчишки, играющие в индейцев, правда, сэр? — рассмеялся Хью Макиннес. — А что сказал мистер Дугласс?

— Он сказал, что вследствие этого на дополнительных выборах в парламент кандидат от националистов больше не потеряет своего залога. Он полагает даже, что кандидат националистов пройдет в парламент, потому что шотландские социалисты высказались против создания шотландского парламента — они решили лучше приберечь деньги для национализации жилищного фонда.

— А что говорит сэр Данкен?

— Он говорит, что наше министерство не может взять на себя устройство на побережье двух тысяч жителей острова. Говорит, что ему уже пришлось побывать в такой переделке, когда его послали провести эвакуацию населения с острова св. Килды. Из-за шторма он на целую неделю застрял на этом острове вместе с одним либералом, членом парламента от Северных Гебридов, и тот день и ночь ворчал — у него ветром сдуло шляпу в море. И есть им было нечего, кроме соленой рыбы, да сверх всего сэру Данкену пришлось купить дюжину носков, связанных из местной шерсти и таких колючих, что их и надеть было немыслимо.

— А как же отнеслись к его рассказу в министерстве обороны?

— Они поняли, что сэр Данкен отнюдь не собирается идти им навстречу!

— Что же в конце концов решили?

— Вопрос об эвакуации островов Тодди будет отослан в научно-исследовательскую комиссию министерства обороны для дальнейшего рассмотрения. Но нам дали понять, что министерство обороны не собирается откладывать на неопределенное время устройство полигона для управляемых снарядов на одном из островов Тодди или, может быть, на обоих... Кстати, Хью, имейте в виду, что это совершенный секрет! Знают об этом только министр, сэр Данкен и я. Это настолько секретно, что даже двум другим заместителям министра ничего не сказали. Даже государственному министру ничего не сказали. Решили, что лучше оставить его в пол-

ном неведении на случай запросов в палате лордов. С запросами в палате общин справиться нетрудно, но эти стариканы, которых вытолкали в палату лордов после того как их годами мариновали в палате общин,— сущие людоеды. Потому мы сочли более политичным, чтобы государственный министр лорд Гленбакет мог совершенно искренне ответить, что он и слыхом не слыхал ни о каких проектах устройства ракетного полигона — ни на Тодди-Малом, ни на Тодди-Большом. Видите, насколько все это секретно!

— Буду помнить, сэр.

— Знаю, на вас можно положиться, Хью. А какие, по-вашему, у нас шансы в матче с англичанами в будущем месяце? Как неудачно, что из-за больной ноги вы не сможете играть!

— По-моему, у нас есть шанс выиграть, — сказал полузащитник прошлого сезона.

— Знаете, когда на нас напускают из Лондона всяких людишек, чтобы навязать нам что-нибудь вроде эвакуации островов Тодди, мне так хочется, чтобы наши выиграли у англичан матч в регби. Может быть, сравнение покажется вам напыщенным, но на стадионе в Меррейфилде я начинаю воображать, будто участвую в битве при Баннокберне*. Нет, я очень надеюсь, что мы выиграем матч у англичан!

— Одного я не пойму, сэр: зачем им строить эти ракетные полигоны на западе? Мне казалось, что их явно надо строить на востоке. Я хочу сказать, что хотя янки и готовы были нас сожрать из-за Суэца, но никто не боялся, что они начнут швырять в нас ракеты. Правда, одну ракету Эйзенхауэр запустил прямо в Идена!

— Да, но надо принимать в соображение конвенцию о лове рыбы в Северном море, Хью. Если мы начнем пускать ракеты над Северным морем, на нас ополчится весь рыболовный флот. И не только из Гулля, Эбердина, Гримсби, но и из Норвегии, Исландии, Дании и даже России. У нас с русскими заключена конвенция и на Белом море.

— А я и не знал.

— Тут никакого секрета нет, но разглашать это мы не хотим, — сказал мистер Вишарт. — Когда эти люди из министерства обороны решили занять Западный, Средний и Восточный Уисты, они особенно подчеркивали, что эти острова представляют собой единственную часть Великобритании, где базы можно построить — правда, за счет некоторого вмешательства в жизнь населения, но зато с минимальным риском для судоходства. Я думаю, что поэтому мы и подняли флаг над Рокаллом.

— А я-то думал, что этим хотели показать всему миру, что мы по-прежнему хозяева империи, хоть мы и драпали с Суэца и оскандалились на Кипре, — сказал Хью с кислой усмешкой.

— Слушайте, Хью, надеюсь, вы не высказываете таких взглядов вне стен этой комнаты, — внушительно проговорил мистер Вишарт, — и я бы попросил вас даже в этих стенах воздержаться от подобных разговоров!

— Не беспокойтесь, сэр, постараюсь штрафных ударов не навлекать. А пока что как нам быть с этим планом насчет островов Тодди?

— Никак, Хью, — твердо заявил мистер Вишарт. — Будущий министр обороны, может быть, станет действовать по-другому. На этом посту никто больше трех месяцев обычно не держится, потому что правительство при каждом новом назначении надеется, что налогоплательщики поверят, будто министра сменяют для наведения экономии в государственном аппарате. Нет, нам, пожалуй, пока беспокоиться нечего. Правда, мы были неприятно поражены, когда этот доктор Хамбургер и

---

* В битве при Баннокберне шотландцы разбили англичан (24 июня 1314 года).

главный маршал авиации сэр Уильям Уиндермир вдруг поставили вопрос об эвакуации жителей с островов Тодди. Но мы решительно дали им понять, что министерство по делам Шотландии никак не может взять на себя ответственность за последствия столь поспешного шага.

— Кто такой доктор Хамбургер? — спросил Хью Макиннес.

— Кажется, он важная шишка, занимается разными изобретениями по части управляемых снарядов. Очевидно, русские уже изобрели какую-то штуку, которая раз во сто сильнее Фау-2 и поднимается на пятьсот миль в высоту со скоростью в пять тысяч миль в час, с ядерным зарядом или чем-то в этом роде; поэтому то, что делают на Западном Уисте, уже устарело, и теперь наши хотят сделать что-то новое на островах Тодди. Право, я не знаю толком, что они там затеяли. Окончательно теряюсь, когда со мной разговаривают типы вроде этого доктора Хамбургера, да у него, к тому же, немецкий акцент. Впрочем, я так и заявил главному маршалу авиации, но он только расправил свои торчащие усищи.

— Наверное, гладил их и приговаривал: «Лежать! Лежать!»,— добавил Хью.

— Ну, давайте не думать об островах Тодди, — попросил Эндрю Вишарт. — Нам надо умиротворить мэра Дрэмбюи...

— Драмбуи, сэр, — поправил его секретарь. — По-моему, можно было поставить атомный реактор в более подходящем месте, а не посреди лужайки для гольфа в Драмбуи.

— Знаю, знаю, — вздохнул Эндрю Вишарт. — Но где бы ни строили атомные объекты, народ всегда недоволен.

— А все оттого, что эти атомщики в первую голову думают о собственной выгоде, — объяснил Хью Макиннес. — Должно быть, они потому установили этот самый реактор, или как его там называют, посреди лужайки для гольфа, что так на милю ближе к железной дороге.

— В общем, надо взывать к патриотическим чувствам этого мэра... К счастью, Дрэмбюи...

— Драмбуи, сэр!

— К счастью, Драмбуи не в моем избирательном округе. Из-за таких передряг можно и место в парламенте потерять. Кстати, Хью, вы хорошо переносите море?

— Неплохо, сэр.

— Я потому спросил, что министр хочет, чтобы я на будущей неделе съездил в Нобост, это на острове Средний Уист, и выступил там на митинге. Я подумал, не захотите ли вы поехать со мной? Но в это время года море не очень спокойно.

— До Восточного Уиста можно добраться и самолетом, — предложил Хью.

— Да, но я не люблю летать, если можно выбрать другой способ сообщения, а кроме того, мы могли бы по дороге заглянуть на острова Тодди. Перед тем как идти в Нобост, пароход заходит в Снорвиг. У меня создалось впечатление, что эти типы из министерства обороны могут снова поднять вопрос об эвакуации обоих островов, и мне хотелось бы самому на месте посмотреть, с чем мы столкнемся, если этот план утвердят.

Так случилось, что на рассвете ветреного дня в начале марта мистер Эндрю Вишарт и его личный секретарь шли с вокзала на пристань, борясь с напором ветра, гулявшего по набережной Обейга, где пришвартовалась «Королева островов».

К счастью, мистер Вишарт был человек приземистый, коренастый, и ветер не мог даже растрепать его подстриженные щеточкой усы, да и вдобавок он сам нес свой чемодан, служивший ему и якорем и балла-

стом, иначе его непременно сдуло бы в море. А Хью Макиннес так часто брал мячи под бурные вопли болельщиков из разных шотландских клубов, что привык не бояться никаких бурь и, нагнув голову, храбро пробивался вперед, иногда хватая под руку своего начальника и тем самым, возможно, предотвращая перевыборы по округу Северный Леннокс, что в данную минуту вполне соответствовало интересам правительства.

— Должно быть, плыть будет не особенно приятно, Хью, — сказал мистер Вишарт, когда они очутились на борту парохода и вновь обрели дар речи. — Послушайте, стюард, для меня должны были забронировать каюту.

— Как фамилия? — спросил стюард, огромный толстяк, у которого щеки, казалось, занимали все лицо.

— Мистер Эндрю Вишарт, — ответил за него личный секретарь. Но на лице стюарда ничего не отразилось.

— Заместитель министра, — строго добавил Хью Макиннес.

Лицо стюарда по-прежнему ничего не выражало.

— Все четыре каюты заняты! — сказал он.

— Но из министерства по делам Шотландии было распоряжение оставить две каюты для мистера Вишарта,— возмутился Хью.

— Все каюты на «Королеве островов» забронированы министерством обороны впредь до дальнейших распоряжений, — объявил стюард. — Но в салоне места много.

На самом же деле места в салоне оказалось чрезвычайно мало: он был битком набит какими-то серьезными мужчинами в черных сюртуках и полосатых брюках, с толстыми портфелями на коленях.

— Чем не метро в час пик! — недовольно пробурчал Хью Макиннес. — Вы бы присели, сэр, вон там, в углу, есть место.

— Но вам-то негде сидеть, Хью!

— Пристроюсь, ничего! Попробую поймать капитана.

Настроение у капитана Дональда Маккехни было не из самых лучших. Два дня назад он из-за скверной погоды не смог пройти к Внешним островам и сомневался — сможет ли пройти в это утро. Капитан Маккехни плавал последний год и горько обижался, когда погода мешала ему совершить очередной рейс. Больше сорока лет, сначала на старой «Куропатке», а потом на «Королеве островов», он трижды в неделю ходил из Обейга в Нобост и трижды — из Нобоста в Обейг, непременно заходя в Снорвиг по пути туда и обратно.

— А кто вы будете? — сердито спросил он, оторвав глаз от подзорной трубы, когда Хью Макиннес нашел его в рубке.

— Простите, что я так к вам ворвался, — сказал Хью, — я личный секретарь мистера Эндрю Вишарта, одного из заместителей министра по делам Шотландии. Наше министерство просило оставить каюту для мистера Вишарта, но стюард заявил, что все каюты резервированы министерством обороны на неопределенный срок. А рейс, кажется, будет нелегкий.

— Нелегкий! Ад, а не рейс будет, вот что! Как ваша фамилия?

— Хью Макиннес.

— Ну? Покойница-жена тоже была из Макиннесов.

— Делает мне честь, — сказал Хью.

— По-гэльски говорите?

— К великому моему стыду — нет.

— Жаль, жаль! Понимали бы вы по-гэльски, я бы нашел слова для этих распроклятых тараканов — наползли из Лондона, нечисть такая!

— По-моему, вы и по-английски выразили свое отношение как нельзя более ясно!

— По всему судну разбежались, тараканы этакие. О господи, а голоса у них, ну и голоса! Словно камней в рот набрали! А тут еще эти стиляги!

— Стиляги? — переспросил Хью. — Да откуда здесь на островах стиляги?

— Говорю вам — значит так. Ходят тут — брюки дудочкой, волосы на макушке лохматые, как щенячий зад. Не знаю, как ваше министерство допустило эту мерзость, этот ихний полигон для ракет.

— Ничего нельзя было поделать, — сказал Хью. — Министерство обороны настаивало.

— Видно, им приходится делать, что велит мистер Даллес. Видел я его фото на прошлой неделе. Вылитый директор школы, куда я мальцом бегал. Попробовали бы мы тогда ослушаться его! Ну-с, рад был познакомиться, мистер Макиннес. Через минуту-другую отчалим.

— Вы не посоветуете, куда бы мистеру Вишарту спрятаться от этих тараканов?

— Пусть сидит в моей каюте. В такую чертову погоду я туда и не спущусь.

Чем меньше мы будем рассказывать об этом рейсе, тем лучше. Почти всех пассажиров тошнило без передышки или, в лучшем случае, с небольшой передышкой. Конечно, мистер Вишарт тоже страдал морской болезнью, и когда Хью Макиннес сказал, что в таких случаях рекомендуют пить пиво, от этой информации его затошнило еще пуще. Да и сам Хью, попытавшись проверить на практике теоретические сведения о пользе пива, почувствовал себя совсем скверно.

— Жаль, что доктора Хамбургера и сэра Уильяма Уиндермира нет с нами на этом гнусном пароходе! — слабым голосом пробормотал мистер Вишарт.

— Неужели главного маршала авиации тоже тошнило бы? — поинтересовался Хью.

— В такую погоду стошнило бы даже архангела! — отрезал мистер Вишарт. — Пожалуй, назад нам лучше лететь.

Но когда «Королева островов» подходила к пристани Снорвиг, заместитель министра передумал.

— Кажется, я, как говорится, «оморячился»!—с надеждой сказал он.

— Нам еще осталось больше двадцати миль до Нобоста! — напомнил ему Хью.

Но их план — сойти на берег и поглядеть на столицу Тодди-Большого — лопнул, так как капитан Маккехни, сдав почту, решил сразу идти в Нобост, а разгружаться ночью, когда «Королева островов» зайдет в Снорвиг на обратном пути.

— Мы и так на два часа запоздали, мистер Вишарт.

— Да, надо благодарить вас и господа бога, капитан, что мы вообще сюда попали.

— Что верно, то верно, — хмыкнул капитан, — мы с ним парни надежные.

Сумерки сгустились, пока «Королева островов» стояла в Снорвиге, но когда Хью Макиннес вышел на набережную и стал прохаживаться, чтобы выветрились неприятные воспоминания о пройденном пути, он вдруг почувствовал непреодолимое желание вернуться сюда, на Тодди-Большой, и обследовать весь остров на досуге.

— Удивительная штука, сэр, — сказал он мистеру Вишарту, когда они уходили на север от острова, к Среднему Уисту, по уже успокоившемуся морю. — Меня Тодди-Большой просто зачаровал.

Они прохаживались взад и вперед по палубе.

— А я видел только с десяток по уши закутанных людей с фонарями, — сказал мистер Вишарт. — Мне показалось, что они не очень-то похожи на сирен.

Хью рассмеялся.

— Да и я ничего другого не видал. Но у меня было такое чувство, что, если план эвакуации Тодди-Малого и Тодди-Большого утвердят, это будет преступление!

— Тише, Хью! — мистер Вишарт нервно оглянулся. — План абсолютно секретный!

— Ничего, эти тупицы по-прежнему торчат в салоне!

— Да, но возможно в какой-нибудь из кают двери открыты.

— Виноват, сэр. Кстати, хорошо, что митинг назначен на завтрашний вечер. Ого, дождь пошел. Может быть, хоть ветер уляжется.

Холодность приема, оказанного мистеру Вишарту стюардом парохода, полностью искупила теплая встреча, которую приготовил ему хозяин гостиницы в Нобосте. Хотя и тут было полно всяких специалистов, инженеров и чиновников и везде мелькали защитные кители и синие куртки летчиков, но мистера Вишарта устроили в самой комфортабельной спальне — не спальня, а мечта! По правде говоря, это была спальня самих хозяев — мистера и миссис Фаркарсон, они сами пристроились в одной из мансард. Хью Макиннесу с извинениями приготовили постель на диване в биллиардной. Второй диван занимал некий мистер Мичинг — тощий юноша в роговых очках, с необычайно большим и подвижным кадыком и набором каких-то инструментов.

— Скоро ли собираетесь запустить первую ракету? — спросил Хью, когда они раздевались.

Кадык мистера Мичинга запрыгал, как пробка на волнах. Очевидно, вопрос очень взволновал его. Он раза два глотнул воздух, и кадык стал на место.

— На этот вопрос я едва ли в состоянии вам ответить, — сказал мистер Мичинг тоном, в котором звучал сдержанный упрек и сознание собственной незначительности.

— Простите! Разве вы не из засекреченных?

— Я землемер.

— А что вы меряете?

— Сейчас я обследую и замеряю дополнительную площадь, которая потребовалась министерству обороны. Это делается для того, чтобы оценить землю, занятую сейчас фермерами, и установить, на какую компенсацию имеют право арендаторы участков, нужных министерству.

— Полагаю, что министерство обороны постарается выжать эту компенсацию из нашего министерства по делам Шотландии? — сказал Хью.

— Не имею ни малейшего представления! — ответил мистер Мичинг. — Мне и по своей части забот не обобраться!

— Да, должно быть неприятно замерять землю человека, чтобы прогнать его оттуда.

— Разумеется, неприятно. Здешние жители — трудный народ. Откровенно говоря, нам пришлось просить Первый баллистический полк выделить для нас охрану, чтобы вешки, которые мы ставим, не передвигали по ночам. А иногда они и совсем исчезают. Здесь есть один старик — ему уже лет девяносто,— он на всех такого страху нагнал! Поверите ли: спрятал мой теодолит у себя в закуте — так они называют хлев.

— А как вы узнали?

— К счастью, один из местных шоферов — они благодаря нам зарабатывают кучу денег и считают нас своими благодетелями — рассказал, куда старый Майкл Макдональд спрятал мои инструменты.

— И вы нашли свой теодолит?

— Да, но с какими трудностями! У старика Макдональда в хлеву полно этих длиннорогих коров — знаете, шотландская порода, — а сам старик притворился, будто по-английски ни слова не понимает. Ну, не смешно ли, во второй половине двадцатого века? Да, мы тут хлебнули горя, на этих проклятых островах! И не только из-за местного населения. Наметили мы подходящее место под жилые дома для шестисот человек личного состава радиолокационной службы, с женами и детьми. Вдруг является толпа этих самых любителей птиц и подает жалобу, что мы мешаем лебедям на каком-то пруду. Один из наших товарищей неплохо сострил: лебедям, говорит, наоборот, понравится, если детишки станут их кормить. И только мы избавились от этих птичников, нагрянула целая свора ископаемых старичков и заявляет, что мы собираемся зацементировать какие-то останки доисторического жилья. Тот же самый наш остряк, который сказал про лебедей, спрашивает — давно ли эти ископаемые старички сами жили в этих доисторических останках? А ваше шотландское министерство тоже не очень-то шло нам навстречу, особенно департамент земледелия, знаете, эти молодчики в брюках гольф, которых можно учуять по запаху за пятьдесят ярдов; скажете, у них торфом топят? Оттого и топят торфом, что ничего другого нет. Посмотрим — станут ли они топить торфом, когда мы как следует электрифицируем все три острова.

— Разве вы не на атомной энергии будете работать? — спросил Хью Макиннес.

Кадык мистера Мичинга опять запрыгал.

— Я не имею возможности ответить на этот вопрос, — сказал он,— и если вы не возражаете, я повернусь на бочок и постараюсь заснуть. Завтра у меня тяжелый день, а постель тут не слишком удобная.

— Да, удобства в ней маловато, — согласился Хью. — Вам часто приходится оставаться без номера в гостинице?

— Я уступил свой номер доктору Хамбургеру, он неожиданно приехал сегодня утром.

— Ага, так он, значит, здесь? — пробормотал Хью Макиннес и выключил свет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Митинг в Нобосте

— Как вы провели ночь, сэр? — спросил Хью, когда он и заместитель министра сели завтракать яичницей с ветчиной.

— Отлично выспался, — уверил его мистер Вишарт. — А как вам спалось в биллиардной?

— Не так плохо. Мне снился престранный сон. Будто бы я попал в свалку во время матча и никак не мог выбраться из нее в продолжение всей игры; признаться, я рад, что никогда не был нападающим. К сожалению, должен вам сообщить неприятную новость.

Мистер Вишарт тревожно посмотрел на Хью.

— Доктор Хамбургер здесь.

— Бог ты мой! Лишь бы он не стал приставать ко мне! — воскликнул мистер Вишарт.

— Вряд ли он к вам привяжется, сэр. Пожалуй, нам лучше всего попросить машину у хозяина гостиницы и поехать на Западный Уист, а там вы сами посмотрите, что происходит. Зачем вам ехать с этими людьми из министерства обороны?

— Совершенно незачем!

— Мост на Восточный Уист будет закончен, как говорят, не раньше осени.

— Лучше бы мы не соглашались на постройку моста через Западный пролив, — сказал мистер Вишарт. — Министерство обороны и тут построило бы мост за свой счет.

— Потом мы с вами сможем осмотреть дорогу, которую они строят от озера Стью, под Нобостом, до озера Стаффи. С точки зрения жителей острова эта дорога совершенно бесполезна — она идет по торфяным болотам и ни одной фермы поблизости нет.

— Зачем же они ее строят?

— Очевидно, собираются выстроить порт на озере Стаффи в северо-восточном углу острова Средний Уист, где будут разгружаться секретные материалы, а вокруг создать запретную зону. Я потому об этом упоминаю, сэр, что в своей речи на сегодняшнем митинге вы не должны говорить, что эта дорога является одним из тех благ, какие получит Средний Уист благодаря постройке ракетной базы. Дорога пройдет миль двадцать по совершенно пустынной местности.

— Да, но когда закончат эту дорогу до озера Стью, то все военные материалы придется перевозить по имеющейся дороге от Нобоста к мосту на Западный Уист. Почему же они не проложили дорогу от озера Стаффи прямо к мосту?

— Очевидно, прокладка дороги через горы — дело слишком сложное и долгое.

Когда мистер Вишарт со своим секретарем выходили из отеля к машине, к ним подошел сухощавый седой человек с обветренным загорелым лицом, в спортивном костюме и охотничьей фуражке, к которой было прикреплено штук шесть рыболовных крючков.

— Простите за беспокойство, сэр, — заговорил он, — кажется, вы и есть мистер Эндрю Вишарт, заместитель министра по делам Шотландии? Моя фамилия Хотблэк, полковник Хотблэк, 16-го гусарского полка, в отставке. Вам как будто предстоит выступать нынче вечером на митинге в ратуше Нобоста, сэр?

— Да, я буду говорить на митинге, сэр, — подтвердил мистер Вишарт.

— Разрешите осведомиться, сэр, занимаетесь ли вы рыбной ловлей?

— Занимаюсь изредка, к сожалению, времени не хватает, — ответил мистер Вишарт с обычной своей грустной улыбкой.

— Никогда не ловили форелей на Среднем Уисте?

— Никогда.

— Значит, вы не отдаете себе отчета в том, что лучшим местам для ловли форелей в Шотландии грозит опасность — их собираются уничтожить из-за этого гнусного проекта ракетных баз?

— Право, полковник, человеку военному не к лицу столь крепкие выражения! — возмутился мистер Вишарт.

— Это бессовестно! Это подло! Сплошное идиотство! — задыхался полковник Хотблэк. — Честное слово, сэр, я считаю, что это святотатство!

— Но что угрожает рыбной ловле?

— А по-вашему, можно напустить сюда банду этих... этих распущенных... всяких этих людишек из Первого баллистического полка... из радиолокационной службы... черт меня дери, сэр, неужто вы их считаете военными?

Полковник поднес руку к горлу, расстегнул воротничок, на виске у него забилась синяя жилка.

— Двадцать пять лет подряд, не считая, конечно, военных лет, я приезжал сюда, в нобостскую гостиницу, и наслаждался отличнейшей рыбной ловлей, а скоро мне только и останется, что нацепить кусок хлеба

на крючок и ловить плотву на какой-нибудь грязной окраине Лондона. Просто не пойму, как это министерство по делам Шотландии позволило втянуть себя в этот бессмысленный эксперимент, послушалось этих новоиспеченных специалистов из министерства обороны, которые губят все три вида вооруженных сил и не успокоятся, пока не превратят авиацию в магазин игрушек, а артиллерию — в фейерверк. Прошу прощения за то, что налетел на вас, но вы должны извинить старого солдата за откровенность.

Полковник Хотблэк чопорно поклонился и отступил на шаг, чтобы дать мистеру Вишарту и Хью пройти к машине.

Ветер улегся под напором дождя, да и дождь уже стихал, когда они ехали по западной дороге. Справа высились скучные в своем однообразии ржаво-серые холмы Среднего Уиста, теряясь в низких облаках. Слева, за поблекшим от зимней стужи ровным лугом, лежал узкий пролив, а впереди — Атлантический океан, почти не отличимый от нависшего над ним грустного неба.

— Кажется, крыша у машины протекает, — вдруг сказал мистер Вишарт.

— Давайте поменяемся местами, сэр! — предложил Хью.

— Нет, нет, мне только изредка капает за ворот. Знаете, Хью, мне понравился полковник Хотблэк. Мой отец в первую мировую войну командовал Лотианским стрелковым полком, он тоже, бывало, так распалялся. Для него было большим ударом, когда я занялся политикой. Он сказал, что ему было бы легче, даже если б я пошел в актеры. Интересно, придет ли полковник вечером на митинг. Пожалуй, упомяну, как мы будем сожалеть, если пострадает великолепная рыбная ловля в этих местах.

— Если разрешите высказать мое мнение, сэр, то я бы вам советовал умолчать о рыбной ловле. Не надо, чтобы противники ракетных баз говорили, что вас больше трогает судьба рыбы, чем судьба людей.

— Да, я вас понимаю, Хью. Пожалуй, вы правы. Ага, вон и мост на Западный Уист, не так ли?

Вскоре они переехали через мост, тянувшийся почти на полмили. Был час отлива, и внизу лежали песчаные отмели и жемчужно-серые лужи морской воды, взбаламученные дождем. По другую сторону моста дорога, обогнув гряду невысоких холмов, вела к небольшому поселку, домики которого жались к католической церквушке.

— К Балмьюру подъезжаем, — сказал шофер, опустив стекло кабины, чтобы его услышали. — Заедете повидать отца Макдональда? Он при церкви живет.

— Нет, пожалуй, нам надо сначала посмотреть участок, отведенный под ракетный полигон, — сказал мистер Вишарт.

— Вас туда не пустят, — предупредил его шофер.

— Ну, меня-то пустят! — сказал заместитель министра.

Шофер с сомнением покачал головой, но все же проехал Балмьюр и выехал на прибрежный луг — такие луга в Шотландии зовут «махары».

— Прекрасное пастбище! — заметил Хью Макиннес.

— Как же иначе? — сказал мистер Вишарт. — Где бы армия или военно-воздушные силы ни выбирали место для баз, обязательно выберут лучшее пастбище или лучшую пахотную землю. Да вот и участок!

На лугу беспорядочно раскинулись бараки самой разнообразной величины, и машина подъехала к воротам, от которых в обе стороны — и к морю и к суше — тянулась колючая проволока. Около ворот стояла будка, из нее вышел солдат с винтовкой.

— Разрешите ваши пропуска! — сказал он.

— Это — заместитель министра по делам Шотландии, — объяснил Хью Макиннес.

— За ворота вход без пропуска запрещен, — сказал караульный, — это правительственные участки.

— А я как раз и являюсь членом правительства, — объявил мистер Вишарт.

Часовой сочувственно заморгал.

— Да, сэр, я не сомневаюсь в этом. Но без пропуска за подписью бригадира авиации Уотчхорна я вас, к сожалению, пропустить не могу.

— А вы никак не можете связаться с бригадиром авиации? — поинтересовался Хью.

— Он сейчас в порту Стаффи, сопровождает доктора Хамбургера, а полковник Баллингем уехал на Восточный Уист. Простите, сэр, но, к сожалению, я ничего сделать не могу.

— Ох, так я и знал, что вас не пропустят, — вздохнул Джонни Галбрейс, их шофер, когда машина пошла обратно. — Англичане народ особливый: воображают, что солнце — и то восходит из ихнего зада. Нет, я ничего не говорю, есть и среди англичан люди порядочные, толковые, из тех, что у нас рыбачат и охотятся, — добавил он поспешно. — Вот полковник Хотблэк очень славный джентльмен. Обычно он к этому времени отсюда уезжает охотиться на куропаток, а сейчас он, по-моему, нарочно тут сидит, чтобы не уступать номер в гостинице этим ракетирам. Это он их так зовет — ракетиры. Слово подходящее, ничего не скажешь. У нас, по-гэльски, такого слова и нет. Ну, везти мне вас к церкви, что ли?

Отец Макдональд оказался веселым кругленьким человечком, который очень хотел отстоять права своих прихожан и вместе с тем не знал, может ли он рассчитывать на их поддержку, если встанет вопрос о том, чтобы они поступились своей выгодой.

— Сказать по совести, мистер Вишарт, оппозиция на всех трех Уистах очень уменьшилась. Протестовали главным образом старики. Разумеется, вы сами понимаете, что фермеру горько видеть, как у него отнимают землю, которую он обработал, и дом, который он сам построил. Сначала все очень ворчали, когда дело коснулось общественных пастбищ. Но теперь люди как будто примирились. Молодежь — та сразу сочувственно отнеслась к этим планам. Считают, что им перепадет много денег.

— Вы действительно полагаете, что люди примирились, отец Макдональд? — спросил Хью. — А не думаете ли вы, что они просто чувствуют всю бесполезность сопротивления и решили извлечь побольше выгод из этого скверного дела?

Может быть, если бы солдат пропустил мистера Вишарта за ворота, он упрекнул бы своего секретаря за вмешательство. Но тут он молча выжидал ответа приходского священника.

— Трудно мне ответить на ваш вопрос, — сказал тот. — Но по-моему, сегодня вам нечего опасаться неприятностей, мистер Вишарт. Митинг назначен на восемь. Значит, начать можно будет не позже девяти, а может быть, и в половине девятого. Вам не придется торопиться с обедом.

Несмотря на дождь, зал ратуши Нобоста к половине девятого был переполнен, и мистер Вишарт, чрезмерно гордившийся своей пунктуальностью, постарался не нарушать ее, ровно через минуту он вышел к столу президиума, где его встретили вежливые аплодисменты.

В первых рядах сидели отец Макдональд и два католических приходских священника со Среднего Уиста, священник шотландской церкви со Среднего Уиста и священник свободной церкви с Восточного Уиста его преподобие Джон Маккодрам, затем мистер и миссис Фаркарсон, полковник Баллингем, полковник Хотблэк, местный врач с женой и несколько местных торговцев без жен. В самом конце первого ряда расположился мужчина с удлиненным черепом и плоским, коротко остриженным затылком. Это и был доктор Хамбургер.

Председательствовал Джонатан Кэмбл, один из руководителей муниципалитета округа, самый богатый торговец на всех трех Уистах и член Совета графства, завоевавший такое уважение, что, несмотря на свою принадлежность к шотландской церкви, всегда получал большинство голосов избирателей-католиков.

Джонатан Кэмбл открыл собрание кратким выступлением на гэльском языке и затем обратился к мистеру Вишарту:

— А теперь, сэр, я с удовольствием предоставлю вам слово на этом митинге, на который, несмотря на дождь, явились представители всех наших трех островов. С особым удовлетворением я отмечаю, что его преподобие мистер Маккодрам вопреки ненастной погоде пересек Восточный пролив и прибыл к нам. Мистер Вишарт, прошу!

Заместитель министра по делам Шотландии, в безукоризненном черном сюртуке и полосатых брюках, встал и вышел вперед, снова встреченный вежливыми аплодисментами.

— Эхархен... — начал он и остановился. Даже своего личного секретаря мистер Вишарт не предупредил, что собирается обратиться к аудитории по-гэльски: «Дорогие мои друзья». И напрасно: скажи он об этом Хью, тот бы одобрительно захлопал при этих словах. А теперь присутствующие даже не осознали, что мистер Вишарт называет их по-гэльски своими дорогими друзьями: они решили, что он просто кашлянул, и вежливо молчали, выжидая, пока он окончательно откашляется.

— Друзья мои, — продолжал оратор, — первым долгом я считаю нужным сообщить вам, как глубоко сожалеет мистер Уолтер Дугласс, министр по делам Шотландии, что из-за парламентских дел он не может быть сегодня с вами. Мистер Уолтер Дугласс... ммм-да... глубоко сознает, какое значение для Западного, Среднего и Восточного Уистов имеют ракетные базы, которые правительство решило построить на Западном Уисте в силу настоятельной необходимости защитить нашу любимую родину от агрессии. Мистер Дугласс глубоко сознает, что это мероприятие может повлечь за собой некоторые перемены в жизни островов, и хотя ракетный полигон — думаю, что я не нарушу закона о сохранении государственной тайны, упоминая об этом...

Мистер Вишарт остановился в надежде услышать одобрительный смешок, но, встретив молчание не менее глубокое, чем сожаление министра по делам Шотландии, продолжал:

— Сам ракетный полигон, как я уже сказал, будет построен на Западном Уисте, но оба соседних острова—Средний и Восточный Уисты — тоже будут в той или иной мере затронуты этим мероприятием. Все вы уже знаете о реконструкции маленькой пристани на озере Стаффи. Теперь она будет официально называться порт Стаффи. Никакого нарушения постоянных рейсов пароходной компании Макпейна это не вызовет. Добрые суда «Королева островов» и «Принцесса островов» по-прежнему будут заходить в Нобост и к озеру Люни. Порт Стаффи будет принимать исключительно те огромные запасы материалов, какие потребуются для ракетного полигона, а также для устройства учебных баз, где воинские части станут овладевать сложным делом управления... я хотел сказать— овладевать управляемыми снарядами. Должен заметить, что ходили самые дикие слухи о численности перебрасываемых частей. Со всей ответственностью скажу, что в первое время их численность не превысит четырех тысяч человек. Сам я не претендую на понимание баллистики и думаю, что мало кто из вас понимает, что это такое, но мы все же должны уяснить себе, что если нашему народу угрожают баллистические снаряды других стран, то жизненный долг нашего правительства — не оставить камня на камне, — я хочу сказать, сделать все, что в наших силах, для самозащиты. Но к этому я вернусь еще раз. Все вы знаете,

какая скверная дорога ведет от Нобоста к озеру Стаффи. Смею сказать, что благодаря нашему председателю, мистеру Джонатану Кэмблу, в министерстве по делам Шотландии нет ни одного человека, который не знал бы, какая это скверная дорога.

Из глубины зала прогудел мощный бас:

— Молодчина, Джонатан, братец!

Священники с островов Уист оглянулись. Никто не знал, что отец Джеймс Макалистер, приходский священник с Тодди-Малого, прибыл в сумерки на рыбачьей лодке.

— Ну, теперь жди бури! — весело шепнул отец Макдональд отцу Макинтайру.

— Дорога эта вскоре станет широкой мощной магистралью от порта Стаффи до Нобоста, — продолжал мистер Вишарт. — Более того, министерство обороны строит мост через Западный пролив, сооружение которого нам было не под силу из-за высокой стоимости такого строительства. Мало того — аэродром Восточного Уиста будет значительно расширен, так как на острове Восточный Уист будет расквартирована часть учебных контингентов. Я назвал только немногие из тех преимуществ, которые получат все три острова. О да, я знаю, отлично знаю, что некоторым фермерам придется испытать кое-какие неудобства при реквизиции их участков и части общественных пастбищ. И я весьма об этом сожалею. Все мы сожалеем об этом. Но вместе с тем, за свое двадцатилетнее пребывание в палате общин я научился понимать, что меньшинство всегда должно уступать большинству. Мы постараемся как можно скорее предоставить тем, кого выселят, другие участки. Департамент земледелия, действуя в теснейшем контакте с Комитетом фермеров, Шотландским бюро и Лесным управлением, камня на камне не оставит — я хочу сказать, сделает все от него зависящее, чтобы выселенные фермеры испытали как можно меньше тягот. Когда впервые стало известно о постройке ракетной базы, началась некоторая агитация против этого плана. Правда, агитация была малоуспешной. Весь шум подняли сентиментально настроенные шотландцы, преспокойно живущие в городах, — из тех, кто любит щеголять в шотландской юбочке в хорошую погоду и, возвращаясь из отпуска, хвастает, на каких замечательных кэйли* они побывали. Эти типы писали письма в газеты, но я с удовлетворением должен отметить, что здравомыслящие люди, отлично знающие здешние условия, отвечали на письма этих чувствительных субъектов и ставили их на место. Жители тех островов, которым не так повезло, как трем Уистам, откровенно завидовали возможностям, открывавшимся перед населением Уистов, прежде всего — возможности достичь такого уровня жизни, о каком и не мечтали на Внешних островах. Вскоре стало вполне очевидным, что предложение правительства построить базу для управляемых снарядов на Западном Уисте не только не встретило возражения со стороны самих уистити-ти...

— Эй-эй, — перебил тот же зычный бас из глубины зала, — они не уистити **, а люди!

— ...я хотел сказать, со стороны самих жителей Уиста, но они тепло приветствовали этот план. Они поняли, как выгодно идти в ногу с современностью. Они осознали, что являются аванпостом свободного мира, и это наполнило их гордостью. С незапамятных времен все Макдональды пользовались привилегией сражаться на правой стороне.

Хотя половина присутствующих носила фамилию Макдональд, никто из них об этой исторической привилегии Макдональдов и слыхом не слы-

---

* Праздник песни *(гэльск.)*.

** Порода обезьян.

хал, и потому никакой реакции на воинственные реминисценции мистера Вишарта не последовало.

— Но зачем обращаться к прошлому? — вопросил он. — Мы все, здесь собравшиеся, хотим смотреть в будущее. И я говорю от лица правительства, заверяя вас, что правительство гордится тем, что таким разумным, таким патриотически настроенным и дальновидным гражданам этой округи дана возможность разрешить множество трудностей, казавшихся неразрешимыми. Годами наше министерство по делам Шотландии добивалось того, чтобы жизнь на Гебридских островах шла в ногу с современностью. Мы не оставляли камня на камне — я хочу сказать, мы делали все, что было в наших силах...

— А почему вы не ввели в действие закон 1895 года о лове рыбы у берегов Шотландии? — вскочил с места сухопарый человек с настойчивыми глазами и настойчиво поджатыми губами.

— Должен признаться, что вопрос моего уважаемого друга мне неясен.

— Если бы вы ввели этот закон в действие, то рыбный промысел на Гебридах и в Западной Шотландии был бы спасен. Но вы дали запугать себя в палате общин разным интриганам, выражавшим интересы судовладельцев.

— Боюсь, что в этом вопросе я и сам плаваю, — сказал мистер Вишарт.

— Вы заместитель министра по делам Шотландии, не так ли? — не отставал сухопарый противник.

— Да, именно так.

— И однако вы никогда не слышали насчет закона 1895 года о лове рыбы у берегов Шотландии?

— Должен признаться — никогда не слыхал.

— «Где в неведенье блаженство, там безумье — мудрым быть»*, — процитировал сухопарый и с презрением уселся на место.

— Не могу понять цель выступления моего уважаемого друга. По всей вероятности, он — шотландский националист, — заявил мистер Вишарт.

Обычно на собраниях консерваторов такое замечание непременно вызывало смех у присутствующих. Однако в этот вечер на него никто не отозвался. Мистер Вишарт откашлялся и продолжал ораторствовать:

— Выступая здесь от имени правительства, я благодарю вас, друзья мои, жители Западного, Среднего и Восточного Уистов, за преданность и патриотизм, которые побуждают вас, несмотря на некоторое нарушение вашего освященного веками образа жизни, оказывать полнейшее содействие тем, кто после долгих и тревожных размышлений пришел к выводу, что Великобритания должна воспользоваться великодушным предложением правительства Соединенных Штатов и принять запас управляемых снарядов, которыми Великобритания еще не обладает. Мы не желаем использовать эти снаряды для агрессии. Они послужат нам для самозащиты. Ни одной стране они угрожать не будут. Помогая нашему правительству в создании ракетной базы, вы вносите свой вклад в дело обеспечения мира во всем мире. Знаю, что вам не надо об этом напоминать. Знаю, что, если вас призовут принести в жертву ваш образ жизни, существующий испокон веков, вы пойдете на это с охотой, с энтузиазмом, ибо вы, жители этих трех островов, понимаете, что удостоились чести стать аванпостом мира в нынешней тревожной и печальной обстановке. И каждая ракета, которая взмоет над вами, покажется вам оливковой ветвью, несомой голубем мира!

---

* Из элегии Грея «Итонский пейзаж».

— Доброй охоты! — пробасил тот же голос из глубины зала, и, когда мистер Вишарт под вежливые аплодисменты сел, отец Джеймс Макалистер встал с места. Ему уже перевалило за семьдесят, и хотя волосы у него совершенно побелели, но по богатырскому сложению и по мощности голоса, по румянцу на щеках можно было подумать, что он ничуть не постарел с того дня, когда пароход «Министр» потерпел аварию у скалы Гобха, возле Тодди-Малого, и всё виски, находившееся в трюме, было выпито на родине этого напитка — кроме нескольких ящиков, подаренных, по приказу акцизного управления, Дэви Джонсу*.

— Мистер Вишарт, — сказал гигант-священник, — я хочу задать вам один вопрос. Правда ли, что по договору, согласно которому правительство США собирается снабжать ракетами бедную старую Англию, остров Западный Уист будет передан нашим заокеанским друзьям для наблюдения за сохранением тайны?

В зале послышался негодующий гул.

Мистер Вишарт поспешно вскочил с места.

— Смею уверить моего почтенного друга... — он запнулся, и Джонатан Кэмбл, наклонившись к нему, подсказал фамилию священника. — Смею уверить мистера Макалистера, что я не слыхал ни единого намека на то, что американские специалисты будут хоть в малейшей степени причастны к решению судьбы трех Уистов, и я не остановлюсь перед тем, чтобы заклеймить эти слухи как типичный образец коммунистической пропаганды.

— Что же, приятно это слышать, ибо я хотел бы, чтобы мистер Вишарт передал от имени Внешних островов следующее: «Один «Министр» уже потерпел крушение у наших берегов. Берегитесь, чтобы и все остальные министры об нас не разбились!» — При этих словах он повернулся к аудитории и заговорил по-гэльски под взрывы аплодисментов.

— Вы не можете остановить его? — шепнул мистер Вишарт председателю.

— Разве его остановишь? — так же шепотом ответил Джонатан Кэмбл.

— Что он говорит?

— Очень иронически отзывается о правительстве.

— Так я и думал. Кажется, он что-то сказал насчет рок-н-ролла? — спросил мистер Вишарт после очередного взрыва смеха в зале.

— Сказал, что гости с Запада заставят правительство плясать до упаду, а потом подомнут его под себя. Пожалуй, надо призвать его к порядку.

— Безусловно надо.

Джонатан Кэмбл постучал по столу, и отец Макалистер сел под веселые возгласы: «Глэй ва!»

— Что это значит — клей-вар?

— Значит «очень хорошо!»

— Я так и подумал!

С места поднялся его преподобие Джон Маккодрам — священник свободной церкви в Гиббердейле, на Восточном Уисте. Это был маленький чернявый человечек, похожий на ощетинившегося шотландского терьера.

— У меня к мистеру Вишарту два вопроса. Может ли он торжественно заверить нас от имени правительства, что ни одна ракета не осквернит день господень, и сделает ли он все возможное, чтобы воскресенье не нарушалось также посадкой самолетов на аэродроме Восточного Уиста?

* Автор упоминает здесь о содержании своего романа «Виски вволю», действие которого происходит на Тодди-Малом.

— Боюсь, что я не уполномочен взять на себя какие-либо обязательства насчет того, что по воскресным дням ракеты запускаться не будут. Но смею уверить моего досточтимого друга, что я не премину сообщить министерству обороны пожелание не оскорблять религиозных чувств добрых жителей Западного, Среднего и Восточного Уистов такими экспериментами, проводить которые в воскресные дни нет необходимости. Что же касается воскресного расписания летной службы, то тут я не решусь поддержать надежду моего почтенного друга на то, что для Восточного Уиста будут сделаны какие-либо исключения. Может создаться нежелательный прецедент, а все мы стараемся избегать этого.

Когда мистер Вишарт и Хью Макиннес вернулись в гостиницу и, расположившись в хозяйской столовой, потягивали крепкое виски, щедро налитое гостеприимным хозяином, мистер Вишарт с неудовольствием увидел в дверях доктора Хамбургера и полковника Баллингема.

— Входите, джентльмены, входите! — добродушно крикнул Джон Фаркарсон. — Что вам предложить? У меня здесь припасена неплохая бутылочка хлебного.

— Хлебного? — с удивлением повторил полковник Баллингем, человек с птичьей головкой и выпуклыми водянисто-голубыми глазами.

— Хлебного виски.

— Благодарствуйте, — сказал полковник. — Один раз все можно попробовать. Долейте содовой, если можно.

Чело добродушного Джона Фаркарсона слегка затуманилось, когда он доливал газированной водой превосходное душистое виски «Гленбакет».

— А вам, доктор Хамбургер? — спросил он.

— Благодарю вас, я никогда не пью! — решительно и непреклонно ответствовал доктор Хамбургер.

— Очень сожалею, что меня не было на месте, когда вы утром заехали к нам, — сказал полковник Баллингем с несколько преувеличенной сердечностью. — И бригадир Уотчхорн тоже очень сожалел. Он просил передать, что ему чрезвычайно досадно, но дела помешали ему быть на митинге. Кажется, все сошло вполне благополучно? Без сомнения, здешний народ уже успокоился. Вы тоже это чувствуете, мистер Фаркарсон, не так ли?

— Я бы этого не сказал, полковник. Надеюсь, что не так уж много фермеров выселят с участков. Если пострадает много народа, могут вспыхнуть волнения.

— Волнения? Га-га-га! — рассмеялся полковник. — Не думаю, что нам это угрожает, если на трех островах будут размещены четыре тысячи войск. Г-га!

— Но двадцать пять тысяч войск не смогли предотвратить волнения на Кипре, сэр! — спокойно сказал Хью Макиннес.

— На войне были? — рявкнул в ответ полковник.

— Нет, сэр, я был слишком молод.

— Так я и подумал, — огрызнулся полковник. — Вы, нынешняя молодежь, перестаньте учить бабушек, как жарить яичницу. А воинскую повинность отбывали?

— Да, сэр.

— В каком полку?

— В Кланранальдском.

Полковник Баллингем фыркнул — впрочем, скорее от избытка соды, чем от недостатка хороших манер.

— Разрешите сделать небольшое замечание, мистер Вишарт, — заговорил доктор Хамбургер. — Мне показалось, что вы были слишком снисходительны к своим слушателям. Взять хотя бы этого священника.

Я был поражен, когда и вы и председатель разрешили ему что-то лопотать на своем наречии. Кто он вообще такой?

— Отец Джеймс Макалистер — приходский священник на Тодди-Малом, — вмешался Джон Фаркарсон.

— На Тодди-Малом, вот как? — резко бросил полковник Баллингем. И он обменялся с доктором Хамбургером таким выразительным взглядом, что казалось, его выпуклые глаза влезли в запавшие глазницы доктора.

Хью, которому уже до смерти хотелось поддеть полковника Баллингема, надеялся, что мистер Вишарт заметит этот взгляд.

— Допускать всякие местные наречия — большая ошибка, — продолжал доктор Хамбургер.— У людей при этом развивается страшное самомнение. Немцы столкнулись с таким явлением в Польше.

— Мне показалось, что публика, в общем, была настроена вполне доброжелательно,— сказал мистер Вишарт.— Я чувствовал, что они поняли, в чем смысл тех жертв, которые им, возможно, придется принести. Конечно, мне было трудно, потому что я не смог осмотреть участок, предназначенный под ракетный полигон.

— Да, я уже сказал, что мы с бригадиром Уотчхорном весьма об этом сожалеем, но часовой не имел права самочинно решать такой вопрос, и вам это должно быть понятно.— Полковник улыбнулся снисходительной улыбкой человека, знающего, как важно соблюдать дисциплину по отношению к тем, кто, подобно мистеру Вишарту, никогда не испытал счастья подчиняться дисциплине.— Но даже не все военные понимают,— продолжал он.— Например, этот Хотблэк, который живет у вас, мистер Фаркарсон, он что-то слишком распускает язык. Конечно, так как он в отставке, мы с ним ничего сейчас сделать не можем, но, когда гайки завинтят покрепче, вашему полковнику Хотблэку не так-то легко будет приезжать сюда удить рыбку.

— Завинтят гайки? — удивился Джон Фаркарсон.

— Надеюсь, что министерство обороны посоветуется с министром по делам Шотландии, прежде чем предпринять шаги, которые могут нарушить жизнь здешнего населения,— с тревогой заметил мистер Вишарт,— конечно, если эти шаги не будут вызваны военными соображениями. Шотландцы чрезвычайно настороженно относятся ко всему, что пахнет диктатом Лондона.

— Не беспокойтесь, мистер Вишарт. Министерство обороны не испытывает никакого желания подымать тут излишний шум.

— Я беседовал с полковником Хотблэком нынче утром,— сказал заместитель министра.— Он очень забавно рассказывал про Первый баллистический полк. По-моему, старые кавалеристы вроде него с большим недоверием относятся ко всяким нововведениям.

— Я командую Первым баллистическим полком! — строго отчеканил полковник Баллингем.

— О, простите! Я этого не знал.

Когда, наконец, полковник Баллингем удалился вместе с доктором Хамбургером, мистер Вишарт сказал своему секретарю:

— Знаете, никак не мог отказать себе в удовольствии поддеть этого Баллингема.

— Не виню вас, сэр, мне самому до смерти хотелось как-нибудь уесть его.

— А вы заметили, каким взглядом обменялись Баллингем и Хамбургер, когда Фаркарсон сказал, что отец Макалистер — приходский священник на Тодди-Малом?

— Конечно, заметил!

— Знаете, Хью, я очень обеспокоен. Чувствую, что нас ждут неприятности. Я совершенно не уверен, что здешние жители захотят пойти нам

навстречу. По-моему, сэр Данкен чересчур оптимистично настроен. Я не стал обходить фермеров и расспрашивать их по той простой причине, что мог получить только такие ответы, какие, по их мнению, я от них ожидал. От этого и я мог бы стать оптимистом. Конечно, надо сделать скидку на то, что мне пришлось выступать перед слушателями, для большинства которых родной язык — гэльский, но все-таки мне показалось, что они не прочувствовали по-настоящему то, что я говорил о защите свободного мира, о том, что мы вооружаемся ради мира на земле. Как вам кажется, Хью?

— Разрешите мне быть вполне откровенным, сэр?

— Разумеется, разумеется!

— По-моему, у них было такое впечатление, что вы сами ни минуты не верите своим словам.

— То есть, что все это враки?

— Да, сэр. Враки.

Мистер Вишарт вздохнул.

— За это мой покойный отец и не любил политику—всегда говорил, что политик непременно должен быть врагом, если хочет сделать карьеру,— грустно пробормотал он.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Джейн Кинселла

На вторую ночь Хью Макиннес уже раздобыл себе номер в гостинице и, отлично выспавшись, вышел перед завтраком к пристани на озере Стью. Здесь он увидел отца Макалистера, который разговаривал с невысоким смуглым человеком, стоявшим на палубе большого рыбачьего баркаса «Святой Тод».

— Когда собираетесь отплывать, Дот?

— В десять, отец Джеймс. А раз я сказал в десять, значит так оно и будет, — ответил шкипер Дональд Макрун.

— Я буду здесь без четверти. Мне нужно повидать в Нобосте кое-кого из друзей.

— Ладно, отец Джеймс, пусть только этих друзей будет не слишком много, а то мы пропустим прилив.

Отец Макалистер повернулся, собираясь уходить, но столкнулся с Хью, поздоровался с ним по-гэльски и о чем-то спросил.

— Вы, вероятно, интересуетесь, говорю ли я по-гэльски.— Хью улыбнулся. — К сожалению, вынужден признаться: не понимаю ни единого слова. А мне очень хотелось понять, что вы вчера говорили на митинге. Я личный секретарь мистера Вишарта.

— Вот как! Бедняга, мне было его вчера очень жалко. — Священник порывисто вздохнул. — Он растерялся, просто растерялся. И ему не за кого было уцепиться, кроме как за полковника Баллингема.

— Вы знаете, у меня создалось впечатление, что отец Макдональд из Балмьюра считает, что народ здесь примирился с мыслью о ракетных базах и что деньги, которые министерство обороны собирается вложить в Западный Уист, вполне утешат их.

— О нет! Теперь он уже не думает так. Понял, что значит «Бойтесь данайцев, даже дары приносящих». Теперь отец Макдональд уже боится этих непрошенных гостей и их даров. Поначалу господа из министерства обороны вели себя очень скромно. Несколько квадратных ярдов для ракетной пусковой станции — вот все, что они просили. А теперь они прибрали к рукам уже более двух тысяч акров.

— А что бы вы сказали, отец Макалистер, если бы возникло предложение выстроить пусковые станции для ракет на Тодди-Большом и Тодди-Малом?

— Я бы сказал такое, чего не говорил никогда ни в одной своей проповеди с тех пор, как окончил Шотландский колледж в Риме. И сделал бы еще кое-что посерьезнее. А разве были разговоры о ракетных базах на Тодди? — резко спросил отец Макалистер.

— Нет, таких разговоров пока не было, — ответил Хью, — но думаю, это могут предложить. Кстати, отец Макалистер, мне очень хотелось бы побывать у вас на острове.

— Приезжайте, друг мой. Мы будем рады встретить вас, если, конечно, вы не набьете себе карманы ракетами.

— В мае у вас хорошо?

— Май на Тодди-Малом — самый великолепный, самый чудесный месяц. Цветут луга, поют птицы. Обязательно приезжайте в мае, мой мальчик.

Вот почему в раннее майское утро Хью Макиннес, переночевав в отеле св. Ниньяна в Обейге, оказался на борту «Королевы островов».

— Ваша фамилия, случайно, не Макиннес? — обратился к нему капитан Маккехни. — Ну как же, отлично помню тот день, когда вы шли с нами в Нобост. Вы и мистер Вишарт. Да что только стало с нашим бедным старым Нобостом! Совсем как в Глазго — сплошь черные пиджаки и бледные лица. Но что поделаешь, девчонки любят плясать рок-н-ролл с этими стилягами. Ну, через минуту отправляемся. Хотите постоять со мной?

— Я, пожалуй, приду сюда попозже, когда выберемся из пролива, — ответил Хью, — не хочется вам мешать.

Впрочем, в эту минуту Хью думал не только об удобствах капитана Маккехни. На носу судна он заметил высокую стройную девушку, стоявшую к нему спиной. Она пристально вглядывалась в небо на западе.

— Ах вот что! — заметил капитан Маккехни. — Вы бы пошли, поговорили с нею. Она из Ирландии. Они очень похожи на нас, эти ирландцы, только гораздо самоувереннее. Вчера вечером она нам пела и играла на кларсахе. Красивая девушка и поет хорошо. Просто удовольствие ее слушать.

— А что такое «кларсах»?

— Такая деревяшка со струнами. Сперва тихонько: пинг, панг, понг, а потом громко: пунг-пунг, понимаете?

— Арфа?

— Вот именно. Священники говорят, в раю все станем играть на такой штуке, если будем соблюдать воскресный день. Помню, я мальчишкой спросил у его преподобия мистера Маккензи из Портри: «Когда я попаду на небо, мне в воскресенье разрешат играть на арфе?» Ну и поймал его врасплох. «Разрешат», — говорит. А я тут же выпалил: «Мистер Маккензи, так почему же мне не разрешают по воскресеньям свистеть в свисток?» Ох, и задал я ему задачу. Всю четвертую заповедь прочитал мне, пока придумал, что ответить.

— И что же он ответил?

— Нельзя, — говорит, — и все тут.

— Не очень убедительный ответ.

— Да уж. Вывернулся. Но, понимаете, я его все-таки сбил.

Высокая стройная девушка все еще стояла на носу корабля, и Хью подошел к ней.

— Кажется, нам предстоит приятное путешествие.

Она обернулась, и в этот момент все было кончено. Только воспитание, полученное в оксфордском Тринити-колледже, и военная подго-

товка в Кланранальдском полку удержали Хью от восклицания: «Бог мой, я никогда в жизни не видел таких изумительных глаз!»

Очарованный сиянием этих звезд, Хью спросил, не едет ли она тоже в Снорвиг.

— Нет, я еду в Нобост.

Что за голос... В нем было столько же обаяния, как и в ее глазах. Хью готов был избить себя за это «тоже». Не проговорись он, что едет в Снорвиг, он мог бы сказать, что «тоже» едет в Нобост, а там он согласился бы ночевать хоть на соломенной подстилке в угольном подвале. Но теперь уже поздно, он сам обрек себя на поездку в Снорвиг. Если он не сойдет в Снорвиге и поедет дальше в Нобост, она, чего доброго, подумает, что он самоувереннее любого ирландца.

— Вы бывали когда-нибудь в Нобосте? — спросил Хью.

— Да, два года назад, в это же время, собирала там гэльские песни.

— Я ужасно жалею, что не попал на пароход вчера вечером. Капитан Маккехни говорил мне, что вы пели и играли на кларсахе.

— А вы тоже играете на кларсахе?

— О нет, я играю только в регби.

— Мой двоюродный брат играет за сборную Ирландии.

— А как его зовут?

— Шон Кинселла.

— Бог мой, да ведь я играл против него. Он центральный нападающий?

— Возможно, — уклончиво ответила она, — я никогда не могу разобраться, кто там что делает. Очень сложная игра.

— Я вижу, это вас не очень интересует.

— Нет, почему. Я всегда рада, когда ирландцы бьют англичан. Потому я вам и сказала про своего кузена Шона. В матче против Англии два года назад он забил мяч с «попытки».

— Ваша фамилия тоже Кинселла?

— Да.

— А меня зовут Хью Макиннес.

— Хью Макиннес,— повторила она, и Хью впервые в жизни понял, какое у него мелодичное имя. Это придало ему храбрости, и он решился спросить, как ее зовут.

— Этна Джейн. На самом-то деле наоборот — Джейн Этна. Но мне кажется, что «Этна Кинселла» больше подходит для сцены. А друзья и родные зовут меня Джейн.

— Вы слишком молоды, чтобы быть профессиональной певицей, — осторожно заметил Хью.

— Мне уже двадцать, — с негодованием возразила мисс Кинселла. — Почти двадцать один. Исполнится в ноябре. И на Радио-Эйре мне обещали как-нибудь осенью дать четверть часа. Поэтому я и еду на Западный Уист. Я хочу привезти оттуда гэльские песни, которых в Ирландии не знают. В Балмьюре я остановлюсь у одних очень милых людей.

— В Балмьюре? Там сейчас многие получают повестки о выселении с ферм.

— Почему?

— Потому что нужно место для ракет.

— Да, да, я читала об этом в газетах. У нас в Ирландии таких вещей не бывает. Конечно, за исключением шести северных графств*. Но они сами виноваты.

---

* Шесть северных графств входят в Северную Ирландию, составляющую часть Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Остальная территория Ирландии составляет Ирландскую республику.

— А у вас есть какие-нибудь известия от знакомых, у которых вы думаете остановиться? Они ждут вас?

— Конечно. Я написала им, что еду.

— Надеюсь, все будет в порядке. А как фамилия ваших знакомых?

— Макдональд. Джозеф Макдональд — фермер, жену его зовут Катриона. Она замечательно поет и знает множество песен. С ними живет еще отец Джозефа, Майкл. Ему за восемьдесят, и он рассказывает чудесные сказки.

— А вы без труда понимаете по-гэльски?

— С большим трудом, но отец Макдональд — священник в Балмьюре — был так добр и записал для меня слова песен Бен Йозав — это по-гэльски значит «жена Джозефа». Оказалось, что читать по-гэльски совсем не так трудно. У них только произношение иное, чем у нас. Я, правда, не понимаю всего, что рассказывает старый Майкл Макдональд, но мне нравится просто сидеть и смотреть на него, когда он рассказывает свои «скейлахканы», как они называют сказки. Так и кажется, что он видит все это своими собственными глазами. Иногда я даже оборачиваюсь взглянуть, на что это он там смотрит позади меня. О, Балмьюр замечательное место! Как сон, с которым не хочется расставаться.

Пока они разговаривали, «Королева островов» скользила по голубым водам пролива. Пароходик уже вошел в маленькую бухту Тобермори, а они все продолжали разговаривать. Хью рассказал мисс Кинселла (он решился спросить у нее, может ли он называть ее просто Джейн, только когда они, пройдя Арднамуркан, вышли в открытое море) о неудачных попытках найти затонувший испанский галеон.

— Какая жалость! — вздохнула Джейн.

— Затонувшие сокровища находят только в книгах, — рассмеялся Хью.

— Я думала не о сокровищах. Я хотела сказать, какая жалость, что Испанская Армада погибла.

— Ну, что вы! — запротестовал Хью.

— Ирландии не пришлось бы так долго и тяжко страдать, — прошептала Джейн.

— Да, пожалуй, Ирландия бы выиграла, — согласился Хью.

В пять часов пополудни «Королева островов» вошла в Кулиш — узкий пролив между Тодди-Большим и Тодди-Малым. Все вокруг купалось в золоте солнечных лучей.

— Ну разве Тодди-Малый не прелесть! — воскликнула Джейн. — Напоминает окрестности Балмьюра. Надеюсь, хоть здесь не станут строить ракетные базы.

Ровный зеленый остров, расположенный меж двух высоких базальтовых островков, Поппей и Пиллей, сторожевших его с севера и юга, действительно был весьма лакомой приманкой для ракетчиков. С их точки зрения, Тодди-Большой — холмистый остров с тремя вершинами, достигающими 1200 футов, и неприступной береговой линией — был, конечно, гораздо менее подходящим. Но ракетчикам нужны были еще и участки для лагерей. В конце концов, Средний Уист не предназначался под ракетный полигон, однако это не помешало им заполонить и его.

Хью смотрел на Снорвиг — маленький городишко, походивший скорее на большую деревню,— и вспоминал, как в темную, бурную ночь около двух месяцев назад он сумел угадать во мраке всю прелесть этих мест. И теперь, когда «Королева островов» подходила к людной пристани, Хью даже немножко гордился своей проницательностью. Но тут, увидев стоявшую у поручней Джейн Кинселла, он понял, что сейчас должен будет проститься с ней, и радость его померкла.

— Я надеюсь, что на Западном Уисте вы все застанете в полном порядке, — сказал он. — Если же нет, я вас очень прошу, возвращайтесь через Снорвиг, а не через Маллан. Я пробуду в гостинице три дня. Если вы дадите мне телеграмму, я приеду в Нобост и встречу вас. Мы сможем вернуться вместе. Передать вам не могу, какую радость доставило мне наше путешествие. А знаете что — если у вас там все будет в порядке, то я поеду обратно через Нобост. Думаю, что отец Макдональд найдет для меня комнату. Мне хочется послушать ваше пение. Вы ведь сообщите мне о ваших планах? Обещаете, Джейн?

— Обещаю, Хью.

Он пожал ей руку и слетел вниз по сходням, как когда-то в детстве слетал во сне с лестницы.

Навстречу Хью шагнул подросток лет шестнадцати и осведомился, не он ли мистер Макиннес, который собирается остановиться в гостинице.

— Разрешите, я возьму ваш чемодан, — сказал юный Родди Макрури, внук хозяина гостиницы.

Не успел Хью обернуться, чтобы помахать Джейн на прощание, как его остановил костлявый мужчина лет под семьдесят с острым и чуть вздернутым носом. На нем был спортивный пиджак из твида и брюки-гольф, когда-то, видимо, яркие, как Пэтни в день лодочных гонок, но со временем поблекшие, словно голубоватый туман над сумеречной рекой.

— Я полагаю, — обратился он к Хью, — что должен предупредить вас. Все права на рыбную ловлю на Тодди-Большом и Тодди-Малом принадлежат мне, и я не могу позволить кому бы то ни было заниматься здесь рыбной ловлей без моего специального разрешения, а я даю его приезжим редко, чрезвычайно редко.

Интонация, с которой он повторил последние два слова, изобличала полнейшее упоение собственным превосходством.

— Я не собираюсь заниматься рыбной ловлей, — заверил его Хью.

В эту минуту подошла большая рыжая собака и принялась обнюхивать Хью.

— Веди себя прилично, Монти! — прикрикнул на нее хозяин.

Собака радостно завиляла хвостом в знак благодарности, что хозяин обратился к ней.

— Он ни на что уж не годится, но зубы у него до сих пор хоть куда. Назвал его в честь моего любимого генерала, ныне фельдмаршала, лорда Монтгомери. Правильно я говорю, Монти?

Собачий хвост завилял еще энергичнее.

— Моя фамилия Уагетт, — сообщил незнакомец, и его светло-серые глаза засветились от уважения к самому себе. — Я живу в Снорвиг-хаузе. Это позади гостиницы, на холме.

— Вы живете здесь, на острове, круглый год?

— Миссис Уагетт и я ездим каждый год на юг, в Англию, проведать замужних дочерей. Вот и сейчас мы недавно вернулись. Но большую часть года мы проводим здесь. Могу ли я поинтересоваться, как ваша фамилия? Неужели? Не имеете ли вы какого-нибудь отношения к Хью Макиннесу, полузащитнику сборной команды Шотландии? Как, вы тот самый Хью Макиннес? Какое совпадение! А я играл полузащитником — в те времена у нас были правый и левый полузащитники — за школу. Давненько это было, и не припомнишь. Я учился в Эппли. Всегда жалел, что пришлось бросить — в восемнадцать лет я начал заниматься коммерцией. А то почти наверняка играл бы за Оксфорд.

Тут взревела сирена «Королевы островов» — капитан Маккехни спешил в Нобост.

Хью и Джейн принялись махать друг другу.

— Я вижу, у вас на пароходе приятельница.

— Мы познакомились сегодня утром в Обейге.

— Я всегда говорил, что на пароходе люди очень быстро знакомятся.

Серые глаза Поля Уагетта заблестели от сознания того, что он такой тонкий знаток человеческой натуры.

— Ну, раз вы идете в гостиницу, нам по пути, — продолжал он. — Миссис Уагетт будет очень рада, если вы зайдете к нам на чашку чаю.

— Большое спасибо.

— Мы будем ждать вас завтра. С нашей террасы открывается замечательный вид через Кулиш на Тодди-Малый.

— Я надеюсь провести на Тодди-Малом день или два.

Они дошли до нескольких лавок, которые стояли в ряд под прямым углом к маленькой пристани.

— Вы, конечно, знаете, что все жители Тодди-Малого католики? — спросил Поль Уагетт.

— Знаю. Но сам я не католик, — поспешно добавил Хью, чтобы предупредить неминуемый вопрос.

— А я и не думал. Я почти всегда могу распознать католика. У них в глазах что-то странное. Я никогда не ошибаюсь. Так вот, хотя жители Тодди-Малого католики, я считаю своим долгом отметить, что во время войны с Гитлером они честно выполнили свой долг. Вы были на войне?

— Нет, война кончилась, когда мне было четырнадцать.

— Ну да, конечно. А я был и на той войне, против кайзера. В армии Китченера. В эту войну, против Гитлера, я командовал отрядом местной обороны на Тодди. Вам это может показаться странным, но я был даже несколько разочарован, что немцы не высадились у нас в сороковом или сорок первом году. Мы бы их в порошок стерли. Начальник зоны говорил мне, что мой отряд лучший на всем севере Шотландии и на островах. Ну, им таки повезло — иметь командиром одного из «Старых рубак».

— Я так понял, что вы служили в армии Китченера, — вставил Хью.

— Это и были «Старые рубаки»,— ответил Поль Уагетт, снисходительно улыбаясь невежеству молодого человека. — А чем вы занимаетесь? Коммерцией?

— Нет, я личный секретарь мистера Эндрю Вишарта, заместителя министра по делам Шотландии.

— Неужели? Это очень интересно. Тогда вы, разумеется, в курсе дел относительно устройства ракетной базы на Западном Уисте. Должен вам сказать, что я лично возмущен неблагодарностью, которую проявили здесь некоторые фермеры. Мы, например, были бы только рады, если бы правительство избрало для этих целей Тодди-Большой и Тодди-Малый. Но, увы, люди здесь, на островах, удивительно неблагодарны. К моему глубокому сожалению, вынужден отметить, что мне приходилось неоднократно сталкиваться с этим. Им стараются всячески помочь, а они не верят.

— Скажите, вы действительно думаете, что жители Большого и Малого Тодди будут рады, если их острова превратят в ракетные базы? — спросил Хью.

— Конечно, найдутся агитаторы, которые будут сеять недовольство, но местные жители думают только о своем кармане. Приезжают сюда всякие писаки и пишут массу всякой сентиментальной чепухи — уж если я говорю чепухи, так это действительно чепуха, — насчет кэйли, народных песен, старого гэльского образа жизни, а местный житель отлично знает, что так называемый гэльский образ жизни — это тяжелая борьба за кусок хлеба. Не зря молодежь старается при малейшей возможности удрать отсюда.

Они дошли до калитки садика, расположенного на склоне холма.

В глубине виднелся вход в гостиницу, и Родди Макрури потащил туда чемодан Хью. Владелец же чемодана остановился, чтобы полюбоваться на залив и Тодди-Малый, залитый золотом заходящего солнца.

— А вот мне трудно было бы отсюда уехать.

Поль Уагетт снисходительно улыбнулся.

— Да, когда мы с миссис Уагетт возвращаемся сюда после ежегодной поездки на юг, нам всегда приятно бывает полюбоваться видом с нашей террасы. Я вам еще не говорил, что один мой зять совладелец моей старой фирмы, а второй читает курс палеонтологии в Нориджском университете. Говорят, он скоро получит кафедру. Вы, конечно, знаете, что такое палеонтология?

— Знаю.

— Далеко не все знают, — возразил Поль Уагетт. Поспешный ответ отнюдь не избавил Хью от необходимости выслушать разъяснения. — Многие не знают, что это наука об исчезнувших организмах.

— Пожалуй, ваш зять сможет в один прекрасный день заняться вопросом об исчезновении жизни на Внешних островах.

Хью тут же понял всю опрометчивость подобного заявления со стороны личного секретаря заместителя министра по делам Шотландии, но Поль Уагетт успокоил его совесть, заявив:

— Нет, мой зять, Уильям Браунуорт, считает, что на Внешних островах нет предпосылок для таких исследований. Однако мне пора идти. Вон там, на холме, мой Снорвиг-хауз. Миссис Уагетт и я ждем вас к чаю завтра в половине пятого. Я на старости лет занялся фотографией, и у меня много прекрасных снимков моих внучат — они вам несомненно понравятся.

Хью с облегчением увидел, как его назойливый благодетель зашагал дальше.

— Рад приветствовать вас в нашем городе, мистер Макиннес, — раздался звучный бас Родерика Макрури.

Мистер Макрури, которого на всех островах — от Барра-Хэд до Батт оф Льюис и от Маллана и Обейга до Инвернесса — звали Рори Мор, что по-гэльски означает Большой Родерик, был огромный мужчина, толщина которого неуклонно увеличивалась с каждым годом. Теперь он уже напоминал гору, увенчанную снежной шапкой седых волос. Авторитет его был непоколебим. Пока он представлял остров в Совете графства, жители Тодди-Большого знали, что они всегда будут в выигрыше, правда — в меньшей степени, чем сам Рори Мор. Их представителю, как правило, удавалось вырвать у налогоплательщиков Инвернессшира средства то на дорогу, то на починку пристани, то на новую школу, то на бассейн, то на стипендии для нуждающихся школьников.

— Не хотите ли выпить глоток перед чаем, мистер Макиннес?

Они расположились у камина в столовой, и хозяин поворошил горящий торф.

— После захода солнца становится довольно прохладно, — заметил Рори Мор. — Скажите, что думает мистер Вишарт насчет всех этих споров на Западном Уисте? Глупые люди, не видят дальше собственного носа. А правительство делает ошибку. Да, да, лучше бы оно разместило свои ракеты на Тодди-Большом и Тодди-Малом.

— Мистер Уагетт тоже так думает,— сказал Хью.

— Мистер Уагетт тоже так думает? — Родерик Макрури, по-видимому, отнюдь не был обрадован таким совпадением мнений. — Ну, иногда и он может попасть в точку. А может, правительство все-таки решит строить ракетный полигон здесь?

— Вопрос о строительстве ракетного полигона на Тодди не стоит, — твердо заявил Хью.

— Пока не стоит? — спросил Родерик, бросив на своего гостя острый взгляд из-под тяжелых век.

— Если бы такой вопрос стоял, то мы, в министерстве по делам Шотландии, наверняка знали бы об этом. Думаю, что это неправда.

— Может быть, — с сомнением в голосе заметил Родерик. — Только тут на прошлой неделе был один парень с записной книжкой. Облазил оба острова и все записывал, все записывал. И это не был любитель птиц. Слишком он был хорошо одет, чтобы заниматься такими глупостями. Акцизному здесь тоже делать нечего. Виски с того парохода, что разбился, давно уже выпили. Помилуй бог, иначе я давно бы разорился. Приезжают сюда еще всякие чудаки, которые интересуются чудовищем Лох-Несса. А этого парня явно кто-то послал. Он тут однажды вечером пропустил со мной рюмку-другую, но при этом не выдавил из себя ни слова. Только «гм», и «ага», и опять «гм».

— Он обследовал Тодди-Малый?

— Да он облазил его, и все с записной книжкой. Мне об этом рассказывал Йозав.

— Кто это Йозав?

— Джозеф Макрун. Он почтмейстер, и у него лавка на Тодди-Малом. Джозеф тоже член Совета графства. Так вот, Йозав говорил мне, что этот парень его спрашивал, можно ли будет в любое время снять у него комнату.

— У него гостиница?

— Ну, какая там гостиница, — с негодованием возразил Рори Мор,— всего-навсего одна-две комнаты, в которых летом останавливаются туристы. Кэт Энн, его младшая дочь, обслуживает гостей.

— Как вы думаете, могу я у него переночевать?

— Конечно. В пятницу Йозав будет, как всегда, встречать пароход. Но имейте в виду, мистер Макиннес, Тодди-Малый вас сильно разочарует. Там не на что смотреть. Одни выпасы и больше ничего. Это вам не Тодди-Большой.

Когда Хью вернулся с чаепития в Снорвиг-хаузе, где ему были продемонстрированы все снимки внуков Поля Уагетта и прочитана лекция по теории фотографирования, в гостинице его ожидала телеграмма. У Хью упало сердце, он решил, что это, наверное, вызов от мистера Вишарта.

Однако испуг его оказался напрасным. Телеграмма была от Джейн Кинселла, которая сообщала, что приезжает с пароходом из Нобоста в пятницу ночью. Хью тут же решил, что католичка Джейн будет лучше чувствовать себя на Тодди-Малом, и немедленно отправился на пристань, чтобы выяснить, как ему перебраться через Кулиш. Ему повезло — на пристани он встретил Арчи Макрури, по прозвищу Биффер, который даже обрадовался случаю побывать на Тодди-Малом. Биффер, хотя ему было уже под семьдесят, держался так же бодро, как и в те времена, когда он снял груз виски с «Министра». Волосы его сильно поредели, и от этого большой крючковатый нос казался еще внушительнее. «Чайка»— маленькая лодка Биффера, гроза всех окрестных устриц — была пришвартована тут же у ступеней пристани.

— Я бы хотел навестить отца Макалистера, — объяснил Хью.

— О, это замечательный человек,— с воодушевлением заявил старик. — Я с удовольствием перевезу вас.

В этот майский вечер Тодди-Малый был великолепен. Земля сбросила холодные оковы зимы. Повсюду зеленела молодая трава, цвели лютики и маргаритки, остров словно был устлан ярким ковром. Спокойные очертания холмов напоминали море, возвышаясь над его уровнем не более чем на сотню футов.

Крошечная гавань Килтода была окружена немногочисленными домиками, позади которых виднелась церковь Пресвятой девы — покровительницы мореплавателей и святого Тода. Но дальше, на пространстве в двадцать с лишним квадратных миль, расстилались луга и не было ничего похожего на деревню. Одинокие домики были в беспорядке разбросаны довольно далеко друг от друга, их окружали пестрые участки возделанной земли, там и сям мирно пасся скот. Здесь проходила единственная шоссейная дорога, соединяющая Килтод с Трай-Свис — белым песчаным пляжем, видневшимся милях в четырех к западу. От этой дороги во все стороны разбегались тропинки, гораздо более удобные для местного транспорта, представленного главным образом пони.

— Что вы думаете об этих самых ракетных полигонах на Западном Уисте, мистер Макрури? — спросил Хью, когда они входили в гавань Килтода.

— Ох, бедняги, тяжко им там приходится.

— А что бы вы сказали, если бы встал вопрос о строительстве ракетного полигона на Тодди?

— А вы, часом, не подосланы сюда правительством? — с подозрением спросил Биффер.

— Нет, просто я в марте побывал на митинге в Нобосте и так и не понял, что тамошний народ думает о своем будущем.

Биффер не был расположен поддерживать беседу. Он явно не отказался от мысли, что Хью подослан правительством, а потому решил пока воздержаться от разговоров и посмотреть, как примет его пассажира отец Макалистер.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Гроза надвигается

— Мы с вами, отец Макалистер, познакомились на пристани в Нобосте,— напомнил Хью, когда хозяин дома провел его в уютную гостиную в домике при церкви. — Вы были так любезны, что пригласили меня зайти к вам, если я когда-нибудь попаду на Тодди-Малый.

— Никакой тут любезности не было. Как насчет того, чтобы выпить по рюмочке?

Священник предложил гостю кресло у камина, а сам принялся возиться у буфета, извлекая оттуда все что полагается.

— Вы остановились в гостинице у Большого Родерика? — спросил отец Макалистер, когда они выпили по рюмке, сидя по обе стороны камина, над которым висела большая олеография папы Пия XII.

— Да, но я должен завтра приехать сюда, на Тодди-Малый. Макрури сказал мне, что здешний почтмейстер сдает комнаты, и если он может устроить меня, я остался бы до пятницы.

— Вы остановитесь у меня.

— Но, отец...

— Вы остановитесь у меня, — решительно повторил священник.

— Но мне надо устроить еще одного человека.

Хью рассказал отцу Макалистеру о Джейн Кинселла.

— Я так думаю, — закончил он, — что этих Макдональдов в Балмьюре либо уже выселили с фермы, либо собираются выселить. Я хочу завтра перебраться на лодке в Нобост и привезти сюда мисс Кинселла. Но где она сможет остановиться?

— Она остановится у миссис Одд — ее коттедж в двух-трех милях отсюда. Миссис Одд уже далеко за восемьдесят, но она очень бодрая женщина, вроде меня, а это совсем не так плохо, друг мой. Она англи-

чанка, мать старшего сержанта Одда, который женат на одной из дочерей Джозефа Макруна. Сама Пегги Элизабет с детьми приедет только через месяц. А Одд приедет еще позднее, когда сможет оставить на время свой магазинчик в Ноттингеме.

— Но миссис Одд может быть недовольна, если к ней совершенно неожиданно привести незнакомую девушку, да еще ирландку.

— Я загляну к ней завтра. Вы поедете в Нобост и привезете мисс Кинселла. Джозеф пошлет туда свою «Утреннюю звезду». А как вы добрались сегодня?

— На «Чайке».

— С Биффером? Вот действительно самобытный старик. Таких немного осталось.

— Он несколько подозрительно отнесся ко мне.

— Подозрительно?

— Да, мне кажется, он решил, что я разнюхиваю здесь что-то по поручению правительства. Я не решился сказать, что я личный секретарь мистера Вишарта. Боялся, что он не захочет меня везти. Как видно, здесь кто-то рыскал на прошлой неделе?

— Как же, было дело. Я знаю, гроза надвигается. Да, да, надвигается, — прогудел отец Макалистер себе под нос.

— Вы будете решительно сопротивляться строительству ракетного полигона на острове?

— Безусловно.

— А ваша паства поддержит вас?

— Не думаю, что среди нас найдется хоть один, кто станет помогать врагу. Джозеф Макрун может немножко и пожалеть о деньгах, которые, как он считает, ускользнут у него из рук. Но если придется сопротивляться, он от других не отстанет. Вы увидите, наши махары превратятся в то же маки. У нас здесь в Килтоде замечательный учитель — Норман Маклеод. Он служил в Уатасетте на Тодди-Большом, и в управлении школ Инвернесса беспокоились — уж не коммунист ли он. Во время войны он был в авиации — в наземных частях, конечно, — в Престоне женился на католичке и сам перешел в католичество. Так он и попал к нам, когда Эндрю Чисхолм ушел в отставку. Он замечательный парень, и дети считают, что лучше его нет на свете.

— Но раз он служил в авиации, может, ему понравится, если здесь станут строить ракетную базу?

— Ну нет! Он и Дункан Бан будут мне настоящей поддержкой.

— А как на Тодди-Большом? — спросил Хью. — Мне кажется, что Родерику Макрури этот план придется по душе.

— Рори Мор своей выгоды не упустит, он знает, с какой стороны хлеб намазан маслом, да так и надо, потому что масло-то жирнее хлеба. Но есть там и хорошие люди, на Тодди-Большом. Джордж Кэмбл, например, — он стал директором школы в Снорвиге после того, как ушел Алек Маккиннон. Он женат на Катрионе, сестре Нормана Маклеода. Есть там еще Арчи Макрури, Биффер — знаете, который вас привез.

В эту минуту открылась дверь, вошла экономка отца Макалистера и доложила, что Арчи Макрури интересуется, когда джентльмен собирается обратно в Снорвиг.

— Приведите его сюда, Кирстаг. А, вот и вы, Арчи! Заходите. Выпейте рюмку, друг мой, и вы, мистер Макиннес, тоже повторите на дорожку.

Биффер опрокинул стаканчик и крякнул от удовольствия.

— Отличная штука, отец Джеймс, честное слово, — с уважением сказал он.

— Я слышал, что ты принял мистера Макиннеса за правительственную ищейку, Арчи?

— Я этого не утверждал, отец Джеймс.

— Ну, это было заметно, — сказал священник.— Так вот, ты не должен так думать. Мистер Макиннес завтра приедет сюда и будет жить у меня. Он съездит в Нобост и привезет с собой молодую ирландскую леди. Джозеф пошлет туда «Утреннюю звезду», но на всякий случай пусть и твоя «Чайка» будет наготове, чтобы им не пришлось стоять на пристани в Снорвиге.

— Все сделаю, отец Джеймс.

По дороге к крохотной гавани отец Макалистер завел Хью на почту и познакомил его с Джозефом Макруном. Годы пригнули Джозефа к земле, и в своем вязаном красном колпаке он удивительно походил на тролля. Его единственный сын Кенни, который десять лет прослужил в торговом флоте, теперь вернулся, чтобы обосноваться дома, и отец купил для него новую лодку, больше старой «Утренней звезды». Старик все еще старался убедить Совет графства Инвернесс организовать на Тодди-Малом разведение устриц, но Совет отказывался в надежде, что правительство выделит на это средства за счет общегосударственных налогов, а не местных. Совету и в голову не приходило, что налогоплательщикам совершенно все равно, из какого кармана у них тянут деньги.

Пока Хью сидел у священника, Кенни Макрун и Биффер оживленно болтали.

— Это Юшан Маканиш, — объявил им отец Джеймс. Хью впервые в жизни услышал, как звучат его имя и фамилия по-гэльски, а потому даже не догадался, что это его представляют. Отец Джеймс торжественно продолжал: — Личный секретарь мистера Эндрю Вишарта, заместителя министра по делам Шотландии. Он завтра приедет ко мне, и я хочу, чтобы «Утренняя звезда» сходила за ним, когда «Королева островов» придет из Нобоста. С ним будет мисс Кинселла, ирландская певица. Кстати, чтобы не забыть — пусть кто-нибудь передаст Дункану Бану, что я хочу повидать его сегодня вечером. Мисс Кинселла остановится у миссис Одд.

— Мы можем прекрасно устроить ее у нас, отец Джеймс, — вставила Кэт Энн, младшая из пяти дочерей Джозефа, чрезвычайно похожая на отца, с такими же хитроватыми голубыми глазами.

— Нет, нет, Кэт Энн, я хочу, чтобы мисс Кинселла послушала песни Дункана Бана. Возможно, она останется здесь до четверга, и тогда мы устроим кэйли. А теперь тебе пора отправляться, Арчи.

Биффер наотрез отказался принять деньги за проезд.

— Нет, нет, я скорей помру, чем возьму хоть пенни с гостя отца Джеймса! — заявил он.

— Тогда, может, зайдем в гостиницу, выпьете там рюмочку?

— С превеликим удовольствием.

Бар был переполнен, и Хью решил воспользоваться этим, чтобы привезти мистеру Вишарту достоверный доклад о том, как отнеслись бы жители Большого и Малого Тодди к строительству ракетных баз. Разговаривая с группой фермеров, он рассказал, как мистер Уагетт жаловался ему сегодня, что министерство обороны совершает ошибку: вместо того, чтобы строить ракетный полигон на Тодди-Малом, а военные лагеря на Тодди-Большом, оно предпочло для этой цели острова Уист.

— Уагетт! — презрительно воскликнул Сэмми Маккодрум, маленький человечек с большим носом и таким же скрипучим голосом, как и у капитана Маккехни. — Что он понимает в ракетах? Он же набитый дурак. Творец небесный, разве можно спрашивать мнение у такого человека?

— А может, он и прав в этом деле, — вступил в разговор Ангус

Маккормак, высокий фермер с белой бородой, пышной, словно кринолин. — Твой брат Мэрдо говорил мне, что на Среднем Уисте шоферы грузовиков гребут деньги лопатой. Деньги на них просто сыплются.

— Мэрдо и так неплохо зарабатывал на своем грузовике,— заметил Сэмми.

— Это верно, — согласился другой владелец грузовика, Калум Макилоп, более известный под кличкой Гуч, — но почему бы ему не зарабатывать еще больше?

Тут к разговаривающим присоединились двое молодых людей — Маклин и Макрури.

— Если вы спросите меня, — заявил Маклин, — то я думаю, что эти люди на Уисте, которые поднимают шумиху из-за ракет, — просто старые бабы.

— Правильно, — поддержал Макрури, — старые бабы, не понимают, что делается в мире.

— Ну, хватит болтать глупости, Эхан, — пренебрежительно бросил ему Биффер.

— Это ты болтаешь глупости, Арчи! Неужто ты думаешь, что нам будет плохо, если правительство начнет тратить здесь миллионы? Стареешь, Арчи, стареешь. Живешь прошлым. Ну, а мы хотим иметь будущее. Когда этим размазням на Западном Уисте предлагают будущее, они заводят песенку о старине, о былой жизни. Чудная жизнь, нечего сказать! Слишком долго они пели. Пора бы им для разнообразия сказать свое слово.

— Еще одна рюмка, Эхан, и ты начнешь рассуждать, как заправский коммунист, — с издевкой заметил Биффер.

— Я совсем не люблю коммунистов, — вступил в разговор Рори Мор,— но в том, что говорит Эхан, много верного. Мне приходится в Совете графства из-за каждого гроша глотку драть, а тут на такую дыру, как этот Западный Уист, сыплются с неба двенадцать миллионов фунтов, и эти дураки еще подбирать не хотят. Прямо с души воротит.

— Ты с ума сошел, Рори. Просто рехнулся, — сказал Биффер. — Этак ты скоро начнешь писать правительству, просить, чтобы нам дали побольше ракет. Говоришь, тебя с души воротит. А мне от тебя в десять раз тошнее.

— Пусть хоть в двадцать, Арчи, я все равно тебе одно скажу. Если бы я думал, что они меня послушают, я бы уже давно написал, — объявил Родерик Макрури.

На следующий день Хью отправился навестить старого доктора Макларена.

— Так вы, значит, личный секретарь Эндрю Вишарта? Я надеюсь, он держит вас не так строго, как меня — его однофамилица, — сказал доктор. — Вот уж двадцать лет, как я под башмаком у миссис Вишарт, своей экономки.

— Вы знаете, доктор, я был очень удивлен вчера вечером, когда услышал в баре, что здешние жители сами хотят, чтобы министерство обороны строило ракетную базу не на Уистах, а на Тодди-Большом и Тодди-Малом. Как вы думаете, они действительно одобрили бы строительство ракетных полигонов?

— Кое-кто из стариков стал бы возражать, но молодежь была бы в восторге, — ответил доктор Макларен. — И их нельзя обвинять. Они привыкли считать свои родные места богадельней. Отцы их во время безработицы смотрели на пособие как на возможность дополнительно выманить что-то у правительства. Молодые парни уходят в море и, возвращаясь домой, объясняют каждому, какое тут гиблое место. Девушки уезжают работать в Глазго и в письмах своим младшим сестрам рассказы-

вают, что там за рай. Еще лет двадцать пять назад можно было спасти рыбный промысел, но им завладели крупные фирмы. Короче говоря, траулерам позволили уничтожать нерестилища, где мечет икру промысловая рыба. Если вы пройдетесь по Уатасетту, то увидите дюжину гниющих рыбацких лодок, вытащенных на берег и сохнущих вот уже лет пятнадцать или более. Во время прошлой войны была возможность наладить у нас выработку твида, но правительство ввело налог на его продажу, и ткачи вынуждены были отдавать свою продукцию тем, кто умел выгодно сбывать ее. Однако не стоит докучать вам рассказом о том, что могло бы быть. Жаль только, что под свои ракеты они забрали такой остров, как Западный Уист. Там население постоянное, оно даже увеличивается. Собирают естественное удобрение, продают яйца и разводят лучшие шотландские породы скота; в общем, на жизнь им хватает. Я могу только радоваться, что выбор не пал на Тодди-Малый. Это означало бы разорение.

— А сейчас Тодди-Малый процветает?

— При таких выпасах? Конечно. А Норман Маклеод... вы встречались с ним? Ну, встретитесь. Он школьный учитель в Килтоде. Замечательный парень. Так вот, он уговорил наших фермеров выращивать лук и морковь. Теперь во всей Англии лучше не найти, и тля их не ест.

— И вы думаете, что жители Тодди-Малого стали бы бороться против создания здесь ракетной базы?

— Все до единого во главе с отцом Джеймсом. Господа из министерства обороны убедятся, что их ракеты на Тодди-Малом полетят не выше мокрой швабры.

Настроение у Хью поднялось. Он с удовольствием предвкушал, как предупредит мистера Вишарта, что если министерство обороны попытается занять Тодди-Малый, то оно попадет под обстрел общественного мнения не хуже, чем министерство колоний.

Когда в пятницу вечером «Королева островов» подошла к Нобосту и Хью увидел на пристани Джейн Кинселла, он почувствовал себя так, словно передние игроки вырвали в схватке мяч, выдали ему чистый пас и он, пробежав с мячом в руках через все поле, приземлил его за воротами противника.

Сходни грохотали под ним, когда он бежал ей навстречу.

— Боже мой, как я рад, что вы приехали!

Вместе с Джейн на пристани стояли двое мужчин и женщина.

— Познакомьтесь, Хью, это миссис Макдональд.— Хью пожал руку высокой красивой брюнетке с кланранальдской шалью на плечах. — А это Джозеф Макдональд. — Хью протянул руку коренастому мужчине с квадратным подбородком и открытым взглядом. — А вот Майкл Макдональд, отец мистера Макдональда. — Высокий старик с орлиным профилем и острыми немигающими глазами, прямой, как сосна, шагнул вперед и пожал руку Хью.

— Макдональдов выселили сегодня утром из их дома, — объяснила Джейн, — и они пришли проводить меня. Сами они остаются сегодня в Нобосте, чтобы решить, как быть дальше и где искать другой дом.

— Как это грустно,— явно некстати сказал Хью, с ужасом понимая, что слова его звучат донельзя банально.

— Ну, ничего, ничего, дорогая, — обратилась миссис Макдональд к Джейн, — вам пора подниматься на борт. Хотелось бы сказать — как жаль, что мы вас провожаем, а не встречаем. Но сейчас так, пожалуй, лучше.

Джейн бросилась к ней на шею.

— До свиданья, спасибо вам. Вы были так добры ко мне, несмотря ни на что. Обязательно напишите мне, что вы собираетесь делать.

— И куда собираемся ехать,— добавил Джозеф Макдональд. Печаль избороздила его лоб, как, бывало, бороздил он поле, которое у него отняли.

— До свиданья, — сказала Джейн, стискивая руку старика, — еще раз спасибо за чудесные сказки. Господи, ну вот я и расплакалась,— пробормотала она и принялась искать носовой платок.

— До свиданья, до свиданья, — пробасил Майкл Макдональд. Голос у него оказался неожиданно сильным для старика за восемьдесят.— А теперь давайте помолимся все вместе.

Он снял поношенную шляпу, перекрестился и начал читать по-гэльски молитву богородице, а остальные вторили ему на том же языке.

— Посадка окончена! Посадка окончена!

На этот раз пассажиров на судне было немного, и пока «Королева островов» скользила по спокойной поверхности моря, освещенного яркой майской луной, Хью и Джейн гуляли по палубе в полном одиночестве.

— Ах, Хью, если бы вы знали, как это было ужасно, — рассказывала Джейн, — Джозеф приехал в Нобост в среду вечером встретить меня и сказал, что в пятницу эти ракетчики забирают его дом и ферму. И все-таки он настаивал, чтобы я поехала к ним и провела с ними последние два дня. А в последний вечер, — всхлипнула Джейн, — в последний вечер мы устроили кэйли — все, кого выселяли... И знаете, до чего же странный народ эти англичане! Обиделись на меня, почему я назвала это выселением. И тут же попросили спеть и для них — они, мол, тоскуют по своей Англии. Но я сказала, что скорее согласилась бы петь 12 июля для головорезов из армии Вильгельма Оранского *. «Вы должны понять, мисс Кинселла,— заявил мне один из англичан,— что мы никого не выселяем. Все эти фермеры получат щедрую компенсацию и заживут гораздо лучше, чем здесь на острове. Они могут даже эмигрировать — с помощью правительства, конечно».— «Да, билет туда им оплатят,— говорю я, — а кто им даст на обратный билет?» Так на чем я остановилась? Да, в комнате было полно людей, которых выселяли...

— И вы пели им, Джейн, — сказал Хью.

— Пела... хоть у меня комок стоял в горле. Когда кэйли кончился, уже рассвело. А днем из дома начали выносить мебель и грузить ее на две машины. Почему так странно бывает, Хью, какие-то пустячные мелочи вдруг кажутся такими значительными? Вы знаете, что меня больше всего расстроило? Когда выносили мебель, то сняли с камина две фарфоровые собачки, а они там столько лет простояли. Когда расстроишься, такие глупости лезут в голову!

— Как хорошо, Джейн, что вам не приходится возвращаться одной. Я думаю, на Тодди-Малом вам будет не хуже, чем раньше бывало в Балмьюре. Отец Макалистер знает много старинных песен. Я остановился у него, а вас устроили у миссис Одд. Я еще не успел с ней познакомиться, но, как видно, она женщина замечательная. Ее сын был здесь на островах во время войны и женился на местной девушке. А сама миссис Одд родом из Лондона, у них в Ноттингеме лавка, там теперь хозяйничают сын с невесткой, она же по полгода живет на Тодди-Малом.

Самым лучшим образом миссис Одд аттестовал и капитан Маккехни, который пригласил Хью и Джейн в свою каюту.

— Мы с ней старые друзья, уже лет двенадцать, если не больше. Она и ее сын, старший сержант Одд, заставили меня смотреть на англи-

---

* В июле 1690 года ирландская армия под командованием Якова II Стюарта в битве на р. Бойн была разбита войсками Вильгельма Оранского.

чан совсем другими глазами. Раньше я о них был самого невысокого мнения. По мне, чересчур они надутые. А вы будете возвращаться с нами в следующую пятницу? Сейчас на острове самая лучшая пора. Это вас в Нобосте не старый Майкл Макдональд провожал?

Джейн рассказала ему обо всем случившемся.

— Нет, вы подумайте только, что за проклятые времена настали! Помню, я еще тогда щенком был — на Льюисе избили солдат, когда те сгоняли фермеров с земли по приказу правительства. Вот это было времечко, только боюсь, оно уже не вернется. Эти правительственные чиновники расплодились у нас, как тараканы. Если мы начнем их травить, представляете себе, какая поднимется шумиха? А если их не травить, они нас совсем замучают. Так вот и живем.

Отец Макалистер поджидал их на пристани в Снорвиге вместе с Кенни Макруном. Кенни Макруну едва минуло тридцать, и он считался самым завидным женихом на Тодди-Малом. Его старший брат Джон умер в Аргентине вскоре после войны, и Кенни остался единственным наследником всего сложного хозяйства Джозефа Макруна. У него были веселые глаза и такое острое чувство юмора, что лицо его постоянно расплывалось в улыбке, и казалось, он еле сдерживается, чтобы не расхохотаться.

Джейн рассказала отцу Макалистеру о несчастье, обрушившемся на семью Макдональдов.

— Да, — вздохнул он, если только можно было назвать вздохом громкий стон, от которого дрогнула его мощная фигура.— Бедный старый Майкл! В его годы быть выгнанным из дому! Как ты думаешь, Кенни, нельзя ли подыскать им что-нибудь на Тодди-Большом?

— Вряд ли, отец Джеймс.

Отец Макалистер вновь вздохнул.

— Дункан Бан понравится вам, мисс Кинселла. Он отвезет вас в «Колокольцы» — так миссис Одд называет свой коттедж. Дункан отказался от университетской карьеры в Глазго, чтобы жить здесь на своей ферме и писать стихи. Он настоящий поэт и большой знаток гэльского языка. И при этом никакого самомнения, как и у меня, поэтому мы так прекрасно понимаем друг друга.

Когда около полуночи «Утренняя звезда» вошла в гавань, Дункан Бан ожидал их там со своей двуколкой. Он был розовощекий, с буйной белокурой шевелюрой, вьющейся, как у юноши, хоть ему было уже за пятьдесят.

— Ну, вот и сам Дункан, мисс Кинселла, — воскликнул священник, и в голосе его почувствовалось облегчение: он знал, что иногда в порыве вдохновения, вызванного поэзией или вином, этот милый поэт с голубыми, как крыло зимородка, глазами совершенно забывал обещания, которые сам же давал. — Я не приглашаю вас сегодня к себе, мисс Кинселла,— продолжал отец Макалистер, — завтра утром я сам зайду, посмотрю, как вы устроились. Побереги этот кларсах, Дункан.

— Буду беречь его, отец Джеймс, как самого себя,— пообещал Дункан Бан.

— Нет, уж лучше побереги его больше, чем себя,— заметил священник. — А теперь, мисс Кинселла, спокойной ночи и пусть вам хорошо спится.

— Есть только одно средство, чтобы мне спалось хорошо, — ответила Джейн.

— Какое же?

— Если вы перестанете величать меня мисс Кинселла и будете называть просто Джейн.

— Ну, это не такое уж опасное снотворное, Джейн, его можно принять.

К величайшему удовольствию Хью, отец Макалистер, сидя с ним у камина в своем домике, воздал должное красоте и скромности Джейн.

— А если у нее голос такой же красоты, как душа, то мы получим огромное удовольствие, Юшан. Вы не против, что я вас так запросто называю? У нас здесь на Тодди-Малом церемониться не принято. Помешайте-ка огонь и чувствуйте себя так, будто мы знакомы лет семь.

— У вас здесь на острове нет торфа?

— Нет, торфа здесь нет, зато много леса. Вы еще не видели нашего берега?

— В Балмьюре замечательный пляж.

— Да, хороший. Тот тип, что был здесь на прошлой неделе, немало времени провел на Трай-Свис — так называется наш лучший пляж, а он, к несчастью, похож на балмьюрский. Мне кажется, Юшан, вы что-то знаете,— сказал отец Макалистер, пристально взглянув на своего гостя.

— Даю вам слово, отец Джеймс, что мы в министерстве по делам Шотландии ничего определенного не знаем.

— Но вы что-то чуете?

— Боюсь, что да. И честно говоря, меня беспокоит позиция Родерика Макрури. Кстати сказать, вчера вечером в баре многие так рассуждали. Похоже, что некоторые даже завидуют жителям Уистов. А я, как увидел сегодня на пристани в Нобосте этих Макдональдов, понял, что готов на все, лишь бы прекратить это безобразие.

— Но это именуют прогрессом, друг мой. Именно так человечество и прогрессирует со времен Адама и Евы. Все было прекрасно в райском саду, а чем это кончилось? Бедных Адама и Еву тоже согнали с фермы.

— Сегодня я принял решение, отец Джеймс. Если так пойдет и дальше, я не смогу быть личным секретарем мистера Вишарта. Это было бы нечестно по отношению к нему, да и к самому себе. Поэтому, как только вернусь, подам в отставку. А то, представьте себе: я в качестве официального лица узнаю, что министерство обороны собирается забрать Тодди-Большой и Тодди-Малый под свои проклятые ракеты. Я даже не смогу предупредить вас — это будет нечестно по отношению к моему шефу, а он, в общем, вполне порядочный человек. Я знаю, он наговорил массу вздора на митинге в Нобосте, но я должен отдать ему справедливость — он сам понимает, что нес чепуху. И он всегда замечательно ко мне относился. Я просто не могу подвести его. Единственное, что я могу сделать — это подать в отставку. Мы очень скоро узнаем, действительно ли эти типы из министерства обороны строят какие-то планы насчет Тодди-Большого и Тодди-Малого, и я надеюсь, что к тому времени уже уйду со службы. Тогда я с чистой совестью смогу принять участие в сопротивлении. А пока что я собираюсь как можно лучше провести эту неделю. Правда ведь, Джейн Кинселла очаровательная девушка? Знаете, я еще не слышал, как она поет. Надеюсь, она и вправду поет хорошо.

— Этот вопрос мы выясним завтра. Сколько же это пробило? Без четверти час. Значит, по божьему времени, по нашему, церковному, всего без четверти двенадцать! Так что мы еще можем выпить по рюмке перед тем как лечь, а к утренней мессе я уже буду на ногах.

Через пять минут они поднимались на второй этаж, чтобы разойтись по своим комнатам. У отца Макалистера под мышкой был номер приключенческого журнала.

— Доброй охоты, мой мальчик! И спокойной ночи!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Тодди-Малый

Дункан Бан приехал в своей двуколке, когда отец Макалистер и его гость кончали завтракать. Мили две они катили на запад по единственной мощеной дороге острова, потом свернули на проселок, который вел по широкому лугу к жилью Дункана, «Тай а бард», то есть «Приюту певца», неподалеку от которого стояли «Колокольцы» — крытый камышом домик, с толстыми чисто выбеленными стенами и небольшими оконцами в глубоких амбразурах. От западных ветров дом был защищен холмами, где в невысокой траве росли ромашки и первоцветы, и в тишине, окружавшей «Колокольцы», в это майское утро особенно отчетливо слышались протяжные вздохи океана, которые то стихают до ропота, то поднимаются до стона и от стона до рева, когда задувает моряна.

У дома Дункана они вышли из двуколки и, пустив лошадку щипать молодую траву, отправились пешком к дому миссис Одд.

— Тише! — вдруг сказал отец Джеймс, приложив палец к губам.

Все трое остановились, прислушиваясь к голосу, который лился из открытой двери домика,— такой простой, чистый и безмятежный голос.

— Она! — шепнул Дункан.

— Тише, тише! — настойчиво повторил отец Джеймс. Они стояли и слушали — священник, поэт и секретарь министра,— пока голос, пропев вторую песню, не смолк.

— Боже правый! Знаете, отец мой, волшебница — и та не смогла бы так петь! — заявил Дункан, когда они шли по дорожке, окаймленной раковинами, к открытой двери домика.

— Ага, вот и вы! — воскликнула миссис Одд, вскакивая с кресла им навстречу с такой живостью, словно ей было не восемьдесят пять, а скорее тридцать пять.— Утро-то какое чудесное! Я только что говорила Джейн, как жаль, что я не привезла с собой Люс и Китти. В школе, видите ли, идут занятия — чепуха какая! Как будто они больше узнают в школе, чем тут, в такую чудную погоду! А вы не считаете, отец Джеймс, что так уж носиться с этими школьными занятиями — просто глупо? Господи, да у ребят вся жизнь впереди, успеют набраться ума-разума. Так, значит, это мистер Макиннес? Рада, очень рада с вами познакомиться. Что там делается, на Западном Уисте! Джейн мне все рассказала. Ну нет! Попробовали бы они выкинуть меня из моего домишка из-за каких-то ракет! Я бы им сказала — можете засунуть ваши ракеты туда, куда обезьяны орехи прячут! Ракеты! Скажи на милость! Помню, когда мы еще были ребятами и жили в добром старом Лондоне, мой старый папка — впрочем, он тогда был еще не очень старый — купил для фейерверка два колеса, две эти, как их, римские свечи и ракету в «день Гая Фокса»*, а братцу моему, Теду,— он уж сто лет в обед как помер! — втемяшилось в голову, что он непременно эту ракету пустит сам. Правда, Тед ни в чем не виноват, папа ему обещал дать зажечь римскую свечу, но вы-то знаете, как мужчины держат слово: отец взял и сам зажег свечу; и когда он дал ее подержать бедняжке Теду, все звезды уже повыскакивали, и Теду достался только пшик на палочке! Тут Тед решил: уж ракету он во что бы то ни стало сам зажжет, а понимал он в них как свинья в апельсинах. Вот он ее зажег и понес было в сад похвастать перед всеми, а она как выскочит у него из рук и прямо в матушкину парадную гости-

* Фокс, Гай (1570—1606) — один из организаторов так называемого «порохового заговора», участники которого хотели взорвать парламент в знак протеста против антикатолических законов. Заговор был раскрыт 5 ноября 1605 года, и с тех пор в Англии отмечают «день Гая Фокса», когда устраиваются фейерверки и шуточные шествия.

ную, сбила с камина подсвечник, и вазу, и статуэтку лорда Нельсона, а потом как пошла крутить по полу, чисто собака, когда ей к хвосту привяжут пустую жестянку! И только отец прибежал на помощь — ракета как лопнет, да как звезданет отца по носу! Всю кожу обожгло. Что страху было! А какую порку он задал несчастному Теду — беда! Да, с тех пор Тед навеки запомнил пятое ноября! Однако что это я разболталась, милые вы мои! Вы, наверно, хотите послушать, как Джейн поет, верно, а?

Если бы Хью больше читал стихи и меньше играл в регби, он наверно придумал бы сотни романтических сравнений, слушая, как Джейн поет старинные ирландские баллады и гэльские песни. А так он только думал, что нет никого на свете прелестней и что он век смотрел бы, как ее тонкие пальцы перебирают струны кларсаха.

— Чудесно, чудесно! — пробормотал отец Джеймс с глубоким вздохом удовлетворения. — В четверг вечером споете нам в клубе. Завтра во время обедни всем объявлю...

— В четверг, по-моему, вознесение, отец Джеймс,— сказал Дункан.

— Правильно. И мы устроим прекрасный, замечательный вечер. А теперь, Дункан, отвези-ка меня домой, в Килтод. А вы с Джейн прогуляйтесь до пляжа Трай-Свис, потом миссис Одд даст вам пообедать, после обеда можете пройтись пешком до Килтода, а завтра вечером Джейн придет ужинать ко мне. Поехали, Дункан. Будьте здоровы, друзья!

Минуту спустя они смотрели, как отец Макалистер размашистым шагом шел через луг к бричке Дункана.

— Старой закалки человек! — с любовью сказала миссис Одд. — Да, ежели правительство собирается тут, на Тодди-Малом, выгонять людей из их жилья, значит им невдомек, что с отцом Макалистером не так-то легко справиться! Помню, мой старик отец после смерти лорда Солсбери говаривал, что теперь страна по уши увязнет в дерьме — вы уж простите, что старик так выражался, по-французски,— но, по-моему, он сущую правду говорил. Не любил он мистера Гладстона. Ханжа, говорит, старый этот — ну, тут он опять по-французски выразился! Да, да, да, бывало, он мистера Гладстона обзывал. И муж мой был такой же, только он всегда честил Кэмпбелла-Баннермана*. Ох, как он его крыл, этого Кэмпбелла! А мальчик мой, Фред,— впрочем, это я по привычке: какой он мальчик, ему скоро шестьдесят стукнет. Вот как время бежит... Я хотела сказать, что Фред никогда хорошего слова не скажет про этих красавчиков в парламенте. Очковтиратели, говорит, шарлатаны.

— Есть среди них и стоящие люди, миссис Одд,— заметил Хью.

— Да, конечно, даже в рекламах, которые читаешь, иногда пишут про стоящие вещи. Но если бы я верила всем газетным рекламам, мне бы скоро пришлось весь нос покрыть крепом так, что он почернел бы, как тюремная колотушка.

— Покрыть нос крепом, миссис Одд? Зачем же это?

— В знак траура по моим мозгам, вот что! Но знаете что, если хотите успеть прогуляться до Трай-Свис, так поторапливайтесь! У меня сегодня к обеду отличный ростбиф.

— Может быть, мне остаться и помочь по хозяйству, миссис Одд? — спросила Джейн.

— Нет, нет, Флораг Вон справится — она на кухне. У меня служила старшая сестра Фло, а потом вышла замуж, и сдается мне, что и Флораг Вон скоро последует примеру своей сестры, Флораг Йоки. Нет, я здешний народ очень люблю, но чудаки они страшные! Надо же придумать — обеих сестер назвать Флораг, и хотя Флораг Йоки теперь стала миссис

---

* Генри Кэмпбелл-Баннерман (1836—1908) — премьер-министр Англии с 1905 по 1908 год.

Маккиннон, все ее по-прежнему зовут Флораг Йоки. Это оттого, что она — дочь Джоки Стюарта. Да и его зовут не Джоки, а просто-напросто Джон. И вообще я не понимаю — почему ее зовут не Флора Джоки, а Флораг Йоки.

— Наверно, это родительный падеж по-гэльски, — сказала Джейн.

— Ну, я знать не знаю, что это за родительский падеж, но как-то нескладно выходит. В этом ихнем языке все нескладно. Возьмите, скажем, слово «бан» значит светлый, белокурый — так мне объяснили. Дункана так и зовут — Дункан Бан. А ежели говорят о девушке — надо сказать «вон». Подумайте только — такой хорошенькой девушке, как Флора-вторая — и вдруг кричать: «Вон!». Ну, я ее зову по-своему — просто Фло. Мы с ней часто вспоминаем старую песенку и смеемся:

Фло из нашей деревни теперь не узнать:
То, бывало, глаза боялась поднять,
А вернулась из города насовсем —
И подмигивать бойко принялась всем,
Распустив золотые косы по спине до самой земли.

А я ей говорю: тебе, Фло, и уезжать из деревни не надо, у тебя золотые косы и так распущены по всей спине.

В эту минуту Флораг, хорошенькая девушка лет восемнадцати с длинными золотыми волосами, вошла за какими-то хозяйственными распоряжениями.

— Батюшки! — воскликнула миссис Одд. — Пора бы мне замолчать! Всегда была разговорчивой. Моя покойная мама, бывало, скажет: «Говорят же про некоторых — может человека до смерти заговорить. Да будь это на самом деле, вокруг тебя, Люси, люди падали бы, как скошенные!» И это сущая правда! Сейчас, Фло, иду к тебе, иду!

— Да, она своеобразная, эта миссис Одд, — сказал Хью, когда они с Джейн шли по зеленому лугу к морскому берегу.

— Она прелесть, Хью! Приняла меня изумительно, но я всю ночь не спала, думала о своих милых Макдональдах — что-то теперь с ними будет?

— Когда вернусь, попрошу мистера Вишарта навести справки в департаменте земледелия. Я и сам не могу успокоиться, Джейн. Пожалуй, я в этом министерстве по делам Шотландии долго не выдержу.

Они молча шли по траве, усеянной мириадами мелких звездочек очанки, потом перебрались через дюны и, сбежав по сыпучему песчаному склону, оказались у пляжа Трай-Свис.

— Какой чудесный берег! — воскликнул Хью, глядя на белую песчаную дорогу, которая шла к высокой темной скале, охранявшей северную оконечность острова. Потом он обернулся и посмотрел в другую сторону, где милях в двух высилась вторая высокая темная скала, охранявшая южный берег острова.

— Смотрите, что мне дал Макрури в гостинице, — сказал он, вынимая из кармана книгу.

Это был написанный в несколько слащавом тоне путеводитель Гектора Хемиша Маккея под названием «Позабытые волшебные края».

— Стиль весьма цветистый, — сказал Хью, — но все же позвольте прочесть, что он пишет.

Они уселись на теплый сухой песок, там, где берег подымался к дюнам, и Хью прочел вслух:

— «Хороши прекрасные белые пляжи, которые тянутся вдоль западного побережья островов у могучего Атлантического океана, но нет прекраснее побережья Трай-Свис на Тодди-Малом. Филологи спорят о происхождении этого названия. Унесемся же на вечных крыльях поэзии из прозаического сегодня в далекое прошлое и условимся, что название это

произошло от имени Свис — норвежской принцессы, которая, как рассказывает легенда, бросилась в волны океана с темной скалы, охраняющей южную оконечность острова. Увы! Ее любовь к прекрасному юному барду Тоддэй-Бегу, как называли Тодди-Малый на странном певучем гэльском наречии, была безнадежной.

И раз мы уже вернулись в сказочные дни древности, взглянем на серую скалу, что высится на северной оконечности Трай-Свис. Разве очертания ее не напоминают огромного тюленя, оправдывая тем самым данное ей название Карриг-ан-Рун? Говаривали, что скала не просто похожа на тюленя; что это — окаменевшая женщина с тюленьим хвостом, от которой ведет начало род Макрунов. Кто знает? В такое волшебное утро, когда невысокая нежная трава на лугу усыпана бесчисленными первоцветами — утренними звездами гебридской флоры, как их удачно окрестили,— воображение наше будоражит весна, и мы склонны всему поверить. Словно зачарованные, стоим мы на Трай-Свис, глядя, как океан безмятежно катит свои волны на песок, осыпая его нежными поцелуями. Мы слышим перекличку морских птиц, летящих к своим гнездовьям на сторожевые островки Поппей и Пиллей. Мы всматриваемся в спокойную гладь Атлантики, пытаясь забыть зимнюю ярость этих волн, о которой нам напоминают лишь груды водорослей, прибитых к подножию дюн. И мы сливаемся с природой. Словно мы приобщились к жизни Тир-нэн-Ог — Края Юности»...

Хью замолчал, и Джейн тихонько стала напевать гэльскую колыбельную, которой ее научила в Балмьюре жена Джозефа Макдональда. (Неприятно писать слово «колыбельная» — так испортили его всякие пошляки-певцы, по бессилию своему неспособные испортить что-нибудь менее беззащитное, чем слово). Где-то в густых камышах, окаймлявших дюны, рассеянно щебетала птичка, а вдали куковала кукушка, хоть и не так уверенно, как в первые дни весны.

— Последняя песня, которой меня научила жена Джозефа, — сказала Джейн.

— И вы поете эту песню изумительно! Я хочу сказать — просто дыхание захватывает! — заявил Хью. Джейн посмотрела на него, и ее глаза показались ему шире и глубже океанской шири и глуби.— Знаете, просто не верится, что в прошлую среду я сел на пароход, не подозревая о вашем существовании. Сейчас мне кажется, что я вас всю жизнь знал.

Ему до смерти захотелось добавить «и любил», но помешали традиции оксфордского Тринити-колледжа. Нельзя говорить такие вещи девушке, с которой провел всего один день на пароходе. Она может подумать именно то, чего ему так не хотелось бы. Она может подумать, что он привык объясняться в любви девушкам, с которыми почти не знаком.

— Знаете, Джейн, я почти решил сказать мистеру Вишарту, что ухожу от него. Я согласился стать его личным секретарем только потому, что мой отец убежден, будто эта работа очень поможет моей политической карьере, а ему очень хочется, чтобы я стал политическим деятелем. И матери тоже. Она просто мечтает об этом.

— А я политикой не интересуюсь! — сказала Джейн. — Конечно, я считаю, что Дев* — замечательный человек, но больше я ничего в политике не смыслю.

— Вы не интересуетесь политикой? — переспросил Хью.

— Да, по-моему, это одни разговоры, и к тому же пустые. Может быть, это и важно, но ужасно скучно.

---

* Прозвище Имона де Валера (род. в 1882 г.) — ирландского политического деятеля.

— Тогда — решено! — твердо заявил Хью.

— Что решено? — удивилась Джейн.

— То, что я отказываюсь от политической карьеры, — объяснил Хью.

Он надеялся, что это заявление удивит Джейн еще больше, потому что от удивления глаза ее становились еще глубже, еще прекраснее.

— Но почему вы должны отказаться от политической карьеры, если я не интересуюсь политикой? — спросила она.

Тут бы и сказать, что он ее любит, но на это у него не хватило духу.

— В сущности, вы только выразили словами то, о чем я сам давно думал. Я хочу сказать, что я, в общем, уже решил отказаться от политической деятельности.

— А чем вы будете заниматься?

— Попрошу отца взять меня в дело. У него шерстяная фабрика. Собственно говоря, мысль о том, чтобы я прошел в парламент, принадлежит моей матери. А отец в душе, пожалуй, обрадуется.

— А у него большая фабрика?

— О да, очень большая. Одна из самых больших в Шотландии. Да, отец, конечно, будет рад. Видите ли, я — единственный сын. У меня даже сестер нет.

И вдруг впервые в жизни Хью подумал, какая это огромная потеря, и тут же представил себе, как было бы чудесно, если бы у него были хорошенькие, послушные сестрицы, которые старались бы изо всех сил стать близкими подругами Джейн.

— Но не будем говорить обо мне,— сказал он.— Расскажите о себе.

— Мне деловой карьеры не сделать, — сказала Джейн. — Попытаюсь добиться успеха как певица.

— И добьетесь!

— Да, но я очень честолюбива, Хью. Мне хотелось бы петь в опере. Значит, надо найти хорошего учителя. Хочу поехать в Италию. Мне кажется, голос у меня оперный, но надо его развивать. По вашему лицу я вижу, что вы сомневаетесь, Хью. Разве вам не кажется, что у меня оперный голос?

— Нет, нет, я в этом ничуть не сомневаюсь! — уверил ее Хью. — Я уверен, что голос у вас прекрасный. Я только подумал, что, по-моему, лучше, чем вы сейчас поете, никто никогда не пел. А если вы поедете в Италию, станете примадонной, для меня это будет уже не то: я в опере до смерти скучаю. Я хочу сказать, что все эти колоратуры и фиоритуры всегда казались мне какими-то лишними. Правда, наверно ваши фиоритуры мне бы не показались лишними,— добавил он торопливо, потому что глаза Джейн затуманились и Хью испугался — не обидел ли он ее.

— Петь народные песни, конечно, хорошо, — сказала Джейн, — но в Ирландии таких певиц — тьма-тьмущая.

— Готов поклясться, что таких, как вы, там нет! — с жаром воскликнул Хью.

— А что меня ждет, даже если я буду петь лучше всех в Ирландии? Четверть часа по Радио-Эйре, ну, концерт в Дублине — один раз зимой и еще раз весной — и концерты в Корке, в Лимерике, еще в двух-трех городах!

— И в Шотландии! — с надеждой сказал Хью.

— Да, может быть, даже в Лондоне.

— Вы забыли про граммофонную запись! — добавил Хью.

— Но что все это значит по сравнению с выступлением в Ковент-Гарден или в Нью-Йорке.

— Да, конечно,— вздохнул Хью.— Но пока что вам придется удовольствоваться грандиозным концертом в самом большом зале Килтода.

— Для меня и этот концерт будет грандиозным, — уверила его

Джейн. — А сейчас не вернуться ли нам в «Колокольцы»? Я обещала миссис Одд не опаздывать к обеду.

Оперная карьера Джейн больше не обсуждалась до того самого вечера в понедельник, когда она пришла в гости к отцу Макалистеру. После ужина она пела, аккомпанируя себе на кларсахе, — пела простые песни, большей частью английские, но и много гэльских, и отец Джеймс вздыхал от всей души, с одобрением и глубоким чувством радости. Потом она спела по-итальянски арию мадам Баттерфляй, на что отец Макалистер ответил ворчанием:

— Ох, боже правый! Да о чем это? Не пойму!

Джейн рассказала содержание арии, и старик неодобрительно покачал головой.

— Ну, вот!..

— Но вы говорили, что понимаете по-итальянски, отец мой! — напомнила ему Джейн.

— Понимаю! — сказал он. — Потому-то я и считаю, что не надо вам петь всякую оперную чепуху.

— Но я хочу поехать в Милан учиться пению! Хочу петь в опере!

— Силы небесные! Зачем вам это нужно?

Хью ничего не сказал, но постарался, чтобы Джейн по его лицу не заметила, как горячо он в душе поддерживает отца Джеймса.

— Мне хочется стать оперной певицей, добиться успеха. Тогда и дома обо мне сложится совсем другое мнение. К исполнителям народных песен отношение неважное. Их в Ирландии сколько угодно.

— А таких, как вы, в опере сколько угодно!—объявил отец Джеймс.

— Вы считаете, что у меня голос слишком слабый? — с огорчением спросила она.

— Нет, голос у вас достаточно сильный, но, если вы поедете в Милан и вас научат петь в итальянском стиле, вы уже не сможете петь так, как поете сейчас, а это будет очень жаль. Да не просто жаль, это будет настоящее несчастье. Нет, нет, мэйталь*, останьтесь тем, что вы есть. Много лет я не испытывал такого наслаждения, как сегодня от ваших песен, пока вы не взвились ракетой в этой колоратурной чепухе!

Хью почувствовал, что пора ему вступиться за Джейн, хотя бы для того, чтобы услышать, как отец Джеймс опровергнет его доводы.

— И все же понятно, что Джейн хочет прославиться как певица, — сказал он.

— Она гораздо больше прославится, если будет петь так, как пела сегодня. Если она пойдет в оперу, то, может быть, добьется успеха скорее, чем какие-нибудь неудачницы, но я не сомневаюсь, что будут и такие, которые прославятся больше нее. Она попадет в разряд середнячков. Но еще никому на моей памяти не удавалось петь старинные песни, как она пела их нам сегодня вечером и как споет их в четверг. Истинное наслаждение! А почему? Потому что она пела их естественно и просто, как смерах на рассвете.

— Смерах? — переспросил Хью.

— Певчий дрозд, — перевел священник. — Естественно и просто, без всяких этих финтифлюшек, которым ее обязательно научит преподаватель пения — они только и делают, что берут дикий шиповник из лесу и превращают в розу, красную, махровую — настоящий кочан капусты! И разве для нее не больше славы — быть последней дикой гэльской розой, чем попасть в огромный букет вытренированных лицедеев, которые визжат друг на дружку изо всех сил? Вы когда-нибудь слышали об исчезнувшей Атлантиде, Хью?

---

* Дорогая моя *(гэльск.)*.

— Да, смутно припоминаю.

— На наших островах еще сохранились следы Атлантиды, но жизнь сейчас идет таким ходом, что все это недолго продержится, и наш долг как можно дольше сохранить остатки старой культуры. Вы сами видели, Джейн, когда в последний раз ночевали у Макдональдов, в Балмьюре, какая нам грозит опасность. Нам надо сражаться с проклятой колесницей Джаггернаута, которую они почему-то окрестили прогрессом. Мы не позволим ей раздавить нас, мы не сдадимся без боя, и, если вы уедете в Италию гоняться за оперной карьерой, значит вы удерете с поля битвы. А в четверг вечером вы сами убедитесь, насколько вы можете поднять в людях боевой дух. Поймите, я не утверждаю, что пришельцы захотят разрушить Тодди-Малый, но я чувствую всем сердцем, что гроза надвигается.

Раскаты этой грозы послышались ближе, когда в среду утром в Килтод пришла почта.

— Мне письмо? — удивленно сказал Хью Джозефу Макруну. Он увидел, что письмо из министерства по делам Шотландии, и сунул в карман нераспечатанным, решив прочесть его лишь вечером, когда пароход уже уйдет. Если это срочный вызов от заместителя министра, Хью сможет честно телеграфировать, что до понедельника у него нет никакой возможности вернуться в Лондон.

— Не захватите ли вы письма для отца Джеймса? — спросил Джозеф Макрун.

Отец Джеймс все еще был в церкви, когда Хью пришел к нему домой: он исповедовал прихожан перед праздником вознесения. Часов в восемь он вошел в гостиную с распечатанным конвертом в руках.

— Да, нехорошо, нехорошо! — сказал он, подавая Хью письмо. — И какой день выбрали для спуска с неба!

Письмо было отправлено министерством обороны, Уайтхолл-серкас, 5, и адресовано:

Преподобному Дж. Макалистеру.
Остров Тодди, близ Обейга,
Аргиллшир.

Почтовое ведомство укоризненно вычеркнуло «Аргиллшир» и синим карандашом проставило «Инвернессшир».

«Многоуважаемый и досточтимый сэр!

Сим извещаем Вас, что главный маршал авиации сэр Уильям Уиндермир, кавалер ордена Бани I степени, ордена Британской империи II степени, награжденный также Крестом за боевое отличие, Крестом за боевые подвиги в воздухе и Крестом военно-воздушных сил, бригадир авиации Дж. Т. Уотчхорн, кавалер ордена Британской империи, награжденный также Крестом за боевое отличие и Крестом за боевые подвиги в воздухе, полковник У. К. Баллингем, кавалер ордена Британской империи IV степени, а также доктор Эмиль Хамбургер посетят остров Тодди в четверг, двадцатого мая, и министр будет Вам весьма благодарен, если Вы сможете оказать им всяческое содействие в их инспекционной поездке. Министр поручил мне уведомить Вас, что приезд главного маршала авиации сэра Уильяма Уиндермира, бригадира авиации Уотчхорна, полковника Баллингема, а также доктора Хамбургера не подлежит огласке по причинам национальной безопасности. Всяческие преждевременные умозаключения касательно намерений министерства обороны в отношении некоторых планов, подлежащих в данное время тщательнейшему обсуждению, были бы чрезвычайно пагубными для результатов данной инспекции. Министр поручил довести до Вашего сведения, что он уверен в Вашем полном понимании необходимости соблюдать самую строгую

тайну в отношении этого посещения и что он безусловно верит в то, что Вы согласитесь оказать полное содействие как в отношении предстоящего приезда полномочной комиссии в составе главного маршала авиации сэра Уильяма Уиндермира, бригадира авиации Уотчхорна, полковника Баллингема, а также доктора Хамбургера, так и в отношении проведения в жизнь всех тех мероприятий, каковые министр после тщательного обсуждения материала, представленного высокоавторитетной комиссией, окончательно сочтет необходимым провести в жизнь.

Остаюсь, досточтимый сэр,
преданный Вам
Фредерик Л. Амплби.
Заместитель помощника начальника
Отдела информации».

— Похоже, что они взялись за это всерьез! — сказал Хью.— Что же вы собираетесь делать?

— Завтра у нас церковный праздник, Юшан, значит завтра я ничего сделать не смогу. И ни один человек не сможет. Я только скажу своим прихожанам, чтобы никто не давал этим людям лошадей и чтобы все перестали понимать по-английски, если они к ним обратятся. Думаю, что сэр Уильям Уиндермир и его приятели только зря потеряют время.

Хью распечатал свое письмо. Это было собственноручное послание заместителя министра, мистера Эндрю Вишарта.

«Дорогой Хью!

Мне жаль прерывать Ваш отпуск, но Вам придется не позже понедельника возвратиться сюда. Если можете вернуться раньше — тем лучше. У нас большие неприятности с этими чиновниками из министерства обороны. Они никак не возьмут в толк, что шотландские законы отличаются от английских. Должен признаться, что я обеспокоен. К счастью, член парламента от Западного Инвернессшира не сумеет использовать эту ситуацию, иначе на следующих выборах нам грозила бы победа лейбористов по всей Шотландии.

Искренне Ваш
Эндрю Вишарт».

— Нет, сегодня вечером вам уезжать нельзя, Юшан. А кроме того, так вы вернее сможете доложить вашему шефу о здешних настроениях. Эх, бедняга, бедняга! Видно, очень он нервничает. М-да, ему еще не так придется понервничать, ежели он не заставит этих воздушных маршалов спуститься с облаков на землю.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Праздник вознесения

В четверг утром Биффер никак не хотел согласиться перевезти этих «оккупантов» в Килтод.

— Не возьму я их на свою «Чайку»! Пусть Друби их перетаскивает,— заявил он Родерику Макрури, который с самого утра уговаривал его перевезти гостей через Кулиш.

— Брось, Арчи, не упрямься! Они важные шишки, их само правительство посылает. Нам от них и денег привалит куча — на Тодди-Малом и на Тодди-Большом.

— Черт с ними! — с возмущением сказал Биффер.— Если они хотят тут ракеты запускать, пусть лучше сидят на том берегу!

— Но не могут же они там век сидеть! — возразил Родерик.

— Кенни Йозав был тут на рассвете. Чего ж он их не перевез?

— Ох, да у этих католиков нынче церковный праздник. Для них это то же самое, что для нас воскресенье, Арчи!

В конце концов Биффер сдался и обещал перевезти приезжих в Килтод.

— Но сидеть там целый день и ждать, пока они соблаговолят вернуться в Снорвиг, я тоже не буду! — упрямо заявил он. — Пусть скажут, когда им подать лодку, и, если их на берегу не окажется, я ни минуты ждать не стану! И цена за перевоз — пять фунтов.

— Силы господни, да разве можно столько драть, Арчи? Я-то хотел включить перевоз в счет гостиницы.

— Правильно, ты хотел включить в свой счет пять фунтов, а мне отдать три!

И так как Родерик именно это и собирался сделать, то возразить ему было нечего, и он только глубоко вздохнул в ответ на эти справедливые подозрения и пошел к себе в гостиницу.

— Значит — ровно в десять, Арчи! — крикнул он, оборачиваясь.

Однако ровно в десять никакой комиссии на пристани не оказалось, ибо в четверть одиннадцатого, когда приезжие собрались выйти из отеля, явился Поль Уагетт, чтобы им представиться.

— Главный маршал авиации сэр Уильям Уиндермир? — спросил он.

Желтоватые, несмотря на проседь, усы главного маршала авиации нахохлились, как рассерженная канарейка.

— Да-с, моя фамилия Уиндермир! — ответил он глубоким басом, отнюдь не напоминавшим канареечный щебет.

— А моя — Уагетт. Я владелец Снорвиг-хауза. Я только хотел узнать, не могу ли я быть вам полезен при осмотре острова.

— Главный маршал авиации сегодня отправляется на Тодди-Малый,— сообщил бригадир Уотчхорн.

— Знаю, знаю, потому я и подумал — не могу ли я чем-нибудь помочь. Я знаю каждый дюйм на Тодди-Малом: изумительная охота на гусей! Права, конечно, принадлежат мне.

— Сами осмотрим все, что надо,— буркнул доктор Хамбургер.

— Да, разумеется. Конечно, все понимают, зачем вы сюда пожаловали,— добавил Уагетт с хитрой ухмылкой завзятого сводника.— И наверно вам будет приятно узнать, как все тут надеются, что вы решили строить ракетный полигон именно здесь.

— Кажется, все знают о наших планах больше, чем мы сами,— сердито проворчал маршал.

— У маленьких пташек длинные ушки,— сказал Поль Уагетт с всезнающей, как ему казалось, улыбкой.— Но я решил, что после всей этой глупейшей сумятицы из-за балмьюрских фермеров вы будете рады услышать, что здесь, на обоих Тодди, мы с восторгом встретим весть о вашем решении строить пусковую станцию для ракет. Конечно, найдутся два-три отсталых человека, не понимающих, что происходит на свете, которые попытаются поднять шум, но смею вас уверить, что огромное большинство встретит вас с распростертыми объятиями. Люди понимают, какие золотые россыпи раскроются перед ними. Если взять меня лично, то, хотя в моих руках находятся лучшие охотничьи и рыболовные угодья во всей Шотландии, я почту своим непременным долгом передать Снорвиг-хауз для любой цели, какая потребуется. Всегда говорю, что интересы нашей страны должны стоять на первом месте.

— Боюсь, что все ваши соображения несколько преждевременны,—

сказал главный маршал.— Мы приехали с чисто исследовательскими целями.

— Понятно, понятно! — сказал Поль Уагетт с той же всезнающей ухмылкой.— Исследовать все пути, как говорится. Но я решил, что вам надо знать, какой здесь расторопный народ. Я командовал тут отрядом местной обороны во время войны и смею вас уверить — во всей Шотландии не было отряда расторопнее. Но, разумеется, я их держал в ежовых рукавицах. Что же, вам, должно быть, пора переправляться через Кулиш. А быть может, вы не откажетесь заглянуть к нам в Снорвиг-хауз, когда вернетесь, перекусить и выпить. Миссис Уагетт и я будем счастливы приветствовать вас у себя.

— А вы говорите по-гэльски, мистер Уагетт?

— И да и нет. Я хочу сказать, что я-то понимаю почти все, что мне говорят, но здешние жители вечно притворяются, будто они меня не понимают. Туповаты они, по правде сказать. Видите ли, я не говорю, что они совсем дураки, но есть в них какая-то тупость. Слишком долго они жили в отрыве от всего мира. Нужно на это сделать скидку. И ленивы они очень. Нет, пожалуй, это слишком сильно сказано, но тянут они всегда невозможно. Например, если хотите исправить оконную раму, вам года три надо ждать, пока дозоветесь плотника и заставите его починить раму. Я часто говорю миссис Уагетт — какое счастье, что я сам все умею делать. Иначе мы бы оказались без крыши над головой. Но не стану вас больше задерживать. Будем ждать вас у себя в любое время после шести, на рюмочку.

Главный маршал авиации, бригадир авиации, полковник Баллингем, а также доктор Хамбургер быстро зашагали вперед.

— Этот удалец нам еще сядет на голову, Уотчхорн,— сказал главный маршал авиации.

— Но все же нам придется держаться именно таких, как вы говорите, удальцов, сэр,— заметил бригадир.— Очевидно, он пользуется здесь значительным влиянием. Пожалуй, нам лучше принять его приглашение и выпить с ним.

— Вы с полковником Баллингемом можете пойти, а мы с доктором Хамбургером, пожалуй, воздержимся.

И они заторопились к пристани.

— И это, по-вашему, значит ровно в десять? — спросил Биффер.

— Да, боюсь, что мы несколько запоздали,— сказал бригадир Уотчхорн.— Но мы беседовали с вашим местным землевладельцем.

— Местным землевладельцем? — переспросил Биффер.— Что-то я такого не знаю.

— Это мистер Уагетт, из Снорвиг-хауза.

— Тоже еще местный землевладелец! — возмутился Биффер.— Да он просто какой-то лондонец, англичанин.

— Но он здесь живет очень давно, не так ли?

— Какое там давно! Лет двадцать, не больше. Давно!

Все разместились на «Чайке», и суденышко затарахтело по глади Кулиша под теплым майским солнцем.

— Тут вы еще дальше от цивилизации, чем жители Балмьюра, не так ли? — заметил полковник Баллингем.

— А где это будет?

— Вы о чем?

— Да об этой самой цивилизации. Это новое место для переселенцев, что ли?

— Цивилизация не место,— сказал полковник, явно стараясь не терять терпения.— Неужели вы не знаете, что такое цивилизация?

— Знаю, у нас тут, на островах, есть своя цивилизация. Только мне никогда не доводилось слышать, что у вас, в Англии, тоже она есть.

Полковник переглянулся с маршалом и покачал головой. Этим он надеялся дать понять высшим сферам Уайтхолл-серкас, какую блестящую работу он проводит здесь, пытаясь озарить темные мозги этих островитян прожектором официальной информации.

— Значит, вы нас, лондонцев, не считаете цивилизованными людьми? — спросил главный маршал авиации тем тоном снисходительной терпимости, которым люди, занимающие высокое положение, стараются внушить людям без положения, что, будучи проникнуты духом равенства и братства, они, несмотря на такую широту взглядов, не потерпят никаких вольностей со стороны нижестоящих.

— Ох, да разве это ваша вина? — вздохнул Биффер.— Все вы слишком заняты — всякий норовит пробиться в свет. У вас и поразмыслить времени не хватает.

— Боюсь, что нам было бы плохо на этом свете, если бы мы слишком много размышляли,— сказал главный маршал.

— Что верно, то верно,— согласился Биффер.— Но зато на том свете вам было бы куда лучше.

Наступило молчание. Доктор Хамбургер злобно косился на Арчи Макрури. Доктор прожил в Англии уже несколько лет и все еще не мог понять, почему англичане так нянчатся с отсталыми народностями. Даже когда они пытались вести себя, как немцы,— скажем, в Ирландии или на Кипре, то все равно, в конце концов, малодушно уступали.

— Кажется, народу тут немного,— заметил сэр Уильям Уиндермир, когда «Чайка» вошла в крошечную гавань.

— Да они все, наверно, в церкви,— сказал Биффер.

— В церкви? — удивился сэр Уильям.— Но сегодня четверг!

— У них на Тодди-Малом нынче церковный праздник,— объяснил Биффер.

— Это что же, вроде неприсутственного дня, что ли? — спросил главный маршал.

— Нет, это у них, у католиков, религия такая,— попытался объяснить Биффер.

— Я вам уже говорил, сэр,— сказал полковник Баллингем, побагровев от прошлых и настоящих обид,— вы представления не имеете, что мне и бригадиру авиации пришлось вынести в Балмьюре из-за этих так называемых церковных праздников. Кажется, твердо договорились о перевозке наших материалов — и вдруг никто не является. У них, видите ли, церковный праздник. Кстати, протестанты ничуть не лучше католиков. В Гиббердейле, на Восточном Уисте, есть священник, который хочет вынудить у нас обещание, чтобы по воскресеньям никаких опытов с управляемыми снарядами мы не производили. Да мало того — он ухитряется по воскресеньям останавливать работу на постройке моста между Средним и Восточным Уистами. Можно подумать, что мы работаем в сердце Африки, настолько эти люди далеки от... гм-м-м... от...

— От цивилизации,— пробормотал Биффер себе под нос.

— Разумеется, я знаю, что в Шотландии существует традиция — по воскресеньям не работать,— продолжал полковник,— так что нам, вероятно, придется столкнуться с устарелыми предрассудками. Все эти их церковные праздники — просто предлог для самого откровенного безделья, но, когда я поставил этот вопрос перед Лондоном, я вылетел ракетой...

— Ракетой? — переспросил Биффер.— Значит, у них в Лондоне можно запускать ракеты, чего же им понадобились наши острова?

— Меня отослали к параграфу такому-то, где сказано, что долг каж-

дого офицера — принимать все возможные меры к тому, чтобы не оскорблять религиозные чувства местного населения. Никакой поддержки я не получил.

— Я сам займусь этим, когда вернемся в министерство,— обещал маршал авиации.— Надо видеть вещи в правильном освещении.

— Совершенно верно, сэр,— подтвердил полковник.

— Я хочу сказать, что если мы позволим религиозным предрассудкам нарушать наши планы, то нам придется добиться специального постановления Тайного совета*, чтобы работы в обязательном порядке велись по церковным праздникам, а если надо — то и по воскресеньям.

— Ежели вы думаете, что какое-то постановление Совета графства может заставить прихожан свободной церкви на Восточном Уисте работать по воскресеньям, так вам придется передумать! — заявил Биффер.

Но прежде чем Уильям Уиндермир нашел способ объяснить этому туземцу простыми словами, что такое «постановление Тайного совета», «Чайка» уже подошла к килтодской пристани и надо было выходить.

— Неизвестно, как долго нам придется задержаться,— сказал бригадир Уотчхорн Бифферу.— Но мы, должно быть, поедем сразу после чая.

— Лучше давайте ровно в шесть,— сказал сэр Уильям.— Не забывайте, что вы с Баллингемом должны зайти выпить к этому удальцу, как его там... Мы же с доктором Хамбургером вернемся прямо в гостиницу,— добавил он решительно.

— Ладно. В шесть, так в шесть. А как это понимать — ровно или не ровно, как нынче утром?

— Нет, ровно в шесть. Нам надо вернуться в Снорвиг к половине седьмого.

Биффер посмотрел вслед членам комиссии, поднимавшимся по дороге мимо почты, вынул изо рта трубку и медленно сплюнул в воду с пристани. Он размышлял о том, какой все-таки недоразвитый ум у этих «сассенахов»**.

— Что-то никого не видно,— сказал сэр Уильям, когда члены комиссии подошли к зданию почты.

— «Джозеф Макрун, продажа пива и виски распивочно и на вынос»,— прочел полковник Баллингем.— Куда же мы теперь направимся, сэр?

Из невысокой, без шпиля церквушки Пресвятой девы — покровительницы мореплавателей и святого Тода, стоящей на самом высоком холме острова, футов на шестьдесят выше уровня моря, донеслось отдаленное пение...

— Около церкви много народу,— сказал бригадир Уотчхорн.—Может быть, одному из нас пойти туда и спросить, когда окончится служба?

— Я пойду,— сказал полковник Баллингем. Он знал, как подобает держаться младшему чину.

Полковник вскоре вернулся с мрачным видом, выпучив и без того выпуклые водянисто-голубые глаза.

— Ни слова не могу от них добиться! Десятка три парней в фуфайках стоят на коленях у церковных дверей и на все вопросы только пожимают плечами. А один старичок перебирает четки и смотрит на меня, как будто я сам дьявол во плоти, и даже зашипел что-то вроде «Вист!»

— Вист? — воскликнул маршал авиации.— Не может быть, чтобы они с самого утра садились за карты.

— Да нет же, сэр, конечно нет! — сказал полковник Баллингем

---

* Постановления, издаваемые от имени короля и Тайного совета и проходящие через парламент без обсуждения.

** Презрительная кличка англичан *(шотл.)*.

самым раздраженным тоном, какой полковник может себе позволить в разговоре с главным маршалом авиации.— По-моему, он пытался заставить меня замолчать, потому что идет служба.

— Боюсь, что они не хотят нам помочь,— с грустью сказал сэр Уильям.— Что же нам теперь делать?

— Можно пройти на другую сторону острова, на пляж, кажется они называют его Трах-Свист.

— Го-го-го! — расхохотался сэр Уильям.— Неплохое название для ракетного полигона, а?

Доктор Хамбургер с кислой миной посмотрел на маршала авиации. Он в высшей степени презирал английскую манеру шутить по поводу серьезных вещей.

— Беда в том,— заметил бригадир авиации,— что до этого пляжа мили четыре с лишком. Надо бы взять машину.

— Макрури, этот самый владелец гостиницы в Снорвиге, говорил мне, что никаких машин на Тодди-Малом нет. Был у них грузовик, но жители жаловались, что он пугает скот,— объяснил полковник Баллингем.— Конечно, у нас из-за этой скотины будут большие неприятности, если только мы...

— Нет, нет, об этом сейчас рано говорить,— торопливо перебил его главный маршал авиации.— В общем, я предлагаю подождать, пока все вернутся из церкви, потом позавтракать пораньше и нанять две-три пролетки, чтобы нас отвезли на этот Трах-Свист. Впрочем, нам, собственно говоря, совершенно не обязательно осматривать этот пляж. Я вполне доверяю полученным нами донесениям о его полной пригодности для полигона. Теперь наша основная задача — растолковать здешним жителям, как им повезет, если министерство обороны примет решение выстроить здесь ракетный полигон. Нам, конечно, в свою очередь надо будет решить, где именно строить аэродром, но и тут мы сможем положиться на заключение наших специалистов. Бентал, который провел здесь на прошлой неделе целый день, считает, что весь остров — естественный аэродром. Когда вы рассчитываете запустить первые управляемые снаряды в Балмьюре, полковник?

— Не могу точно указать вам день операции «Бум», сэр, но думаю, что это произойдет в начале будущего года.

— Превосходно! Я постараюсь сам присутствовать. По моему мнению, это всегда очень ободряет личный состав, присланный на дальние посты, которых и на карте-то нет, когда высшие инстанции проявляют практический интерес к тому, что там делается. Не думаю, что бедняга Уэнслидейл до тех пор останется министром обороны — он и так продержался на этом посту чуть ли не три месяца,— но, конечно, у него будет преемник, и я непременно уговорю его приехать сюда. Да, нам пришлось потратить немало времени, пока мы втолковали этим политиканам: для того, чтобы наши ребята смогли уехать из Германии, надо было доказать янки, что мы всерьез займемся управляемыми снарядами. Но я полагаю, Бермудское совещание их убедило.

— Возможно, что, когда мы объявим об островах Тодди, начнется та же агитация, которая мешала нам занять Уисты,— заметил бригадир Уотчхорн.

— Все может быть, но народ успокоился при нашем заявлении, что на острове св. Килды мы обещали взять под охрану крыс, птиц и всякую другую живность. Личному составу, расквартированному там, запрещено заводить собак и кошек. Да, это заявление успокоило народ больше, чем что бы то ни было. Они поняли, что мы отдаем себе отчет, насколько велика наша ответственность. Имейте в виду, я считаю ошибкой, что тем, кого мы выселили с Балмьюра, не предоставили другого жилья. В конце кон-

цов, министерству по делам Шотландии не трудно было предоставить им хотя бы временные дома. Я хочу сказать, что сборные домики можно было бы легко достать.

— Совершенно верно,— согласился бригадир Уотчхорн. — Но эти типы из министерства по делам Шотландии всегда стараются свалить всю работу на нас.

— Меня всегда поражает,— сказал доктор Хамбургер,— зачем вам это министерство по делам Шотландии, как вы его зовете. Шотландия и Англия — это ведь одно и то же?

— Да, в сущности, это, конечно, так,— согласился сэр Уильям.— Но шотландцы страшно обижаются, если вы их назовете англичанами, а не британцами. Американцы терпеть не могут называть нас англичанами, потому что они свой язык тоже называют английским. Но на континенте всех нас зовут англичанами, а это очень злит валлийцев и шотландцев.

— Но если уж вам нужно это министерство, почему не называть его просто «шотландским»? — допытывался доктор Хамбургер.

— Не могу вам точно ответить, но, как вы знаете, есть шотландское виски, может быть поэтому министерство так назвать неудобно. Когда же, наконец, эти люди выйдут из церкви?

Попытка объяснить доктору Хамбургеру, зачем образовано министерство по делам Шотландии, очевидно, стоила сэру Уильяму Уиндермиру большого напряжения, и, как многие англичане, он чувствовал, что его мозг испытывает потребность в небольшой физической разрядке.

— Может быть, нам пройтись туда, за церковь, посмотреть, где мы предполагаем строить аэродром? — предложил он.

Пройдя по лугу с полмили, комиссия остановилась для обозрения мирного пейзажа.

— Местность нигде не подымается выше тридцати футов, — с удовлетворением отметил бригадир авиации. — Пара бульдозеров все тут выровняет в один миг. Грубо ориентировочно могу сказать, что придется снести всего домов тридцать.

— На Западном Уисте нам пришлось пережить несколько неприятных столкновений, — напомнил полковник Баллингем.

— Знаю, знаю, но там с самого начала дело повели неправильно, — возразил бригадир Уотчхорн. — У фермеров Балмьюра создали неверное представление, будто нам понадобится всего каких-нибудь двести акров, и, разумеется, узнав, что мы отбираем свыше двух тысяч акров, они стали упираться, да их еще поддержала кучка психопатов, которым делать нечего, кроме как писать в газеты. А теперь, когда мы стали выселять их из домов и обносить пастбище колючей проволокой, поднялось недовольство. Если бы мы с самого начала ясно сказали, что нам нужно, этим фермерам из Балмьюра было бы нечего возразить. А теперь заместители министра обороны один за другим выступают в парламенте и заявляют, будто мы с самого начала совершенно ясно говорили фермерам, что именно нам понадобится, и выходит, что мы с Баллингемом — лгуны. К счастью, социалист Маколей, член парламента от Западного Инвернесса, как будто на нашей стороне. Видно, сам надеется стать заместителем министра обороны, когда его партия снова придет к власти. Поэтому он разъяснил в парламенте, что противники ракетных баз — просто кучка чудаков и психопатов.

— И Би-Би-Си тоже очень помогла вам, не так ли, сэр Уильям?

— О, безусловно! — сказал командир эскадрильи. — Слушая Би-Би-Си, всякий сказал бы, что жители Западного Уиста в восхищении от нашего проекта.

— Но нам ни в коем случае нельзя было обещать, что мы разрешим провести общественное расследование,— сказал полковник Баллин-

гем. — В сущности, мы же понимали, что из соображений безопасности мы все равно не могли бы его допустить.

— Правильно! — подтвердил сэр Уильям.

— Какой-нибудь назойливый тип непременно стал бы допытываться, почему, если речь идет только об экспериментах с управляемыми снарядами, мы не можем экспериментировать где-нибудь в другом месте. Нам было бы весьма затруднительно скрыть истинную причину, по которой мы выбрали именно эти острова.

Сэр Уильям приложил пухлый палец к губам.

— Чем меньше мы сейчас будем говорить об этом, тем лучше. Трудно было добиться согласия на проведение операции «Бум» с островов Уист, но еще труднее будет добиться согласия на операцию «Бам». Кстати, я надеюсь, что на островах Тодди нет редких птиц. Эти любители птиц — страшная напасть. С тех пор, как они услыхали, что лорд Алан-брук тоже любитель птиц, они считают, что имеют право протестовать во всех случаях, когда вооруженные силы нарушают покой птиц. Ага, вот народ идет из церкви. Пожалуй, нам надо зайти к отцу Макалистеру.

Исследовательская комиссия направилась к дому священника. Сначала члены комиссии с деланой сердечностью приветствовали «туземцев», проходивших мимо, но туземцы были столь туземцами, что, казалось, даже не замечали, что их приветствуют, и продолжали болтать между собой по-гэльски.

— Удивительно странный язык, не правда ли? Но вы, должно быть, к нему уже привыкли, полковник? — спросил сэр Уильям.

— Не понимаю, почему его давно не уничтожили, — мрачно сказал полковник.— Для нас этот язык может стать серьезной проблемой, когда встанет вопрос о строгом сохранении военной тайны. Понимаете, сюда могут пробраться какие-нибудь русские, чтобы пронюхать, чем мы тут занимаемся, а наши часовые подумают, что те просто разговаривают по-гэльски.

— Ну что вы, у министерства достаточно широкие полномочия,— успокоил его главный маршал авиации. —Как только операция «Бум» будет подготовлена, мы всегда можем объявить все три Уиста запретной зоной, и значит никто, кроме постоянных жителей островов, не сможет попасть туда, не оформив пропуск за месяц вперед.

— Не вызовет ли это еще больших волнений? — спросил бригадир Уотчхорн.

— Думаю, что нет, — сказал сэр Уильям. — Раз налогоплательщик оплачивает министерство обороны, он должен чувствовать, что его действительно обороняют. Не станет он волноваться из-за того, что каких-то туристов куда-то не пустили.

После столь уверенного заявления маршала о том, что общество останется равнодушным к новым правилам и распоряжениям, исследовательская комиссия направилась в дом священника. Их провели в комнату отца Макалистера, где сидели Хью и Джейн.

— Отец Макалистер просил передать вам, что он скоро вернется. Он все еще в церкви, — сказал Хью.

— Кажется, мы с вами где-то встречались? — сказал полковник Баллингем.

— Да, в марте я видел вас и доктора Хамбургера в Нобосте. Я — личный секретарь мистера Эндрю Вишарта.

— Значит, он вас послал сюда от министерства по делам Шотландии? — подозрительно спросил полковник.

— Нет, я здесь в отпуске. О, простите, джентльмены! Разрешите представить вам мисс Кинселла.

Усы сэра Уильяма еще не настолько поседели, чтобы он при виде хорошенькой девушки не почувствовал прилива галантности.

— И вы тоже проводите здесь отпуск?

— Нет, я здесь по делу, — ответила Джейн.

— По делу? — удивился маршал авиации.— Вы сказали — по делу? Но какие же здесь могут быть дела?

— Я собираю народные песни.

Этого главный маршал авиации совершенно не ожидал.

— Вот оно что, — растерянно пробормотал он.

К счастью, появление приходского священника в полном облачении избавило маршала от необходимости делать вид, будто он понял, о чем говорит мисс Кинселла.

— Здравствуйте, здравствуйте, падре! Я — главный маршал авиации Уиндермир. Министерство обороны вас, кажется, предупредило о нашем приезде.

И маршал авиации с сомнением покосился на Хью и Джейн.

— Мы вам, кажется, мешаем, сэр? — прямо спросил Хью.

— Не уходите, Юшан! — прогудел отец Макалистер. —Все, что я скажу, могут использовать против меня, и я хочу, чтобы вы остались. А вам, Джейн, лучше уйти. Норман Маклеод хочет поговорить с вами насчет концерта.

Джейн вышла, но главный маршал авиации все же был не очень доволен присутствием человека, не имеющего отношения к комиссии.

— Вопрос этот не касается министерства по делам Шотландии, падре, — сказал он.

— Да, дело касается только Шотландии, потому вы и считаете, что министерству до этого дела нет,— разъяснил падре.— Но у меня мнение иное, поэтому мистер Макиннес останется — не то я ни слова не скажу!

— Я должен пояснить мистеру Макиннесу, что он не уполномочен передавать наш разговор заместителю министра,— сказал сэр Уильям.— Мы — исследовательская комиссия, и было бы в высшей степени неправильно, если бы то, что будет обсуждаться здесь, было бы доведено до сведения министерства по делам Шотландии прежде, чем мы доложим своему начальству.

— Боюсь, что я обязан отдать мистеру Вишарту отчет в том, что здесь делается,— сказал Хью.— Завтра вечером я возвращаюсь и постараюсь увидеть мистера Вишарта как можно скорее.

— Никаких окончательных решений министерство обороны еще не принимало, и для удовлетворительного решения задач, которые могут встать перед нами по ходу тех мероприятий, какие министерство найдет нужным проводить в интересах страны, всякие неточные сведения, данные заинтересованным в этом деле организациям, могут оказаться чрезвычайно пагубными. — Тут главный маршал авиации с шумом высморкался.

— Простите, сэр, — возразил Хью, — но, если отец Макалистер в моем отсутствии отказывается обсуждать с вами эти вопросы, я никак не могу уйти. А если при таком условии вы не желаете продолжать разговор, то это решать вам.

Главный маршал авиации снова высморкался и обратился к отцу Макалистеру.

— Кстати, падре, к сожалению, мы приехали, когда вы служили в церкви.

— Сегодня вознесение, — сказал священник.

— Да, да, я не знал, что у вас бывают праздники и посреди недели, конечно, кроме страстной пятницы. Вознесение, а? В другой раз постараемся запомнить.

— Вознесение господа нашего Иисуса Христа,— строго сказал священник.

— Понятно, понятно!

— А не вознесение ракет! — добавил священник. — И лучше я скажу вам сразу, джентльмены, что вам будет очень и очень трудно добиться, чтобы ваши ракеты вознеслись с Тодди-Малого.

— Давайте говорить без обиняков, падре. Неужели вы хотите намекнуть, что помешаете мероприятиям министерства обороны, которые оно предпримет для безопасности нашей страны? — с упреком и удивлением спросил маршал авиации.

— Я не намекаю, я утверждаю это как факт, — сказал отец Макалистер.

— Вы и на митинге в Нобосте еще в марте утверждали то же самое! — сказал полковник Баллингем, выпучив свои водянистые глаза.

— Вот именно!

— Нет, нет, не будем ссориться! — попросил сэр Уильям. — Но вы безусловно должны понять, падре, что министр обороны ни в коем случае не допустил бы никакого вмешательства в жизнь острова, пусть самого маленького, если бы опытные специалисты не убедили его, что такое вмешательство необходимо в интересах всей страны в целом.

— Но опытные специалисты министерства не потрудились убедить в этом население Тодди-Малого, — пояснил отец Макалистер.

— Откровенно говоря, именно поэтому мы сочли необходимым заехать к вам домой и объяснить, почему это настолько необходимо. Население Западного, Среднего и Восточного Уистов признало, что интересы безопасности — превыше всего, и, хотя всем нам известно, что на Западном Уисте фермеры обижены тем, что им будто бы обещали изъять меньше земли, чем оказалось на самом деле, я с радостью могу вам сообщить, что теперь нашим планам больше никто не препятствует.

— Потому что вы собираетесь выселить всех, кто вам препятствует, — сказал отец Макалистер.

— Не будем об этом спорить! — умоляюще сказал сэр Уильям. — Мы жаждем, чтобы на Тодди-Малом и Тодди-Большом таких недоразумений не было. Поэтому мы считаем правильным осведомить вас о том, что министерство обороны намеревается построить ракетный полигон на западном берегу Тодди-Малого и аэродром в центре острова. Однако личный состав численностью в три-четыре тысячи на Тодди-Малом размещен не будет. Он будет расквартирован на Тодди-Большом, и я рад отметить, что там этот план как будто встречен одобрительно и люди понимают, какие финансовые и прочие блага они получают. Должен добавить, что тем фермерам на Тодди-Малом, чьи дома и землю придется реквизировать, будет уплачена соответствующая компенсация. Конечно, и на Тодди-Малом будут расквартированы некоторые специальные части.

— Американцы,— заметил отец Макалистер.

— Американцы? — переспросил сэр Уильям с таким видом, будто он впервые услыхал о существовании Америки.

— Да, американцы. Должно быть, именно они будут стеречь ракеты, которые вы собираетесь пустить на Россию со скоростью полутора тысяч миль в час, так, чтобы из нее искры посыпались.

— Ни о каком предложении расквартировать здесь американские войска я не осведомлен! — заявил главный маршал авиации.

— Верю вам, сэр Уильям, хотя тысячи людей не поверили бы! Но без сомнения, и оба Просперо, возмутившие покой далеких Бермуд, не знали об этом предложении, пока не встретились и не потолковали друг с другом.

Сэр Уильям Уиндермир, не будучи шекспироведом, вынужден был

сознаться, что он не понимает, что означает последняя реплика отца Макалистера.

— Что ж поделаешь, греки тоже часто не понимали, о чем говорил дельфийский оракул, из-за чего и попадали в беду. Но что такое динозавр, вы, конечно, знаете, сэр Уильям?

— Большое пресмыкающееся, ныне вымершее.

— Отлично! Совершенно правильно. Вам бы выступать на вечере вопросов и ответов по Би-Би-Си. Да, да, про динозавров вы ответили правильно. Но почему он вымер?

— Спросите меня о чем-нибудь другом, падре. Я не очень разбираюсь в естественных науках,— сказал сэр Уильям, стараясь не испытывать тех чувств, которые испытывал Генрих II к Томасу Бекету *.

— Я вам объясню. Динозавр вымер, потому что туловище у него стало слишком большим, а броня слишком тяжелой, так что маленькой головке с ними было не управиться. И всякой империи уготована судьба динозавра по той же причине.

— А я всегда предполагал, что католики — ярые противники коммунизма,— заметил главный маршал авиации.

— Да, коммунизм нам не по душе. Но мы не против здравого смысла.

— Впервые слышу, чтобы коммунизм отождествляли со здравым смыслом,— вмешался полковник Баллингем.— Век живи, век учись.

— Верно, полковник, верно. Только мы часто век живем и ничему не учимся, но когда навек помрем, там уж наверняка чему-то научимся. Без сомнения, вы вскоре начнете обследовать Тодди-Малый, а мы будем мешать вам, как только сумеем. На Тодди-Большом вы, может быть, и найдете несколько человек, которые сначала будут вам помогать, но люди эти — не из лучших. Вы не особенно разумно вели себя на всех трех Уистах. Не надо было пугаться общественного расследования, потому что, когда вы от него отказались, мы сразу поняли, что вы затаили какую-то скверную тайну, которую нельзя было раскрыть, пока оба Просперо не встретились на Бермудах. Ну-с, джентльмены, всего вам доброго!

— Я полагаю, что мы сможем позавтракать в этой таверне близ пристани? — спросил бригадир авиации с некоторой опаской.

— Откровенно говоря, не знаю,— ответил отец Макалистер.— Возможно, что Джозеф Макрун не захочет возиться с завтраками в церковный праздник.

Когда комиссия покинула дом священника, отец Макалистер с глубоким вздохом сказал Хью:

— Да, такие дела, Юшан. Прости меня бог, но я впервые в жизни отказал людям в гостеприимстве. Даже рюмочки им не предложил.

— А с какой стати вы им будете предлагать хоть рюмку?

— Нет, я с огромным трудом удержался от этого. Ох, боже, боже, я чувствовал себя, как левит в притче. Сомневаюсь, что и Джозеф захочет играть роль доброго самаритянина.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Правительственная комиссия

Предсказание отца Макалистера оказалось правильным. В виде большого одолжения Джозеф Макрун предложил комиссии две плитки молочного шоколада и фунт докторских галет, которые остались не проданными с того рождества, когда Джозеф приобрел их на пробу. Проба с треском провалилась, так как покупатели заявили, что эти галеты больше походят по вкусу на куриный корм, чем на печенье.

* Английский церковный и политический деятель XII века, выступавший против усиления королевской власти, за что был убит по тайному приказу короля Генриха II.

— Но вы, вероятно, сможете дать нам четыре бутылки пива? — спросил бригадир авиации Уотчхорн.

Джозеф Макрун задумчиво подергал свой красный вязаный колпак.

— А вы обещаете вернуть бутылки? — спросил он.— Тут полиция строгая, не дай бог. Не хочется, чтобы сержант Макгилливрей решил, что я продаю туристам пиво, а они распивают его где попало.

После торжественного заверения, что пустые бутылки будут возвращены, комиссия получила четыре бутылки эля.

— Как насчет экипажа? — спросил бригадир авиации.— Мы хотим проехать на Трах-Свист, так, кажется, вы его зовете?

Джозеф Макрун покачал головой.

— Вряд ли вы кого найдете, кто согласится вас отвезти на Трай-Свис. Сегодня у нас церковный праздник, а в такие дни народ не любит ездить.

—.Но я видел около церкви несколько пролеток,— сказал бригадир авиации.

— Верно, но все они давным-давно разъехались по домам. Да вам приятно будет пройтись по лугу. Нечего сбивать ноги на шоссе.

Так, вооружившись двумя плитками молочного шоколада, пачкой черствых докторских галет и четырьмя бутылками эля, правительственная комиссия двинулась на запад.

Пройдя около мили, члены комиссии решили присесть у поросшего травой холмика и позавтракать.

— Странно, как меняются вкусы,— задумчиво проговорил сэр Уильям.— Помню, в начальной школе мы считали, что нет ничего на свете вкуснее молочного шоколада. Тогда он нам не казался таким тошнотворным.

Доктор Хамбургер пытался расправиться с твердой галетой, оскалившись, как злой верблюд.

— Этот народ еще хуже поляков,— пробурчал он.— Знаете, сэр Уильям, этот самый Макалистер — опасный тип.

— Нет, какой же он опасный! Разговаривает много, это правда, но мы в Англии любим, чтобы агитаторы побольше говорили: мы обнаружили, что чем больше вы им позволяете болтать, тем меньше они действуют.

— Мы с полковником Баллингемом слыхали, как этот поп разговаривал на том мартовском митинге в Нобосте,— заявил доктор Хамбургер.— И без сомнения, публика очень внимательно слушала его речь.

— Слишком внимательно,— буркнул полковник Баллингем.

— А о чем он говорил? — спросил маршал авиации.

— Он говорил с ними на их языке. И по-моему, сэр, если мы хотим обеспечить полную безопасность, то надо запретить разговаривать на этом самом гэльском,— объявил полковник Баллингем.

— То, что мы предполагаем делать здесь, гораздо секретнее того, что мы делаем сейчас в Балмьюре,— напомнил доктор Хамбургер главному маршалу авиации, и тот беспокойно оглянулся через плечо.

— Послушайте, я надеюсь, что за этой дюной никого нет! — пробормотал он.

Полковник Баллингем вскочил с земли и быстрым шагом обошел холмик, где увидел фермеров, сидевших рядышком и погруженных в какой-то важный разговор.

— Далеко ли отсюда до Трах-Свиста? — строго спросил полковник.

Оба фермера посмотрели на него и пожали плечами.

— Разве вы не понимаете по-английски? — спросил он.

Фермеры посмотрели друг на друга и оба разом подняли глаза на полковника Баллингема с выражением полнейшего безучастия, если только такое полнейшее безучастие можно выразить взглядом. Полковник Баллингем снова ушел на другую сторону холма.

— Там какие-то двое,— сердито сказал он,— делают вид, что не понимают по-английски.

— А что я вам говорил,— заметил доктор Хамбургер,— точь-в-точь как поляки.

— Может быть, нам лучше уйти подальше,— сказал главный маршал авиации.— Все-таки я очень рад, что мы ни слова не сказали про операцию «Бам», верно, а?

Час спустя члены комиссии смотрели на длинный белый пляж Трай-Свис, окаймленный волнистой грядой дюн, которая защищала пастбища от наступления песков.

— Лучше ничего не найти, верно? — сказал сэр Уильям тоном набожного гурмана, читающего благодарственную молитву после вкусного обеда.

— Однако не будем строить иллюзии. Операция «Бам» — не увеселительная прогулка. Конечно, мы не знаем, согласятся ли американцы устроить здесь склад ядерных зарядов, даже если мы эвакуируем оба эти острова. Но одно безусловно ясно. Мы должны проводить наши планы, основываясь на предположении, что американцы согласятся. А решение об эвакуации все равно раньше будущей весны принимать не придется.

— А что будет, если этот самый поп начнет подстрекать народ, чтобы они мешали нашей работе в ближайшие месяцы? — спросил полковник Баллингем.

— Попросим епископа, чтобы тот перевел его в какой-нибудь приход на побережье,— сказал сэр Уильям.— Епископы всегда готовы сотрудничать с властями.

— Но он подчиняется католическому епископу, сэр,— напомнил бригадир авиации.—А вдруг это окажется второй архиепископ Макариос.

— Что же, если он будет мешать, его всегда можно будет выслать,— весело сказал сэр Уильям.

— Сомневаюсь, чтобы шотландцы допустили высылку католического епископа,— проворчал бригадир авиации.

— Да я не о епископе, Уотчхорн, я об этом здешнем падре. Не будем переходить мосты, пока не подошли к реке. Мне кажется, что со здешними людьми можно будет отлично справиться. Но нельзя повторять ошибки, которые мы сделали в Балмьюре. Надо заставить этих людей из министерства по делам Шотландии, чтобы они приготовили новое жилье для переселенцев. Помните, как этот малый, перевозчик, решил, что «цивилизация» — новый поселок для переселенцев. Вот вам и ответ. Да всякий новый поселок им покажется раем после той борьбы за существование, которую они веками вели на этих островах.

— Знаете, по-моему, можно закопать эти проклятые бутылки в песок,— посоветовал бригадир авиации.

— Нет, нет, ни в коем случае,— сказал сэр Уильям.— Мы дали обещание вернуть бутылки, и если мы не сдержим слово, это произведет дурное впечатление. Но хорошо бы найти дом, где бы нам дали чашку чаю. Всегда смеюсь над женой, что она без чая жить не может, а сейчас сам отдал бы что угодно за одну чашку. По всей вероятности, тут причиной — этот молочный шоколад.

— Или эти галеты,— добавил доктор Хамбургер и опять оскалил зубы, как бешеный верблюд.

На обратном пути члены правительственной комиссии несколько раз стучались в дома, но никак не могли объяснить хозяевам, что им, собственно, надо. Совсем отчаявшись получить желанное подкрепление, они вдруг неожиданно повстречали Дункана Бана, который, увидя их оттопыренные карманы, мгновенно решил, что у них с собой добрый запас виски, и потому сразу ответил им по-английски.

— Слава богу, наконец-то слышишь цивилизованную речь,— воскликнул сэр Уильям.— Неужели ребят здесь не учат английскому?

— Как же не учат,— уверил его Дункан.— Отлично учат в килтодской школе. У них учителем мистер Маклеод. Но, видно, они стесняются разговаривать со знатными людьми — вы-то для них народ важный. Если вы хотите выпить чашку чаю, я поведу вас в дом к миссис Одд. Она англичанка.

— Вот это великолепно! — обрадовался сэр Уильям.

— Пригласил бы я вас в свой дом,— сказал Дункан,— да у меня ни капли спиртного нет.

Дункан надеялся, что после этих слов четыре руки сразу нырнут в карманы, но руки даже не пошевелились, и комиссия молча подошла к «Колокольцам».

— Миссис Одд, миссис Одд! — крикнул Дункан.— Тут к вам четыре ракетира просятся: заблудились, до смерти хотят чайку.

— Но мы не злоупотребляем вашим гостеприимством? — осведомился сэр Уильям, когда старушка открыла им двери и воскликнула:

— Далеко до Типперери, но для вас открыты двери!

— Что ж, пожалуй, отправлюсь домой! — сказал Дункан. — В семь заеду за вами и Джейн, отвезу вас в Килтод на кэйли.

— Может быть, вы или еще кто-нибудь отвезете нас на пристань? — осведомился бригадир авиации.— Лодка будет ждать нас ровно в шесть.

— Никак не могу,— отрезал Дункан.— Да и никто вас не повезет, разве только какие-нибудь духи бесплотные!

Помахав рукой и с презрением покосившись на бутылки, выпиравшие из карманов приезжих, бард скрылся из виду.

Миссис Одд вышла в кухню распорядиться насчет чая, а когда она вошла в гостиную, члены комиссии все еще ждали ее стоя.

Главный маршал авиации спросил миссис Одд, живет ли она на Тодди-Малом круглый год.

— Нет, на зиму уезжаю в Ноттингем — там мой сын, Фред, лавку держит, но этой зимой я туда не поеду. А ежели думаете, что вам удастся мой домишко снести, пока я буду в Ноттингеме, так вы глубоко ошибаетесь. Очень ошибаетесь. Я тут окопалась, как нас в войну учили. И скажу вам прямо, что бы вы тут ни затеяли, я с места не сойду! Придется вам привязать меня к хвосту ракеты, ежели захотите от меня избавиться!

— Но, миссис Одд, если... хотя об этом еще рано говорить...

— Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела! — вставила миссис Одд.

— Если правительство окончательно решит, что ради безопасности свободного мира...

— Какой там еще свободный мир? Это при нынешней-то плате за проезд в автобусе? Не смешите меня!

— Ну, скажем, если ради безопасности нашей страны назреет необходимость выстроить на Тодди-Малом ракетный полигон, неужели вы, как мать старого солдата, не подадите пример здешним жителям?

— Ради безопасности? Нет, я в это не верю! Неужто вы думаете, что русские такие шляпы? Как же, станут они дожидаться, пока вы пустите на Москву ваши ракеты! В случае чего, они первые начнут!

— Мы хотим использовать управляемые снаряды только в качестве сдерживающего фактора, миссис Одд. Русские не нападут на нас, если мы будем в полной готовности. Не можем же мы терпеть, чтобы они грозили нам управляемыми снарядами, как во время суэцкого кризиса.

— Да, здорово мы тогда оскандалились. Нехорошо, нехорошо... «Правь, Британия», а? Что-то не вышло!

— Согласен,— сказал сэр Уильям.— Но больше этого быть не должно!

— Слушала я эти присказки с самой бурской войны. Но потом повторяется то же самое, и если вы думаете, что стоит только перевернуть наш мирный островок вверх тормашками — и больше ничего такого не случится, вы, видно, не головой думаете, а чем-то другим.

— Не будем спорить! — сказал главный маршал авиации. — Если правительство решит, что Тодди-Малый нужен для обороны страны, можете быть уверены, миссис Одд, что решение это будет принято людьми более умными, чем мы с вами. Я призываю вас сделать все, что вы можете, чтобы убедить здешних жителей в выгодности этого плана — если только он будет осуществляться.

— Не говорите глупостей, мистер... как вас зовут?

— Уиндермир. Главный маршал авиации сэр Уильям Уиндермир.

— Ну какая может быть выгода, ежели тебя выгоняют из дому, как вышвырнули жителей на Западном Уисте? Начни я только их уговаривать, что это выгодно, они сразу решат, что я спятила. И это будет правильно!

— Но строительство многим даст работу. И только некоторые фермы придется реквизировать.

— Работу? А какая эта работа? Грузчиками стать, да? Неужели вы думаете, что человек, у которого шесть собственных коров, захочет круглый год работать грузчиком? Конечно, может, есть на островах такие места, где люди рады были бы подзаработать, но вам-то эти места не подойдут.

— Речь идет не о том, подходит это место для нас или нет, а о том, годится ли оно для целей национальной обороны. Я не могу вам объяснить, почему мы избрали именно Тодди-Малый, так как...

— Так как я — необразованная старуха? Что ж, видно, так оно и есть. Но не такая уж я необразованная, чтобы не понимать, когда кто старается подсластить мне пилюлю. И вы можете хоть с ног до головы меня обсахарить, мистер... сэр Уильям Уиндермир, но я ничуть от этого не переменюсь. Ну, слава богу, вот и чай, а то еще минута-другая — и я ляпнула бы что-нибудь не очень вежливое. Лучше оставим этот разговор. Вам с сахаром?

— Мне не надо, спасибо! — сказал сэр Уильям.

— И без сахару сладкий, а? — улыбнулась миссис Одд. — Да, вы, наверно, здорово умели девчонок облапошивать, пока ваши пышные усы сединой не прохватило. А вам с сахаром? — обратилась она к доктору Хамбургеру.

— Нет, спасибо!

— А у вас вид такой кислый, что вам и три хороших куска не повредили бы! — заметила миссис Одд. — Вам, видно, не знакома поговорка «Гляди веселей, не пугай людей»?

— Это доктор Эмиль Хамбургер,— строго сказал полковник Баллингем.

— Ах, он еще к тому же доктор!

— А это бригадир авиации Уотчхорн,— продолжал полковник.

— Приятно познакомиться. Сахару?

— Два куска, пожалуйста! — сказал бригадир авиации.

— А я — полковник Баллингем, командир Первого баллистического полка.

— Как вы сказали? Имеет отношение к старому П. И. С.? Когда-то мы их звали «Портки и сапоги».

— Теперь называют У.И.С.— Управление интендантской службы,— заметил полковник.

— Вот как? Вот как? А мой сын Фред всегда их звал «Портки и сапоги».

— Мой полк — новая часть. Он сформирован только в прошлом году.

— Ага, так я и думала, что это новомодная выдумка. Надо написать Фреду. Ох, и посмеется же он! Первый балдистический полк, а? Как же это пишется?

— Б-а-л...

— Да, как «балда» пишется, я сама знаю! — засмеялась миссис Одд.— Но как можно называть полк балдистическим!

— Б-а-л-л-и-с-т-и-ч-е-с-к-и-й!

— А зачем этот новый полк? — спросила миссис Одд.

— Для управляемых снарядов! — строго отчеканил полковник.

— Понимаю. Ракетиры ее величества! Что ж, если желаете попасть в Килтод не позже шести, вам, пожалуй, пора отправляться.

— Очень благодарны вам за чай, миссис Одд.

— Вы не скажете, сколько мы вам должны? — спросил главный маршал авиации.

— Должны? — воскликнула миссис Одд. — Ничего вы мне не должны. Я и самому сатане дала бы чашку чаю, но разве я с него стала бы спрашивать деньги? А вы лучше послушайте старуху, перестаньте шататься по Тодди-Малому, не то, как дважды два, дождетесь беды.

— На Тодди-Большом люди с вашим мнением не согласны, миссис Одд,— сказал бригадир авиации Уотчхорн.

— О, я не сомневаюсь, что на Тодди-Большом найдутся люди, которые вам скажут, что все в порядке. Каждому шоферу грузовика, наверно, уже мерещится, что он—второй лорд Наффилд * и деньги к нему льются рекою. И девчонки все, наверно, прыгают и скачут, как в рок-н-ролле, от радости, что́ придут душки-американцы и начнут раздавать нейлоновые чулки, жвачку и сигареты. Но на Тодди-Малом вам будет не так-то легко. На Тодди-Малом есть отец Макалистер, вы это сами скоро почувствуете. Ну, бегите! Адью! Вот именно «адью», а не «оревуар»!

Правительственная комиссия вышла из «Колокольцев» и направилась в Килтод.

— Занятная она, эта старушка! — задумчиво сказал главный маршал авиации.

— Я бы даже сказал — чересчур занятная, — вставил полковник.— Когда, по-вашему, можно будет начать здесь работу, сэр?

— Вам еще несколько месяцев потребуется на операцию «Бум», — напомнил ему сэр Уильям.

— Правильно, сэр, но я надеюсь, что тут покамест тоже будут продолжать работу. Надеюсь, что к весне мы сможем приступить к операции «Бам» и до будущей зимы очистить эти острова. Кстати, мне пришло в голову, что мы можем объявить эвакуацию островов актом особого внимания к жителям со стороны правительства.

— В каком это смысле?

— Чтобы избавить население от опасности радиации!

— Ни в коем случае! — буркнул доктор Хамбургер.— Мы никоим образом не должны признавать, что есть хоть малейшая опасность радиации. Мы сами не знаем, где нам еще придется размещать площадки для запуска управляемых снарядов.

— Думаю, что доктор Хамбургер прав, полковник. По всей стране растет недовольство тем, что всякие пацифисты называют «превращением страны в передовую базу США для управляемых снарядов». Мы знаем, насколько неразумны эти пацифисты, но не хотим давать им предлог для

* Автомобильный магнат, один из самых богатых людей в Англии.

агитации. Сам я считаю, что нам надо было широко осведомить население, что́ именно мы собираемся делать на Западном, Среднем и Восточном Уистах, еще до того, как были обнародованы результаты Бермудского совещания. Тогда мы могли утверждать, что собираемся только испытывать свои собственные управляемые снаряды и ничего больше. А теперь этого уже не скажешь, и общественное расследование оказалось бы сейчас весьма щекотливым делом.

Без десяти шесть комиссия, наконец, дошла до Килтода. Первым долгом члены комиссии доказали твердость своего слова, вернув пустые бутылки из-под эля Джозефу Макруну.

— Он был явно удивлен, когда мы вручили ему эти бутылки,— заметил бригадир Уотчхорн.

— Да, но впечатление это, безусловно, произвело отличное,— сказал сэр Уильям.— Такие мелочи имеют огромное значение для простых людей.

— Хороши простые люди! — воскликнул доктор Хамбургер. — Да они хитрее любого польского мужика!

— Я склонен согласиться с доктором Хамбургером, сэр! — вмешался полковник Баллингем.— С тех пор как я побывал в Балмьюре, я этих простых людей хорошенько раскусил. Ага, вот и наш перевозчик! И как ни странно, явился вовремя!

Члены правительственной комиссии спустились по ступенькам пристани и с облегчением уселись в «Чайку». Поездка на Тодди-Малый оказалась весьма утомительной и бесплодной.

— Ну, как ваши дела? — спросил Биффер.

— О, нам удалось сообщить отцу Макалистеру то, что мы хотели,— сказал главный маршал авиации.

Пролив Кулиш они пересекли в полном молчании. Комиссия была чрезвычайно утомлена девятимильной прогулкой после молочного шоколада с галетами.

— А вы обедали с майстером Шеймасом? — спросил Биффер.

— Это что такое — национальное блюдо, что ли? — спросил главный маршал авиации, притворяясь чрезвычайно заинтересованным.

— Нет, так по-гэльски зовут отца Джеймса. Его не так-то легко съесть.

— А, вы про отца Макалистера? Нет, мы с ним не обедали.

Если бы члены комиссии смогли прочесть то, что выражали глаза Биффера, они были бы шокированы. Арчи Макрури подумал про себя, что, видно, отец Джеймс считает этих посетителей хуже вороньих пугал, если он даже не угостил их обедом. Арчи со смаком, медленно и раздумчиво сплюнул за борт и всю дорогу до Снорвига молчал как рыба.

— Как, целых пять фунтов? — воскликнул бригадир авиации. — Может быть, вы получите их через гостиницу? Мистер Макрури говорил, что он включит перевоз в счет.

— Нет, лучше уж заплатите мне самому, — сказал Биффер. — Я с гостиницей ничего общего не имею!

И членам комиссии пришлось собрать деньги между собой, прежде чем сойти на берег.

— Должно быть, он им даже выпить не предложил, — пробурчал Биффер, глядя вслед своим пассажирам, медленно подымавшимся по ступеням пристани. — Видно, шваль первостатейная, не иначе!

В гостинице сэр Уильям напомнил бригадиру авиации и полковнику, что их ждут в Снорвиг-хаузе.

— Пожалуйста, попросите у мистера Уагетта извинения за то, что мы с доктором Хамбургером не смогли воспользоваться его гостеприимством. Скажите, что день для нас выдался очень утомительный.

— Знаете, как называют этого маршала у нас, в авиации? — спросил полковника бригадир Уотчхорн, когда они направлялись к Снорвиг-хаузу.— Мы его зовем Билл-Масленка.

У дверей Снорвиг-хауза их встретил Поль Уагетт.

— А главный маршал авиации не придет? — спросил он с легкой обидой в голосе.

Но ему тактично объяснили, сколь необходим главному маршалу отдых после утомительного дня.

— Да, я так и думал, что с транспортом у вас будут затруднения,— сказал Уагетт.— Эти католики на Тодди-Малом превратили свои церковные праздники в какой-то фетиш. Я подозреваю, что это просто хороший предлог побездельничать как следует.

Миссис Уагетт, поблекшая блондинка, чье лицо выражало блаженное умиротворение, оттого что ей выпало счастье быть тридцать пятый год замужем за таким человеком, как Поль Уагетт, принесла поднос с бутылкой джина, бутылкой итальянского вермута и бутылкой шерри, но без виски. Командир эскадрильи и полковник с завистью подумали о крепком виски с содовой, которое сейчас, без всякого сомнения, пьют главный маршал и доктор Хамбургер в номере гостиницы.

— Я считаюсь неплохим специалистом по коктейлям, — заявил Уагетт, наливая в три стакана джин пополам с вермутом.— Но, к сожалению, лед у нас кончился. Наш холодильник что-то пошаливает. Налить тебе шерри, старушка? — спросил он жену.

— Ах, благодарствую, Поль, обожаю шерри! — восторженно пролепетала она.

— Скажите, мистер Уагетт, вы дружны с отцом Макалистером? — спросил полковник.

— Да, конечно, я его знаю много лет. Вы заходили к нему?

— Он нам особого содействия не оказал,— проговорил полковник.

Уагетт покачал головой.

— Этого-то я и боялся. Он безнадежно отстал от века. Сколько раз я пытался объяснить ему разницу между ядерным делением и расщеплением. В «Популярной науке» была отличная статья, я предлагал ему журнал, но это безнадежно, он просто не обратил ни малейшего внимания. Пытался я объяснить ему и принцип действия управляемого снаряда, но это тоже оказалось бесполезно: он целиком поглощен собственными идеями, которые устарели еще до первой мировой войны. Да, боюсь, что отец Макалистер решительно воспротивится всем вашим планам обороны обоих Тодди.

— И вы считаете, что отец Макалистер может нам очень помешать? — спросил бригадир авиации.

— Конечно, он имеет огромное влияние на своих прихожан. И даже на Тодди-Большом он найдет поддержку среди людей постарше. У нас здесь очень глупый врач, по фамилии Макларен, да и Джордж Кэмбл, директор снорвигской школы, глупеет с каждым днем. Брат его жены, Норман Маклеод — учитель школы в Килтоде. Вы с ним не встретились? Нет? Вот он, действительно, имеет дурное влияние. Он был когда-то явным большевиком, а потом во время войны, когда он служил в авиации — в наземной части, разумеется, — он познакомился в Престоне с одной барышней, католичкой, и принял католическую веру, чтобы на ней жениться. Конечно, будучи католиком, он не может открыто проповедовать коммунизм, но, по моему мнению, он в душе остался таким же большевиком, как был. В душе он совершенно красный.

— А был он когда-нибудь членом коммунистической партии? — заинтересовался полковник Баллингем, и в его выпученных глазах мелькнула надежда.

— Определенно сказать не решаюсь, но вы не прогадаете, если проверите его как следует. Когда вы собираетесь начать работы на островах?

— Никакого решения насчет того, что план строительства ракетных баз распространится и на острова Тодди, пока нет,— сказал бригадир авиации Уотчхорн.

— О, я не собираюсь касаться ваших секретных планов, — запротестовал Уагетт. — Но я думал, вам будет приятно узнать, что, если потребуется, я охотно уступлю министерству обороны Снорвиг-хауз. Конечно, мне будет весьма грустно расстаться с этим домом, правда, старушка?

Миссис Уагетт, у которой даже забилось сердце при одной мысли, что можно будет, наконец, уехать с Тодди-Большого и поселиться неподалеку от какой-нибудь из замужних дочерей, с некоторым усилием сделала грустное лицо.

— О да, Поль, конечно! — подтвердила она.

— Но «кэ-вулэ-ву» — как говорят французы,— продолжал Уагетт.— В нынешние времена мы не должны считаться с личными переживаниями. Как только я прочел о решении, принятом нашим премьер-министром и президентом на Бермудских островах, я понял, что личные привязанности никак не должны стать помехой для превращения Внешних островов в аванпост обороны свободного мира. Но знаете ли вы, как Норман Маклеод, учитель школы в Килтоде, назвал совместное коммюнике президента и нашего премьер-министра после совещания на Бермудских островах? Он сказал, что это пакт самоубийц. Да, я сам слышал. И я так рассердился, что в лицо ему заявил: вы позорите звание учителя. Уверяю вас, когда я сержусь, то слов не выбираю! Верно, старушка?

— О да, Поль! Не выбираешь!

Уагетт оглядел своих гостей с самодовольной улыбкой.

— Вот видите! — сказал он. — А теперь разрешите мне снова наполнить ваши стаканы коктейлем моего собственного приготовления!

(Окончание следует)

Тойн де Фрис

Олень

РАССКАЗ

Перевод И. Табаровской

Посвящается моим бельгийским товарищам

В Арденнских лесах существует легенда о старом величественном олене, которого не трогают ни охотники, ни даже браконьеры, потому что народ считает его символом своего благополучия.

Вот уже в который раз Мелани, пряча свои дрожащие, скрюченные руки под шалью, выходила за дверь и смотрела на дорогу. В морозном свете луны дорога казалась узким серебряным ледником, бесконечным мостом, соединяющим овраг и вздувшийся, глухо шумевший Эйн, который тек между крутых холмов, покрытых лесом.

Ну вот, наконец-то Жан возвращается домой. Мелани не была в этом уверена, но она надеялась, что это именно он; кто-то шел по дороге, правда, еще довольно далеко. Она остановилась, ее взгляд привычно скользнул по холмам. Очертания высоких холмов, поросших лесом, напоминали выгнутую шею огромного быка. На ферме Хуберт, расположенной на самом высоком месте, ярко, подобно глазу дикого зверя, горел свет.

Гуси все еще летели. На минуту их резкий крик привлек внимание Мелани. Внизу, в долине, стояла мертвая тишина, которую нарушал только шум реки. Шаги приближавшегося человека звучали отдаленно и глухо, и по мере того как он подходил, они становились все более упругими. Вдруг Мелани насторожилась. Жан, браконьер и лесной вор, никогда не шагал так легко, особенно после того, как наведывался в лавочку Люсьены. Мелани еще плотнее закуталась в черную шаль и притаилась в тени низкого, приземистого дома. Конечно, это было ненадежное укрытие, но она просто не в силах была вернуться в дом. Любопытство и хитрость приковали ее к месту.

Когда незнакомец приблизился к ее дому, стоявшему на краю деревни, она увидела, что это немецкий солдат. Мелани не произнесла ни звука. Несмотря на звездное небо и свет луны, она не могла разобрать, намеревается ли «оккупационная армия» поздороваться с ней. Во всяком случае, Мелани не промолвила ни слова. Теперь она глядела ему в спину. Тускло блеснули ремень, рюкзак и ружье. Шаги его звучали звонко, словно он шел по железу — ну ясно, у них сапоги ведь кованы железом.

* * *

Жан появился сразу же вслед за немцем. Мелани только что вошла в дом и стала заваривать цикорный кофе. Она вздрогнула от страха и, чтобы не упасть, схватилась за ручку большой печи. Ей почудилось, что это немец тайком прокрался к ней в дом!

— Тебя я не видела на дороге,— сказала она. — Там был этот бош.

Жан кивнул и сел. Его седые свисающие усы были мокры; он вытер их рукавом своей плисовой куртки, лоснящейся, как потертая кожа — как его собственная огрубелая старческая кожа.

— Понятное дело. Я спустился по тропинке вдоль склона, между лесными складами Ферез. Не хотел встречаться с бошем.

Она налила ему большую чашку кофе. От Жана все еще пахло дешевым бренди, махоркой и кожей. Это был стойкий запах, который обычно успокаивал ее. Но не сегодня.

— Я не знала, что боши уже здесь.

Он пожал плечами и длинной дрожащей рукой провел по своим взъерошенным волосам.

— Они пришли только вчера. Я сейчас слышал у Люсьены, что на мельнице де Фосс обосновались двадцать солдат.

В ее воображении промелькнул лесопильный завод, расположенный внизу под высокими елями; узкоколейка, по которой сейчас, зимою, уже не двигались вагоны; мастерские, где больше уже никто не работал. Теперь там были боши. Крепко сжав в руках пестро разукрашенную крестьянскую чашку, Жан пил, причмокивая губами. Мелани смотрела, как он потягивал кофе. Руки его дрожали, концы усов подергивались. Он поставил чашку на место, как будто ему больно было глотать.

— Сволочи!..

Жан поднялся и исчез в чулане. Мелани сидела неподвижно, выжидая. Она слышала, как он копался там, за дровами, где валялся железный хлам, пружины от кровати и снасти. Наконец он вернулся с двуствольным охотничьим ружьем. Оно было совсем новое. Мелани не видела его раньше. Жан сел, поставив ружье между колен, словно обдумывая следующий шаг.

— Огнестрельное оружие нельзя держать в доме, — сказала Мелани тихо, испытующе посмотрев на Жана. Он резко повернулся к ней. Его лицо побагровело от злости. Руки изо всех сил стиснули ствол ружья.

— Захлопни свой беззубый капкан! При чем тут огнестрельное оружие? Арденнскому охотнику ружье нужно так же, как арденнскому фермеру — плуг. Слышишь? Это не оружие. Это орудие.

Он понизил голос и сказал хрипло:

— Олень опять пришел в наши места.

Она молча глядела на него. Уныло и мрачно Жан уставился вниз на деревянный пол. Мелани почувствовала, что он охвачен страхом. Внезапно страх передался и ей. Она подошла к нему и положила руку ему на плечо. Впервые за все семьдесят шесть лет оно безжизненно опустилось под ее рукой.

— Ну и что же?

Жан чуть не набросился на нее. Мелани чувствовала, что он с трудом сдержал себя. И снова он уставился перед собой, словно устыдившись своей вспышки.

— Сильвэн видел его. Он тоже был у Люсьены. Он приехал из Дошана. Олень опять пришел в наши места.

Мелани быстро прикрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Затем она еще крепче сжала плечо Жана.

— Сильвэн? Сильвэн врет. Он — друг бошей. Они всегда врут. Сильвэн хотел запугать вас всех. У него, конечно, хватает наглости прийти к Люсьене и хлебать ее сивуху. И все же он врет. Я говорю тебе, Жан, он врет!

Жан медленно покачал головой.

— Сильвэн видел оленя. Он клянется в этом. Я бы и сам не поверил, но у меня на глазах Сильвэн весь дрожал от страха. Вот почему я понял, что он сказал правду.

Он опустил голову на руки. Наступила глубокая тишина. Вдруг раздался бой больших металлических часов; с грохотом гиря опустилась вниз. Казалось, в комнате воцарились страх и подавленность. Жан еще ниже опустил голову, будто кто-то ранил его. Мелани почувствовала, как у нее дрожат колени. Она торопливо опустилась на соседний стул. Платок соскользнул с плеч, и холод пронизал ее до костей.

* * *

В задней комнате лавочки Люсьены четверо мужчин все еще играли в карты. Хозяйка шумно зевала вот уже полчаса. Когда была доиграна двадцать четвертая партия роббера, Люсьена встала и быстро выключила свет. Мужчины озадаченно смолкли. Комната медленно наполнилась таинственным голубым светом луны. Всем им казалось, что его партнеры вдруг стали похожи на привидения. Маленький Оноре ухмыльнулся. Каждый вечер его невестка повторяла эту шутку.

— Allez, — сказала Люсьена, — вы достаточно повеселились. Мне завтра рано вставать.

— Каждый раз так неожиданно, — сказал почтальон Жозеф.

Спотыкаясь, они прошли мимо Люсьены в длинную низкую лавку, полную теней, словно там притаились дикие звери. Люсьена зашла за прилавок и зажгла свечу. Маленькая, полная, с выбившимися около ушей прядями волос, она стояла подбоченясь, ожидая, пока мужчины расплатятся.

Сильвэн, одетый в серовато-зеленый мундир и сапоги, расплачивался первым. Через старый прилавок он поспешно протянул Люсьене ассигнацию, новую, хрустящую, будто накрахмаленную.

— Плачу за всех, — сказал Сильвэн и нервно рассмеялся; пустота во рту, где у него недоставало двух передних зубов, показалась еще глубже и чернее.— Накинь там для ровного счета, Люсьена... Я хочу сказать... не забудь себя.

Люсьена посмотрела на деньги и медленно протянула руку. Но не успела она дотронуться до них, как почтальон Жозеф крепко схватил ее за руку.

— Погоди. Каждый платит за себя, Люсьена. Каждый из нас.

Сильвэн медленно повернулся к Жозефу. Низкорослый, смуглый почтальон, плотно сжав толстые, красные губы, выдержал, не дрогнув, пристальный взгляд Сильвэна, полный подозрения и проснувшейся вражды.

Вместе с Сильвэном он ходил в школу. В тридцать девятом году они вместе служили в армии. Их вместе демобилизовали в Антверпене. С тех пор Бельгия стала оккупированной страной. Однако казалось, что это ни в коей мере не беспокоило Сильвэна — его дела пошли лучше прежнего. Теперь его клиентами были люди в немецкой военной форме и зеленых полицейских мундирах. Между ним и Жозефом пролегла тень, тень вражды. В тот вечер они держались так — это, впрочем, бывало и раньше, — будто они по-прежнему оставались старыми школьными приятелями и друзьями по оружию. Люсьена не могла отказать Сильвэну, когда он приходил поиграть в карты и выпить бренди, остальные также не могли отвернуться от него. Но в эти несколько секунд скрытая вражда пробудилась вновь.

— Каждый платит за себя?.. — переспросил Сильвэн. — Ну что же...

Изо рта, в котором недоставало двух передних зубов, вырвался

свистящий звук. Сильвэн угрожающе потряс сжатыми кулаками перед квадратным лицом Жозефа.

— Немецкие деньги, да? Ты не хочешь взять их от человека, работающего с немцами, n'est ce pas? Еще бы, ведь настоящие патриоты не позорят себя. Хорошо же!..

Жозеф сунул руки в карманы брюк. Он посмотрел на новую ассигнацию, которая лежала на прилавке — нетронутая.

— Меня не интересует, какие это деньги. Я и не просил тебя ничего объяснять, ты сам все сказал. Но пока каждый из нас зарабатывает себе на хлеб, пускай сам и платит.

Сильвэн опустил кулаки и хрипло засмеялся.

— Черт бы тебя побрал, — сказал он. — Люсьена, сколько?

Голос хозяйки звучал спокойно и сдержанно. Она окинула мужчин быстрым взглядом.

— Пятьдесят франков с каждого,— сказала она.

Что-то бормоча, Оноре скрюченной от ревматизма рукой порылся у себя в карманах. Он проклинал непреклонность Жозефа. Четвертый мужчина, лесоруб, только что получивший деньги за сезонную работу, сразу рассчитался и ушел. Жозеф положил несколько грязных скомканных бумажек и вслед за ним направился к выходу. Оноре все еще шарил в карманах. Сильвэн, у которого была целая пригоршня мелочи, заметил это и повернулся к нему.

— Оноре?..

Он быстро протянул деньги. Оноре украдкой взглянул на Жозефа, когда тот, выходя, чуть заметно покачал головой. Оноре тяжело вздохнул.

— Merci, non, merci. Я сам могу заплатить.

Он вывернул последний карман. Его невестка спокойно ждала. Вот она, воплощенная неблагодарность! — вначале получила все наследство матери, а теперь «каждый платит за себя», словно в этом доме он был чужим, как собака или какой-нибудь мошенник. Оноре швырнул на прилавок все деньги, какие ему удалось наскрести. Люсьена собрала их и ловко подсчитала.

— Не хватает франка и семидесяти пяти сантимов, — сказала она.— Я запишу на твой счет. Спокойной ночи, папаша.

Оноре ворчал, пока Люсьена, наклонив голову, заносила его долг в узкую и длинную бухгалтерскую книгу. Выходя, он громко хлопнул дверью — Жозеф оставил ее открытой.

Небольшая площадь перед лавкой, вымощенная треснувшими каменными плитами, деревенская водокачка, сломанный деревянный сток — при свете луны все казалось покрытым льдом. Оноре стало холодно. Лесоруба уже не было видно, а вот Жозеф, вероятно, еще где-то здесь. Посреди площади стоял Сильвэн. Приложив руки ко рту, он кричал вслед Жозефу:

— А я все-таки видел оленя! Клянусь! Я видел его! Не вздумай потом говорить, что я тебя не предупредил!

Его голос прозвучал протяжно и безнадежно. Никто не ответил. Сильвэн повернул назад, на ходу застегивая мундир. Заметив Оноре, он пробормотал, как бы извиняясь:

— Bonne nuit, Оноре...

Оноре подождал немного, а потом нерешительно ответил:

— Bonne nuit...

* * *

Сильвэн засунул руки в боковые карманы и не спеша побрел к своему дому. Он шел, слегка подавшись вперед и сгорбившись. Ему было столько же лет, сколько и Жозефу, но на вид можно было дать около

шестидесяти. Оноре почувствовал внезапный приступ жалости, который, однако, скоро прошел. Зачем этот болван пытается разбогатеть с помощью немцев? Жозеф был прав. Конечно прав. Даже с пятьюдесятью франками...

Слезящиеся глаза Оноре внимательно осмотрели лесистые склоны холмов. На ферме Хуберт мерцал огонек. Наверно, хозяйке там никогда не надоедало читать! Вокруг луны появилось кольцо. На рождество наверняка будет мороз. Шел третий год войны. Будь она проклята!

Оноре открыл дверь в свой невзрачный холостяцкий дом. Стоя на пороге, он вдруг, наконец, понял, о чем говорил Сильвэн в лавке Люсьены и что прокричал вслед Жозефу. Олень пришел в наши места. Сердце старика тревожно забилось. Он почувствовал внезапное желание побежать в деревню и передать всем, что сказал Сильвэн. Оноре стоял, все еще держа руку на щеколде, пока по телу его не пробежала дрожь от холода металла. Sacrebleu! Не хватало только получить из-за всего этого ревматизм! Оноре быстро вошел в дом.

* * *

В ярком лунном свете олень пересек дорогу и замер на краю леса. Он слегка потянул воздух, приподняв переднюю ногу. При свете луны он был подобен изваянию. Лишь серебристое от мороза дыхание выдавало в нем жизнь. Это было огромное животное, с рогами, напоминающими подводное коралловое дерево. Два года назад местные охотники насчитали тридцать разветвлений на его рогах.

Олень опустил переднюю ногу и медленно ступил на лесную тропу. Опавшие листья, сухие и хрустящие — этой осенью почти не было дождей,— слегка шуршали под его копытами. Олень узнал эти горные тропы и лес, где он обычно проводил зиму. Он не замечал, как проходили годы, но каждый раз, когда наступала зима, что-то тянуло его в этот лес. Ни одно рождество не проходило без его появления здесь. Олень знал, что находится в этих местах в полной безопасности. Правда, он не доверял существам, передвигающимся на двух ногах, — в нем жила непреодолимая робость животных, за которыми охотятся. Однако под внешней робостью таилась глубокая и неизъяснимая уверенность в том, что ему нечего бояться, уверенность, основанная скорее на чувстве, чем на опыте.

В оленя никто никогда не стрелял, если не считать единственной пули, слегка царапнувшей его много лет назад. Он был неприкосновенен. Король. Олень чувствовал, что этот лес принадлежит ему и что все об этом знают. Он носил свои рога, точно корону, выросшую у него на голове. Слава и гордость жили в нем, даже в самых кончиках его рогов, на которых уже начала шелушиться кожица. Олень осторожно почесывал их о голые ветки — движение, подсказанное мудростью первобытного инстинкта.

Олень отпрянул от водопоя, куда спускались животные помельче. Трава вокруг этого места была безжалостно вытоптана, от воды несло отвратительным запахом черных кабанов. Олень привык пить лишь чистую проточную воду, ее было так много в этом лесу.

Он шествовал по лесу, углубляясь в чащу, плавно неся свои рога, ветвистые, словно деревья, встречавшиеся на его пути, — лесной повелитель и в то же время дитя, заботливо оберегаемое всей округой.

* * *

На следующий день, рано утром, Мелани увидела Жозефа, проходившего мимо ее окна. На нем была форма, которую он надевал лишь в самых редких случаях. Все знали, что он почтальон, так зачем же ему

понадобились форменная фуражка, форменные пуговицы? Мелани разбудила Жана; он выругался и закашлялся. День был безветренный, окрашенный в мертвенно-серые тона. Жан надел плисовые штаны и старую рубаху. Мелани развела огонь и заварила цикорный кофе для Жозефа.

Почтальон сидел перед ними, коренастый, смуглый, мрачно глядя поверх своей чашки на старую чету.

— Сильвэн был прав, — наконец произнес он. — Сегодня утром, Жан, я был на звериной тропе в горах. Олень действительно вернулся.

— Для чего тебе понадобилась эта форма? — с беспокойством спросил Жан.

— Ведь боши на лесопилке, — коротко ответил Жозеф. — А почтальонов они не останавливают. Их я тоже видел. Они все обвешаны оружием.

Мелани поспешно подошла к столу, пристально вглядываясь в сидящих из-под своих морщинистых век.

— Теперь я знаю, для чего они здесь, даже если никто из вас, мужчин, не хочет объяснить мне! Партизанская армия, n'est ce pas? Она не дает им покоя, да? Немцы думают, что смогут выследить ее здесь, верно?

Мужчины посмотрели на Мелани и презрительно промолчали, словно она совершила такую чудовищную ошибку, на которую можно было ответить только молчанием. Мелани наклонила голову, повернулась и закрыла лицо шалью. Потом она вынула хлеб и холодное мясо из кладовой, поставила на стол и вышла.

Жан вздохнул, как бы извиняясь, развел руками и уронил их на свои тощие колени. На мгновение Жозеф плотно сжал губы. Затем он сказал:

— Надеюсь, второй раз она не проболтается, а?

Жан начал медленно резать хлеб.

— Послушай, — снова сказал Жозеф, — надо быть начеку. Другого выхода нет. Я пойду ночью вместе с кузнецом Жюлем. Ты с Оноре можешь идти днем. Захвати с собой небольшую тележку для сбора хвороста. Это не вызовет никаких подозрений. Двое стариков...

Жан свирепо стукнул по столу ручкой ножа.

— Стариков? Ты считаешь семьдесят шесть лет старостью? Не знаю, как Оноре, а я тоже могу пойти ночью!

Жозеф свернул папиросу и, послюнявив бумагу, сказал:

— Ты меня слышал, Жан. Другого выхода нет.

Жан угрюмо вонзил нож в хлеб.

— С этой старой ревматической бабой... Enfin... Раз уж так надо...

— И остерегайся Делькрёза с фермы Хуберт. Его жена, кажется, неплохая женщина, интересуется только книгами. Но ты ведь знаешь, он рексист*. Он захочет помочь бошам. Берегись и не действуй опрометчиво. Разве только...

Жан перестал жевать и поднялся со стула.

— Знаю, знаю. Дай мне немного свинца.

Жозеф повернулся спиной к окну, открыл почтовую сумку и передал Жану несколько коробок с патронами.

— Ружье в порядке?

— Я достал новенькую двустволку... Только что откопал ее...

Жозеф с шумом защелкнул свою сумку, встал и пошел к двери. Потом снова вернулся. Он шепнул старому браконьеру:

---

* РЕКС — фашистская организация в Бельгии, члены которой сотрудничали с нацистами.

— Больше ко мне не приходи. Если тебе что будет нужно, иди к господину кюре. Теперь все у него в доме. Следующий раз, как пойдешь на исповедь, можешь спросить у него.

Жозеф ухмыльнулся и вышел.

— Почаще исповедуйся, Жан. Это будет полезно твоей браконьерской душе!

Жан заковылял вслед за ним, утром он всегда был неповоротлив.

— Пропади ты пропадом, негодяй! — крикнул он вслед почтальону, но тот был уже далеко.— Кто у нас самый страшный браконьер во всей округе, черт тебя побери?

Жозеф лишь взмахнул папиросой.

* * *

Вот уже пять дней подряд Жан и Оноре сидели вместе в лесу, на холме. Жану до смерти надоела бесконечная болтовня Оноре и о его подагре и о всех напастях, которые сыпались на него из-за жадности Люсьены. В свою очередь Оноре мутило от бесконечных воспоминаний Жана — как он был лесником в поместье у барона, как натаскивал собак, как устраивал облавы и как вообще везет безбожникам-охотникам.

Жан считал Оноре ничтожеством, а Оноре Жана — хвастуном, разбойником и вором и в душе боялся его. Жан был безбожником и навсегда останется им. Даже теперь, спустя сорок лет, он и не подумал освятить христианским таинством свой брак с Мелани, хотя когда-то венчался с ней вокруг ракитового куста. Жан и Оноре не выносили друг друга, но сейчас долг связывал их. И не из-за Жозефа — о, совсем нет!— ради оленя терпели они друг друга.

До самого сочельника ничего не произошло. Затем случилось следующее.

Вечер был сырой и ветреный. Оноре растирал свои ревматические суставы. Он закутался во всевозможные платки и тряпки и стал похож на старую каргу. Жан курил одну вонючую трубку за другой. Деревья дрожали, слышался какой-то треск, будто чьи-то кости стучали. Оноре недолюбливал лес с наступлением сумерек, когда поднимался ветер, но Жану все было безразлично. Оноре радовался, что скоро освободится. Было подлинным испытанием не видеть ничего, кроме мертвых сучьев, старых заячьих кругов да кабаньих следов; не слышать ничего, кроме шороха ветвей, писка хорька и тревожного шелеста крыльев соек, круживших над головой.

— Иисус-Мария! — вдруг сказал Жан и вскочил на ноги.

Он так сильно толкнул Оноре, что тот сразу же очнулся от своей мрачной рассеянности.

— Вот и они! Живей собирай хворост, дурень... собирай хворост, если хочешь остаться в живых!

Жан уже нагибался и кидал охапки сухого хвороста на тележку. Вокруг него было достаточно веток. Оноре последовал примеру своего спутника, предварительно бросив быстрый взгляд на то место, где Жан спрятал свое ружье.

Немцы приближались. Их было пятеро. Одеты они были во все серое, а их походные вязаные шлемы при желании можно натянуть на самые уши — немного рановато для этого времени года! Они шли гуськом по широкой тропе. Командовал низкорослый, краснощекий человек, широкобедрый, как крестьянка.

Жан швырнул еще одну вязанку хвороста на тележку, когда немец остановился перед ним.

— Was soll das? Wer seid ihr? Was macht ihr?*

Жан не понимал его. Он уставился на немца с придурковатым видом. Бош хмуро взглянул на Жана.

— Verstehst wohl kein Deutsch, was?**

Он знаком подозвал одного из своих солдат.

— Валлер, ты из Мальмеди. Поговори с этими молодцами.

Валлер, молодой, подвижной, усердствующий парень, уже повторял эти вопросы на арденнском наречии. Жан навострил уши. Оноре, с охапкой сухих веток под мышкой, подвинулся ближе.

— Что мы здесь делаем? — сказал Жан. — Разве вы не видите? Собираем хворост — вот что мы делаем. Зима на носу.

Начальник нетерпеливо щелкнул пальцами в кожаных перчатках.

— Frag'sie, wo der Hirsch ist. Der grosse, mit dem prachtvollen Spiess.***

Жан и Оноре одновременно изобразили на своем лице изумление. Мысли Жана лихорадочно и яростно заработали. «Итак, они видели оленя. Они пришли убить его. На рождество немцам захотелось оленины. Охотятся с автоматами? Господи помилуй, да они просто грязные стервятники. Что боши, что стервятники — отбросы из отбросов».

— Здесь не водится что-либо крупное, — сказал Жан переводчику. — Здесь только зверь помельче — дикие кабаны, барсуки и лисы. Вон туда, — сказал он, указывая на невидимую точку по ту сторону невидимой долины, — приходят на водопой черные кабаны.

«Идите и охотьтесь на них, — подумал он. — Это как раз для вас. Свиньи против свиней». Он жевал концы своих свисающих усов, пока начальник, казалось, обдумывал его ответы. Вдруг немец выпалил, обращаясь к Оноре:

— Du! Wo ist der Hirsch? Tu mal das Maul auf! ****

Оноре в отчаянии потер свои костлявые руки.

— Да нет его здесь, — ответил он. — Мой товарищ сказал вам правду. Вот лисы здесь водятся да еще сойки и сарычи. Их там много в буковом лесу за холмами, вдоль дороги. Но олени здесь больше не водятся.

— Frech!***** — сказал немец, услышав перевод. И он снова попытался разгадать мысли стариков.

— Marsch nach Hause!****** — сказал он им.— Лес наш! Хворост больше не собирать! Поняли? Hoppla!

Он смешно взмахнул руками, точно прогоняя стадо овец. Солдат из Мальмеди больше не переводил. Остальные немцы враждебно молчали. Жан и Оноре давно уже поняли, что все это означало.

В то время как они толкали тележку, немцы с винтовками наготове медленно двинулись вперед. Оноре взглянул на Жана и увидел, как по его смуглому морщинистому лицу катились две слезы. Оноре охватила дрожь. «Конец оленю», — подумал он. Оноре нерешительно тронул рукой своего спутника, но Жан гневно отбросил ее.

— Вон они идут, — сказал он, внезапно останавливаясь и глядя на врагов. — Они убьют его! Оноре, эти злодеи убьют его. Где мое ружье?

Жан бросил тележку и обернулся. Оноре, неуклюжий, согнутый ревматизмом, тяжело дыша, бросился к Жану и изо всех сил вцепился в его руки.

---

* Что это такое? Кто вы такие? Что вы здесь делаете?

** Ты что, не понимаешь по-немецки?

*** Спроси их, где олень. Тот, большой, с великолепными рогами.

**** Эй, ты! Где олень? Раскрой свою пасть!

***** Наглец!

****** Пошли домой!

— Ради Христа, Жан. Ради Христа... Боши еще близко, они пристрелят тебя на месте. Ради Христа...

Они боролись молча. Слезы старого браконьера капали на руки Оноре. Ветер свирепо завывал над их головами. Оноре что есть силы тряс своего спутника.

— Жан, нам нужно предупредить остальных ребят. Мы должны пойти к Жозефу. Жан!..

Жан перестал сопротивляться и уставился на Оноре.

— Иди ты, — сказал он. — А я останусь здесь. Я не могу отдать оленя... им!

Жан подтолкнул старика вперед. У Оноре был обиженный и испуганный вид, в наступавших сумерках его глаза казались белыми. Оноре пожевал губами несколько раз, затем повернулся и неуверенной походкой заспешил по направлению к деревне.

* * *

Было бы совсем темно, если бы не красновато-желтый серп луны, уже убывающей, но все еще достаточно светлой, чтобы даже в глухих местах найти дорогу.

А Жан мог пройти весь лес с закрытыми глазами. Держа в руке охотничье ружье, он крался вслед за немцами, осторожно ступая и пригибаясь. Он не видел их, но временами слышал протяжный блеющий крик «бе, бе», с помощью которого немцы пытались поднять оленя. Ярость старика все время нарастала. Она гнала его вперед, удесятеряя силы. Жан непроизвольно слизывал с губ капельки пота. Он был слишком опытен, а его охотничье искусство — именно искусство, а не ремесло, не навык — слишком изощренно, чтобы теперь, после того как он так долго пробирался по лесу, выжидал и прислушивался к их варварскому блеянию, не почуять приближения оленя. Для него это было словно колеблющееся, смутное предвестие. Жан попытался отогнать от себя это ощущение, надеясь, что животное само окажется достаточно сообразительным и уйдет. Но он ошибся — не потому, что его подвело охотничье чутье, тонкое, как у гончей, а потому, что он понадеялся на невозможное.

Крики немцев усилились, они звучали теперь победоносно и грубо. Ненависть душила Жана — им удалось поднять оленя. В этом не было никакого сомнения. Лес сразу же наполнился буйным охотничьим азартом. Не хватало лишь лая собак и звука рогов, чтобы дополнить ужасную картину происходящего.

Что он мог сделать? Жан лежал обессиленный. Он даже не взвел курка. Он не мог думать. Он ждал трагической развязки. И вот она наступила.

В отдаленной дубовой рощице раздались короткие, негромкие и частые выстрелы. Злобное эхо раскатилось по рощице и холмам. Жан рыдал. Он не мог предотвратить убийства. Жозеф был прав. Он, великий браконьер и охотник, чьи рассказы слышны были по всей округе в долгие зимние вечера, теперь превратился в немощное, жалкое, бессмысленное существо... Жан вздрогнул, снова прозвучал отдаленный залп. Затем он встал во весь рост. «Стервятники! — кричало в нем все.— Разве они и с оленем воюют? Так обычно стреляют на войне, а не на охоте. На войне? Господи Иисусе,— подумал он,— у нас же война с ними. И у Жозефа, и у Оноре, и у меня. Все Арденны с ними воюют».

Жан взял свое ружье, новое охотничье ружье с новыми патронами. Он опустился на одно колено, тяжело опираясь о приклад.

Жан широко открыл глаза. Неподалеку от него из чащи выбежал немец. Бош бежал туда, откуда доносились злобные крики, выражение немецкого исступленного веселья. Жан быстро прицелился. Но прежде

чем он успел взять верный прицел, прогремел выстрел. Это был выстрел из охотничьего ружья, выстрел охотника.

Немец замер, пошатнулся и упал на землю, словно сбитый невидимой рукой. Винтовка выпала из его рук. Тело его извивалось и корчилось.

Жан так и застыл на месте. Кто-то опередил его. Жозеф? Правда, Оноре ушел в деревню предупредить Жозефа. Но трудно было представить себе, чтобы они могли уже вернуться, даже если и пошли через пашню. И тут Жан увидел человека, который, крадучись, выполз из-за сухих папоротников. Он осторожно подобрался к немцу, поднял свое ружье и несколько раз ударил боша по лицу прикладом. У Жана перехватило дыхание. Когда человек повернулся, направляясь назад к роще, Жан узнал его. Это был Сильвэн, тот самый Сильвэн, который сотрудничал с немцами.

* * *

Огонек на ферме Хуберт пробивался сквозь тонкую паутину тени и лунного света. Немцы продвигались небольшой колонной к фермерскому дому на холме; впереди, с револьвером в руке, шагал фельдфебель. Каждые десять шагов его пугал какой-нибудь пень, а увидев на перекрестке старое деревянное распятие, он даже заметно вздрогнул. Но тут же выругался для храбрости и зашагал дальше. Его солдаты были перепуганы еще больше. На опушке леса, где сразу же начинался фермерский фруктовый сад, немцы остановились. Фельдфебель отер лицо.

— Пошли, — сказал он и свернул на тропинку, ведущую к дому.

Он барабанил кулаком в кожаной перчатке до тех пор, пока дверь не открыли. На пороге в квадрате неяркого света стоял рексист Делькрёз. Это был рослый мужчина лет пятидесяти, с седеющими волосами и узким озлобленным лицом. Видно было, что этому человеку не очень-то повезло в жизни. Увидев немцев, он тут же по-фашистски приветствовал их.

Фельдфебель, остановленный этим приветствием — он рвался отомстить первому встречному, — снова выругался.

— Член партии? — спросил он Делькрёза.

Валлер из Мальмеди тотчас же занял свое место позади фельдфебеля и перевел. Делькрёз посторонился, приглашая их жестом войти в дом.

— Рекс,— ответил он.

Немцы с шумом, тяжело ступая по каменным плитам коридора, прошли в комнату. Там за круглым столом сидела женщина с книгой в руке. Она взглянула на немцев поверх очков и не произнесла ни слова. На стенах висели портреты Гитлера и Дегрелля*, а на внутренней стороне двери была приколота иллюстрация, вырезанная из нацистской газеты «Сигнал»: эсэсовцы на Восточном фронте. Фельдфебель взглянул на нее, нахмурил брови и тяжело опустился на самый удобный стул, Его солдаты стояли неподвижно. Делькрёз закрыл дверь и спросил, чем он может быть полезен господам.

Фельдфебель снял перчатки. Неожиданно сказался страх — его руки дрожали. Немец пошевелил губами, глубоко вздохнул и разразился ругательствами. Женщина сняла очки и смотрела на него, как на больного в тяжелом припадке. Делькрёз наклонил голову, хотя так же, как и его жена, он не понял ни слова. Это был целый поток нацистских проклятий, непристойностей, угроз и приказаний. Когда иссяк этот истерический поток, Валлер выступил вперед. Его голос походил на стук пишущей машинки.

— Мы отправились на оленью охоту. Один из наших пяти солдат

* Глава бельгийских рексистов, эмигрировавший после войны во франкистскую Испанию.

был вероломно застрелен террористом. Сегодня вечером мы арестуем всех мужчин в деревне и произведем обыск, чтобы найти оружие. Если мы обнаружим партизан, то расстреляем их на месте. Честь германского вермахта не должна оставаться неотомщенной. Мы найдем преступника, даже если нам для этого пришлось бы вспахать все Арденны. Вы, конечно, останетесь на свободе.

Руки Делькрёза крепко сжали край стола. Кровь отхлынула с его узкого морщинистого лица.

— Охота на оленей? В этих местах есть только один олень...

Валлер перевел. Фельдфебель подпрыгнул и ударил перчаткой по столу.

— Олень? Какое отношение имеет этот проклятый олень к тому, что произошло? Ваш олень уже erledigt*. Речь идет о нашем убитом товарище! С этой минуты объявляю здесь военное положение!..

Валлер перевел.

Делькрёз обернулся к жене. Его нижняя губа дрожала. Он закусил ее. Женщина с шумом захлопнула книгу. Она поднялась со стула и стала прямо перед Валлером. Затем проговорила медленно и спокойно:

— Скажите вашему начальнику, что произошло нечто ужасное. Этот олень дороже жизни тысячи людей. В него ни в коем случае нельзя стрелять. Скажите это вашему начальнику. Уже в течение многих лет олень приходит к нам на рождество. На его рогах тридцать разветвлений. Он покровительствует охотникам нашего края, оберегает нас от эпидемий и неурожаев. Передайте вашему начальнику, что убийство этого оленя — величайшее бедствие, какое когда-либо могло нас постигнуть...

Валлер перевел.

В первый момент фельдфебель не произнес ни слова. Затем он начал смеяться. Он втягивал голову в плечи, пока жирные складки кожи не растеклись по низкому воротнику его мундира, и презрительно хохотал.

— Так это чудо-олень, а? Ну и люди! Вешают на стенку фотографию Адольфа Гитлера и верят в бабушкины сказки. Можно подумать, что мы живем в средние века! — И без того красное лицо немца побагровело. Он с трудом сдерживался. — Проклятие! И это двадцатый век, век техники, век немецкого солдата! — Он топнул ногой по стертому полу. — Мне нужны носилки, чтобы принести убитого, и проводник. — Фельдфебель направил пистолет в грудь Делькрёза. — Ты пойдешь с нами. У тебя есть доски, веревки и матрац?

Делькрёз выпрямился.

— Я дам все, что вы просите. Но сам я не могу пойти — у меня корова вот-вот должна отелиться. Вы ведь знаете, какова жизнь крестьянина. Мой работник пойдет с вами.

Когда Валлер перевел, мелкие сосуды на чисто выбритых щеках немца начали вздуваться и лицо его посинело. Он открыл рот. Делькрёз невольно втянул голову в плечи. Но немец взял себя в руки.

— Хорошо, — проговорил он. — У меня нет времени на длинные объяснения.

Затем повернулся к женщине, которая все это время внимательно смотрела на него, и прищелкнул каблуками.

— Je vous salue, madame.** А волшебные сказки выбросьте из головы. Лучше подумайте о том солдате, который лежит сейчас мертвый в лесу, подумайте о всех тех людях, которые умирают за рейх!

И на прощание он повернулся к Делькрёзу.

— Hoppla, marsch! Работать надо!

---

* Уничтожен *(нем.)*.

** Приветствую вас, мадам *(франц.)*.

* * *

Стоя во дворе своего дома, Делькрёз долго смотрел немцам вслед, покуда те не скрылись из виду и пока не замер в лесу последний отзвук их шагов; затем он вернулся в комнату. Его жена сидела за столом, нервно вертя в руках очки и книгу. Ее глаза были красны. Но теперь она уже не плакала. Делькрёз виновато взглянул на жену, словно ожидая ее упреков.

Но она только спросила:

— Ну, что дальше?

Делькрёз взял со стула свое пальто и не спеша надел его.

— Все ясно, — сказал он.

Ее рука неподвижно лежала на книге, пока он ходил в старую кладовую. Вернулся он с ружьем за плечами. Тогда женщина встала. Она подошла к темно-красному буфету и вынула оттуда хлеб и овечий сыр. Делькрёз молча следил, как она завернула все это и протянула ему. Он положил сверток в боковой карман и подошел ближе. Глаза его были опущены.

— Берта, — сказал он. — Второй раз за двадцать пять лет я принял негодяев за друзей. Клянусь тебе, это будет в последний раз.

Берта ничего не ответила. Делькрёз поднял глаза и увидел, что ее взгляд направлен на портреты фашистов на стене. Поколебавшись, он шагнул вперед и стал спокойно и решительно снимать их. Когда Делькрёз хотел сорвать фотографию с изображением солдат на Восточном фронте, Берта быстро отвела его руку. Делькрёз удивленно посмотрел на нее.

— В чем дело?

Глазами, полными ненависти, она пристально разглядывала нацистских солдат в белых маскировочных халатах.

— Пусть висят, — сказала она. — Я буду смотреть на них и думать о том, что ты воюешь против них; я представлю тебя среди тех, кто сражается с *ними*.

Он надвинул на глаза свою старую, помятую и вылинявшую от дождей шляпу с узкими полями.

— Я ухожу, — сказал он. — Крепись, Берта. Кто знает, что еще может случиться. Я не знаю даже... примут ли меня ребята.

В первый раз Берта улыбнулась.

— Нет, нет, — сказала она. — Они примут, обязательно примут. Ступай к Жозефу-почтальону. Передай ему от меня привет, Камилл, и он поймет.

Делькрёз изумленно смотрел на нее.

— Жозеф-почтальон? Иисус-Мария... И ты знала...

Она подтолкнула его к двери.

— Я умела молчать, верно? Да, он в партизанской армии. Теперь иди, Камилл, не теряй времени. Предупреди людей в деревне, прежде чем немцы вернутся сюда.

— Да, — сказал Делькрёз. — Мы отомстим за оленя.

Он уже шагнул было за порог, когда Берта притянула его к себе. Своими огрубелыми ладонями она сжала его голову и поцеловала в лоб, неловко и застенчиво, словно удивляясь, что после стольких лет ее нежность все еще жива.

Г. Шатков

Гуманизм Лакснесса

Исландский писатель Халлдор Лакснесс уже давно зарекомендовал себя как художник-гуманист, воспевающий золотое сердце и светлый разум народа. Любовь к людям труда переплетается в его произведениях с неистребимой враждой к миру собственности, звериного эгоизма и угнетения. Эта любовь и эта вражда являются источником социалистических симпатий Лакснесса.

Не сразу и не прямым путем пришел писатель к убеждениям, которые ныне питают его творчество.

Лакснесс родился в 1902 году, его детство совпало с начальным этапом развития капитализма в патриархально-аграрной Исландии. В первые два десятилетия нашего века в жизни страны еще не было острых классовых антагонизмов, к тому же народ был объединен общим стремлением к национальной независимости, которой он добился только в 1918 году.

Эти обстоятельства, а также религиозное воспитание объясняют абстрактный характер этических взглядов молодого Лакснесса, отсутствие социальной проблематики в его ранних произведениях, призывавших к нравственному совершенствованию. Однако уже в годы юности Лакснесс понимал, что лучшие душевные качества — достояние простых тружеников и что привилегированные сословия аморальны и глухи к страданиям обездоленных. Крестьяне Исландии, из среды которых он вышел, были для него примером трудолюбия и мужества. Воплощение доброты, справедливости и народной мудрости он видел в своей бабушке Гудни Кленгсдоттир, научившей его важным житейским правилам и познакомившей его с исландскими сагами и старинными песнями. На всю жизнь сохранил Лакснесс благодарную память о великодушии и бескорыстии своего друга Эрлендура Гудмундссона и его матери Уны. В доме Гудмундссона, конторского служащего из Рейкьявика, он всегда находил поддержку, которую, впрочем, гостеприимные хозяева оказывали всем, кто в ней нуждался,— начинающим поэтам, бедным студентам и другим людям без крова и средств к существованию.

Еще в детстве Лакснесс столкнулся с фактами ужасающей нищеты и унижения трудящихся, с трагической судьбой многих талантливых людей. Видел он также презирающих народ чиновников, невежественных, жадных до денег купцов-спекулянтов, лицемерных и эгоистичных пасторов.

Жизненные наблюдения молодого Лакснесса дополнялись образами и впечатлениями, почерпнутыми им из книг. На школьной скамье он увлекался романами Льва Толстого и Бьёрнстьерне Бьёрнсона. Произведения Гамсуна и Стриндберга усиливали в нем протест против буржуазной «городской» цивилизации. Рассказы Максима Горького помогли начинающему писателю определить свои взгляды на задачи искусства.

Многое из увиденного и прочитанного в молодые годы легло в основу юношеского творчества Лакснесса. Писать он начал очень рано, в четырнадцать лет он уже был автором романа под названием «Рассвет». Этот роман не сохранился. Вот что нам известно о нем из позднейшей автобиографической работы писателя «Я покинул дом»:

«От «Рассвета» в памяти осталось немногое, помню только, что я пытался подражать манере Бьёрнстьерне Бьёрнсона; из героев мне больше всего нравились люди тихого нрава и идеалисты, которые поклонялись рационализму, любили людей, шли по божьим путям; отрицательные персонажи были сектантами и догматическими проповедниками... Назначение романа я видел в проповеди любви к людям».

В следующем своем романе «Дети природы» (1919), написанном под влиянием Бьёрнсона и Гамсуна, Лакснесс восхваляет крестьянский труд как условие человеческого счастья и противопоставляет морально разложившимся стяжателям «из города» чистоту и цельность «детей природы». Романтически приподнятые образы людей, живущих в непосредственной близости к природе, встречаются в рассказах Лакснесса 1919—1920 годов, например в рассказе «Богатыри», где дается обобщающая характеристика исландских крестьян: «Я знал этих богатырей, которые каждый день ведут

борьбу с силами природы; я видел их собственными глазами, жил среди них. Они знают своих животных, горные пастбища и перевалы. Они ходят в церковь лишь время от времени — и то для того, чтобы поговорить друг с другом об уходе за овцами, о деревенских делах и чтобы уплатить свои долги пастору. Они мыслят образами будущей непогоды и тяжелых жизненных испытаний. Их язык неприглажен, а слова просты. Они смеются редко и угрюмо, но никогда не плачут». Лакснесс показал в «Богатырях», что за суровым обликом этих людей скрывается подлинная человечность, что им ведомо сострадание к односельчанину, попавшему в беду, и они стремятся помочь его матери делом.

Не плакал и не отступал перед трудностями крестьянский сын Снорри, полуголодный и оборванный подросток, с любовью описанный Лакснессом в рассказе «История о людях из Кольфакота». В зимнюю вьюжную ночь он отправился с одинокого хутора за помощью для своих тяжело больных родителей. Пастор, к которому обратился мальчик, лишь на словах посочувствовал заболевшим, но помощи никакой не оказал, так как не хотел выходить из дома в буран. Обличительный мотив, наметившийся в эпизоде с пастором, звучит еще более явственно в изображении горькой судьбы центрального героя этого рассказа — Тоурдура. До самой своей смерти он и его семья влачат жалкое, беспросветное существование. Единственным светлым пятном в жизни Тоурдура было его пребывание в тюрьме — там он каждый день получал пищу, причем некоторые блюда «могли бы показаться на хуторе Кольфакот лакомством».

Однако эти критические мотивы не являются типичными для ранних рассказов Лакснесса. Их основная стихия — сочувствие обездоленным. Именно в нем видел молодой писатель источник художественного творчества. При этом он наивно полагал, что изображение мучений бедняков и их доброты может пробудить у богатых чувство жалости и сострадания. Отсюда понятно, почему призыв к нравственному совершенствованию был для него главной целью искусства. В 1921 году в статье «Последняя книга Гамсуна» он четко изложил свои взгляды на задачи искусства; статья содержит резкий отзыв о романе «Женщины у колодца» и обвиняет Гамсуна в презрении к простым людям, в декадентском надругательстве над человеческим достоинством. Полной противоположностью норвежского писателя Лакснесс считает Максима Горького: «Он обычно пишет о пасынках общества, но он так добр, что смотрит в глаза людям — какими бы жалкими они ни казались,— пока не почувствует к ним сострадания. Такой человек затрагивает самые святые и чувствительные струны в груди читателя. Такие люди, такие писатели являются духовным сокровищем. Ибо... в борьбе людей за свое совершенствование побеждает только то, что рождено любовью, и я не думаю, чтобы без нее человечество добилось какого-либо успеха...» С этих позиций Лакснесс оценивает современную ему упадочную литературу и определяет задачи художественного творчества: «Искусство для искусства» и т. п.— это искусство, унижающее человека... это искусство, помогающее развязывать войны и убивать людей... Но чего стоит искусство, если оно служит чему угодно, только не человеческому совершенствованию?»

Жизнь подвергла воззрения юного Лакснесса серьезному испытанию. Не успела отгреметь первая мировая война, как газеты начали приносить известия о революционных выступлениях в Европе. Сама Исландия, получив независимость, вступала в новый период своего существования. В обществе и в литературе появляются свежие силы, идут упорные поиски новых форм жизни и творчества.

Однако в этой обстановке известная часть интеллигенции Рейкьявика увлеклась мистикой, спиритизмом, древневосточными учениями о самосозерцании, о невмешательстве в суетные дела бренного мира. Лакснесс отдал дань этим увлечениям. Им на смену пришел пессимизм, вынесенный писателем из скитаний по странам послевоенной Европы, где на фоне страшных бедствий миллионов резко выделялась роскошь кучки богачей и спекулянтов. С болью и гневом передает он свои впечатления о социальных контрастах в Австрии и Германии в письмах из-за границы и в философской исповеди «Красная книжка» (1921—1922): «Сильные мчатся в золотых каретах по телам людей, и тысячи гибнут под колесами. Тираны напевают, массы стонут. С одной стороны — ослепительные благородные металлы и драгоценные камни, с другой — ужасающая грязь, которую трудно описать словами... С одной стороны — высокомерие, власть, наслаждения, с другой — унижения, гибель, разложение».

Впервые со всей ясностью Лакснесс говорит о преступности буржуазии, ввергшей народы в империалистическую войну: «Отечество», за которое пролилось столько крови,—это лысые капиталисты с жирным брюхом и вставными зубами; «свобода», вызвавшая столько злодеяний, была всего-навсего их стремлением обогатиться».

Картина народных страданий, открывшаяся перед писателем в начале двадцатых годов, приводит его к ложному выводу, что человек по природе зол и порочен. Он вновь обращается к идее нравственного перевоспитания людей и ищет опору своим мыслям в католицизме. В 1923 году Лакснесс принял католичество и начал изучать богословие. Религиозное учение о ничтожестве людей перед лицом бога на время оторвало писателя от действительности, от национальной почвы и породило в его сознании мучительные противоречия.

В письмах, статьях и книгах 1923—1925 годов он яростно обличает духовное оскудение «человека вообще», распространяя на все общество пороки господствующих клас-

сов. «У современного человека,— пишет он в одной из статей этих лет,— сто пятьдесят мировоззрений, но ни одно из них не является его собственным. Его собственное мировоззрение — это единственное, чего у него нет. Он этого не осознает, но психологи знают, что, с его точки зрения, жизнь — обман, труд — бесполезен, учение о добродетелях — своего рода мифология, бог — эстетика, правда — дым из трубы. Этот человек ни за что не борется, не приносит никаких жертв... и является отвратительным трусом».

В эти годы Лакснесс перестает восхищаться исландскими крестьянами. «Исландцы,— пишет он в одном из писем,— идеальные варвары — я избегаю каких-либо исключений». Выше всех смертных он ценит теперь образованных монахов, обладающих твердыми религиозными взглядами и непоколебимыми добродетелями.

Лакснесс теряет вкус к исландской народной культуре, к сагам, они ему кажутся скучными и сухими. Он отрекается от реалистической литературы XIX века, в которой видит «засилье литературной черни». Зато его внимание привлекают произведения Фомы Кемпийского. В модернистской литературе, у сюрреалистов, в романах Бурже и Маргерита он искал доказательства «исконной порочности» человеческой натуры. Проповедь спасения души, обличение человеческой «скверны» и восхваление бога Лакснесс считает теперь первой обязанностью искусства. Вышедший в 1924 году роман Лакснесса «У подножия святой горы» повествует о превращении бессердечного, воспитанного на Брандесе и Ибсене пасторского сына в доброго христианина.

И все же Лакснесс не стал ортодоксальным католиком. Слишком прочны были его связи с жизнью, слишком сильно стремление облегчить земные судьбы людей. Характерно, что именно в эти годы он впервые знакомится с марксизмом и пытается примирить его с христианством. Но такое примирение было невозможно. Лакснесс оказался перед дилеммой: либо буржуазная идеология, либо идеология социалистическая. Перед этой дилеммой Лакснесс поставил героя своего философского романа «Великий ткач из Кашмира» (1927). Роман повествует о долгих и болезненных колебаниях писателя Стейдна Эдлиди между жизнью и догмой, людьми и богом. Эдлиди выбрал бога, но не таков был выбор самого Лакснесса.

Стремясь найти выход из тупика, в который его завела религия, писатель в 1926 году возвращается в Исландию с твердым намерением «изучить свой собственный народ». Он посещает самые отдаленные уголки страны, избегая «туристских маршрутов». Перед ним открылась мрачная картина нищеты и физического вырождения в исландской деревне, однако она не заслонила собой здоровые стороны крестьянской культуры, богатую одаренность простых тружеников. Впечатления о поездке Лакснесс описал в ряде газетных статей, в которых он призывает побороть нищету народа, построить новые дома, электрифицировать деревню, организовать сельскохозяйственные артели. Так произошло обращение Лакснесса к человеку. В статье «Электрификация деревни» он писал: «Тот, кто хоть раз увидел в мире безграничную нужду, никогда не освободится от мысли, что надо залечить все раны, которые человек в силах залечить. Я люблю людей и звук человеческих шагов... Благо людей — мое благо. Боль людей — моя боль. Это — самая глубокая из всех человеческих истин».

Любовь к человеку принимает теперь у Лакснесса социально-активную форму. Писатель изобличает преступность буржуазного общества, он зовет на борьбу с этим обществом: «Самое прекрасное христианство в наши дни — это возбуждать недовольство раба своей судьбой, учить его выдвигать требования, совершать революции, становиться человеком». Все более ясно Лакснесс начинает понимать, что христианская любовь к ближнему неспособна ликвидировать нужду народа, что религия в угоду угнетателям примиряет трудящихся с этой нуждой.

Сближение Лакснесса с народной жизнью преобразило его воззрения на литературу. В одной из статей этих лет он решительно заявляет, что героями литературы должны стать бедняки, пролетарии — они представляют более интересный материал для художника, чем «буржуазная среда с ее узкоклассовыми воззрениями и закоренелыми предрассудками». Такая задача вскоре встала и перед самим Лакснессом, так как во многих его рассказах 1919—1920 годов и в первых романах главными действующими лицами были выходцы из буржуазной среды; в дальнейшем образы простых тружеников занимают в его произведениях центральное место.

В той же статье он высоко оценивает талантливость рассказчиков из народа и отмечает, что их устные рассказы очень часто не уступают произведениям печатной литературы и дают ей новые идеи. Что же касается ценности литературных произведений, то она зависит от того, «...как в них ведется повествование и какие взгляды на перспективы человеческой жизни они излагают». Таким образом, главная цель литературы, по мнению Лакснесса, состоит в указании перспектив человеческой жизни. Новое понимание задач литературы выступает здесь со всей очевидностью: религиозно-этические проповеди не способствуют устранению социального зла, только искусство, освещающее смысл борьбы и труда людей, помогает выполнить эту задачу. Сближение с жизнью и ее проблемами привело Лакснесса к передовым общественным и эстетическим идеям, которые распространялись в двадцатые годы в Исландии и за границей.

Капиталистическое развитие в Исландии в этот период несло с собой усиление классовой борьбы, все более уверенные шаги делало рабочее движение, укреплялась демо-

кратическая журналистика. Все большее распространение приобретал революционный опыт молодой советской России. Многие из идей, воспринятых Лакснессом, носили социалистический характер. Но социалистом по убеждениям он еще не был. Для этого ему надо было увидеть и пережить то, что он увидел и пережил в конце двадцатых годов.

С 1927 по 1929 год Лакснесс жил в США. Пребывание в Америке, которое было связано с некоторыми творческими планами писателя, оказалось для него школой социалистического воспитания. Основными «учебными пособиями» в этой школе служили факты американской действительности: голодающие безработные под окнами миллионеров и на скамейках парков, казнь Сакко и Ванцетти, вызов в полицию для проверки образа мыслей, пошлые фильмы, пресмыкательство литературы перед бизнесменами. Ища объяснения этим фактам, Лакснесс читает произведения Маркса, внимательно следит по печати за жизнью Советского Союза и приходит к решению вернуться на родину, чтобы начать «серьезную борьбу — политическую борьбу за благосостояние страны и народа, борьбу за власть, борьбу за идеал — непрерывную, беспощадную, пожизненную борьбу за превращение Исландии в передовое государство».

Первым актом этой борьбы явилась «Книга народа» — сборник статей, написанных Лакснессом в Америке и изданных в 1929 году в Исландии. «Книга народа» проникнута стремлением преобразовать жизнь исландского народа в духе социализма. Экономика и политика, вопросы брака и религия, воспитание детей и искусство — все, о чем Лакснесс думал и писал до своей поездки в США, вновь подвергается в ней пересмотру и уточнению. В одном из писем 1929 года он еще более решительно, чем прежде, заявляет о своем отказе от веры в бога: «Мне надоела всякая религиозная болтовня, я больше не хочу о ней слышать». «Евангелием новой культуры, — пишет Лакснесс в «Книге народа», — является человек, человек как самый совершенный биологический вид, человек как общественная единица, человек как символ и идея жизни...»

Но человек, о котором теперь говорит писатель,— это уже не «человек вообще», а простой труженик, на его нищете и страданиях основано благосостояние капиталистов; капиталистическая система является по своей природе «сплошной преступной организацией, построенной на одном основном принципе — привилегия самых агрессивных человеконенавистников»; поэтому пролетариям надо объединиться, чтобы отнять у них власть и создать свое государство, где средства производства будут использоваться на благо народа, а не для обогащения «капиталистических разбойников». Необходимо, продолжает Лакснесс, чтобы все народы, подобно народам России, поняли преимущество такого государства, подтвержденное «человеколюбивой наукой». Здесь впервые с такой четкостью Лакснесс излагает свои политические взгляды, подчеркивает ведущую революционную роль рабочего класса в истории и значение пропаганды социализма в народных массах.

Новый, социалистический взгляд на общество позволил писателю более глубоко понять национальный характер исландского народа, открыть в нем черты, которых он раньше не замечал. Лакснесс с гордостью указывает на исконное свободолюбие исландцев, которое не смогли сломить ни церковь, ни длившийся веками чужеземный гнет. Устойчивость демократического духа народа Лакснесс объясняет живыми традициями родового общества — их донесли до современности саги и песни,— а также тем, что в Исландии никогда не было дворянства и крепостного права. Повсеместное пробуждение этого духа в Исландии двадцатых годов укрепляло веру писателя в светлое будущее страны, усиливало его любовь к народу и отвращение к космополитизму: человек «вне своей нации,— писал Лакснесс,— не что иное, как наемный раб — он... безличен, заживо мертв, он — листва, брошенная на волю ветра».

Лакснесс считает связь с жизнью, с народом главным условием художественного творчества: только тот писатель создаст хорошие книги, кто «смотрит на вещи с точки зрения жизненного развития». Вместе с тем он не умаляет роли мировоззрения в искусстве, оно является вдохновляющим источником искусства, но не должно, по мнению писателя, выступать в художественных произведениях непосредственно, вне системы образов. Как и прежде, Лакснесс видит источник подлинного искусства в любви к людям, но сама эта любовь, а также взгляды писателя на человека и на цели искусства претерпели коренное изменение.

За двадцать девять лет, прошедших со времени опубликования «Книги народа», Лакснесс создал большое количество произведений, бесконечно отличающихся друг от друга по содержанию и форме. Но в целом они представляют собой единое эпическое повествование о простом человеке, единую оптимистическую трагедию исландского народа. Из книги в книгу Лакснесс проводит мысль о том, что капиталистическое общество несправедливо и бесчеловечно, что людям труда надо расти духовно и бороться с этим обществом, что источник творческих сил интеллигенции — в любви к народу, в знании его дум и чаяний.

Характеризуя настроения своих соотечественников в конце двадцатых годов, Лакснесс в «Книге народа» писал: «В самых отдаленных местах живет непоколебимое стремление к духовному развитию. В растущем сейчас поколении нет чувства довольства, этой чумной бациллы глупости и застоя. Все находится в брожении. Люди требуют более глубокой, богатой духовной жизни. В каждом молодом исландском сердце живет радостное предчувствие и ожидание чего-то великого и чудесного».

Первый крупный роман зрелого Лакснесса — «Салка Валка» (1931—1932) — воссоздает эту атмосферу. Героиня романа, юная рыбачка Салка Валка из заброшенного приморского селения, символизирует стремление простых людей к духовному развитию, к более яркой и содержательной жизни.

Нищенская, бездомная юность выпала на долю Салки, она еще в детские годы стала свидетельницей мученического существования матери, забитой и невежественной женщины, доведенной до самоубийства. Подростком она столкнулась с жестокими предрассудками жителей селения, презиравших ее как «незаконнорожденную», с унизительной филантропией местных благодетелей из домов побогаче, где ей милостиво разрешалось работать в кухне, с обманом и обсчетами на предприятии купца Богесена. Все это вызвало в ней стихийное чувство протеста и стремление добиться личной независимости, самостоятельного положения в обществе. Сильная и упорная, она достигает относительного благополучия, добивается уважения, вступает в союз моряков, затем в профсоюз рабочих, участвует в забастовках. Но она жила только своими заботами, только сегодняшним днем. Социалист Арнальдур раскрыл перед ней более широкие горизонты, он познакомил ее с высокими идеалами, научил ее читать книги и думать о завтрашнем дне. Салка чувствует благодарность к своему другу: «Пока тебя не было, Арнальдур, я спала...— говорит она,— ты пришел и разбудил меня». Проснувшись, она, по словам автора, «смотрит на окружающий мир с ненавистью и сознательно требует нового, лучшего мира». Лакснесс подчеркивает, что такие люди, как Салка, заслуживают этого нового мира, так как они олицетворяют лучшие человеческие качества, среди которых не последнее место занимают любовь к людям, стремление помочь слабому и беззащитному.

Обличение цинизма и несправедливости капиталистического общества, изображение страданий народа и огромных возможностей его духовного развития звучало призывом к прогрессивной интеллигенции Исландии— просветить трудящихся, вести их на борьбу против мира угнетения, за светлое будущее. Однако роман не указывает конкретных путей и форм этой борьбы. Социалист Арнальдур считает взаимопомощь бедняков и их доброе отношение друг к другу «буржуазным предрассудком», он обесчеловечивает социалистический идеал, противопоставляя его интересам и духовным возможностям отдельных людей, догматически утверждая, что «идеалы господствуют над человечеством, а не человечество над идеалами». К тому же в глубине души Арнальдур индивидуалист, в конце концов он отказывается от борьбы и заботится только о своем благополучии. Капитулируют перед действительностью также и другие активисты рабочего движения, изображенные в романе.

В свое время прогрессивная критика Исландии указывала на эти недостатки романа, объясняя их отчасти идейной незрелостью Лакснесса, отчасти тем, что сама жизнь не всегда давала ему более совершенные примеры общественной деятельности.

В начале тридцатых годов общественная жизнь Исландии претерпевает существенные изменения. Докатившийся до страны мировой экономический кризис вызвал обострение классовых противоречий. Рабочее движение укрепилось идейно и организационно, в 1930 году была создана коммунистическая партия Исландии, социалистические идеи оказывали все большее влияние на народные массы и интеллигенцию.

В эти годы Лакснесс сближается с рабочим движением и начинает по-новому смотреть на крестьянский вопрос, имевший актуальное значение. Крестьяне составляли половину населения Исландии, и от их позиции в политической борьбе зависела судьба социальных преобразований. Вот почему Лакснесс настойчиво стремился выяснить, примут ли крестьяне участие в борьбе за новое общество. Ответить на этот тревожный вопрос писатель долгое время не мог, так как представлял себе крестьянство как единое, нерасчлененное целое. Правильное понимание проблемы появилось у него только после поездки в Советский Союз осенью 1932 года.

Еще в 1928 году в письме из Америки Лакснесс писал: «Россия единственная страна, посещение которой представляет подлинный познавательный интерес». Первая встреча с советской действительностью, описанная в книге «В восточном направлении», подтвердила его слова. Писатель получил живое представление об огромном размахе социалистического строительства в нашей стране, о духовном облике советского человека. В СССР он читал произведения Ленина и пришел к той точке зрения на крестьянство, которая позже отразилась в одном из самых значительных его произведений — в романе «Самостоятельные люди» (1934—1935). В послесловии ко второму изданию романа Лакснесс пишет:

«В реалистическом взгляде советских людей на вещи, который не позволяет лирическим выдумкам сбить наблюдателя с толку, мне сразу понравился ряд основных моментов, среди них — простое, но ясное разделение крестьян по классам: кулаки, середняки и бедняки. Это разделение...по-настоящему открыло передо мной всю проблему и помогло мне ясно рассмотреть ее на социальной основе».

Лакснесс начинает понимать, что психология различных слоев крестьянства в капиталистическом обществе неоднородна, что бедняки обречены на нужду и горе и представляют собой естественного союзника пролетариата в борьбе за новое общество. Роман «Самостоятельные люди» дает этим мыслям художественное воплощение.

В центре романа — крестьянин Бьяртур, который двенадцать лет с фанатическим

упорством бьется с нищетой и невзгодами во имя одной цели — выплатить деньги за арендованный им клочок земли и стать самостоятельным хозяином. Как и Салка Валка, он упорным трудом добивается независимости: земельный участок перешел в его владение. Но независимость Бьяртура призрачна, он достиг ее, чтобы вновь потерять: усадьбу, приобретенную им ценой страшных жертв, продают за долги с молотка. «Бедный крестьянин,— пишет Лакснесс в конце романа,— никогда, во веки веков не выберется из нужды. Он будет жить в нищете, пока человек человеку не защитник, а злейший враг».

Бьяртур потерпел поражение, так как у него было ошибочное представление о самостоятельности и о путях ее достижения. В отличие от «Салки Валки», роман «Самостоятельные люди» указывает путь борьбы за подлинную свободу бедняков — это путь советского народа: русские крестьяне «объединились со своими товарищами — рабочими в городах, свергли капитализм и убили царя. Они взяли все то, что капитализм украл у них, и создали новое общество, где никто не может наживаться на труде другого. Это — коллективное общество».

Способен ли Бьяртур поступить так, как русские крестьяне? Ведь он не только вольнолюбивый человек, но и консерватор, индивидуалист, это ему принадлежат слова: «Если у кого не хватает мужества быть одиноким, то это не самостоятельный человек». Конец романа показывает, что Бьяртур, преодолевая сомнения, начинает понимать правду рабочих, добивающихся социальной справедливости; он оставляет в их рядах своего сына, хотя и знает, что борьба предстоит тяжелая, не на жизнь, а на смерть. Характерно, что Лакснесс ставит в прямую зависимость от роста общественного сознания Бьяртура пробуждение у него высоких человеческих чувств, отказ от косной беспощадной морали, которая заставила его выгнать из дому любимую дочь, беззащитную Аусту.

Рабочие-забастовщики, готовящиеся к схватке с полицией, изображены в романе с симпатией — это сильные, жизнерадостные люди, уверенные, что «в один прекрасный день трудящиеся скинут с себя воров и убийц». Бьяртуру они по душе: «Разве они не стоят того,— спрашивает он себя мысленно,— чтобы стать владельцами своей страны и управлять ею?» Роман призывал крестьян-бедняков крепить союз с рабочим классом, необходимый для успешной борьбы за права народа.

Картины страданий деревенской бедноты и бездушия городских и сельских стяжателей придают роману большую обличительную силу. В нем вновь высказывается мысль, что источником искусства является сочувствие простым людям. Всестороннее развитие эта мысль получает в следующем большом произведении Лакснесса — тетралогии о народном поэте Оулафуре Каурасоне («Свет мира», «Замок в Соммерланде», «Дом скальда», «Красота неба»).

Цикл романов об Оулафуре Каурасоне публиковался с 1937 по 1940 год, в то время, когда фашизм уже перешел к агрессивным действиям. Перед лицом фашистской угрозы интеллигенция всего мира должна была определить свое отношение к грозным событиям: речь шла о судьбе цивилизации. В Исландии, как и в ряде других европейских стран, усилилась борьба за народный фронт против фашизма. В 1938 году произошло слияние коммунистической и социал-демократической партий, окрепла сплоченность прогрессивных сил. Немалую роль в пропаганде единства этих сил играл Союз революционных писателей Исландии.

Во второй половине тридцатых годов Лакснесс принимает активное участие в деятельности этих организаций. Он становится членом Объединенной рабочей партии, сотрудничает в ежегоднике Союза революционных писателей — «Красные перья». В 1938 году он вновь посетил СССР и написал книгу «Русская сказка», в которой подчеркивает огромные творческие силы народа, изменяющего лицо страны, величие и международное значение достижений советских людей. Вера в народные силы побуждала Лакснесса к новым выступлениям в пользу социализма, за единый фронт против фашистского мракобесия.

Большое место в его выступлениях занимала критика буржуазных писателей, их оторванности от народных масс, их эстетства. «Чего стоит писатель,— пишет Лакснесс в одной из статей того времени,— если он овладел приемами искусства, но не любит народа и не пользуется его взаимностью?» Отрыв от народа является, по мнению Лакснесса, причиной распада и разложения буржуазной литературы; он указывает, что, когда обрываются всякие связи с широкими народными массами, исчезают и этические основы искусства. Писатель предостерегает против формально-эстетического подхода к жизненным явлениям: «Жажда прекрасного, лишенная связи с разумом и действительностью, должна привести к печальным, даже ужасным выводам». Лакснесс призывал всех честных писателей отказаться от индивидуализма и бороться за общество, построенное на коллективных началах, за общество, где торжествует подлинная цивилизация.

В романе об Оулафуре Каурасоне затрагивается весь комплекс проблем, волновавших Лакснесса во второй половине тридцатых годов: сущность и перспективы буржуазного гуманизма, возможность объединения гуманистических сил для борьбы с реакцией, задачи прогрессивных деятелей искусства. Герой романа — народный поэт, рано лишившийся родителей и выросший в крестьянской среде. По своему духу он — типичный буржуазный гуманист. Основное содержание его жизни — поклонение красоте, сострадание к слабым и беззащитным и «чистое», «общечеловеческое» искусство. «Человеческая жизнь,— размышляет он,— пустяк, почти ничто. Одна красота означа-

ет нечто, и, собственно, только по отношению к ней поэт имеет обязанности». Оулафур противопоставляет человека и красоту, так как его увлекает лишь гармония формы — света, красок, линий, звуков. Увлечение таким идеалом красоты и презрение к реальной жизни побуждают Оулафура держаться нейтралитета в общественной борьбе, оставаться «вне партий», «над схваткой». Именно поэтому он становится жертвой темных сил — богатого хозяина Пьетура Полссона, политикана Юэля, судовладельца Люденкинда, людей жестоких и ничтожных. Юэль издевается над Оулафуром, грозит «затоптать сапогами в грязь». Но сознание непреходящего значения искусства помогает поэту вынести все унижения. «Он думал,— пишет Лакснесс о своем герое,— о тех тысячах поэтов, которые еще до него были затоптаны в грязь сапогами таких Юэлей. Пройдет время, и зарастут могилы. Но еще долго после того, как Юэли сгинут и растворятся во мраке ночи, преследуемые презрением веков, на устах живых и любящих людей будут звучать песни поэта». Как видно из этого отрывка, субъективно Оулафур — против насильников, но сопротивляться им он не может, да и не хочет — он предпочитает уйти от суровой действительности в созерцание красоты.

Но как ни захвачен Оулафур этим созерцанием, он не вполне отрешен от мира, он думает о людях и их будущем. Человек в его глазах от природы несовершенен, беден и беззащитен. Задача поэта и поэзии — смягчить людскую боль, утешить обездоленных, скрасить их существование. Поэт, по мнению Оулафура, живет страданиями человечества, а искусство — сочувствием страждущим: «В день, когда мир станет хорошим, поэт перестанет страдать... Но в этот же день он перестанет быть поэтом». Оулафур предается наивным мечтам о добром мире, где всем сытно и просторно, но борьбу за справедливость считает делом безумцев, она, по его мнению, может привести к истреблению человечества.

Мечтает о лучшем будущем народа также и друг Оулафура поэт Ёрн Ульфар, бедный крестьянин. Но эта мечта — единственное, что сближает друзей, во всем остальном они резко отличаются друг от друга. Ёрн активен, он не только мечтает о будущем, но и добивается его и не в одиночку, а во главе всех недовольных существующим порядком. Ёрн против отрыва красоты от жизни людей, но эта жизнь тяжела, людям не до красоты; чтобы они смогли наслаждаться ею, надо бороться за достойные условия существования. «Кто каждый день своей жизни до последнего дыхания не борется с представителями зла... тот богохульствует, говоря о красоте», — заявляет Ёрн. Он считает, что человек богато одарен природой и нуждается не в сострадании, а в справедливости; он утверждает: «Борьба за справедливость — единственное, что дает человеческой жизни разумный смысл».

Гибель Оулафура в конце тетралогии — закономерна, она говорит о бесперспективности буржуазного гуманизма. Наиболее верный путь для таких, как Оулафур,— союз с теми, кто способен бороться за утверждение гуманистических идеалов. Лакснесс на примере дружбы Оулафура с Ёрном доказывает возможность этого союза. Однако в отношении писателя к своим героям есть известное противоречие: рассудком он на стороне Ёрна, но сердцем во многом сочувствует Оулафуру. Оулафур, в глазах Лакснесса, «подлинный человек», а Ёрн — воплощенная идея; Оулафур откликается на страдания каждого отдельного индивида, Ёрн проходит мимо них, он думает только об общественном благе. Противопоставление «человека» и «борца» было уступкой Лакснесса буржуазному гуманизму, против которого он находил в романе такие веские аргументы.

Вторая мировая война и послевоенный период принесли Исландии оккупацию ее территории иностранными войсками — сначала английскими, а потом американскими. Национальная культура, язык, нравы исландского народа оказались под угрозой: на 130 тысяч населения страны приходилось 50—60 тысяч иностранных солдат. Правда, в 1944 году Исландия расторгла унию с Данией, сохранявшуюся с 1918 года, но этот факт имел лишь моральное значение и мало что мог изменить в сложившемся положении. В годы войны наметилось укрепление единства прогрессивных сил исландского народа на антифашистской и на национально-освободительной основе. Усилилось внимание к истории народа, его культурным традициям. В этой обстановке Лакснесс создал большой национально-патриотический эпос «Исландский колокол», повествующий о событиях семнадцатого и начала восемнадцатого века — времени, когда решался вопрос о существовании исландского народа.

Колокол Исландии — старинный вечевой колокол, символ независимости страны — был увезен за границу по приказу датского короля. Народ понимает, что это — поругание святыни, свидетельство начала конца нации. Голодный, измученный нищетой и жестокими притеснениями датских властей, он все же не теряет веры в свободное будущее. «И настанет однажды день. И в этот день, когда мы превратимся в людей, бог придет к нам и станет на нашу сторону»,— говорит один из персонажей романа. Веру в освобождение народа Лакснесс делает главным содержанием образов основных своих героев — крестьянина Йоуна Хрегвидссона и ученого, собирателя древних саг Арнаса Арнэуса. Йоун олицетворяет народную волю к сопротивлению, несгибаемое мужество и правдолюбие. Он необычайно жизнеустойчив, он никому не позволяет ущемлять свои права. К властям и религии у него издевательское, «швейковское» отношение, и он способен на весьма решительные действия для достижения своих целей. На оскорбительные для исландского народа

замечания датского офицера он отвечает: «Мой предок Гуннар из Хлидаренда был ростом двенадцать локтей... и он жил триста лет. На голове он носил золотой обруч. А его копье издавало самый прекрасный звук изо всех, что слышали на Севере». Йоуну сочувствует и симпатизирует Арнас Арнэус, соединяющий в себе ум, красоту и знание. Арнас, по мысли Лакснесса, воплощает тягу исландцев к культуре, любовь интеллигенции к народу и своей стране. Всю свою жизнь он посвятил собиранию и сохранению памятников национальной культуры, которая питает свободолюбие народа. Он так же, как и Йоун, гордится своим народом, хотя тот и находится в рабстве: «Жирный лакей — не великая личность. Поротый раб — великий человек, ибо в его груди живет свобода». Арнас отказывается от личного счастья и благополучия, купленного страданиями соотечественников: «Никто не может заставить меня стать господином над замученным народом». Одно время он использует свое высокое положение королевского уполномоченного в Исландии для защиты народа от несправедливых судей, которых он строго наказывает. Однако после ряда неудач Арнас замыкается в мире старинных рукописей и по существу примиряется с действительностью, считая, что с судьбой спорить бессмысленно. В этом он расходится с народом. Страстным призывом к сопротивлению, к героической борьбе за национальную и социальную свободу звучат слова крестьянина Осбьёрна Иокимссона, отказавшегося перевезти через фьорд королевских слуг: «Здоровье мое... надломлено, я скоро умру. Но исландский народ будет жить, только бы он не сошел со своего пути. Я не переправлю через Скерьяфиорд людей короля. Ни живым, ни мертвым, сказал я. Они будут пороть меня — пусть так. Но если бы я поддался, только один этот раз, и если бы все поддавались — всегда и везде — купцам и фогдам, привидениям и дьяволу, чуме и оспе, королю и палачам,— какие бы права гражданства остались народу?».

Патриотизм и свободолюбие народа, его сила и бессмертие вновь воспеты Лакснессом в романе «Атомная станция», в котором, как, впрочем, во всех произведениях зрелого Лакснесса, бьется живой пульс современности. В 1946 году американские империалисты при поддержке исландского правительства получили в свое распоряжение порт Кефлавик и основали там военно-воздушную базу США. Это вызвало возмущение у всех честных людей страны. Лакснесс откликнулся на это событие романом «Атомная станция», само заглавие которого говорит о горечи писателя по поводу превращения миролюбивой Исландии в опорный пункт американских милитаристов. Роман гневно обличает правящие круги страны, торгующие ее независимостью, их моральное разложение, усугубляемое влиянием буржуазного «американского образа жизни».

Этому загнивающему миру Лакснесс противопоставляет народную Исландию, которую в романе олицетворяет Угла, здоровая и умная крестьянская девушка. Угла — представительница молодого поколения исландского крестьянства, она уже не может жить дедовскими интересами, она хочет понять окружающую ее жизнь и занять свое место в ней. Встреча с коммунистами помогла ей стать «человеком среди людей», разобраться в актуальных для Исландии вопросах политики и морали. Она осознала, что коммунисты являются подлинными патриотами, защищающими дело страны, людьми высокой нравственности и благородства. Побывав на собрании коммунистической ячейки, она сделала важные для себя выводы. «...Я почувствовала, — рассказывает она о своем впечатлении от собрания,— что во всем и всегда буду вместе с этими людьми... вместе с ними стану я выступать против тех людей в цилиндрах, которые собираются обмануть простой народ, украсть и продать его родину». Лакснесс подчеркивает, что такое решение является закономерным этапом духовного развития крестьян молодого поколения. «Быть коммунисткой — это естественно для крестьянской девушки с Севера»,— говорит проницательный Буи Арланн, хозяин дома, где работает Угла.

Роман «Атомная станция» Лакснесс посвятил памяти своего старого друга Эрлендура Гудмундссона, умершего в 1947 году. Эрлендур послужил прообразом для одного из главных героев романа — органиста.

Органист бескорыстен и добр, в его странноприимном доме всегда найдется место для людей неустроенных, его симпатии и сочувствие — на стороне пасынков общества. Умная ирония органиста направлена чаще всего против уродств капиталистической системы. Иногда его даже покидает обычное спокойствие, и он резко осуждает варварство гитлеризма и военных маньяков, угрожающих человечеству и цивилизации атомной бомбой. Органист считает поражение этих маньяков неизбежным, потому что в истории всегда побеждали «более целесообразные формы общества», потому что «побеждают всегда те, кто строит свою страну». «Народ бессмертен!» — восклицает он и завещает народу свои мечты о красоте и добре. Но свой оптимизм органист не подкрепляет делом. В этом отношении он напоминает Оулафура Каурасона — и тот и другой видят многие вещи правильно, но оба они пассивны, они — созерцатели, — почитая превыше всего «чистую» красоту, они не участвуют в общественной борьбе. Не этим ли объясняются рассуждения органиста о том, что в будущем человечество придет к идиллической деревенской культуре,— представление, которое разделяет капиталист Буи Арланн и к которому скептически относится крестьянка Угла? Не отсюда ли этическая «нейтральность» органиста, ставящего на одну доску и «героизм преступлений, и героизм добрых дел»? Не здесь ли причина того, что органист отделяет героизм труда от героизма борьбы за справедливость?

Как сам Лакснесс относится к героизму и подвигам людей, яснее всего видно из его романа «Герпла» (1952). Мысли, содержащиеся в этом произведении,— это мысли о войне и мире, непосредственно связанные с современностью.

С середины сороковых годов и до наших дней писатель принимает деятельное участие в борьбе за мир. Он не раз выступал на конгрессах сторонников мира, в 1953 году ему была присуждена Международная премия мира. В многочисленных статьях послевоенного периода он последовательно придерживается одного взгляда: миру угрожает американский империализм и его приспешники в Западной Европе; Советский Союз занимает миролюбивую позицию; честные люди во всех странах должны обуздать агрессивных политиков и пресечь пропаганду войны. И хотя действие романа «Герпла» относится к эпохе викингов, он служит созременной задаче изоляции агрессивных кругов и военных пропагандистов.

В своей речи на конгрессе сторонников мира в Стокгольме в 1951 году Лакснесс иронически назвал реакционных политиков «героями войны». Роман «Герпла» (приблизительный перевод заглавия — «Героиада») наносит сильный удар по таким героям. Центральными фигурами романа являются Торгейр и Тормод, богатыри-викинги, которые видят смысл жизни в сражениях. Они обладают всеми средневековыми доблестями — кровожадностью, беспощадностью, преданностью господину. Подвиги в основном совершает Торгейр, а его побратим — скальд Тормод вдохновенно воспевает их. Но что это за подвиги? Во имя чего они совершаются? Лакснесс отвечает: это подлые убийства беззащитных людей во имя собственного обогащения, это «поджоги, уничтожение всего, в чем есть жизнь и дух, чтобы морские короли и земные владыки могли править миром». Оба героя жаждут не только богатства, но и славы. Однако в славе народ им решительно отказывает. Он с презрением и насмешкой отворачивается от них. У народа, у простых крестьян своя мудрость: «полагаются на сталь только люди с трусливым сердцем», подлинная доблесть и слава — в мирном труде. Один из крестьян советует героям как следует заняться ловом камбалы и охотой на тюленей, это, по его словам, полезнее, чем бряцание оружием и воспевание насилия. Даже примитивные по своему образу жизни люди, вроде изображенных в романе гренландских эскимосов, более героичны, чем безумцы, бредящие о войне и военных подвигах; эскимосы трудятся и, несмотря на свою тяжкую судьбу, не потеряли человеческого облика. Роман «Герпла» страстно обличает поджигателей войны и прославляет мирный труд народа. Однако читатель не может избавиться от впечатления, что народ в романе все же слишком безропотно сносит издевательства королей и викингов. Раб Кольбак хоть и мечтает о свободе, о возмездии насильникам, но сам лучшей доли не добивается, полагая, что и «однорукий может быть пастухом». Это уже нечто прямо противоположное гордому девизу крестьянина из «Исландского колокола»: не поддаваться!

В изображении народа «Герпла» смыкается с недавно вышедшим романом Лакснесса «Летопись хутора Бреккукот» (1957)*.

В интервью по поводу своего нового произведения Лакснесс подчеркнул, что «Летопись хутора Бреккукот» не является историческим романом. Однако роман, несомненно, имеет историческую основу. Речь в нем идет о жизни исландцев в начале XX века: хутор Бреккукот существовал в действительности, хотя в романе ему приданы черты знаменитой «гостиницы» Эрлендура Гудмундссона; «инспектор» вобрал в себя черты того же Гудмундссона; певец Гардар Хоулм имеет реального прототипа, но его биография, разумеется, выдумана; Эбенесер Драумманн — один из тех рейкьявикских интеллигентов, которые после первой мировой войны увлекались спиритизмом и древнеиндийской философией; в образе бабушки легко опознать Гудни Кленгсдоттир и т. д.

Главным героем «Летописи хутора Бреккукот», как и прежних книг Лакснесса, является исландский народ. Образ его воссоздается и общими, собирательными характеристиками и характеристиками отдельных центральных фигур романа — дедушки Бьорна, бабушки, Руноульфура Йонссона, капитана Хогенсена, Аульфгримура, от лица которого ведется повествование, и др. Лакснесс подробно, с большим сочувствием описывает тяжелые условия существования исландцев в начале XX века — домаземлянки, в которых ютятся крестьяне, болезни, высокую смертность среди детей в раннем возрасте, эмиграцию бедняков в Америку и т. п. Но Лакснесс не ограничивается показом мрачных сторон жизни простых людей. Он всегда подчеркивает, что и в самых трудных обстоятельствах эти люди не теряли мужества и человеческого достоинства, потому что свято хранили в памяти наследие века саг. Крестьяне, заходившие в Бреккукот, были «не только хорошими чтецами, но поистине гениальными рассказчиками», их идеалом был господин Снорре, которому Лакснесс отдает особое предпочтение, так как этот господин — мирный герой; «... я чувствую,— говорит Лакснесс устами Аульфгримура,— что все великие исландцы должны были быть такими, как господин Снорре»,— высокого роста, красивыми, сильными, трудолюбивыми, знающими языки, умеющими сочинять стихи, удачливыми в спортивных состязаниях. Правда, Снорре был набожен, а «...в Исландии укоренилось понятие, что всем верующим не хватает винтика в голове».

Дедушка Бьорн и бабушка, конечно, далеки от этого идеала, но у них есть свои достоинства. Бьорн, как и все те, кому Лакснесс симпатизирует, прежде всего презирает богатство и богатых. «Наше несколько

* См. «Иностранную литературу» №№ 4 и 5, 1958 г.

своеобразное отношение к деньгам, — говорит Аульфгримур,— очевидно, объяснялось убежденностью дедушки в том, что если у человека денег больше, чем нужно для жизни, то они или незаконно присвоены, или фальшивые. Поэтому он считает, что богатство противно здравому смыслу». Дедушка, в отличие от Снорре, не религиозен, и добр он не по-христиански, а по-человечески — он сам небогат и умеет понять бедняка и посильно помочь ему. Но, пожалуй, наиболее ценное качество Бьорна — сознание собственного достоинства, независимость от подачек богатых людей. Дедушка не хочет, чтобы Аульфгримур учился на деньги купца Гудмунсена, к которому он не чувствует никакого почтения, он предпочитает продать все, что имеет, и своими средствами обеспечить обучение Аульфгримура. Во всем этом на Бьорна очень походила бабушка. К тому же она «поистине была неисчерпаемым кладезем премудрости», знала огромное количество народных песен и стихов, пословиц и поговорок. Она, как и дедушка, с утра до вечера трудилась, но всегда имела в запасе шутку. Это, однако, не означало, что старые люди были довольны своим положением. Они решили сделать Аульфгримура образованным человеком, чтобы ему жилось лучше, чем им, и потому что «учение — это свет в сердце».

Не случайно, что в доме бабушки и дедушки, не приемлющих мир стяжания, чувствуют себя уютно капитан Хогенсен и Руноульфур Йонссон. Они также не согласны мириться с несправедливостью. Более того, они по-своему протестуют против нее. Хогенсен выступает против разорения бедных рыбаков, вроде Бьорна, крупными рыболовными фирмами, хищнически использующими современные орудия лова. Руноульфур возмущается своим бывшим хозяином Гудмунсеном, который уволил его с работы без пенсии после тридцати лет службы.

Особое место среди обитателей Бреккукота занимает философствующий «инспектор». Ему также как будто неплохо в доме Бьорна, но с таким же успехом он мог бы жить и в любом другом месте, потому что он смотрит на реальную жизнь с точки зрения вечности. Для Аульфгримура вечность— это время человеческой жизни, для «инспектора» это метафизическое, абстрактное понятие, помогающее ему отгораживаться от действительности, избегать решения насущных проблем. «Когда думаешь... о мире, который только один, и о его связи с единственным сверхъестественным — со временем, то нет больше ни первых, ни последних, великих и малых», — рассуждает «философ». Он прекрасно видит несправедливость на земле, но для него «тот, кто ползет на коленях в гору, и кто живет в замке из червонного золота на ее вершине, и тот и другой — человек». От такого «гуманизма» недалеко до циничного вывода: надо «не делать различия между героем и маленьким человеком, между подвигом и воробьиным пометом».

Подобные взгляды закономерно ведут к соглашательству, к беспринципности в общении с людьми. Аульфгримур очень ярко описывает отношение «инспектора» к людям: «Он ничего не отвергал, молча со всем соглашался, будто всему верил, но поступал так, как ему шептала укусившая его муха». Это — позиция полного равнодушия к человеку. Правда, «инспектор» не раз говорил о своей доброте и человечности. Но в чем выражается его человечность? В том, чтобы подержать «стремена для людей, пока они садятся на лошадь», дать человеку деньги на пропой, помочь ему совершить глупость, даже самоубийство,— так понимает он доброту и свободу в человеческих отношениях. В этом он резко расходится со здравым смыслом народа, и сам признает это. У Бьорна есть принципы, он не станет «держать стремена» и правому и неправому. Для чего же нужна «инспектору» такая беспринципность? Оказывается, для того, чтобы «не огорчаться», сохранять хорошее расположение духа. Так абстрактный гуманизм в образе «инспектора» демонстрирует свою изнанку — эгоизм. Спору нет, «инспектор» трудолюбив, но Аульфгримур определенно преувеличил его способности, когда решил, что ему по плечу быть «инспектором над всем миром». Сам Лакснесс относится к «инспектору» менее снисходительно, он просто высмеял его невмешательство в самоубийство Гардара Хоулма: когда певец попросил разрешения покончить с собой в его помещении, тот ласково ответил: «Пожалуйста, мой друг».

Лакснесс любовно описывает строй жизни в Бреккукоте, маленькая землянка, по его словам, утверждает «законность существования других домов на земле», так как люди в ней символизируют мир во всем мире. Не удивительно, что многое в окружающей действительности Лакснесс считает ничтожным по сравнению с делами и думами обитателей хутора, например Драумманна с его спиритизмом и философствованием или «политическое» собрание в городе по вопросу о бритье. Лакснесс насмехается над философским и политическим шарлатанством, над теми интеллигентами, которые оторвались от народа и за его счет всерьез занимаются вздором, стремясь придать своему занятию видимость общественно-полезного дела.

Однако, хотя в Бреккукоте и бьется здоровое сердце, из окна землянки не многое увидишь. Мир мальчика Аульфгримура — это соленая рыба и ловля пинегора, корова и лошадь, навозные мухи и куры, забор, утопающий в кустах пижмы и репейника. Долгое время Аульфгримур ничего другого и не хотел, он охотно пребывал в «счастливой дреме», прислушиваясь к «музыке земной жизни». Но другой, суровый мир борьбы и страстей безжалостно напомнил ему о своем существовании. Трагическая судьба Гардара Хоулма пробудила его ото сна, заставила его по-иному взглянуть на жизнь в Бреккукоте и на свое отношение к людям. Песня Гардара, поведавшая о людских страданиях, привела Аульфгримура к мысли:

«Может быть, в этом безумном смешении смеха и печали было больше правды, чем в любой другой песне, и больше души, чем этого требовало исполнение роли на нашей сцене в Бреккукоте». И Аульфгримур решает посвятить себя искусству «чистого тона», проникнутому любовью к простым труженикам.

В утрате этого «чистого тона» заключается трагедия певца Гардара Хоулма. Он знает, что подлинное искусство всегда согрето сочувствием народу, но буржуазные ценители, эта «большая, а по существу маленькая публика», «не понимают сердца», не разбираются в настоящем пении. «Ты отправляешься как будущий певец, чтобы добиться денег и славы,— рассказывает Гардар о своем пути, — тебе предлагают завоевать мир в качестве дурака, а может быть, и в качестве преступника. Выбирай!» Певец выбрал славу, отказавшись от «чистого тона». Он не выдержал тех трудных условий, в которых оказываются люди подлинного искусства в мире ему враждебном, он не был готов «голодать в это рождество, как и в предыдущее и во все последующие сочельники, просыпаться в рождественскую ночь с опухшими пальцами и морозной дрожью в груди». Но слава не дала Гардару Хоулму радости, он сознает, что его пение «ничего не значит», и кончает жизнь самоубийством.

Сильной стороной романа является его резкая антибуржуазная направленность. Лакснесс еще раз убедительно доказал в своей книге, что капитализм подавляет и обесценивает все, чем богата душа человеческая, — радость труда становится горем необеспеченной старости, об этом читатель узнает из истории Руноульфура Йонссона; высокое искусство превращается торгашами, вроде Гудмунсена, в средство рекламы для сбыта трески; любовь маленькой фрекен из купеческого дома оказывается на поверку всего лишь животным чувством; подлинная культура и знания заменяются показным лоском и претензиями «де ля Гвендуров»; народной мечте о гармоническом развитии способностей человека стяжатели противопоставляют свою жажду денег и власти.

Обличение буржуазного общества соединяется в романе с прославлением народа, в народной культуре и морали Лакснесс видит начало и меру всех достижений интеллигенции, источник, укрепляющий ее волю к сопротивлению капиталистическим порядкам. В романе ярко показано, что отрыв интеллигента от народных корней превращает его в никчемного, опустошенного человека, не способного создавать какие-либо ценности.

В «Летописи хутора Бреккукот» вновь подымается вопрос о цели искусства. Аульфгримур высказывает мысль, что в искусстве нужен «тот тон, та струна, которая доходит до сердца и может вызвать бесполезную соленую влагу, именуемую слезами». «Чистый тон» понимается в «Летописи» прежде всего как сострадание к обездоленным. Сходные мысли встречались у Лакснесса и раньше. В романе «Самостоятельные люди» он пишет: «Источник прекраснейшей песни — это сочувствие. Сочувствие к Аусте Соульлилье, дочери земли». Почти то же самое говорит и Оулафур Каурасон: «Поэт — это нерв мира, и именно в поэте находят отзвук людские муки». Чувство сострадания пронизывает большинство романов писателя, им проникнуты чаще всего образы детей и женщин, лишенных средств к жизни (Сигурлина в «Салке Валке», Ауста в «Самостоятельных людях», Яртрудур в романах об Оулафуре Каурасоне, бедняки из «Исландского колокола» и «Герплы» и другие). Не к юродскому смирению, не к унижающей человека жалости и филантропии зовут эти образы. Они обвиняют эксплуататорское общество в бесчеловечности и жестокости, подымают читателя на борьбу с ним.

С симпатией изображает Лакснесс гуманных, но социально пассивных интеллигентов вроде Оулафура Каурасона, органиста из «Атомной станции» или «инспектора» из «Летописи хутора Бреккукот». Их доброта и бескорыстие, отвращение к угнетению и насилию привлекают писателя, однако он понимает бесперспективность их абстрактной, далекой от жизни философии. Будущее принадлежит не им, а простым труженикам, осознающим свои права и стремящимся к коренному переустройству общества, — таков основной идейный итог большинства романов Лакснесса.

Вся любовь писателя безраздельно принадлежит беднякам — крестьянам, рыбакам, рабочим. Салка Валка и Бьяртур, Угла и непокорный, бунтующий люд из «Исландского колокола» являются воплощением свободолюбия, человеческой солидарности и мужества. Но Лакснесс не идеализирует своих героев, он в соответствии с жизненной правдой раскрывает их предрассудки и невежество, показывает присущие им черты буржуазной психологии и морали. Главное в его героях — не сказочная концентрация добродетелей, а пробуждение общественного сознания. Этому пробуждению способствуют передовые представители народа, самоотверженные борцы за его свободу, их он с большой теплотой, хотя и недостаточно глубоко, изобразил в романах об Оулафуре Каурасоне (Ёрн Ульфар), в «Самостоятельных людях» (забастовщики), в «Атомной станции» (коммунисты).

Нельзя не заметить, однако, что в последних романах Лакснесса — «Герпла» и «Летопись хутора Бреккукот» — нет образов людей, борющихся за социальную справедливость. Лакснесс сознательно отказывается от этих образов. Слово «герой» приобретает у него либо отрицательное значение, как в романе «Герпла», либо становится синонимом слова «вымысел», о чем можно судить по докладу «Проблемы художественной литературы в наше время»*, где героические образы исландских саг и произведений советской литературы безосновательно рас-

* См. «Иностранную литературу» № 1, 1957 г.

сматриваются как выдумка, мечта о величии, идеал, лишенный реального содержания.

В двух последних своих романах Лакснесс отказывается также и от изображения роста общественного сознания народа. Народ в них «безмолвствует», он не приемлет враждебной действительности, но оказывает ей лишь пассивное сопротивление, он побеждает морально, но не видит путей к реальной победе. Нам понятно стремление Лакснесса возвеличить людей мирного труда, однако ограничивая их интересы повседневными занятиями и изолируя их от социальных идей и борьбы, писатель тем самым невольно принижает своих героев, представляет их лишь жертвами эксплуатации и произвола, притупляет остроту вопроса об изменении их бесправного положения.

Лакснесс идеализирует патриархальный быт и нравы «детей природы» — эскимосов в «Герпле», дедушки и бабушки из Брекку-кота, он называет их жизнь счастливой и считает ее образцом для подражания. Такие образцы с давних пор казались утопией, и они вряд ли способны вдохновить читателей на решение насущных задач современности.

Почти тридцать лет Лакснесс ведет напряженную борьбу за новую жизнь и нового человека. За это время он написал большое количество очерков, статей, рассказов и романов, сборник стихотворений и три пьесы, одна из которых — «Проданная колыбельная» («Серебряная луна») — была поставлена в СССР. Какими бы различными по форме ни были книги Лакснесса, они всегда беспощадно клеймили мир собственности, предъявляли этому миру суровый счет за искалеченные человеческие жизни, за растоптанные дарования и поруганные мечты людей; вместе с тем его книги воспевают простых тружеников, утверждают связь между художником и действительностью и подчеркивают, что подлинное искусство вдохновляется народом и служит ему.

Советские читатели знают Лакснесса как большого художника-реалиста, размышляющего над важнейшими проблемами эпохи, как передового общественного деятеля, защищающего дело мира во всем мире, как большого друга нашей страны.

В 1953 году после одной из поездок по Советскому Союзу Лакснесс писал: «Я знаю Советский Союз со времен своей юности. Здесь живут мои самые дорогие друзья. Во время бесчисленных поездок по этой стране я встречался с самыми различными людьми, и я научился любить их. В моих глазах они являются примером миролюбия. Это — сердечные, простые, дружески относящиеся друг к другу, жизнерадостные, терпеливые люди, всегда готовые помочь, желающие только сотрудничества и братства. Но я знаю также, что, если этим людям навязать войну, они проявят солидарность, самопожертвование, упорство и мужество, равные которым, может быть, и встречались когда-либо в истории, но никогда не были превзойдены...»

Советский читатель верит в то, что Лакснесс создаст еще много значительных произведений.

Л. Осповат

Голос непокоренной Гватемалы

(Романы Мигеля Анхеля Астуриаса)

По возрасту и творческому стажу Мигель Анхель Астуриас — представитель того поколения демократических писателей, которое вошло в литературу Латинской Америки после первой мировой войны. Произведения этих писателей были вызваны к жизни национально-освободительным движением латиноамериканских народов, развернувшимся с особой силой под влиянием Великой Октябрьской революции в России. Эти произведения рассказали о страданиях сгоняемых с насиженных мест и обрекаемых на гибель индейцев Перу, Боливии, Эквадора; о неслыханной эксплуатации, которой подвергались чилийские шахтеры; о трагической судьбе тысяч людей, погибающих ради наживы иностранных компаний в тропических дебрях Венесуэлы, Колумбии и центральноамериканских стран; о борьбе мексиканского крестьянства за землю и свободу. В них отразился не только начавшийся подъем освободительного движения угнетенных народов, но и стихийность, незрелость, отсталость, органически свойственные этому движению на раннем этапе. Социальный роман Латинской Америки, сложившийся в 20-е и 30-е годы нашего века, был беспощадно правдив, но — за редким исключением — и беспросветно мрачен.

Однако творчество Астуриаса принадлежит уже иной исторической эпохе — и не только потому, что основные его книги опубликованы лишь после второй мировой войны. Медленно и трудно созревая, подчас блуждая в потемках, но неустанно стремясь ко все более тесному сближению со своим народом, гватемальский писатель сумел, в конце концов, пойти дальше многих своих ровесников и в значительной степени преодолеть ограниченность так называемого «пессимистического реализма».

Сегодня Астуриас — один из самых известных писателей Латинской Америки. Он известен не только как прозаик, его стихи и поэмы пользуются успехом, ему принадлежат интересные опыты в области драматургии. Но наибольшую популярность Астуриасу принесли его романы, которые не только повсеместно читаются в странах испанской речи, но и переведены на несколько иностранных языков.

В последние годы имя Астуриаса стало появляться и на страницах североамериканских изданий. Однако сопровождается это, как правило, такой «интерпретацией» творчества гватемальского писателя, при которой объективное содержание его произведений умышленно искажается. Так, например, автор статьи «Современная испано-американская литература», опубликованной в апреле 1956 года журналом «Américas», решительно зачислил Астуриаса в ряды неомодернистов, объединив его с теми латиноамериканскими эпигонами Джойса и Кафки, которые, порывая с реалистическими традициями национальной литературы, «стараются истолковать мир при помощи глубоких символов и аллегорий».

На утверждения подобного рода лучший ответ дает сам Астуриас, с каждой новой книгой идущий ко все более объективному изображению действительности, ко все более реалистическому воспроизведению жизни и борьбы своего народа.

Летом 1957 года Мигель Анхель Астуриас побывал в Советском Союзе в качестве почетного гостя Всемирного фестиваля молодежи. Радостно было видеть, как свободно и естественно писатель из далекой Гватемалы вошел в бурную жизнь фестивальной Москвы, с какой юношеской жадностью вбирал он в себя впечатления и образы нового, социалистического мира. В заявлениях для печати, сделанных в эти дни Астуриасом, выразилось глубокое понимание ответственности, лежащей в наше время на писателе, его непреклонная решимость отстаивать мир и дружбу народов.

«Писатель является должником своего народа,— говорится в одном из этих заявлений.— Его произведения должны быть документом, отражающим нашу эпоху, он должен отобразить социальную действительность во всех ее стремлениях, надеж-

дах, страданиях и битвах. Писатель должен стать сейчас на сторону эксплуатируемых классов».

К этим словам Астуриаса привел весь опыт его долгого творческого пути.

I

Подавляющее большинство современного населения Гватемалы составляют индейцы и метисы — потомки тех самых индейцев майя, которые еще до испанского завоевания создали здесь едва ли не самую высокую цивилизацию древней Америки.

В первой четверти XVI века конквистадоры, сломив сопротивление индейских племен Центральной Америки, основали генерал-капитанство Гватемалу. Для народа майя начался период крепостного рабства, насильственного обращения в католичество, варварского разрушения созданной им культуры. Ученые и жрецы были перебиты, рукописи сожжены монахами. Секрет письменности майя был надолго утрачен.

Провозглашение независимости Гватемалы в 1821 году почти ничего не изменило в положении народных масс. Земля оставалась в руках помещиков, крестьяне же—как те, кто вынужден был арендовать эту землю, так и те, кого с помощью насилия и обмана превращали в батраков на какаовых и кофейных плантациях,— постепенно становились пожизненными и наследственными долговыми рабами. А с конца XIX века Гватемалу начал прибирать к рукам иностранный капитал, и положение народа сделалось еще более нестерпимым.

Вследствие слабости национальной буржуазии и немногочисленности рабочего класса Гватемалы господство реакционного союза империализма с помещиками-латифундистами осуществлялось здесь в наиболее грубой и дикой форме — в форме террористической диктатуры ставленников этого союза. Вплоть до 1944 года Гватемала, находившаяся под властью сменявших друг друга тиранов, почти не знала демократических свобод.

Но народ не признавал себя покоренным. Гнету помещиков, натиску империалистов гватемальское крестьянство стремилось противопоставить стойкость своих сельских общин, сохранившихся с доколониальных времен. Отношения между членами этих общин в значительной степени продолжали регулироваться нормами родового строя. Ограбленные и угнетенные индейцы упорно держались обычаев и верований далеких предков. Сохраняя в памяти сказки, песни, легенды, передавая их изустно от поколения к поколению, ревниво оберегая от любопытства чужеземцев, они сумели донести до наших дней свою причудливую и красочную мифологию, сокровища своей удивительной поэзии, свой эпос, поражающий современных исследователей самобытностью, мощью и богатством.

Эта струя народного творчества до самого недавнего времени текла подспудно, глухо, почти не выбиваясь на поверхность и привлекая внимание лишь нескольких ученых-этнографов. Быть может, ни в одной из стран Латинской Америки взаимная отчужденность между народом и его эксплуататорами не была столь велика и нигде она не сказывалась так сильно именно в области культуры, как в Гватемале.

Детство и юность Мигеля Анхеля Астуриаса, родившегося в 1899 году, совпали с мрачным периодом в истории его родины — временем диктатуры одного из самых кровавых тиранов Центральной Америки, ставленника Соединенных Штатов — Эстрады Кабреры. Именно в этот период американская монополия «Юнайтед фрут компани», насаждавшая в Гватемале банановые плантации, начала становиться фактическим хозяином страны.

Астуриас был сыном судьи, которому с приходом Кабреры к власти пришлось оставить свой пост и заняться торговлей. Во внутреннем дворике — «патио» — его городского дома постоянно толпились люди, приезжавшие из деревень. Мальчик проводил среди них все свое время. Люди из патио, их сочная народная речь, песни и сказки, их рассказы о жизни индейцев, такой не похожей на окружающую городскую жизнь, однообразную и скучную,— все это осталось для него самым глубоким впечатлением детства.

Смолоду возненавидев затхлый быт столицы захолустной деспотии — он рассчитается с ним в первом же романе,— Астуриас всем существом потянулся к простому и поэтическому миру своих братьев по крови — гватемальских крестьян, среди которых действовали какие-то иные законы, иные и, как уже тогда казалось ему, высшие нравственные нормы.

Интерес к жизни народа укрепляли в нем произведения классиков русской литературы — Тургенева, Толстого, Достоевского,— оказавшие значительное влияние на формирование духовного облика будущего писателя. Значение этого влияния сам Астуриас много лет спустя определил следующим образом: «Русские писатели открывают писателю Латинской Америки путь для осуществления того, что сам он предчувствует, тот мир, который зреет в его собственном сознании...»

В университете Астуриас попадает в среду оппозиционно настроенных студентов и вместе с ними участвует в движении, приведшем в 1920 году к падению диктатуры Эстрады Кабреры. В последовавший затем период некоторой либерализации режима в стране Астуриас принимает участие в организации «Народного университета», ставившего целью давать бесплатное образование трудящимся, и сотрудничает в социалистическом журнале «Новые времена».

Надежды на демократические реформы оказались тщетными. К власти пришел очередной тиран, и в 1925 году Астуриас был вынужден уехать в Европу. Поселившись

в Париже, он начинает посещать курс лекций Жоржа Рейно «Мифы и религии Латинской Америки» и с головой уходит в изучение культуры коренных латиноамериканских народов.

Свое литературное ученичество Астуриас проходил в те же годы и в том же городе, что и многие североамериканские представители «потерянного поколения», искавшие забвения в модернистском искусстве. Со многими из них он встречался в парижских литературных кругах. И в то же время целая пропасть разделяла молодых американских интеллигентов, жестоко разочаровавшихся в своей родине, и сына истерзанной Гватемалы, мучительно переживавшего бедствия и унижения своего народа. Даже то, что могло бы их объединить — стихийное неприятие капиталистической действительности,— питалось различными источниками и приводило к диаметрально противоположным выводам. Изгои империалистической Америки готовы были порвать со всеми национальными традициями, отбрасывая самое понятие американской литературы. Но в устах гватемальского писателя это понятие наполнялось новым смыслом «То, к чему стремились мы все, латиноамериканцы, приехавшие в Европу между 1920 и 1930 годами, в отличие от тех, кто приезжал сюда раньше, было создать подлинно американскую литературу, а не простое подражание французам, англичанам или немцам»,— вспоминал он впоследствии.

Астуриас не чувствовал себя чужаком среди французской литературной молодежи. Юноша из Гватемалы, не испытавший на себе ужасов империалистической войны, мог зато немало порассказать о тех несчастьях, которые империализм принес его народу. Его чувства не поднимались еще до сознательной ненависти; Астуриас был очень далек от сколько-нибудь ясного представления о сущности империализма, о путях борьбы с ним. Он просто горячо любил свой народ, изнемогавший под двойным ярмом, страдал за него, хотел говорить от его имени.

Молодой гватемалец нашел поддержку у представителей левого крыла французской литературы. Большое влияние на формирование его взглядов оказали Ромен Роллан и Анри Барбюс. Но наиболее близкими Астуриасу стали такие писатели, как Арагон, Элюар, Дено, бывшие в то время сюрреалистами.

Сближение с сюрреалистами, оставившее на творчестве Астуриаса заметный отпечаток, имело и свои особые причины. Стремившийся к тому, чтобы стать не бытописателем, а выразителем своего народа, не описывать жизнь индейцев, а изображать ее именно так, как ее видят, чувствуют и понимают сами индейцы, гватемальский писатель сталкивался с невозможностью передать мироощущение индейцев майя при помощи традиционных литературных форм, выросших из совсем другой почвы, в других социальных условиях. Для того, чтобы воспроизвести во всей самобытности духовный склад человеческого коллектива, стоящего на ранней стадии общественного развития, со всеми его неповторимыми особенностями — свежестью мировосприятия, синкретичностью представлений и, в то же время, с его стихийной религиозностью, с иными, чем у цивилизованных людей, понятиями о причинах и связях явлений, — требовались какие-то новые средства. Неудивительно, что то литературное направление, представители которого выступали — хотя и с совсем иных, чем он, эстетических позиций — за возвращение к примитиву, за возрождение «младенческого» состояния человека, привлекло внимание Астуриаса.

Гватемальский писатель не сумел разглядеть коренной противоположности между субъективистскими предпосылками сюрреализма и своими собственными, реалистическими по сути устремлениями. «Перекличка» с сюрреализмом переросла в одностороннее и длительное влияние сюрреализма на его творчество — влияние, последствия которого не изжиты писателем окончательно и теперь. Однако сфера этого влияния с самого начала была ограниченной. Астуриас стремился применить выработанные сюрреалистами технические приемы для воспроизведения особенностей мышления индейцев майя, для создания с их помощью своего рода эмоциональной атмосферы произведения. Следуя сюрреалистам, он погружался в глубины подсознания своих персонажей. Но писатель оставался чуждым тому индивидуалистически-произвольному отношению к действительности, тому презрению ко всякой общественной жизни, которые лежали в основе теории и практики сюрреализма. И по мере того, как врожденный демократизм Астуриаса, стихийно-материалистический характер его дарования начинали вступать в конфликт с сюрреалистическими принципами, он все чаще отбрасывал эти принципы.

В 1930 году в Мадриде вышла из печати его первая книга «Легенды Гватемалы» — художественная обработка нескольких образцов индейского народного творчества. Использование отдельных эпизодов эпоса «Пополь-Ву» в сочетании со знакомыми с детства фольклорными мотивами позволило писателю создать чрезвычайно оригинальное и красочное произведение.

Книга Астуриаса завоевала широкое признание: в короткий срок она была переведена на основные европейские языки, во Франции получила премию. Однако успех «Легенд Гватемалы» имел двойственный характер: если одни читатели были попросту благодарны автору за приобщение к духовным сокровищам, созданным его народом, то нашлись и такие, кто увидел в этой книге торжество иррационального начала над разумом и поднял на щит те элементы мистицизма, которые в ней действительно присутствовали. Характерен в этом

отношении восторженный отзыв, принадлежавший Полю Валери:

«Что́ за смесь из тропической природы, беспорядочной ботаники, индейской магии, теологии Саламанки, где Вулкан, монахи, Человек-Мак, торговец драгоценностями, не имеющими цены, «стаи доминиканских попугаев», «учителя-волшебники, которые идут в деревни, чтобы обучать выделке тканей и стоимости Нуля», соединяются в самом безумном сне!

...Стендаль советовал сам себе каждое утро прочитывать отрывок из Гражданского Кодекса. Этот совет имеет свою ценность. Но фармакопея должна быть полной. После укрепляющего требуются опьяняющие бальзамы и смолы Доза этого гватемальского эликсира время от времени восхитительно помогает от стольких вещей...»

В том, что Астуриас, покоренный цельностью мировосприятия, нравственной чистотой и действительно могучей поэзией народа майя, искавший в этой поэзии противоядия от ненавистной ему империалистической цивилизации, не мог, да и не хотел критически отнестись к религиозно-мистическим воззрениям отсталых индейцев, в том, что он порой идеализировал характер этих воззрений и переоценивал их роль в жизни майя,— во всем этом таилась серьезная опасность для писателя. Пылкое сочувствие, которым встречалось увлечение Астуриаса в окружавшей его литературной среде, усугубляло эту опасность.

Но мысли писателя были заняты не только поэзией и мифологией. Из Гватемалы приходили скорбные вести о каторжной жизни народа, о зверствах тирана, об ужасающей отсталости и нищете страны, задыхающейся в тисках американской монополии. Одновременно с «Легендами Гватемалы» Астуриас пишет начатый еще на родине роман «Господин Президент».

2

В 1933 году Астуриас возвратился на родину с рукописью законченного романа. Об опубликовании его нечего было и думать: в условиях кровавой диктатуры генерала Убико, который (как, впрочем, и другие латиноамериканские тираны) имел все основания узнать себя в центральном персонаже романа, это могло стоить жизни автору.

«Господин Президент» увидел свет лишь в 1946 году. Однако в оппозиционных кругах гватемальской интеллигенции и студенчества он получил известность задолго до этого — роман переписывали от руки, передавали друг другу, читали вслух на тайных сходках. Читатели сразу же по достоинству оценили разоблачительную силу, с которой писатель изобразил одну из самых страшных язв социально-политической жизни Латинской Америки — так называемый «каудильизм» (от испанского слова «caudillo» — вождь).

«Каудильизм» — это прежде всего господство реакционных диктаторов... приходящих к власти и правящих с помощью насилия»,— указывает Уильям З. Фостер.

Впервые в гватемальской литературе с такой неотразимой правдивостью была представлена политическая действительность: чудовищная тирания, продажность и растление правящих классов, беззаконие чиновников, нищета и бесправие народа, гнетущая атмосфера доносов и провокаций.

В романе не названы ни место, ни время действия. Избегая «точного адреса», автор как бы желает подчеркнуть типичность изображаемого для всех латиноамериканских стран.

Сюжет романа вкратце состоит в следующем. Один из нищих, проводящих ночи на паперти столичного собора, случайно убивает близкого к правительству офицера. Власти обвиняют в этом убийстве двух ни в чем не повинных, честных патриотов — лиценциата Карбахаля и генерала Каналеса, чтобы под этим предлогом расправиться с ними. Карбахаль арестован, Каналес вынужден бежать за границу. В доме генерала схвачена жена полицейского, Ни́нья Фединá, которая, узнав от мужа о готовящемся аресте, поспешила предупредить Каналеса. Разъяренные полицейские бросают женщину в тюрьму и там доводят ее до помешательства, заставляя слушать крики ее грудного ребенка, разлученного с матерью. Когда же ребенок умирает, ее продают в публичный дом. Второго из обвиняемых в убийстве предают суду и, даже не предоставив ему возможности оправдаться, немедленно казнят.

Между тем в отверженную всем «обществом» и даже своими родными дочь бежавшего генерала Камилу влюбляется фаворит президента Кара де Анхель. Он спасает тяжело заболевшую девушку от смерти и женится на ней. Получив известие об этом браке и о том, что дочь якобы отреклась от него, генерал Каналес, готовившийся к вооруженному вторжению в родную страну, умирает от разрыва сердца. Подготовленная им «революция» проваливается. Но и самого Кара де Анхеля, навлекшего на себя своим поступком гнев Господина Президента, заточают в тюрьму, где он и погибает, не вынеся утонченных физических и моральных пыток.

Действующее лицо, давшее название всей книге,— мрачный, сухой, всегда одетый в черное человек,— появляется в романе всего несколько раз; его вид, манеры, речь характеризуются как бы вскользь. И тем не менее, Господин Президент присутствует на каждой странице, косвенно отражаясь в мыслях, чувствах, разговорах других людей, воплощая в себе целую систему тиранического гнета. Над всеми событиями как бы нависает его зловещая тень.

Галереей гротескных образов, напоминающих кошмарные офорты Гойи, проходят в романе представители «общества» —

от высших чиновников до сыщиков и полицейских.

В отличие от других произведений Астуриаса, в этой книге представители народа появляются лишь эпизодически. Но каждый из таких эпизодов несет большую смысловую нагрузку. Такова сцена, изображающая ночлег нищих,— за ней стоит вся судьба ограбленной и преданной страны. Таковы эпизоды с женой полицейского, ставшей жертвой своей доброты, и такова, наконец, чрезвычайно многозначительная сцена встречи преследуемого генерала Каналеса с обездоленным крестьянином-индейцем, раскрывающая всю пропасть между угнетенным народом и даже лучшими представителями господствующего класса.

Роман до предела насыщен горечью, скорбью, гневом, хотя автор тщательно избегает открытого проявления собственных чувств. Необычайная выразительность повествования достигается Астуриасом при помощи мастерского использования всех средств речи — ритма, образа, слова.

Многое в «Господине Президенте» рассчитано прежде всего на слуховое восприятие: звуковые повторы, аллитерации, своеобразные фразы — лейтмотивы, проходящие через весь текст. Эта черта, характерная и для последующего творчества Астуриаса (и, кстати сказать, чрезвычайно затрудняющая перевод его произведений на другие языки),— не следствие формалистических ухищрений. Повышенное внимание писателя к *звучащему* слову связано прежде всего с фольклорной традицией. В этой особенности сказалось и стремление Астуриаса передать то почти первобытное отношение к слову, ту веру в его магическую силу, которые так характерны для индейцев Гватемалы, еще не изживших ранних общественных форм.

Сказались в романе и сюрреалистические увлечения писателя — в нескольких главах, написанных по всем правилам «школы потока сознания», на тех немногих страницах, где игра слов, аллитерации, звуковые эффекты утрачивают свой вспомогательный характер и превращаются в самоцель. Однако все содержание «Господина Президента» говорит не о желании автора освободиться от законов действительности, спасаясь от них бегством в мир подсознания, а наоборот — о его стремлении как-то осмыслить эти законы, определить свое к ним отношение.

Каким же было это отношение? Во имя чего потрясал Астуриас читателей беспощадным изображением ужасов жизни маленькой центральноамериканской республики?

Может показаться, что писатель вообще не ставил своей целью утверждение каких-либо идеалов. Слишком уж беспросветна нарисованная им картина, слишком жалки его герои — слепые жертвы таких же слепых палачей.

И, однако, в этом, самом мрачном по колориту произведении Астуриаса имеется своеобразная «положительная программа». Для того чтобы эту программу понять, нужно вспомнить о том мире, который не изображается в «Господине Президенте» и в то же время незримо присутствует на каждой странице,— мире простых, невежественных, но нравственно чистых и близких к природе индейцев. Это от их имени Астуриас разоблачает и судит феодально-буржуазную цивилизацию, ненавидя ее всей душой, не так, как разочарованный европейский декадент, а как представитель народа, который эту «цивилизацию» испробовал на своей шкуре и которому она принесла бедствия, гнет, физическое истребление.

Как сплошная ложь и гниль, прикрытая балаганным пустословием, представлена в романе жизнь тех, кто подчиняется требованиям и обычаям этой цивилизации. Правы лишь те, кто отвергает эти бесчеловечные требования во имя вечных, естественных законов мудрой природы. Бессмысленно звучат слова о долге, чести, патриотизме, кто бы их ни произносил — Господин Президент или честный генерал Каналес. Зато свят и чист материнский инстинкт простой женщины Ниньи Федины; всесильна и не нуждается в оправданиях слепая страсть, бросающая дочь политического эмигранта в объятия президентского фаворита; и даже бред нищего безумца заслуживает в глазах Астуриаса несравненно более сочувственного и серьезного воспроизведения, чем торжественная речь в честь диктатора, полная дикой лести и самых нелепых преувеличений.

В этой позиции отразилась духовная связь писателя с индейским крестьянством Гватемалы, стоящим на ранней ступени общественного развития. Эта духовная связь во многом определила остроту и силу его социальной критики. Но она же и существенно ограничивала кругозор писателя, в значительной степени обуславливая упрощенный, наивный характер его представлений об общественной жизни.

В революцию «снизу» автор «Господина Президента» не верил. Люди из народа изображены в романе при всей их привлекательности беспомощными, слабыми, неспособными в какой-либо степени воздействовать на ход событий. В революции «сверху» он не видел ничего хорошего, и в этом тоже отражалось вековое недоверие гватемальских крестьян к верхушечным переворотам, для которых они служили лишь пушечным мясом и от которых ничего не получали. Потому-то так трагикомически выглядит в изображении писателя «революция» генерала Каналеса.

Мужественно отвергая либерально-буржуазные иллюзии об освобождении народа без участия самого народа, Астуриас в то же время не был подготовлен к принятию единственного учения, которое могло раскрыть перед ним реальные исторические перспективы, подлинные пути борьбы за свободу Гватемалы. Это обусловило трагический характер его романа.

Однако то, чего писатель не мог постигнуть умозрительным путем, ему посчастливилось увидеть своими глазами.

3

В мае—октябре 1944 года на родине Астуриаса произошли события, круто изменившие всю ее историю. В ходе второй мировой войны, носившей антифашистский характер, под влиянием исторических побед советского народа над гитлеровской Германией в Гватемале начался подъем национально-освободительного движения. В результате выступления трудящихся, студенчества и патриотически настроенной буржуазии диктатура Убико была свергнута. Новое правительство провело ряд прогрессивных мероприятий.

В последующие годы в результате дальнейших событий — избрания на пост президента Хакобо Арбенса (1950), провозгласившего широкую программу аграрной реформы и индустриализации Гватемалы; принятия парламентом закона об аграрной реформе (1952), ударившего по интересам латифундистов и иностранных монополий,— демократическое движение в стране начало становиться все более массовым, перерастая в антифеодальную, антиимпериалистическую революцию.

Не принимавший непосредственного участия в политической борьбе Мигель Анхель Астуриас с горячим сочувствием относился к развертывавшемуся движению. Демократическое правительство привлекает его на дипломатическую службу. В течение ряда лет в качестве посла Гватемалы он защищает интересы родины за рубежом.

События в Гватемале благотворно сказались на творчестве писателя. Одна за другой начинают выходить его книги. Изданный в 1946 году «Господин Президент» через несколько лет был удостоен международной премии Клуба французской книги.

В 1949 году появился новый роман Астуриаса «Маисовые люди».

Сколько-нибудь вразумительно изложить его содержание очень трудно. И это неудивительно. Секрет исключительного своеобразия этого произведения кроется в том, что, воспроизводя жизнь индейцев майя в начале нашего века, автор стремится как бы полностью раствориться в своих героях, разделяя их мировосприятие со всеми его особенностями. Языческие верования индейцев, их первобытный анимизм и тотемизм являются здесь не объектом изображения «со стороны» — они воплощены в самой композиции романа, в его сюжете и образном построении.

Человеку, не имеющему представления об особенностях мышления и мироощущения героев Астуриаса, события, совершающиеся в этом романе, могут показаться просто бредом. Нечто подобное было уже в «Легендах Гватемалы», но там позиция автора как-то оправдывалась в глазах читателя сказочно-мифологическим материалом книги, воспринималась как рассчитанный условный прием. Но в «Маисовых людях» материал сам по себе отнюдь не сказочный, да и автора не заподозришь в нарочитой условности — с такой истовой серьезностью, можно сказать даже с таким педантизмом воспроизводит он все оттенки мировосприятия своих героев и сам стремится в точности им следовать. Конечно, полностью это не удается: нет-нет, да и прорвется ткань наивно-языческого повествования и сквозь нее проглянет утонченный стилист, прошедший искусы новейших литературных школ.

Смысл названия романа объясняется верованиями майя-киче, согласно которым люди были сотворены из маиса. Первобытная традиция требует от людей считать маис частью своего существа, священным продуктом и разрешает употреблять его в пищу только в меру необходимости. На почве этих обстоятельств возникает борьба не на жизнь, а на смерть между свято следующим этой традиции коренным населением и пришельцами, которые производят маис на продажу, хищнически истощая почву. В борьбе погибает предводитель индейцев — касик Гаспар Илом, но возмездие за его смерть постепенно настигает виновников и их потомков.

В сюжете «Маисовых людей» отражен, разумеется в фантастически-преобразованном виде, реальный конфликт между носителями архаических форм хозяйства и вторгшимися в их жизнь представителями капиталистического уклада. То же можно сказать и о других, частных конфликтах произведения — каждый из них имеет свою реальную основу. Но развиваются они в дальнейшем уже не по законам реальной действительности, а по законам тех мистифицированных форм, в которые облекает их первобытное мышление. Отсюда — всевозможные чудеса, волшебства и превращения, которые выглядят на первый взгляд необъяснимыми и нелепыми, но вполне объяснимы и необходимы с точки зрения этого мышления.

Так, например, совершенно непонятное, с нашей точки зрения, «превращение» одного из действующих лиц романа в койота и обратно вполне объяснимо в свете религиозно-тотемистических представлений майя о том, что у каждого человека должен быть свой «науаль» (тотем), воплощенный в каком-либо животном; считается, что в течение всей жизни человек связан с этим животным подвергается тем же опасностям, что и оно, и умирает одновременно с ним.

И так же, как в своих отношениях с природой, отсталые индейцы, будучи не в силах ее покорить, подчиняют ее себе в своем воображении, так и в общественной жизни, сгоняемые с земли, разоряемые и угнетаемые носителями буржуазных порядков, они хотя бы в воображении торжествуют над ними.

Язык, которым все это написано, превосходно передает речь индейцев майя — ее примитивный грамматический строй, органически присущую ей образность, порожденную анимистическим одухотворением природы.

Конец «Маисовых людей» носит уже чисто фантасмагорический характер: герои Астуриаса «воскресают», встречаются в потусторонних мистических сферах; им открывается «высший», таинственный смысл совершавшихся событий.

Роман Астуриаса, раскрывающий своеобразный духовный мир одного из самых удивительных народов земли,— бесспорно единственное в своем роде произведение современной литературы. Но и заблуждения писателя сказались в этой книге с особенной силой. Некритическое восприятие идеологии самых отсталых слоев гватемальского крестьянства мешало Астуриасу объективно оценить революционные возможности своего народа. Поэтизация самых реакционных, религиозно-мистических черт этой идеологии привела его на грань мистицизма. Неудивительно, что именно этот роман используется апологетами модернизма, пытающимися объявить Астуриаса своим единомышленником.

С формальнологической точки зрения, «Маисовые люди» — это шаг назад в творчестве Астуриаса. В действительности же дело обстояло сложнее. В современной Латинской Америке — как и в Азии, и в Африке — к освободительной борьбе приобщаются народы, находящиеся на самых ранних ступенях общественного развития. Протест этих народов против империалистической действительности на первых порах нередко выступает в наивной и отсталой форме религиозно-мистической идеологии. Роман «Маисовые люди» выразил этот протест в той самой отсталой форме, в которой он первоначально выливался. При всех его недостатках этот роман знаменовал еще более тесное, чем раньше, сближение Астуриаса с гватемальским крестьянством. А в условиях антифеодальной, антиимпериалистической революции, когда народ Гватемалы, вступая в борьбу за землю и свободу, проходил в несколько лет такую школу политической зрелости, какой не дали ему и столетия застойного существования, близость писателя к народу становилась решающим фактором его движения к реализму.

4

Чем шире развертывалась освободительная борьба гватемальского народа, тем яростнее становилось сопротивление реакционных сил. Во главе этих сил стояла могущественная американская монополия «Юнайтед фрут компани», с начала XX века безраздельно хозяйничавшая в Гватемале, захватившая лучшие земли, леса, порты и железные дороги страны.

В напряженной обстановке, создавшейся в стране, с невиданной до того наглядностью обнаруживалась подлинная сущность совершавшихся событий; классовая борьба выступала в наиболее четких и обнаженных формах. Даже самым отсталым слоям населения начинали открываться подлинные причины и виновники их бедствий, и звериный лик североамериканского империализма вырисовывался перед ними во всей своей неприглядности.

Весь этот опыт не мог пройти бесследно для Астуриаса. Многое из того, что раньше, в застойной атмосфере отсталой страны, невозможно было увидеть человеку, не вооруженному марксистским мировоззрением, теперь, в условиях открытой борьбы, становилось доступным просто внимательному наблюдателю.

Писатель приступает к созданию трилогии о судьбах гватемальского крестьянства в двадцатом столетии.

В 1950 году появилась первая часть этой трилогии — роман «Сильный ветер», действие которого относится приблизительно к 20-м годам. Два мира сталкиваются в этом романе лицом к лицу: мир близких к природе, наивных и суеверных тружеников — мелких арендаторов и батраков одного из районов Караибского побережья — и мир опустошенных и бездушных представителей империалистической «цивилизации» — служащих и акционеров хозяйничающей в этом районе американской банановой монополии «Тропикаль платанера», в которой нетрудно узнать всесильную «Юнайтед фрут компани».

Любовно изображая жизнь крестьян — судьбы индейцев, вынужденных покинуть родные места и перебраться на побережье; историю женитьбы пеона Аделаидо Лусеро, приобретение им маленького участка земли с целью выбиться в самостоятельные хозяева, — Астуриас с присущим ему мастерством воссоздает самобытный внутренний мир своих героев. Но в характере этого изображения появляются и новые черты: в прежних произведениях писателя не было такого внимания к материальной стороне этой жизни, к трудовой деятельности крестьян, которая в «Сильном ветре» впервые выступает как основа их бытия.

А параллельно с этой жизнью течет другая — праздная и нечистая жизнь служащих банановой компании.

Астуриас не ограничивается художественной констатацией непримиримого противоречия между двумя изображенными им мирами. Стремясь к наиболее яркому, концентрированному выражению этого противоречия, он строит сюжет, в основе которого лежит исключительная, почти неправдоподобная ситуация.

Американец Стоунер, миллионер и держатель акций «Тропикаль платанеры», решивший на месте познакомиться с методами деятельности этой компании, проникает под чужим именем в ее владения, сближается с крестьянами. Увидев картину чудовищной эксплуатации и злоупотреблений, поняв, какую ненависть к себе

вызвала «Тропикаль платанера» в народе, он возвращается в Чикаго и, явившись к всесильному Зеленому Папе — главе правления монополии, — пытается убедить его хотя бы повысить плату за бананы, по нищенским ценам скупаемые у мелких арендаторов.

Получив категорический отказ, Стоунер вновь является на побережье. Продолжая выступать инкогнито, он предлагает мелким арендаторам объединиться и совместно бороться против компании. Кооператив крестьян под руководством переодетого миллионера вступает в борьбу с «Тропикаль платанерой». Крестьяне совместно покупают грузовик, начинают самостоятельно сбывать бананы на окрестных рынках и в столице, даже основывают на паях небольшую фабрику по изготовлению банановой муки. Представители компании — в ярости; дело едва не доходит до вооруженных столкновений.

Одновременно с этим Стоунер через своих агентов в Соединенных Штатах ведет крупную игру, цель которой — свергнуть Зеленого Папу и захватить руководство монополией с тем, чтобы, действуя тонкими и «гуманными» методами, обеспечить еще более устойчивое господство «Тропикаль платанеры» на Карибском побережье.

«Сильный ветер» свидетельствовал о поисках писателем новых принципов изображения действительности. Желая создать широкую картину общественной жизни, писатель уже не может всецело ограничивать себя кругозором отсталого крестьянина; он ищет возможности совместить мировосприятие индейца с какой-то иной точкой зрения, позволяющей отразить и такие соотношения и связи, которых еще не умеет осознать крестьянин.

Результат этих попыток не во всем оказался удачным, но в целом «Сильный ветер» характеризуется более глубоким, чем ранее, проникновением в сущность изображаемых явлений. Мистический туман, заполнявший атмосферу «Маисовых людей», еще не совсем рассеялся и в этом романе, но здесь он как бы оттеснен вглубь, а на переднем плане и в центре действуют и сталкиваются реальные люди, руководствующиеся, в конечном счете, материальными интересами. Реальными условиями жизни вызвано и то еще слабое пробуждение общественного сознания крестьян, которое показано Астуриасом в эпизодах, посвященных организации кооператива.

В изображенной им действительности писатель не находил оснований для оптимистического окончания своего романа. Но и закончить его мрачной нотой, как «Господина Президента», ему не хотелось. Для того чтобы выразить свою обретенную к этому времени веру в грядущую победу народа, Астуриас прибегнул к символической концовке.

Роман заканчивается картиной урагана, возникающего — и здесь Астуриас еще раз отдает дань мистике — благодаря волшебству, которое насылает на американцев старый колдун по просьбе одного из крестьян, разоренного компанией и стремящегося отомстить ненавистным «гринго».

«В тот день, когда он остался со своими бананами, со своими связками, которые были выше человеческого роста, а их не покупали, он заплакал и сказал только:

— Гринго, сучьи дети, у вас есть то, чего нельзя увидеть и чем вы нас давите, то, против чего мы не умеем бороться и что нельзя убить... ха! но пусть меня охолостят, если я не найду, как отомстить!

И он пошел повидать Чамá Ри́то Перра́ха, чтобы Чама выпустил против этой неизвестной воли непреодолимую силу, которая все разрушит, а Чама попросил у него жизнь, и он, Эрменеги́ло Пуа́к, отдал ему ее, а Чама попросил у него голову, и он, Эрменегило Пуак, отдал ему все, только бы отомстить».

В неистовом урагане, который уничтожает банановые плантации «Тропикаль платанеры» и разрушает ее дома, погибает и Стоунер со всеми его планами, несущими самое полное и всеобъемлющее закабаление гватемальскому народу.

Еще более широкая картина общественной жизни дается во второй части трилогии — романе «Зеленый Папа», вышедшем из печати в феврале 1954 года. В нем действуют лица, знакомые по предыдущему роману, но рамки повествования здесь значительно раздвинуты как в пространстве, так и во времени.

Первые главы возвращают читателя к началу XX века, когда торговый пират и контрабандист, американец Джо Мейкер Томсон, оставив свои прежние занятия, поступает на службу компании «Тропикаль платанера», которая поручает ему создание банановых плантаций на территории центральноамериканской республики.

С помощью посулов и угроз Мейкер Томсон пытается скупить по дешевке землю под плантации. Но крестьяне наотрез отказываются продавать свои участки. И тогда американец при поддержке местных властей вооруженной силой ломает их сопротивление. Скорбью и гневом дышат страницы, изображающие шествие наемных банд американского колонизатора.

«Семья мулатов всеми своими сынами вцепилась в горсть земли. Все было напрасно. Их вырвали, растоптали, растерзали в клочья. Они вцепились в ранчо. Все было напрасно. Ранчо вспыхнуло вместе со всеми тряпками, святыми, мотыгами. Они вцепились в пепел. Все было напрасно. Человек двадцать головорезов с рыжим надсмотрщиком во главе вышвырнули их ударами бичей. Старые мулатки, задыхаясь от слез, кричали, визжали, катались по земле, словно их щекотал кто-то; своими одеревеневшими, избитыми, израненными руками пытались они защититься от града ударов. И мулаты, побуревшие от старости, круглоголовые, полуседые, уходили, опьянев от

тоски, вытолканные, избитые, обездоленные, вместе со своим несчастным потомством, детьми, внуками, которые ощущали на себе удары бичей, хлеставших по телам их родителей; рыдая от страха и жгучего горя, они бормотали: *чос, чос, мойон, кон...* нас бьют, бьют руки чужеземцев... *чос, чос, мойон, кон!»*

Ярко и впечатляюще, используя все богатство своих выразительных средств, рассказывает Астуриас историю утверждения господства американской монополии на территории Гватемалы. Перед читателем развертывается страшная летопись преступлений, совершавшихся захватчиками и помещиками, предавшими свою страну.

Тема народного сопротивления империалистическим колонизаторам поначалу решается писателем все в том же ключе: крестьяне едины со своей землей, с величественной природой, которая укрывает их от захватчиков, преграждая путь поработителям. На стороне этих людей — вся поэзия, вся свежесть жизни. Живое олицетворение поэзии и чистоты, прекрасная девушка Майáри, которая сначала влюбилась в Томсона, показавшегося ей романтическим авантюристом, разрывает с ним и со своей матерью, изменившей родине, уходит к индейцам, таинственно исчезает в глубине первобытного леса.

Однако реализм писателя проявляется здесь в трезвой оценке возможностей пассивного сопротивления, в мужественном отказе от утешительного преображения жестокой действительности средствами фантазии (характерного не только для «Маисовых людей», но и для финала «Сильного ветра»). Торжествует — как это и было в действительности — Мейкер Томсон, побеждает злая и бездушная сила империализма.

Проходят годы, и «Тропикаль платанера» становится могущественным «государством в государстве», подчинившим себе жизнь не одной, а нескольких стран. А Мейкер Томсон превращается в одного из главных деятелей и крупнейших акционеров этой компании — знаменитого банановой короля Зеленого Папу.

Вторая половина романа почти полностью посвящена компании «Тропикаль платанера». Действие развертывается не только в Центральной Америке, но и в Соединенных Штатах. Разоблачение ненавистного врага осуществляется здесь Астуриасом с невиданной еще в латиноамериканской литературе силой. Да и во всей современной литературе едва ли найдется другое произведение, в котором с такой полнотой и тщательностью была бы раскрыта не только внешняя, но и внутренняя, потайная сторона деятельности империалистической монополии — связь ее с государственным аппаратом своей страны, давление, оказываемое ею на внешнюю политику, организуемые ею заговоры, вмешательство в дела чужих государств. Многие страницы романа «Зеленый Папа» могут служить прекрасной художественной иллюстрацией к ленинским трудам об империализме.

Стиль Астуриаса в этом романе — особенно во второй части — несет на себе явственные следы тех трудностей, с которыми встретился писатель, осваивая новый для него материал. Тонкий психологический анализ подчас соединяется здесь со схематически-плакатными характеристиками, художественное раскрытие общественных противоречий через судьбы людей подменяется иногда прямолинейными, «лобовыми» разоблачениями. Далеко не все действующие лица книги изображены с такой жизненностью, как Мейкер Томсон. Зато этот образ — типичный образ империалистического хищника — является большим, принципиальным достижением писателя.

В докладе на Первом Всесоюзном съезде советских писателей А. М. Горький, характеризуя бессилие, обнаруженное буржуазной литературой Европы в XX веке, перечислил ряд характерных для современной капиталистической действительности, но еще ждущих своего литературного воплощения типов авантюристов, грабителей и тиранов. В частности, он говорил «В маленьких республиках Южной Америки действуют люди не менее яркие, чем кондотьеры Италии XIV—XV веков...» Эти слова можно было бы поставить в качестве эпиграфа к роману «Зеленый Папа».

Мейкер Томсон вначале — человек, по-своему яркий. Всесторонне обрисовывая его характер — в делах, в любви, в развлечениях, — писатель раскрывает социальную обусловленность головокружительной карьеры, превратившей безвестного авантюриста в одного из «капитанов» империалистической Америки. И в то же время он показывает и тот процесс «расчеловечивания», которым сопровождается эта карьера. Мы видим, как человек — циничный и жестокий, но все же человек — превращается даже не в животное, а в бездушную, хотя и сложную машину наподобие электронносчетной... В Мейкере Томсоне, каким мы видим его в конце романа, больше всего поражает несоответствие между гигантскими масштабами его злодеяний (по своим последствиям они оставляют далеко позади поступки шекспировских злодеев) и таким внутренним измельчанием, при котором мысли его и чувства приходится рассматривать как бы под микроскопом. Момент делового триумфа Зеленого Папы как бизнесмена не случайно совпадает с кульминацией его духовного обнищания. Писатель подчеркивает этим иллюзорный характер его победы, иллюзорность всего господства американской монополии над покоренной ею страной.

В недрах этой страны бурлит неутихающий гнев народных масс, все громче звучит клич скорби и мести: *чос, чос, мойон, кон!..* Простые, цельные, *настоящие* люди собирают силы против колонизаторов. Событиям гватемальской революции 1944 года — свержению реакционной диктатуры,

борьбе народа против «Юнайтед фрут компани» — Астуриас посвящает последнюю, еще не законченную часть трилогии — «Глаза погребенных» *.

5

Годы работы над трилогией были для Астуриаса временем больших внутренних перемен. Писатель принимает участие в движении сторонников мира, выступает с рядом заявлений, содержащих новые для него мысли о месте писателя в общественной жизни, о его ответственности перед народом. «Настоящий американский писатель выходит на улицу,— говорилось в одном из этих заявлений,— потому что сегодня он обязан находиться на улице... Единственный путь, который ведет чилийца, гватемальца, мексиканца к подлинному своеобразию, — это изображать все то, что происходит вокруг него. Вот почему современный роман, рожденный развитием стран Латинской Америки, по своей сути — роман социальный».

18 июня 1954 года наемники американских монополий начали вторжение в Гватемалу, убивая, грабя и насилуя во имя «западной цивилизации». Почти безоружный народ героически отразил их нападение. Тогда в действие вступили американские бомбардировщики. Армейское командование изменило, президент был свергнут. Началась зверская расправа со всеми теми, кто был членом профсоюзов или участвовал в проведении земельной реформы. Запылали костры, на которых сжигались книги... Горели на этих кострах и книги Астуриаса. Их автор вместе со многими другими художниками, писателями, общественными деятелями очутился в изгнании.

Кровавые события 1954 года стали новой, жестокой школой для Астуриаса. Писатель не пал духом, не сломился. Его ненависть к империалистам и их пособникам стала еще более зрелой и осознанной, чем раньше. Об этом говорит его книга рассказов «Уик-энд в Гватемале», вышедшая в свет осенью 1956 года.

Иностранное вторжение в Гватемалу — в центре действия каждого из восьми рассказов, составляющих эту книгу. Никто не может остаться в стороне от этого вторжения, жизни людей как бы перерезаны им надвое. Одни гибнут, другие сломлены, но третьи продолжают борьбу.

От рук наемников погибает суеверный, наивный и мудрый старшина индейской общины Диего («Бой-баба»). Вместе со всеми односельчанами ликовал он, получая землю, вместе с ними мечтал о тракторе, чтобы совместно обрабатывать поля, о школе для своих детей... За это он и расстрелян на пороге своей хижины.

Двадцатидвухлетняя студентка находит в себе силы для совершения подвига. Рискуя жизнью, она забирается в кузов американского грузовика, тайно перевозящего оружие для мятежников, и на полном ходу выбрасывает на дорогу ящики с оружием («Уик-энд в Гватемале»).

Итальянец Тизонелли, внук эмигранта-гарибальдийца, став свидетелем омерзительных преступлений, совершаемых торжествующими победителями под предлогом «ликвидации коммунистической угрозы», вступает на путь решительной борьбы против антинародной диктатуры («Торотумбо»).

Целая галерея американцев проходит перед читателем: вот «сам» американский посол, деловито руководящий засылкой оружия в Гватемалу; а вот доставляющий это оружие полупьяный сержант Гаркинс, для которого вмешательство в дела чужой страны — всего лишь «потерянный уик-энд»; бездушная красотка Аларика Пауэлл, оскорбляющая национальную гордость влюбленного в нее гватемальца; шпион в личине безобидного энтомолога, охотящийся на бабочек и инструктирующий мятежных помещиков; «специалист по общественному мнению», вызванный из США в Гватемалу для организации чудовищной фальсификации... А за ними тянутся предатели родины: помещики, с их ненавистью к получившим землю крестьянам; изменники-офицеры, изображенные писателем с хлещущим презрением... Страшны дела этих людей, но сами они не страшны, а жалки и отвратительны.

Дыханием поэзии и чистоты овеяны в рассказах Астуриаса его любимые герои — гватемальские крестьяне. Но в их изображении проступают новые черты. Это уже не те покорные и забитые индейцы, которых мы знаем по прежним произведениям писателя. Десять лет гватемальской республики не прошли для них даром: они получили землю, в них проснулось чувство собственного достоинства, и слово «родина» приобрело для них новый смысл. Вот почему, узнав о начавшемся вторжении, крестьянин Тибурсио Сотох («Крестьяне»), не раздумывая, отдает на сооружение баррикады все бревна и доски, которые он с таким трудом приобрел для постройки собственного дома, и решительно заявляет: «Землю мы не отдадим. Что до меня — я скорее умру». И вместе с ним на борьбу с захватчиками поднимаются другие крестьяне из его деревни, готовые защищаться зубами и ногтями.

Со скорбью и гневом рассказывает Астуриас жестокую правду о том, как был предан народ, как было задушено его мужественное сопротивление. Не щадя ни себя, ни читателя, рисует он эпизоды зверских бомбардировок, убийств, массовых казней. И все-таки даже эти страшные картины не производят того тягостного впечатления, которое оставляют некоторые места прежних романов Астуриаса. Не жертвами, но борцами умирают его герои. Надеждой, упор-

* Название этого романа основано на поверье индейцев майя: глаза погребенных остаются открытыми, пока на земле господствует несправедливость.

ством, торжеством неукротимого человеческого духа веет от этих скорбных страниц.

Глубоко знаменателен тот факт, что за высшими примерами человеческой доблести Астуриас обращается к представителям того класса, который еще не появлялся на страницах его произведений. Незабываема сцена расстрела рабочих — членов профсоюза в рассказе «Трупы для общественного мнения». К приговоренным, уже вырывшим себе могилу, обращается командующий расстрелом полковник. Он предлагает сделать шаг вперед тем, кто отказывается от своей организации, обещая за это помилование. «Ни один из этих людей не двинулся; смерть была перед ними, могила — у их ног».

К сражающимся рабочим и крестьянам тянутся колеблющиеся, запутавшиеся, стоящие на распутье. Порывая со своим классом, мужественно вступается за честь родины дочь помещика Коралия («Крестьяне»). Боль за свою страну пробуждается в душе американизировавшегося гватемальца — гида Милочо («Все они были американцами!»*), и он, жертвуя собственной жизнью, направляет в пропасть автобус с американскими туристами, любовавшимися разрушениями, которые произвели их самолеты. И для обманутой Валерии, муж которой оказался предателем родины, единственной надеждой остаются слова, сказанные на прощание солдатом отступающей народной армии: «Мы еще вернемся!» («Оцелот 33»).

Стиль Астуриаса в этой книге лаконичней и строже, чем раньше. Выразительные средства подчинены одной цели — вызвать ненависть к палачам, дать надежду жертвам, воодушевить борющихся.

Прежним произведениям писателя не было свойственно лирическое начало, он предпочитал как бы растворяться в своих героях. В рассказах сборника «Уик-энд в Гватемале» Астуриас не желает сдерживать открытого выражения своих чувств. В гневных разоблачениях злодеяний контрреволюции, в убийственно-саркастических характеристиках захватчиков и предателей, в сдержанно-страстных словах о доблести сынов Гватемалы звучит собственный авторский голос, обращенный к народу.

Гневная и мужественная, поистине кровью сердца написанная книга Мигеля Анхеля Астуриаса показывает, как много можно еще ждать от этого большого писателя.

* * *

Творческий путь Мигеля Анхеля Астуриаса был сложен и извилист; открытия сменялись заблуждениями, ошибки — победами. Однако шел он по этому пути не вслепую: горячая любовь к народу Гватемалы служила писателю компасом, с помощью которого, минуя всевозможные рифы, он двигался к правде, к реализму, к наиболее верному выражению духа своего народа. Если Астуриас сохранит свой испытанный компас, то, сближаясь теснее с героически борющимся за свою свободу гватемальским народом, с его передовыми силами, он несомненно придет к еще более глубокому и полному изображению жизни в ее поступательном движении к будущему.

Около двадцати лет назад Ральф Фокс мечтал о том времени, когда «мировосприятие освобожденного человечества будет укреплено почти нетронутыми запасами энергии народов Африки и индо-испанских народов Америки». Это время пришло. Вступающие во всемирно-историческую битву за освобождение человечества народы зависимых и угнетенных стран вносят свой неповторимый вклад в сокровищницу мировой культуры. Творчество писателя Гватемалы Мигеля Анхеля Астуриаса — частица этого драгоценного вклада.

---

* Рассказ опубликован в журнале «Иностранная литература» № 12, 1957 г.

М. Яхонтова

От живой борьбы к абстракциям

Роман «Люди или животные?» — первая опубликованная на русском языке книга современного французского писателя Веркора (Жана Брюллера). Во Франции этот роман — его французское заглавие «Les Animaux dénaturés» — вышел в свет в 1952 году.

Начало книги, как это видно уже из содержания первой главы, которая, по словам автора, «как положено, начинается с обнаружения трупа, правда, трупа совсем крошечного, но озадачившего всех», словно вводит читателя в область авантюрно-детективного повествования. Начиная со второй главы (которая «...дополняет краткую историю одного преступления краткой историей одной любви»), в роман вплетается любовная интрига в духе традиционной буржуазной беллетристики, а в дальнейшем некоторые характерные черты научно-фантастического романа. Однако читателю сразу же становится ясно, что все эти разнообразные элементы затронуты Веркором лишь в ироническом, пародийном плане. Автор не принимает всерьез ни главного героя романа английского журналиста Дугласа Темплмора, ни его возлюбленную Френсис Доран, писательницу, рассказы которой журналы печатали «без всякого энтузиазма». Неожиданное для читателя появление Дугласа в роли «оплодотворителя» обезьяньих самок комически снижает описанные до этого сентиментальные отношения Дугласа и Френсис, придавая любовной интриге романа гротескный характер.

Завязка романа намечается при описании научной экспедиции, отправившейся на поиски останков ископаемого, которое некогда было связующим звеном между обезьяной и человеком. К своему удивлению, члены экспедиции обнаруживают в одном из неисследованных уголков Новой Гвинеи это связующее звено в живом состоянии, в виде фантастических существ, еще покрытых шерстью, еще четвероруких, но уже питающихся мясом, умеющих добывать огонь и изготовлять каменные орудия. Эти существа получают наименование тропи — от соединения элементов слов anthrōpos (человек) и pithēkos (обезьяна). Открытие тропи ставит ученых перед необходимостью срочно определить, кем же все-таки являются эти существа — еще животными или уже людьми. Веркор с большим остроумием ведет дальнейшее повествование, высменвая многие социальные явления буржуазного мира. Выясняется полная неспособность человеческого общества определить, что же представляет собой человек. Священник Диллиген в полной растерянности, поскольку он не знает, совершит ли он богоугодное дело или страшное кощунство, если произведет над загадочными тропи обряд крещения. «Жрецы науки», великолепно ориентирующиеся в мире ископаемых, заходят в тупик при первом же столкновении с явлениями живой действительности. А чувствительные дамы из Общества защиты животных соглашаются взять тропи под свое покровительство только в том случае, если будет доказано, что они не люди.

Для представителя так называемой «Австралийской фермерской компании» Ванкрайзена, предприимчивого буржуазного дельца, вопрос о том, являются ли тропи людьми или животными, имеет чисто практический интерес: он настойчиво стремится объявить их животными исключительно ради права использовать их на своих фабриках в качестве бесправного домашнего скота.

Именно эта реальная угроза внушает Дугласу мысль произвести на свет ребенка от самки тропи и умертвить его, чтобы закон, осудив его за детоубийство, тем самым признал за тропи человеческие права. Описывая суд, где фантастическая абсурдность самого существа дела придает гротескный характер торжественному церемониалу судопроизводства, Веркор включает

Веркор. «Люди или животные?». Роман с послесловием автора. Перевод с французского Г. Сафроновой и Р. Закарьян. Предисловие К. Наумова. Редактор В. И. Маркина. Издательство иностранной литературы. Москва, 1957.

в план сатирического обличения и деятельность парламента, создавшего специальную комиссию для определения признаков, отличающих человека от обезьяны. Остроумно высмеян также ажиотаж буржуазных газет, всецело поглощенных сенсационным и скандальным «делом Темплмора», которое отодвинуло для них на второй план события международного значения.

Автор предисловия к русскому изданию романа К. Наумов совершенно прав, говоря о том, что Веркор в нем во многом следовал традициям Вольтера, Дидро и Анатоля Франса — мастеров политической сатиры. Однако эта сторона романа играет в нем лишь побочную роль. Вся его сатирическая атмосфера была нужна Веркору как фундамент для того, чтобы выдвинуть на первый план морально-этическую проблему: что собою представляет человек и какие нравственные качества делают человека достойным этого имени.

Эта проблема является центральной в творчестве Веркора, начиная с самых ранних его произведений, написанных в период второй мировой войны. Она встала перед ним закономерно, под влиянием того, что ему пришлось увидеть и пережить в мрачные годы гитлеровской оккупации. Варварские действия немецких захватчиков и их французских прислужников наглядно показали Веркору, что существа, имеющие человеческое обличие, не всегда достойны называться людьми, а мужественное поведение патриотов Франции раскрыло перед ним те высокие моральные качества, которыми обязан обладать каждый настоящий человек.

Передовая общественность Франции высоко оценила опубликованную в 1942 году первую книгу Веркора—повесть «Молчание моря» («Silence de la mer»), в которой прославляется человеческое достоинство двух французских патриотов, воздвигнувших стену демонстративного ледяного молчания между ними и водворившимся в их доме фашистским офицером. В полных обличительной силы антифашистских книгах «Путь со звездой» («La Marche à l'Etoile», 1943) и «Оружие мрака» («Les Armes de la Nuit», 1946) Веркор снова подчеркивал, что человеком достоин называться только тот, кто сопротивляется нацистам. Трагическая вина центрального персонажа романа «Оружие мрака» Пьера Канжа заключается в том, что под влиянием страха смерти, по принуждению немецкого офицера, он бросает в печь крематория вместе с трупами задушенных в газовой камере еще живого человека, своего товарища. После этого он на долгие годы проникается презрением к самому себе. В его сознании укрепляется мучительное убеждение, что он перестал быть человеком. «Я теперь не человек»,— упорно твердит Пьер Канж.

Веркор сурово осуждает Канжа за проявленное им малодушие. В то же время он ставит проблему моральной ответственности человека не в объективном, социальном плане, не как вопрос о долге человека перед своими товарищами, перед народом, перед родиной. Перенося этот вопрос в чисто психологический, абстрактный план, он утверждает, что каждая человеческая личность ответственна прежде всего перед своею собственной совестью, которая ни при каких обстоятельствах не допускает подчинения чужой воле. Пьер Канж не только после своего преступления, но и до него является индивидуалистом. Он молчит под пытками не ради спасения товарищей, а для того, чтобы сохранить уважение к самому себе. Он сам и допрашивающие его палачи казались Пьеру изолированными от всего мира азартными игроками, захваченными игрой, ставкой в которой была его человеческая ценность. «Я совсем не думал о вас,— признался он впоследствии своим товарищам.— Я думал только о них, о моих палачах, о них и о себе».

Изображая Пьера в тот момент, когда он бросал в печь своего товарища, автор заставляет героя терзаться не от зрелища страшной смерти этого человека, не от сознания совершенного предательства, а исключительно от сознания того, что он, Пьер Канж, подчинившись приказу нациста, навсегда утратил человеческое достоинство и чистоту совести. Характерно, что позднее Пьер Канж с полным равнодушием выполнял роль фашистского палача возле той же печи. «Они были по большей части мертвы, но, вероятно, не все. Я не обращал внимания. Мне это было совершенно безразлично. Иногда после многих окоченевших холодных тел я брал на руки еще мягкое, еще согретое остатком жизни. Но какая разница? Один или десять тысяч — не все ли равно?»

В романе «Могущество света» («La Puissance du Jour», 1951), являющемся продолжением «Оружия мрака», Веркор изображает Пьера Канжа искупившим свою вину. Но моральное искупление дается здесь опять-таки с субъективистских позиций: Пьер отказывается от презрения к самому себе и вновь чувствует себя человеком, убедившись, что он, в отличие от многих людей, способен испытывать угрызения совести. В конце романа он отправляется в Испанию, чтобы активно помогать испанским партизанам бороться против франкистского режима. И это решение он принимает главным образом из индивидуалистических соображений: чтобы укрепить в себе вновь обретенное им чувство человеческого достоинства.

Одно из последних произведений Веркора — роман «Гнев» («Colères», 1956) — служит наглядным художественным воплощением мыслей, изложенных им в философском трактате «Более или менее человек» («Plus ou moins homme», 1956), мыслей о том, что подлинный человек всегда деятелен и не подчиняется обстоятельствам. Положительным персонажам «Гнева» — профсоюзному организатору Пелиону и профессору Мирамбо — противопоставлен поэт Эгмон, который проводит почти всю свою жизнь в сонных грезах, пока это сом-

намбулическое состояние не доводит его до полного идиотизма.

Однако попытка Веркора решать гуманистическую проблему не в социальном и историческом плане, а в плане идеалистическом и абстрактном является глубоким его заблуждением. Желание умозрительным путем найти некое моральное качество, которое характеризовало бы «человека вообще» и отделяло бы человека от всех остальных обитателей земного шара, напоминает высмеянные уже Рабле схоластические попытки отыскать квинтэссенцию, «сущность всего сущего». Поэтому, справедливо утверждая, что человеческой природе свойственна активность, Веркор глубоко заблуждается, полагая, что основным проявлением этой тяги к действию являются бунтарские вспышки, в которых выражается принципиальный отказ отдельных личностей подчиняться обстоятельствам, каковы бы они ни были.

Те книги Веркора, в которых рассказывается о конкретно-исторических фактах непокорства — например, о сопротивлении французских патриотов гитлеровскому оккупационному режиму, — по праву заняли почетное место в прогрессивной литературе современной Франции. Стремление же писателя возвести индивидуалистическое своеволие в некий абсолют неизбежно уводит его от реалистической правды искусства в мир мелкобуржуазных анархистских абстракций.

В романе «Люди или животные?» вопрос о сущности человека тоже поставлен в абстрактном метафизическом плане, что может привести только к релятивизму, к отказу от положительного решения поставленной в романе проблемы.

Человеческое начало у тропи, как утверждает автор, проявляется в уже заложенном в них духе индивидуалистической строптивости. Потому-то автор и разделяет тропи на две группы. Часть из них проявляет склонность к послушанию. Другая же часть тропи — своевольные существа, не признающие никакого сдерживающего дисциплинирующего начала. В этом-то и заключается, как уверяет нас автор, зародыш истинно человеческого в их еще неразвитом сознании.

Веркор отлично сознает, что определить характерные качества абстрактного «человека вообще» гораздо более трудная задача, чем охарактеризовать конкретного человека определенной эпохи, национальности, профессии и класса. «Насколько проще определить, что такое англичанин, судья, квакер, лейборист или полисмен, чем что такое человек, просто человек!» — восклицает запутавшийся в «деле Темплмора» судья Артур Дрейпер. Однако Веркор не отдает себе отчета в том, что «человек вообще», с социальной точки зрения, нереальное, схоластическое понятие. «...Каждый человек — прежде всего человек, а уж потом последователь Платона, Христа или Маркса», — заявляет он в послесловии к роману «Люди или животные?». Его книга и наполнена этими поисками определения «человека вообще». Высмеивая несостоятельность попыток подобного определения, роман «Люди или животные?» не содержит, однако, никаких позитивных начал. Веркор талантливо и зло высмеивает английский буржуазный суд и парламент, но он может противопоставить им лишь внутренний суд человека над самим собой, его индивидуальную совесть, его анархическую «свободу воли». Поэтому роман «Люди или животные?» открывает дорогу декадансу с его идеалистическим отрывом от реальной действительности, с его субъективистскими и релятивистскими тенденциями к внеисторической абстрактности.

Предисловие К. Наумова знакомит читателя с творческим развитием Веркора и справедливо отмечает то положительное, что имеется в его произведениях, особенно в тех, которые связаны с темой Сопротивления. Однако там, где К. Наумов противопоставляет творчество Веркора «воинствующему индивидуализму», он не замечает того, что индивидуализм является одним из основных принципов самого Веркора. Предисловие заканчивается словами: «Сейчас, когда реакционная зарубежная литература проповедует моральный нигилизм, сеет отчаяние, оплевывает прогресс, мы особенно дорожим творчеством таких писателей, как Веркор, именно потому, что они остаются верными своему долгу, который состоит в том, чтобы «разоблачать ложь и несправедливость» и бороться за высокие гуманистические идеалы». Действительно, Веркор на протяжении своего творческого пути неоднократно проявлял себя как обличитель реакционных сил, в первую очередь сил фашизма. Действительно, в лучших своих произведениях — таких, например, как повесть «Молчание моря», роман «Гнев» — Веркор выступил как гуманист Однако говорить о том, что в романе «Люди или животные?» он борется за высокие гуманистические идеалы,— значит по меньшей мере переоценить идейный смысл романа.

Издательство иностранной литературы заняло уклончивую позицию, снабдив книгу и предисловием советского литературоведа и послесловием самого Веркора, полемически направленным против тех критических замечаний, которые содержатся в статье К. Наумова. Тем самым издательство оставило открытым вопрос о сильных и слабых сторонах книги Веркора «Люди или животные?», чем оказало плохую услугу советскому читателю.

Анри Аллег

Допрос под пыткой

Перевод с французского
Н. Е. Барабановой и С. А. Тархановой

«Обличая растленных французов, я защищаю Францию». Эти слова Ромена Роллана предпослал Анри Аллег своей книге* — документу, свидетельствующему о зверствах колонизаторов при подавлении национально-освободительного движения в Алжире.

Вскоре после выхода книги в свет французские власти запретили ее, как лицемерно запрещались «в интересах Франции» многие другие правдивые свидетельства о событиях в Алжире.

Имя Анри Аллега широко известно как французской, так и международной общественности. 65 тысяч экземпляров его книги были распространены еще до приказа о ее конфискации. Она переведена на несколько языков.

«С 1950 до 1955 года,— пишется в предисловии к французскому изданию книги,— Анри Аллег был директором «Альже репюбликэн». Эта газета — единственный ежедневный орган печати, который открывал свои страницы представителям всех течений национально-демократической общественности Алжира, была запрещена в сентябре 1955 года.

Начиная с того момента, Анри Аллег неустанно добивался отмены этого запрета. Вскоре административный трибунал Алжира подтверждает незаконность такой меры, однако власти по-прежнему препятствуют выпуску газеты.

В ноябре 1956 года, чтобы избежать по меньшей мере интернирования, которому было подвергнуто большинство сотрудников газеты, Аллегу пришлось перейти на нелегальное положение.

Он был арестован 12 июня 1957 года солдатами десятой дивизии парашютистов, которые в течение месяца держали его в заточении в Эль-Биаре, в окрестностях Алжира.

Данная книга представляет собой документальный рассказ об этом периоде жизни Аллега.

Повествование обрывается в связи с переводом Анри Аллега в лагерь Лоди (известно, что в Алжире имеется большое число лагерей — Боссюэ, Поль-Казель, Берруагия... — куда на основании простого административного решения направляют людей, которым не удалось предъявить какого-либо конкретного обвинения).

Из лагеря Аллег пересылает во Францию копию жалобы, переданной им в конце июля генеральному прокурору Алжира: в этой жалобе он обличает своих палачей и рассказывает о пытках, которым он был подвергнут.

Авторы предисловия напоминают, что только в результате энергичных протестов общественности в августе 1957 года А. Аллег был, наконец, вызван к следователю. Однако и в то время, когда вышла из печати его книга, дело Аллега все еще находилось в «стадии изучения»...

9 июня 1958 года группа заключенных гражданской тюрьмы Алжира, и в их числе А. Аллег, были брошены без какого-либо объяснения в одиночные камеры.

Истинные имена палачей Алжира скрыты во французском издании инициалами. Скрыты имена и тех, кто исступленно вопил в лицо измученному пытками Аллегу:

* Henri Alleg. La question, Paris, Les Editions de Minuit, 1958.

«Здесь у нас гестапо!.. То, что сейчас делается здесь, сделают и во Франции... Твою гулящую девку — Республику — просто-напросто взорвут на воздух!»

В тревожные для Франции дни, последовавшие за мятежом в Алжире, люди не могут не связать событий, порожденных колониальной войной, с предостережениями мужественного патриота-республиканца и не извлечь урока из факта запрещения его книги, перевод которой мы предлагаем нашим читателям.

* * *

«Обличая растленных французов, я защищаю Францию».

«Жан-Кристоф»

В этой огромной переполненной тюрьме, где каждая камера — обитель страданий, говорить о самом себе — почти бесстыдство. На первом этаже — «отделение» смертников. Здесь восемьдесят человек. Их ноги — в оковах. Они ждут... Ждут помилования или конца. Все мы живем ритмом их жизни. По вечерам каждый заключенный мечется на своем соломенном тюфяке, думая о том, что рассвет может оказаться для него роковым. Засыпая, он всеми силами души надеется, что на этот раз ничего не произойдет. Однако именно из камер смертников доносятся день за днем запретные песни — прекрасные песни, всегда идущие от самого сердца народа, борющегося за свою свободу.

Пытки? Это слово уже давно стало для нас привычным. Здесь редко встретишь заключенного, избежавшего их. «Новичкам», с которыми удается переговорить, обычно задают в строгом порядке одни и те же вопросы: «Давно арестованы? Пытали? Кто — парашютисты или полицейские?» Мое дело приняло особый характер только потому, что получило большой резонанс. Однако в нем нет ничего из ряда вон выходящего. Все, о чем я рассказал в своей жалобе, все, о чем я поведал здесь,— лишь единичный пример того, что повседневно совершается в ходе этой ужасной, кровавой войны.

С тех пор как меня арестовали, прошло уже более трех месяцев. За это время мне пришлось быть свидетелем стольких издевательств над человеком, что я никогда не решился бы снова рассказывать о тяжком кошмаре, пережитом мною. Однако я сознавал, что такой рассказ может принести пользу: раскрытие истины также способствует заключению перемирия и установлению мира. Ночами напролет, на протяжении месяца, я слышал вопли истязуемых людей. Их крики всегда будут звучать у меня в ушах. Я видел пленников, которых ударами дубины перегоняли с одного этажа на другой. Измученные пыткой, они тихо шептали слова древней арабской молитвы.

За это время мне стало известно многое. Я узнал об «исчезновении» своего друга Мориса Одэна, которого схватили за сутки до моего ареста. Его истязала та же «бригада», которая затем «взялась» за меня. Он «исчез», подобно шейху Тебесси, председателю Ассоциации улемов, подобно доктору Шерифу Дзахару и многим другим. В Лоди я встретил своего друга де Мийи, который служил в психиатрической больнице города Блида. Его также пытали парашютисты, но уже по новому «методу»; раздетого, его привязали к металлическому стулу, через который пропускался электрический ток. До сих пор у него на ногах заметны глубокие следы ожогов. В коридоре тюрьмы я однажды узнал в одном из «новичков» Мохамеда Сефту, служащего мусульманских судебных органов в Алжире: «Сорок три дня в руках у парашютистов. Прости, мне еще трудно говорить — они обожгли мне язык». И он показал мне свой истерзанный язык. Дальше... В тюремном фургоне, доставившем нас в военный трибунал, молодой торговец из касбы Буалем Бахмед обнажил передо мной свои ноги, изуродованные огромными рубцами. «Это сделали парашютисты! Они искололи меня ножами за то, что я приютил у себя члена ФЛН *».

По ту сторону стены, в крыле, отведенном для женщин, находятся девушки, о чьей судьбе еще никто никогда не рассказывал: Джамила Бухиред **, Элиетт Лу, Нассима Хаблал, Мелика Кхене, Люси Коска, Колет Грегуар и многие другие. Их раздевали догола, били. Над ними измывались палачи-садисты. Их пытали водой и электричеством. Здесь в тюрьме все знают о муках Анник Кастель: эта девушка была изнасилована парашютистом и, полагая, что беременна, желала лишь одного — смерти.

Все это я знаю, все это я видел, все это я слышал. Но кто расскажет об остальном?

О «пропавших без вести» и о тех, кто, убежденный в своей правоте, мужественно ожидает смерти, обо всех тех, кто, встретившись лицом к лицу с палачами, не устрашился их, кто сумел противопоставить ненависти и пыткам веру в скорое воцарение мира и дружбы между обоими нашими народами, — об этих людях надо неустанно помнить, читая мой рассказ, так как он мог бы принадлежать каждому из них.

* * *

Было четыре часа дня, когда лейтенант парашютных войск Ша... в сопровождении одного из своих солдат и жандарма явился на квартиру к Одэну, чтобы схватить меня.

Накануне, 11 июня, мой друг Морис Одэн,

* F.L.N.—Национальный фронт освобождения Алжира.

** Уже после написания этой книги «дело» мужественной алжирской патриотки Джамилы Бухиред стало известно широким кругам международной общественности, спасшей ее от смертной казни.

ассистент одной из кафедр алжирского университета, был арестован у себя на квартире. Полиция устроила там засаду. Когда я пришел к Одэну, дверь открыл полицейский инспектор. Я пытался бежать, но неудачно. Полицейский с револьвером в руке догнал меня на первом этаже, и мы вместе поднялись в квартиру. Явно нервничая, инспектор, не спуская с меня глаз, позвонил в штаб парашютистов и попросил прислать подкрепление.

Я понял, что меня ждет, в ту секунду, когда в комнату вошел лейтенант. Его тщательно выбритое лицо, узкое и костистое, было словно срезано огромным беретом; на тонких губах змеилась усмешка.

— Великолепная добыча,— объявил он, скандируя слова,— ведь это Анри Аллег, бывший редактор «Альже репюбликэн».

И сразу же, обращаясь ко мне, спросил:

— У кого вы живете?

— Этого я вам не скажу!

Он усмехнулся, покачал головой и самоуверенным тоном произнес:

— Мы устроим вам небольшой допросик, и этого будет достаточно. Ручаюсь, что скажете все. Наденьте-ка ему наручники.

Меня заставили спуститься вниз, выйти из подъезда: парашютист крепко держал меня за плечо. Автомобиль лейтенанта марки «аронд» ожидал нас у противоположного тротуара. Меня усадили на заднее сиденье. Рядом расположился парашютист, дуло его ручного пулемета упиралось мне в бок.

— Там для вас кое-что припасено, если вздумаете валять дурака,— прошипел он.

Мы мчались к верхней части города. После короткой остановки перед какой-то виллой, в которую вошел один Ша...— здесь, вероятно, помещался штаб парашютистов,— мы продолжали подниматься по бульвару Клемансо к кварталу Шатонеф. Миновав площадь Эль-Биар, машина, наконец, остановилась перед большим недостроенным зданием.

Под дулом автомата я пересек двор, заставленный «джипами» и военными грузовиками, и подошел к подъезду дома Поднялся по лестнице: впереди шел Ша..., позади — парашютист. В кирпичной кладке кое-где проглядывал железобетонный каркас; перил еще не было; с серого потолка свисали шнуры электропроводки.

Между этажами непрерывно сновали парашютисты; одни поднимались, другие спускались, подгоняя ударами арестованных мусульман в изодранной одежде, давно не бритых. Топот сапожищ, взрывы хохота, громкая брань и оскорбительные выкрики сливались в сплошной гул. Я был в «распределительном пункте сектора Бузареа». Вскоре мне предстояло узнать, как осуществляется это «распределение».

Вслед за Ша... я вошел в большую комнату третьего или, может быть, четвертого этажа — гостиную будущей квартиры. Несколько раскладных столов; на стенах — истрепанные, с оборванными углами фотографии разыскиваемых «подозрительных» лиц; полевой телефон — вот и вся меблировка. У окна стоял какой-то лейтенант. Позже я узнал, что это был Ир... Его грузное медвежье туловище казалось слишком большим для маленькой головки с раскосыми и сонными младенческими глазками; не гармонировал с этим грузным телом и пронзительный голос, елейный и чуть дребезжащий, голос порочного мальчишки-певчего из церковного хора.

— Мы дадим вам шанс на спасение,— сказал Ша..., повернувшись ко мне.— Вот бумага и карандаш. Вы скажете нам, где вы живете, у кого скрывались с тех пор, как перешли на нелегальное положение, с кем встречались, какую вели работу...

Тон все еще оставался вежливым. Наручники сняли. Я повторил обоим лейтенантам то, что уже сказал Ша... в автомобиле:

— Я перешел на нелегальное положение, чтобы не попасть в тюрьму, так как знал, что есть приказ о моем аресте. Сейчас, как и прежде, я занимаюсь делами своей газеты. По этому поводу я имел в Париже беседу с господами Ги Молле и Жераром Жаке. Больше мне нечего вам сказать. Я ничего не напишу, и не рассчитывайте, что я выдам тех, кто имел мужество меня приютить.

Не переставая улыбаться, по-прежнему уверенные в себе, лейтенанты переглянулись.

— Думаю, что бесполезно терять время,— сказал Ша...

Ир... согласился. В душе и я разделял его мнение: если меня все равно будут пытать, то какая разница, будет это раньше или позже? Стоит ли чего-то ждать?

Ша... взял телефонную трубку:

— Подготовьте команду — это для крупного «фрукта» — и скажите Ло..., чтобы он поднялся сюда.

Через несколько секунд в комнату вошел Ло..., маленький, смуглый человек, с горбатым носом, прилизанными волосами и узким лбом. На вид ему — лет двадцать пять. Он подошел ко мне и сказал улыбаясь:

— А, это и есть мой клиент? Пойдемте со мной.

Я прошел вперед. Этажом ниже он ввел меня в маленькое помещение по левую сторону коридора. Здесь — в будущей кухне — уже установлена раковина для мытья посуды, другая — фаянсовая — для овощей; над ними навес, вернее металлический каркас навеса (стекла еще не вставлены). В глубине помещения — балконная дверь, замаскированная залатанными картонными щитами, она пропускала лишь слабый свет.

— Раздевайтесь,— сказал Ло... и, видя, что я не повинуюсь, добавил: — Не хотите? Ну, что ж, тогда это сделают насильно.

Пока я раздевался, какие-то парашютисты снова и мимо меня, прохаживались по коридору, всем хотелось взглянуть на «клиента» Ло... Один из них, судя по произношению, парижанин, просунул белобрысую голову сквозь раму незастекленной двери и воскликнул:

— Глядите-ка, да это француз! Он за алжирских ублюдков и против нас? Всыпь ему получше, слышишь, Ло...

Ло... укладывал на полу почерневшую деревянную доску, сырую и липкую от следов рвоты, оставленных, видимо, другими «клиентами».

— Ну-ка, ложитесь!

Я вытянулся на доске. Ло... с помощью другого парашютиста привязал меня за кисти рук и лодыжки ремнями, прикрепленными к доске. Он стоял теперь надо мной с видом победителя, расставив ноги и уперев руки в бедра. Пристально глядя мне в глаза, он пытался по примеру своих начальников нагнать на меня страху. Ступни его ног по обе стороны доски приходились на уровне моей груди.

— Послушайте,— сказал Ло..., и по его произношению я понял, что он родом из Орана,— лейтенант дает вам время немного подумать, но уж потом придется заговорить. Когда к нам в руки попадает европеец, мы обрабатываем его покрепче, чем туземцев. Мы всем развязываем язык. И вы расскажете нам все, а не только частицу правды; да, да, решительно все!..

Тем временем собравшиеся вокруг меня парашютисты в синих беретах изощрялись в остроумии:

— Что же это твои приятели не выручают тебя?

— Смотри-ка, а что он делает, растянувшись на полу, этот тип? Гимнастику, что ли?

Другой, с еще большей злобой проронил:

— Нечего зря время терять с этими коммунистами. Я бы их сразу же отправлял на тот свет.

Из щели под балконной дверью тянуло ледяным сквозняком. Я дрожал от холода. Ло..., улыбаясь, спросил:

— Боитесь? Хотите говорить?

— Нет, я не боюсь, мне холодно.

— Храбритесь, а? Ну, это не надолго. Через четверть часа заговорите как миленький.

Распростертый на полу под ногами парашютистов, осыпавших меня насмешками и оскорблениями, я молчал, стараясь сохранять спокойствие. Но вот я увидел, что в комнату входят Ша..., Ир... и какой-то капитан — высокий, худой, с тонкими губами и шрамом на щеке, элегантный и молчаливый. Это был капитан Де...

— Ну, как, поразмыслили? — этот вопрос задал Ша...

— Я не изменил своего решения.

— Ладно. Пусть теперь пеняет на себя.— И, обращаясь к остальным, предложил: — Давайте перейдем в соседнюю комнату, там светло и будет легче работать.

Четыре парашютиста, схватив доску, к которой я был привязан, перетащили меня в соседнюю комнату, расположенную напротив кухни, и положили на цементный пол. Офицеры рассаживались вокруг меня на каких-то тюках, принесенных солдатами.

— Да! — сказал Ша..., все еще абсолютно уверенный в том что добьется желаемого.— Мне нужны бумага и папка, что-нибудь твердое, чтобы подложить, когда буду писать.

Ему протянули планшет, и он положил его рядом с собой. Потом, взяв из рук Ло... магнето, поднес его к моим глазам и, вертя этим приспособлением, уже описанным сотни раз теми, кто подвергался пытке электрическим током, спросил:

— Ты знаком с этой штукой, не правда ли? Верно, слыхал о ней, кажется, даже статьи писал?

— Вы не имеете права применять подобные методы. Вам придется в этом раскаяться. Если, по-вашему, я в чем-то виноват, передайте меня в руки правосудия. На это дается двадцать четыре часа. И не смейте говорить мне «ты».

Взрывы хохота раздались со всех сторон.

Я отлично знал, что мой протест ни к чему не приведет: смешно было призывать к уважению законности в подобной ситуации, в логове бандитов. Но я хотел показать, что им не удалось устрашить меня.

— Начинайте,— сказал Ша...

Один из парашютистов уселся у меня на груди: это был сержант Жа..., черноволосый, с сильно вздернутой верхней губой и озорной улыбкой мальчугана, собирающегося выкинуть веселую шутку... Много времени спустя я опознал его во время очной ставки в кабинете судьи... Другой парашютист, очевидно тоже оранец, встал слева; третий — в ногах; вокруг расположились офицеры. В комнате были и другие парашютисты, не имевшие, как видно, определенных функций. Их привело сюда лишь желание полюбоваться интересным зрелищем.

* * *

Жа..., все время улыбаясь, помахал перед моими глазами зажимами из сверкающей стали, которыми заканчивались электроды. Это были совсем маленькие зажимы, удлиненные, с зазубренными краями... Такие приспособления монтеры телефонных линий, применяющие их в своей работе, называют «крокодилами». Жа... укрепил один из зажимов на мочке моего правого уха, другой — на пальце правой руки.

И сразу же я всем телом рванулся кверху в своих путах и завыл во весь голос. Ша... пропустил через мое тело первый электрический разряд. Около моего уха сверкнула длинная искра, бешено заколотилось в груди сердце. Не переставая вопить, я корчился и распрямлялся с такой силой, что едва сам не наносил себе увечий. Разряды, посылаемые Ша..., державшим в руках магнето, беспрерывно следовали один за другим. В том же ритме Ша... непрерывно скандировал неизменный вопрос:

— Где ты живешь?

В интервале между двумя разрядами я повернул голову и сказал ему:

— Вы не имеете права... Вам придется за это ответить!

В ярости Ша... передвинул до отказа движок реостата.

— Всякий раз, когда ты вздумаешь читать мне мораль, я буду вкатывать тебе новую порцию.

Но я не умолкал, и мой мучитель сказал:

— Боже ты мой, как он орет! Заткните ему глотку!

Свернув в комок мою рубашку, Жа... втиснул ее мне в рот. Пытка продолжалась. Я изо всех сил сжал зубами ткань — и терпеть стало легче.

Внезапно я ощутил такую боль, словно какой-то хищный зверь вцепился зубами в мое тело и рвет его в клочья,— Жа..., не переставая улыбаться, переместил зажим на мой половой орган. Судороги были так сильны, что разошлись ремни на лодыжках. Минутная пауза. Ремни снова завязали, и пытка продолжалась.

Вскоре лейтенант сменил Жа... Вынув провод из зажима, он растянул его у меня на груди. Все мое тело сотрясалось от нервной дрожи, усиливавшейся с каждым мгновением; «сеанс» продолжался. Меня обрызгали водой, чтобы еще увеличить силу тока, и в интервалах между «порциями» я дрожал и от холода. Восседая вокруг меня на тюках, Ша... и его подручные непрерывно осушали бутылки с пивом. Стараясь сдержать судороги, я вцепился зубами в рубашку, втиснутую мне в рот. Тщетно.

Наконец они остановились.

— Развяжите его.

Первый «сеанс» был окончен.

Пошатываясь, я встал, надел брюки и пиджак. Рядом со мной стоял Ир... Галстук мой валялся на столе. Ир... взял его за оба конца, набросил мне на шею и под общий хохот поволок, как собаку за ошейник, в кабинет, расположенный рядом с кухней.

— Итак, тебе еще мало? — спросил он. — Но ведь мы тебя не выпустим. На колени!

Огромными ручищами он бил меня наотмашь по лицу. Я упал на колени, но не мог держаться прямо и клонился то вправо, то влево. Удары Ир... возвращали меня в вертикальное положение, если только я не валился в другую сторону.

— Ну, будешь говорить? Тебе — крышка, слышишь? Ты — конченый человек, это только отсрочка!

— Приведите Одэна,— сказал Ша... — Он в другом здании.

Ир... продолжал избивать меня, а другой парашютист в роли зрителя восседал на столе.

Очки соскочили у меня с переносицы уже давно, и близорукость усиливала ощущение нереальности, какого-то кошмара, от которого я тщетно пытался избавиться, боясь, что воля моя будет сломлена.

— А ну-ка, Одэн, расскажите, что его ждет. Избавьте вашего приятеля от ужасов вчерашнего вечера.

Это говорил Ша... Ир... поднял мне голову. Я увидел над собой бледное и суровое лицо моего друга; он смотрел на меня, а я, стоя на коленях, клонился то вправо, то влево.

— Тяжко, Анри,— сказал Одэн.

Его увели.

Внезапно Ир... рывком поднял меня на ноги. Он был взбешен. Все это продолжалось слишком долго...

— Слушай, негодяй, тебе крышка! Ты будешь говорить! Слышишь ли, ты будешь говорить!

Приблизив свое лицо так, что оно почти касалось моего, он рычал:

— Ты будешь говорить! Здесь все должны говорить! Мы недаром воевали в Индокитае — теперь мы знаем вас! Здесь у нас гестапо! Ты знаешь, что такое гестапо? — Затем саркастически добавил: — Ты писал статьи о пытках, а, негодяй? Ну, ладно же! Теперь узнаешь на собственной шкуре, как работает десятая дивизия...

За моей спиной раздавался громкий хохот команды истязателей. Ир... молотил меня по лицу кулаками и бил коленями в живот.

— То, что сейчас делается здесь, сделают и во Франции. С твоим Дюкло, с твоим Миттерраном поступят так же, как с тобой, а твою гулящую девку — Республику — просто-напросто взорвут на воздух! Заговоришь, клянусь!

На столе лежал кусок твердого картона. Он схватил его и снова принялся меня бить. С каждым ударом отупение мое все усиливалось, но росла и решимость: не уступать этим озверелым бандитам, которые хвастаются тем, что следуют примеру гестапо!

— Ладно,— сказал Ша...,— пеняй на себя. Мы передадим тебя диким.

«Дикими» называли тех, кто уже терзал меня раньше, но теперь им предоставлялась возможность более широко продемонстрировать свои таланты.

Ир... оттащил меня в первую комнату, где находились доска и магнето. Я успел заметить голого мусульманина, которого ударами сапог заставили подняться с доски и вытолкнули в коридор. Пока Ир..., Ша... и другие занимались мною, остальные члены команды продолжали свою «работу», используя освободившуюся доску и магнето. Чтобы не терять зря времени, они «допросили» «подозрительного» человека.

Ло... привязал меня к доске. Начинался новый «сеанс» пытки электрическим током.

— На сей раз познакомишься с «большой Жожен»,— сказал он.

В руках моего мучителя я увидел аппарат значительно больших размеров, ощутил различие и в характере боли. Вместо уколов, быстро следовавших друг за другом и, казалось, разрывавших мне тело, появилась боль еще более пронзительная, которая вгрызалась глубоко во все мышцы, сводила их судорогой и долго не отпускала. Я весь скорчился в своих путах, сжал челюстями кляп и не открывал глаз. Палачи устроили передышку, но меня продолжала бить нервная дрожь.

— Умеешь плавать? — спросил Ло..., склонившись надо мной.— Сейчас научим. Тащите его к крану.

Подняв доску, к которой я все еще был привязан, они вынесли меня в кухню. Положили на раковину тот конец доски, на котором лежала моя голова. Несколько парашютистов придерживали другой ее конец. Кухня освещалась слабым светом, проникав-

шим из коридора. В темноте я различал Ир..., Ша... и капитана Де... Последний как будто бы принял на себя руководство всеми операциями. На никелированный кран, поблескивавший надо мной, Ло... надевал резиновый шланг. Потом обернул мне голову тряпкой, а Де... сказал ему:

— Заткните ему чем-нибудь рот.

Схватив меня через тряпку за нос, Ло... втиснул мне в рот щепку, чтобы я не мог сжать зубы и выплюнуть шланг.

Закончив все приготовления, он сказал:

— Когда захочешь говорить — пошевели пальцами.

Он открыл кран. Тряпка быстро намокла. Вода проникла в рот, нос, заливала все лицо. В первые мгновения я все же сумел сделать несколько коротких вздохов. Судорожно сжимая гортань, я старался глотать как можно меньше воды и всеми силами сопротивлялся удушью, подолгу удерживая воздух в легких. И все-таки я смог вытерпеть только несколько мгновений. Я чувствовал, что захлебываюсь, и безумный страх, страх смерти, овладел мною. Помимо воли все мышцы тела напрягались в тщетном усилии спастись от удушья. Помимо воли зашевелились пальцы обеих рук.

— Готово! Он будет говорить,— произнес чей-то голос.

Вода больше не лилась, тряпку сняли. Я дышал. В потемках было видно, как лейтенанты и капитан, с сигаретами в зубах, били меня изо всех сил по животу, чтобы заставить извергнуть воду, которой я наглотался. Опьяненный воздухом, я почти не чувствовал ударов.

— Ну? — Я молчал.— Да он издевается над нами! Суньте ему голову под кран!

На сей раз я сжал кулаки так, что ногти впились в кожу ладони. Я решил больше не шевелить пальцами. Лучше уж сразу задохнуться. Только бы не вернулось это страшное мгновение, когда я чувствовал, что проваливаюсь в небытие, и невольно напрягал все свои силы, чтобы спастись от смерти. Я больше не шевелил пальцами, но трижды еще испытал приступы непереносимого смертельного страха. В самое последнее мгновение палачи дали мне перевести дыхание и заставили отрыгнуть воду.

Во время последнего «тура» я потерял сознание.

Открыв глаза, я не сразу вернулся к действительности. Меня развязали, но я по-прежнему оставался распростертым на полу под ногами парашютистов. Ша... наклонился надо мной.

— Все в порядке,— сказал он остальным,— очнулся...— И, обращаясь ко мне:— Знаешь, ты едва не преставился. Не думай, что всегда сможешь отделаться обмороком... Вставай! — Они подняли меня.

Я шатался, как пьяный, и, чтобы не упасть, цеплялся даже за мундиры своих палачей. Пощечинами и пинками они перебрасывали меня, как мячик, от одного к другому.

— Гляди-ка, еще не утратил рефлексов, скотина,— сказал кто-то.

— Ну, а теперь что будем с ним делать? — спросил другой.

Среди взрывов смеха я услышал:

— Надо его поджарить.

— Никогда еще этого не видел,— сказал Ша... тоном исследователя, который собирается поставить новый эксперимент.

Меня втолкнули в кухню и заставили лечь на раковину. Ло... обернул мне лодыжки мокрой тряпкой, потом крепко-накрепко обвязал их веревкой. Общими усилиями они приподняли меня и привязали вверх ногами к железной перекладине навеса. Только пальцы рук касались пола. Несколько минут они забавлялись, раскачивая меня на перекладине из стороны в сторону, как мешок с песком. Ло... скрутил из бумаги факел и медленно зажигал его, держа на уровне моих глаз. Внезапно он поднялся, и я почувствовал, как пламя коснулось живота и ног, а волосяной покров, потрескивая, загорелся. Я рванулся с такой силой, что толкнул Ло... Снова он провел своим факелом вдоль моих ног... раз, другой, потом приложил его к груди.

Но я реагировал уже слабее, и офицеры удалились. Со мной остались только Ло... и еще кто-то. Время от времени они снова принимались бить меня или давили сапогами концы пальцев, словно хотели напомнить о своем присутствии. Я старался не закрывать глаз и наблюдать за ними, чтобы удары не застигли меня врасплох. В моменты передышки силился забыть о своих ногах, в которые все глубже врезывалась веревка.

Наконец из коридора два сапога направились к моему лицу. Передо мной возникла физиономия Ша... Опустившись на корточки, он буравил меня своим взглядом.

— Ну, будешь говорить? Не передумал?

Я взглянул на него, но не стал отвечать.

— Развяжите его.

Ло... размотал веревку, которой я был привязан к перекладине. Кто-то другой дернул меня за руку. Я упал плашмя на цемент.

— Вставай!

Без помощи я не смог этого сделать. Поддерживаемый с обеих сторон, я встал на ноги и почувствовал, что ступни мои невероятно распухли. Казалось, с каждым шагом я погружаюсь в огромное, мягкое облако. Надев пиджак и брюки, я спустился, вернее, скатился по какой-то лестнице.

Внизу другой парашютист поднял меня и прислонил спиной к стене, придерживая обеими руками за грудь. Я дрожал от холода, от нервного возбуждения и лязгал зубами. Приятель Ло..., тот, который «занимался» мною в кухне, появился на площадке лестницы.

— Иди,— он толкнул меня вперед и ударом ноги швырнул на землю.

— Ты что же, не видишь, что он на ногах не держится? — сказал другой,

судя по произношению, уроженец Франции.— Оставь-ка его в покое!

Это были первые человеческие слова, которые я здесь услышал.

— Коммунистов, вроде этого, надо расстреливать на месте,— ответил мой мучитель.

У меня подкашивались ноги, и, чтобы не упасть, я уперся ладонями и лбом в стенку коридора. Он заложил мне руку за спину и, перевязав кисти тонкой бечевкой, втолкнул меня в камеру.

На коленях я подполз к тюфяку, лежавшему у стены, и пытался лечь на живот, но из тюфяка во все стороны торчала колючая проволока. За дверью я услышал хохот:

— Я сосватал ему матрац с колючей проволокой.

Это был все тот же голос. Кто-то возразил ему:

— И все-таки он выиграл ночь, чтобы дать своим товарищам скрыться.

Веревки впивались мне в тело, руки болели, невыносимо ломило плечи. Я тер концы пальцев о цемент, стараясь расцарапать их в кровь. Мне казалось, что от этого станет легче распухшим рукам, но кровь так и не появилась.

Сквозь узкое окошко высоко под потолком я видел, как светлеет ночное небо. Пропел петух. Я подумал, что парашютисты и офицеры, утомленные ночной «работой», вернутся за мной не раньше девяти часов. Нужно было использовать передышку, чтобы восстановить силы для следующего «допроса». Опираясь то на одно плечо, то на другое, я пытался расслабить мышцы, но тело мое не успокаивалось. Дрожь не прекращалась. Мне не удавалось забыться ни на минуту. Несколько раз я принимался колотить ногой в дверь. Кто-то, наконец, подошел.

— Чего тебе надо?

— Я хочу помочиться.

— Мочись под себя, — отозвались из коридора.

Вскоре совсем рассвело. В дверях камеры появился парашютист. Это он вчера упрекнул своего коллегу в чрезмерной жестокости.

— Собирайтесь. Вас переводят в другое место.

Он помог мне встать на ноги и поддерживал меня, пока мы поднимались по этажам.

Лестница вела на огромную террасу. Солнце стояло уже высоко, и можно было разглядеть квартал Эль-Биар, примыкавший к недостроенному зданию. Припомнив описания, которые мне приходилось читать, я сообразил, что нахожусь в резиденции парашютистов, где замучили Али Буменджеля, адвоката кассационной палаты Алжира. По словам палачей, он покончил жизнь «самоубийством», бросившись вниз с этой террасы... Мы спустились по другой лестнице в другое здание. Потом тюремщик запер меня в темной клетушке. Это был карцер — каморка размером со стенной шкаф; сюда никогда не проникали солнечные лучи. Лишь узкое отверстие, расположенное в верхней части стены и выходящее в вентиляционный ход, пропускало немного света. Я отполз в угол, чтобы прислониться спиной к стене, пытаясь хоть немного успокоить боль в сведенных судорогой плечах.

Вскоре движение в коридоре стало более оживленным: дом просыпался, и я готовился к встрече со своими мучителями. Появился, однако, лишь один Ир... Схватив меня за плечи, он помог мне подняться и вытолкнул на лестничную площадку.

— Вот он, господин майор,—заявил Ир...

Передо мной стоял майор парашютных войск в маскировочном комбинезоне и синем берете. Вкрадчивым ироническим тоном он спросил:

— Вы журналист? Ну, значит, вам понятно, что нам нужна информация. Придется вам ее дать.

Оказалось, он хотел только познакомиться со мной, спустя минуту меня снова заперли в «стенной шкаф». Я недолго пробыл там в одиночестве, вскоре снова появился Ир... На этот раз его сопровождали Ша... и какой-то человек, который нес магнето. Стоя на пороге, они разглядывали меня.

— Все еще отказываешься говорить? А ведь пощады не будет. Ясно?

Я стоял против двери, прислонясь к стене. Войдя, они зажгли свет и расселись полукругом.

— Нужен кляп,— буркнул Ша...

Из одного из тюков, валявшихся на полу, он вытащил грязную салфетку.

— Брось ее, — заметил Ир.., — пусть орет, все равно отсюда никто не услышит. Здесь мы, как в подземелье.

— Неприятно все-таки..,— сказал Ша...

Расстегнув мне брюки, они укрепили зажимы в паху. Потом, сменяя друг друга, стали вращать ручку магнето — «большой Жежен». Я уже не вопил, как раньше, а только вскрикивал при каждом запуске магнето, да и судороги стали гораздо слабее, чем во время первых «сеансов». Они, видимо, ожидали этого, так как даже не сочли нужным привязать меня к доске. Во время пытки я слышал завывания репродуктора; передавались модные эстрадные боевики. Звуки музыки, вероятно, доносились из столовой или из клуба, расположенных где-то поблизости, и совершенно заглушали мои крики. Видимо, все это и имел в виду Ир.., когда заявил, что ничего не будет слышно. Пытка продолжалась — силы мои истощались. Я валился то вправо, то влево. Тогда один из лейтенантов снимал зажим и колол меня в лицо, пока я не выпрямлялся.

— Честное слово,— сказал Ша..,— ему это нравится.

Посовещавшись, они, видимо, решили, что нужно дать мне возможность прийти в себя.

— Оставь зажимы,— сказал Ир..,— мы сейчас вернемся.

И, не сняв зажимов, впившихся в мое тело, они вышли.

По-видимому, я тотчас же впал в забытье. Когда они появились снова, мне показалось, что пролетело мгновение. С той минуты я утратил всякое представление о времени.

Ир... вошел первым. Ударив меня ногой, он приказал:

— Сесть!

Я не двигался. Резким рывком он подтолкнул меня к стене. Не прошло и секунды, как я уже извивался под действием тока. Я понимал, что мое сопротивление раздражало их все сильнее.

— Сейчас вот всажу провод ему в рот,— заорал Ир... — Открой рот! — приказал он.

Чтобы заставить меня повиноваться, он сжал мне ноздри, и в тот миг, как только я приоткрыл губы, чтобы вздохнуть, Ир... протолкнул мне в рот оголенный провод, продвинув его глубоко, до основания неба. Ша... в этот момент привел в движение магнето. По мере того, как нарастала сила тока, горло и челюсти, все мышцы моего лица, вплоть до век, все мучительнее сводила судорога.

Провод был теперь в руках Ша...

— Можешь отпустить,— проронил Ир..,— будет держаться.

И действительно, электрический ток будто припаял провода к челюстям — я не мог разжать зубы, как ни пытался. Под судорожно сжатыми веками в моих глазах мелькали огненные молнии, какие-то сверкающие геометрические фигуры, и мне казалось, что оба глазных яблока вырываются из орбит, словно выталкиваемые кем-то изнутри. Ток достиг предела. Боль — тоже. Она охватила все тело. «Палачи уже не смогут причинить мне бо́льших страданий»,— подумал я.

В эту минуту Ир... сказал подручному, приводившему в действие магнето:

— Сократи порцию, верти помедленнее, а потом снова наддай жару...

Сила тока уменьшилась, и судороги, сводившие все тело, ослабели, и вдруг, в ту секунду, как магнето включилось на полную мощность, боль вновь стала непереносимой. Чтобы не ощущать внезапных спадов и резкого нарастания чудовищной боли, я начал биться изо всех сил головой об пол. Каждый удар приносил мне облегчение.

Ир.., пригнувшись к моему уху, кричал:

— Не пытайся размозжить голову, ничего не выйдет!

Наконец все прекратилось. Перед моими глазами еще мелькали огненные зигзаги и точки, а в ушах стоял шум, напоминавший жужжание бормашины.

Мгновение спустя я раскрыл глаза и увидел, что все трое стоят передо мной.

— Ну,— спросил Ша...

Я не ответил.

— Черт побери! — выругался он и, размахнувшись, изо всех сил ударил меня по лицу.— Послушай,— продолжал он уже более спокойным тоном,— какой толк тебе от всего этого? Не желаешь ничего говорить, ну что ж, арестуют твою жену. Думаешь, она выдержит?

Ир... тоже нагнулся ко мне.

— Не воображаешь ли ты, что твои птенцы в безопасности, потому что они во Франции? Мы привезем их, когда захотим.

В страшном смятении я уже с трудом отличал реальные угрозы от пустого шантажа. Я не сомневался, что они способны подвергнуть пытке Жильберту; пытали ведь Габриэль Хименес, Бланш Муан, Элиетт Лу и других молодых женщин. Позже я узнал, что они истязали г-жу Тури (жену известного артиста, выступавшего по алжирскому радио) на глазах у мужа, чтобы заставить его заговорить. Я боялся, как бы палачи не заметили, какой ужас охватил меня при мысли о том, что они могут осуществить свои угрозы. Чуть ли не с облегчением я услышал слова одного из них:

— А ему наплевать, наплевать на все на свете.

Они оставили меня и ушли, но мысль о том, что Жильберта в любой момент может оказаться на доске пыток, уже не покидала меня.

Прошло немного времени, и Ша... вернулся в сопровождении другого парашютиста. Они снова подключили электроды, потом вышли. Мне казалось теперь, что они приходят и уходят беспрестанно, оставляя меня в покое лишь на несколько минут, чтобы я мог прийти в себя. Я помню, как Ша... водил электродом по моей груди, непрерывно скандируя все тот же вопрос:

— Где ты про-вел ночь пе-ред тво-им а-рес-том?

Кто-то поднес к моим глазам фотографию одного из разыскиваемых руководителей компартии:

— Где он?

Я взглянул на Ша... Теперь его сопровождал Ир... Ша... в штатском костюме выглядел даже элегантным. Заметив, что я пытаюсь отхаркнуться, он отшатнулся.

— Осторожно! — крикнул Ша... — Сейчас плюнет.

— Что из этого? — спросил кто-то.

— Не люблю, когда плюются. Негигиенично.

Ша.., явно торопился, боясь испачкать костюм. Он встал, собираясь уйти. «Отправляется на какой-нибудь вечер,— подумал я,— а это значит, что с момента моего ареста прошел по меньшей мере еще день» И внезапно при мысли о том, что эти скоты меня не сломили, я почувствовал себя счастливым.

Ир.., тоже ушел, но я недолго оставался один. В темную каморку втолкнули какого-то мусульманина. Дверь, приоткрывшись, пропустила луч света. Я увидел очертания фигуры: человек был молод, хорошо одет, на руках его были наручники. Продвинувшись ощупью, он присел рядом со мной. Меня то и дело охватывал

озноб. Я вздрагивал и стонал, словно пытка электрическим током все еще продолжалась. Вошедший почувствовал, что я дрожу, и, подняв с пола мой пиджак, накинул его на мои окоченевшие плечи. Потом помог мне улечься:

— Отдохни, брат мой, отдохни.

Я хотел сказать ему: «Я Аллег, бывший главный редактор «Альже репюбликэн». Если сможешь, скажи на воле, что я умер здесь», но для того, чтобы произнести эти слова, нужно было совершить большое усилие, и я не успел этого сделать. Дверь внезапно открылась, в коридоре кто-то сказал:

— Зачем его сунули сюда, этого типа?

Мусульманина увели.

Немного позже в камеру вошли двое парашютистов. В лицо ударил луч электрического фонаря. Я ждал побоев, но они меня не тронули. Я не смог разглядеть их лиц и лишь слышал, как молодой голос произнес:

— Это ужасно, правда?

Другой ответил ему:

— Да, чудовищно.

И они ушли.

Потом кто-то зажег свет. Я увидел двух молодчиков из команды Ир...

— Он все еще ничего не сказал?

— Можешь не расстраиваться, через пять минут заговорит.

— А ты, значит, сказал лейтенанту, какую штуку придумал?

— Ага.

Я понял, что мне предстоят новые пытки.

Позади их появился Ир... Он нагнулся, приподнял меня и прислонил к стене. Распахнув мой пиджак, он уселся против меня, придерживая своими ногами мои. Достав из кармана мундира коробок спичек, Ир... зажег одну из них и медленно провел ею у меня перед глазами, чтобы посмотреть, реагирую ли я на огонь и страшно ли мне. Потом приложил горящую спичку к моей груди.

— А ну-ка, действуй,— сказал он, обращаясь к одному из своих «ассистентов», тот зажег заранее приготовленные бумажные факелы и стал «поджаривать» мне пятки.

Я не двигался, ни разу не вскрикнул. Чувствительность была совершенно утрачена: в то время, как Ир... жег мне грудь, я глядел на него в упор, не мигая. В бешенстве он наносил мне удары в низ живота и орал:

— Тебе крышка. Крышка. Слышишь? Будешь говорить? Будешь, дерьмо? Ты, видно, хочешь, чтобы я сразу тебя прихлопнул, а? Но это еще не конец. Знаешь, что такое жажда? Издохнешь от жажды!

Ток пересушил мне язык, губы, горло; они стали жесткими и твердыми, словно деревянные. Ир..., видимо, знал, что пытка током вызывает невыносимую жажду. Он бросил спички и держал теперь в руке оцинкованный бидон и кружку.

— Вот уже два дня, как ты не пил. Пройдут еще четыре, пока ты сдохнешь. Четыре дня — это много! Будешь слизывать свою мочу.

На уровне моих глаз, затем над ухом он долго переливал воду тонкой струей из бидона в кружку и твердил:

— Заговоришь — дадим пить. Заговоришь — дадим пить.

Краем кружки он разжимал мне губы. В сосуде оставалось очень мало воды; я видел, как она плескалась на дне, но не мог проглотить ни капли. Совсем близко от моего лица я увидел Ир... Он со смехом наблюдал за моими усилиями, бесплодными и изнурительными.

— Позовите парней, пусть придут посмотреть на танталовы муки,— сказал он.

В дверях появились другие парашютисты, и, несмотря на свое отупение, я все-таки поднял голову и отказался смотреть на воду, чтобы не дать этим палачам насладиться зрелищем моих страданий.

— Ну, не такие уж мы мерзавцы. Так и быть, дадим тебе напиться.

И он поднес к моим губам полную до краев кружку. Мгновение я колебался; тогда, сжав мне ноздри, он толкнул назад мою голову и влил в рот около четверти кружки. Вода, оказывается, была невероятно соленая.

После перерыва, не знаю, сколько он продолжался — несколько минут или несколько часов,— появился капитан Де... С ним были Ло..., Ир... и высокий парашютист, который участвовал в допросе в среду. Они прислонили меня к стене, и Ло... надел мне зажимы на ухо и на палец. При каждом разряде я вздрагивал, но не кричал, так как стал нечувствительным к боли. Де... знаком приказал ему остановиться.

Сидя на тюке, он курил. Потом заговорил со мной вкрадчивым голосом, резко контрастировавшим с оскорбительным тоном других парашютистов, грубые окрики которых все еще звучали у меня в ушах. Де... непринужденно беседовал о предметах явно незначительных, не имеющих никакой связи с вопросами, которыми меня атаковали с первой минуты. Между прочим, он спросил меня, какие газеты входили в Федерацию прессы. Разумеется, я ответил бы ему, но очень трудно было шевелить пересохшими одеревенелыми губами. Из моего горла вырывался лишь хрип. С трудом я попытался выговорить несколько названий. Между тем, он продолжал, словно вопрос этот непосредственно вытекал из предыдущих:

— А Одэн — хороший товарищ, не так ли?

Слова эти прозвучали, как сигнал тревоги: я понял, что, незаметно переходя от одной темы к другой, они хотели заставить меня рассказать о том, что их интересовало. Совершенно измученный побоями и пытками, я ясно помнил лишь одно: не говорить ничего, ничем не помогать им. Больше я ни разу не раскрыл рта.

Тут уж и Де... утратил свою невозмутимость. Он встал и обеими руками начал бить меня по лицу. Голова моя болталась из стороны в сторону в такт ударам, но я настолько утратил чувствительность к боли, что даже не закрывал глаз, когда рука его обрушивалась на мое лицо. Наконец он остановился и попросил, чтобы принесли воды.

— Мы уже пробовали, г-н капитан,— сказал Ир...

Де... все же взял протянутый ему бидон и кружку. Так же, как это делал раньше лейтенант, капитан Де... начал переливать воду из одного сосуда в другой. Затем поднес кружку к моим губам с таким расчетом, чтобы я не мог дотянуться до воды. Обескураженный отсутствием реакции — я не пытался напиться,— он поставил кружку на пол. Я рухнул набок. Падая, опрокинул кружку.

— Надо будет подтереть пол,— сказал Ир..,— чтобы он не мог слизать воду.

Де... отошел в сторону; его сменил Ир..., своим пронзительным голосом он заорал, нагибаясь ко мне:

— Твое дело — каюк! Это твой последний шанс! Твой последний шанс! Для этого и пришел капитан.

Какой-то парашютист в штатском костюме, вошедший вместе с Ло..., сидел в углу. Он вынул из кобуры свой пистолет и молча, демонстративно разглядывал его, словно проверяя, все ли в порядке, потом положил к себе на колени, будто ожидая приказа стрелять. Тем временем Ло... снова «подключил» меня к магнето. Однако было видно, что от этого он уже ничего не ждет. С каждым разрядом я вздрагивал, но пытка меня уже не страшила. Я боялся другого. Мне чудилось, будто на полу у стенки лежат огромные щипцы, обернутые бумажными лентами, и я пытался себе представить, какие истязания мне еще предстоят. «Быть может, с помощью этого инструмента они начнут вырывать у меня ногти»,— подумал я и тут же с изумлением почувствовал, что не испытываю страха, а при мысли о том, что на руках только десять пальцев, я совершенно успокоился. Как только они погасили свет и закрыли дверь, я подполз к стене и увидел, что «щипцы» — всего-навсего канализационная труба, торчавшая из стенки.

Мне было все труднее размышлять — мысли путались от жара,— но я чувствовал, что никто уже не решится продолжать пытки. В мозгу у меня проносились обрывки услышанных разговоров: «Организм не может сопротивляться бесконечно: наступает минута, когда сдает сердце». Я знал, что именно так погиб два месяца назад наш молодой товарищ Джегри. Его замучили на вилле С...— в резиденции так называемых «зеленых беретов» — парашютистов капитана Фо...

Значительно позже дверь открылась снова. Появился Ир... в сопровождении двух офицеров, которых я еще не видел. В темноте один из них (это был лейтенант Ма...) присел передо мной на корточки и положил мне на плечо руку, словно хотел установить между нами атмосферу доверия:

— Я адъютант генерала М... Мне больно видеть вас в таком состоянии. Вам тридцать шесть лет: умирать еще слишком рано.

Он повернулся к офицерам, сопровождавшим его, и попросил их выйти, заявив:

— Арестованный хочет говорить только со мной.

Когда дверь закрылась и мы остались одни, он сказал:

— Вы боитесь, что станет известно о том, что вы говорили на допросе? Никто этого не узнает. Мы возьмем вас под свою защиту. Расскажите все, что знаете, и я прикажу сразу же перевести вас в госпиталь. Через неделю вы будете во Франции вместе с женой. Даю вам слово. В противном случае вы погибли.

Он ждал ответа. Я сказал единственное, что пришло на ум:

— Будь что будет...

— У вас есть дети,— продолжал он,— быть может, мне удастся их повидать; хотите ли вы, чтобы я сказал им, что знал их отца? Так что же? Будете говорить? Если я уйду от вас ни с чем, они вернутся снова. Тогда уже ничто их не остановит.

Я молчал. Он встал и, уходя, добавил:

— Вам остается только одно — самоубийство.

В коридоре он сказал своим спутникам:

— Вот уже десять-пятнадцать лет как они вбили себе в голову, что, если их арестуют, нужно молчать: с этим ничего не поделаешь.

Я чувствовал, что какой-то этап моих мучений пришел к концу. В самом деле, через несколько минут вошли двое парашютистов. Они развязали мне руки, помогли подняться, потом, поддерживая, вывели меня на террасу. После каждых двух-трех ступенек они останавливались, чтобы дать мне перевести дыхание. Другие парашютисты, которых мы встречали на лестницах и на площадках, изощрялись в остроумии:

— А не взять ли вам его на ручки? Он ведь не может ходить сам, не так ли?

— Да ведь он выдержал двенадцатичасовой «сеанс»,— ответил один из моих охранников, словно извиняясь.

Мы спустились, наконец, в другое здание.

* * *

Меня ввели в камеру, расположенную в конце коридора по левой его стороне: это была ванная комната, которую еще не успели оборудовать. Один из парашютистов взял меня за ноги, другой подхватил под руки. Они бросили меня на матрац, валявшийся у стены. Я слышал, как они обсуждали, нужно ли надеть мне наручники.

— Он и двигаться-то не может, не стоит, пожалуй.

Другой не соглашался.

— Смотри, как бы не пришлось нам в этом раскаяться.

В конце концов они все-таки связали мне руки, но не за спиной, а спереди. Я почувствовал от этого необычайное облегчение.

Сверху через узкое окошко, забранное решеткой из колючей проволоки, в камеру проникал слабый отблеск огней города. Был вечер. Я метался в жару. Белила, стекавшие с потолка, рисовали на стенах сложные узоры. Мне мерещились движущиеся силуэты, которые исчезали, как только я останавливал на них свой взор. Совершенно измученный, я никак не мог заснуть: меня била нервная дрожь, глаза горели. В коридоре говорили обо мне.

— Давай ему пить понемногу, каждый час, но только понемногу, смотри, не то он загнется...

Вошел один из тех парашютистов, которые привели меня сюда,— молодой парень, с выговором уроженца Франции. В руках у него было одеяло, которым он меня прикрыл. Дал мне попить, очень немного, но я уже не чувствовал жажды.

— Тебя не интересует предложение генерала М...? — спросил он.

В голосе его не чувствовалось враждебности.

— Отчего ты не хочешь говорить? Чтобы не выдать товарищей? Сколько мужества надо иметь, чтобы так сопротивляться!

Я спросил у него, какой сегодня день: оказалось, что уже пятница и настал вечер, а ведь они начали истязать меня в среду.

В коридоре непрерывно раздавался шум шагов, голоса. Время от времени я различал высокий голос Ир..., отдающего приказания. Внезапно я услышал страшные крики. Они раздавались очень близко, почти рядом, вероятно в камере, расположенной напротив моей. Кого-то пытали. Это была женщина. Мне показалось, что это голос Жильберты. Лишь через несколько дней я убедился, что это была не она.

Пытка закончилась только на заре или немногим раньше. Через перегородку доносились приглушенные вопли и стоны, ругань и удары. Вскоре я узнал, что такие ночи были обычным явлением в жизни этого дома. Крики истязуемых — один из элементов «рабочего» шума «распределительного центра». Парашютисты не обращают на них ни малейшего внимания. Я не поверю, однако, что удастся найти хотя бы одного заключенного, который не плакал бы, как я, от ненависти и унижения, услышав в первый раз исторгаемые пыткой вопли.

Я долго оставался в полубессознательном состоянии. По-настоящему я заснул только утром и очнулся очень поздно, когда тот же парашютист, что приходил накануне, принес мне горячего супу. С трудом я проглотил несколько ложек: губы, нёбо были исцарапаны проводами. Раны и ожоги в паху, на груди, на пальцах загноились. Парашютист снял с меня наручники, и я обнаружил, что не могу двинуть левой рукой, потерявшей чувствительность и одеревеневшей. Ныло правое плечо... Не хватало сил поднять руку.

Мои мучители вернулись после полудня Казалось, все они уговорились встретиться в моей камере. Сюда явились все: солдаты, офицеры и двое штатских, которых я еще не видел,— вероятно, из ДСТ*. Они беседовали между собой, словно не замечая моего присутствия.

— Итак, он отказывается говорить? — спросил один из штатских.

— Торопиться некуда,—ответил майор,— все они таковы на первых порах. Потратим месяц, два, три, но он все же заговорит.

— Этот тип из той же породы, что и Аккаш или Элиетт Лу, — сказал другой. — Я знаю, он хочет стать героем, чтобы в память о нем где-нибудь через пару сотен лет приколотили мраморную дощечку.

Его шутка всех рассмешила.

Обернувшись ко мне, он заметил, улыбаясь.

— Здорово тебя отделали.

— Сам виноват,— сказал Ша...

— Ему наплевать на все и на всех,— заявил Ир...,— на жену, на ребят; больше всего он любит партию.

Он придавил мне грудь сапогом и добавил, будто невзначай вспомнив об этом:

— Да, знаешь, твои дети прибывают сегодня самолетом. С ними произойдет несчастный случай.

Они направились к двери, но Де... и Ша..., почувствовав, что я не знаю, верить ли этому, задержались на пороге.

— Тебе и в самом деле наплевать на детей? — спросил лейтенант.

Они помолчали минуту, и Ша... заключил беседу:

— Ладно, в таком случае, ты сдохнешь.

— Люди узнают, как я умер,— заявил я.

— Нет, никто ничего не будет знать.

— Неправда, — ответил я, — все всегда становится известно.

Он вернулся назавтра — это было воскресенье — вместе с Ир..., но лишь на минутку. Оба они улыбались.

— Ты не передумал? — спросил Ша... — Ну, значит, ты готовишь себе новые неприятности. Существуют научные методы,— он сделал ударение на слове «научные»,— которые заставят тебя обо всем рассказать...

После их ухода я постучал в дверь и попросил, чтобы кто-нибудь помог мне подняться. Поддерживаемый одним из парашютистов, я прошел в кухню и, опираясь о стену, смочил водой лицо. Когда я снова лег на матрац, другой парашютист — тот европеец из Алжира, который «работал» вместе с Ло...,— просунул голову в дверную щель и язвительно спросил:

* DST — Управление территориальной охраны.

— Ну, как, полегчало?

— Да,— ответил я ему в том же тоне,— вы скоро сможете начать все сначала.

Я хотел вызвать его на разговор, чтобы узнать, что они мне готовят. Меня тревожила мысль о «научных» методах. Но он лишь ответил со злобой:

— Ты прав, это еще не конец — мы свернем тебе шею.

* * *

В понедельник вечером Ир... разбудил меня. Двое парашютистов помогли мне подняться, и вчетвером мы спустились по лестнице. Этажом ниже помещался лазарет — просторная комната с широкими окнами, в которой было расставлено несколько походных кроватей. Здесь же стоял стол, на котором в беспорядке были разбросаны медикаменты. В комнате находился всего лишь один человек — врач в чине капитана. Судя по всему, он дожидался меня. Он был сравнительно молод, худощав, с черными небритыми щеками, в потрепанном мундире. С характерным средиземноморским произношением он спросил меня:

— Вам страшно?

— Нет,— ответил я.

— Я не намерен бить вас. Обещаю не причинять вам боли.

Меня уложили на одну из походных коек. Наклонившись надо мной, врач измерил кровяное давление, затем выслушал меня стетоскопом.

— Можно начинать,— сказал он, обратившись к Ир... — Наш пациент лишь немного нервничает.

Мне было неприятно, что ему удалось по моему сердцебиению заметить, как я волнуюсь Все эти приготовления подтверждали справедливость моих опасений: они решили испробовать на мне «сыворотку истины». Значит, это и был «научный» метод, о котором говорил Ша...

Со вчерашнего дня я старался привести в какую-то систему все, что осталось у меня в памяти от случайного чтения газетных статей, посвященных действию пентотала. «Если у данного субъекта достаточно сильная воля,— говорилось там,— его нельзя заставить рассказать то, чего он не хочет». Эти слова прочно запечатлелись в моем сознании. Я неустанно повторял их самому себе, стараясь во что бы то ни стало сохранить спокойствие и уверенность в благополучном исходе предстоящего испытания. Отбиваться было бесполезно. Они привязали бы меня насильно. Мне казалось более целесообразным употребить всю энергию на то, чтобы как можно успешнее сопротивляться действию наркотика.

Спустя некоторое время пришел санитар, впрочем, быть может, это был фельдшер. По всей вероятности, он вернулся с боевой операции или с очередного рейда, так как был в полном снаряжении. Ему пришлось сбросить свой автомат и прочее снаряжение, прежде чем он смог выслушать указания врача:

— Сначала введите ему только пять кубиков — в некоторых случаях это вызывает сопротивление.

Очевидно, он хотел сказать, что некоторые люди не переносят наркотиков. Однако в тот момент мне показалось, что речь идет о волевом сопротивлении действию пентотала. Поэтому я решил создать впечатление, будто вовсе не пытаюсь «сопротивляться». «Это наилучший способ,— думал я,— отделаться минимальной дозой «сыворотки».

Я дрожал от холода и волнения. Вся грудь моя была обнажена. Рубашку мне не вернули, она, видно, пришлась кому-то по вкусу. Один из парашютистов набросил на меня одеяло, и ко мне подошел фельдшер. Он взял мою правую руку, наложил резиновый жгут и вонзил в набухшую вену иглу шприца. Под одеялом я с трудом всунул в брючный карман левую руку, онемевшую и потерявшую чувствительность, и изо всех сил прижал ее к бедру. Я говорил себе: пока я ощущаю это прикосновение, я смогу сознавать, что все происходящее — не сон, и буду настороже. Фельдшер неторопливо нажимал на шприц. Медленно, капля за каплей, вливалась в мою кровь «сыворотка истины».

— Считайте,— приказал мне врач.— Ну!

Я начал:

— Раз, два, три...— и, дойдя до десяти, замолчал, словно задремав. Какая-то холодная тяжесть поднималась от затылка к мозгу, затуманивая сознание.

— Одиннадцать, двенадцать, тринадцать,— проговорил врач, желая испытать меня.

— Ну-ка, продолжайте!

Я продолжал:

— Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать...

И, сознательно пропустив два или три числа, произнес:

— Девятнадцать, двадцать, двадцать один.

Потом снова замолчал.

— Теперь другую руку,— донесся до меня голос врача.

Под одеялом я принялся медленно передвигать правую руку, стремясь вложить ее в карман. Мне все казалось, что ногти, вцепившиеся в тело, помогут мне сохранить ощущение реальности. Но несмотря на все усилия, я уснул...

Врач легонько похлопывал меня по щекам. Почти шепотом, голосом, которому он старался придать дружеский оттенок, он говорил:

— Анри, Анри, это Марсель. Как дела?

Я открыл глаза. Медленно, с большим трудом я начал отдавать себе отчет в происходящем. В комнате было темно — парашютисты закрыли ставни. Вокруг меня на походных кроватях сидели парашютисты и офицеры, которых я уже знал, и другие— по всей вероятности, их пригласили присутствовать при «опыте». Они молча слушали.

Врач держал в руках листок бумаги. Я понял, что это список вопросов, которые он должен мне задать.

Он обратился ко мне фамильярным тоном человека, встретившего старого приятеля:

— Ты долго работал в «Альже репюбликэн»?

Вопрос был безобиден. По-видимому, он был рассчитан на то, чтобы вызвать меня на откровенность. Я с удивлением услышал свой собственный многословный ответ. Сначала я подробно распространялся о трудностях, связанных с выпуском газеты, затем перешел к составу редакции. У меня было такое ощущение, будто я пьян, будто вместо меня говорит кто-то другой. И тем не менее, я все время помнил о том, что нахожусь в руках у палачей, добивающихся, чтобы я выдал своих товарищей.

Однако все это было только прелюдией.

Врач прошептал, обращаясь к своему помощнику:

— Вот видите, все идет как по маслу, так и надо действовать.

Он прервал мои объяснения и вполголоса произнес:

— Анри, мне говорили, что надо обратиться к тебе, чтобы повидать Х... Как его разыскать?

Это был тот же вопрос, который мне уже задавали десятки раз во время пыток. Вся разница была в том, что теперь он был задан в «дружеской форме». Сотни картин проносились в моем затуманенном мозгу: вот я на улице, вот я уже в какой-то квартире, затем в сквере, и повсюду меня неотступно преследует этот «Марсель», докучая мне своими вопросами. Временами, совершая над собой усилие, я поднимал веки, и тогда ко мне на мгновение вновь возвращалось ощущение реальности. Но тотчас же я вновь погружался в полубессознательное состояние. Врач принялся трясти меня, добиваясь ответа:

— Где Х...? — И мы начинали диалог глухих.

— Странно,— говорил я,— что тебе посоветовали обратиться ко мне. Я не знаю, где он

— А как же он поступает, когда ему нужно встретиться с тобой?

— Ему совершенно незачем видеться со мной. У меня с ним нет никаких дел.

— Ну, разумеется. А все-таки скажи, как бы он поступил, если бы вдруг захотел тебя повидать?

— Скорее всего, он бросил бы записку в мой почтовый ящик, но повторяю — ему незачем со мной встречаться.

Я отчаянно отбивался от этих коварных вопросов и, несмотря на действие наркотика, все же находил в себе силы сопротивляться моим мучителям.

— Послушай,— продолжал он,— у меня сугубо конфиденциальное дело к Х... Мне непременно надо с ним встретиться. Сможешь ли ты связать меня с ним, если увидишь его?

— Не могу ничего обещать. Я буду крайне удивлен, если он вдруг начнет меня разыскивать.

— Хорошо. Но если вы все же случайно встретитесь, как мне связаться с тобой?

— Где ты живешь? — спросил я.

— В доме 26 по улице Мишле, третий этаж, направо. Спросить Марселя.

— Отлично! Я запомню этот адрес.

— Нет, так дело не пойдет. Я же дал тебе свой адрес, значит и ты должен дать мне свой. Ты должен доверять мне.

— Хорошо, если хочешь, мы можем встретиться через две недели на остановке у парка Галлана, в шесть часов вечера. Ну, ладно, я пошел. Не люблю без толку околачиваться на улице.

— Так ты живешь возле парка Галлана? Скажи мне свой адрес,— по-прежнему настаивал он.

Я был в полном изнеможении и хотел любой ценой прекратить этот разговор, пусть даже не совсем «учтиво».

— Ты мне осточертел,— сказал я,— прощай.

— Прощай,— ответил «Марсель».

Он выждал мгновение, видимо желая убедиться, что я крепко уснул. Вскоре я услышал, как он кому-то шепнул:

— Больше из него ничего не вытянешь.

Все встали и пошли к выходу, как зрители после спектакля. Кто-то неожиданно повернул выключатель, и ко мне сразу же вернулось сознание. Я увидел своих палачей: одни из них стояли в дверях, другие уже успели выйти из помещения. Остальные, в том числе Ир... и Ша..., задержались в комнате и разглядывали меня. Собрав все силы, я крикнул им:

— Вы можете вернуться с вашим магнето, я знаю, что меня ждет, но не боюсь вас.

Врач с маленьким чемоданчиком в руках тоже стоял у выхода. Знаком он велел им воздержаться от ответа. Перед тем как выйти из комнаты, он сказал фельдшеру:

— Возможно, что он впадет в прострацию, дайте ему пару таблеток.

Прежде чем передать меня в руки парашютистов, с которыми я пришел в лазарет, фельдшер обработал мои раны и наложил повязки на ожоги на груди и в паху. Затем парашютисты помогли мне подняться наверх, в мою камеру. Один из них, вынув из кармана какие-то таблетки, протянул их мне:

— Проглоти!

Я взял пилюли, сунул их под язык, выпил глоток воды и сказал:

— Все в порядке.

Как только они закрыли за собой дверь, я тотчас же выплюнул лекарство. Скорее всего, это был самый обыкновенный аспирин, но тогда мне трудно было рассуждать логически. К тому же я испытывал острое недоверие ко всему окружающему. Особенно сильно меня тревожила мысль, что это, быть может, лишь начало «лечения». Я находился в каком-то необычном состоянии: сердце лихорадочно билось, в висках стучало. Предстояла новая встреча с «Марселем». Этот образ, порожденный действием

пентотала, казалось, воплощался в плоть и кровь. Мне удалось уклониться от ответа на его вопросы. Но сумею ли я отделаться от него в следующий раз? Я чувствовал, что у меня начинается бред. Стремясь убедиться, что я не сплю, я влепил себе пару пощечин и принялся щипать себя. Но как только я вновь обрел чувство реальности, ко мне одновременно возвращались и страхи, навеянные сывороткой.

— Собирайтесь! Будем переселяться!

Снова появились те же молодчики, которые сопровождали меня в лазарет. Было уже довольно поздно, около одиннадцати часов вечера. Когда мы начали подниматься по лестнице, ведущей на террасу, у меня мелькнула мысль, что, вероятно, они хотят инсценировать мое «самоубийство». Но в том состоянии, в каком я тогда находился, мысль эта почти не испугала меня. «Я ничего не сказал под пыткой, они ничего не добились со своей «сывороткой истины», теперь моя песенка спета»,— подумал я. Однако вскоре мы снова начали спускаться вниз и оказались в другом здании. Передо мной раскрыли дверь каморки, в которой я уже успел побывать раньше. Было заметно, что кто-то прибрал ее и принес туда походную койку с соломенным матрацем.

Как только они ушли, все те же мысли, на мгновение было рассеявшиеся, стали вновь одолевать меня.

Мне казалось, что я схожу с ума. Если они снова начнут отравлять меня наркотиками, сумею ли я оказать им такое же сопротивление, как и в первый раз? А если пентотал заставит меня рассказать то, чего я не хотел говорить, то мое молчание под пыткой утратит всякий смысл.

Дверь справа, ведущая в соседнюю каморку, была приоткрыта. Там на полу валялся рулон проволоки. В растворенном слуховом окне торчал крючок. Ничто не мешало мне продеть через него кусок проволоки, встать на койку, а затем оттолкнуть ее ударом ноги. Однако все во мне восставало против самоубийства. Я не хотел, чтобы после моей смерти думали, будто я покончил с собой из страха перед истязаниями. Уж не сознательно ли мне создают необходимые «условия»? На память пришли слова адъютанта генерала М...: «вам остается только покончить с собой». Но едва я решал отказаться от мысли о самоубийстве — рассудив, что если мне суждено умереть, то уж лучше погибнуть под ударами парашютистов,— как тотчас же я начинал сомневаться: не страх ли перед смертью подсказывает мне эти «аргументы»? Раз уж нужно умирать — лучше умереть сразу, без промедления и без риска «оказать помощь палачам». Я старался рассуждать как можно спокойнее и пришел к выводу, что так или иначе я не «понадоблюсь» своим мучителям раньше завтрашнего дня. Следовательно, я еще успею покончить с собой, если это окажется необходимым. В то же время я сознавал, что нахожусь в необычном состоянии. Следовало отдохнуть, чтобы более хладнокровно оценить ситуацию.

Я заснул и проспал до утра. За ночь прошла лихорадка, а с ней исчезли и мои страхи. Я был горд и счастлив. В моем сердце крепла уверенность, что я выдержу все мучения, если палачи вновь примутся истязать меня. Буду бороться до конца и не облегчу своим самоубийством их задачу.

* * *

К вечеру меня опять перевели в другое здание, в мою прежнюю камеру. Однако я пробыл там недолго. Когда стемнело, я снова проделал то же путешествие, только в обратном направлении, и возвратился в свой «стенной шкаф». Здесь я провел еще одну ночь. По обрывкам разговоров, случайно услышанных в тюремных коридорах, я понял, чем объяснялись столь частые перемещения: ожидали прибытия комиссии (какой — я не знал*), и нельзя было допустить, чтобы кто-либо из ее членов увидел меня.

Именно поэтому меня прятали во втором здании, которое, как правило, не использовалось сборно-распределительным пунктом В нем жили парашютисты. Там же находилась столовая.

Мне стало лучше. Я уже мог вставать и даже держаться на ногах. Парашютисты стали относиться ко мне иначе. Очевидно, они с чисто спортивной точки зрения оценили мою твердую решимость молчать на допросе. Даже высокий парашютист из «бригады» Ло... несколько сбавил тон в обращении со мной. Войдя однажды утром в мою камеру, он спросил:

— Вас уже пытали раньше, в период Сопротивления?

— Нет,— ответил я,— с этим я познакомился впервые.

— Отлично,— сказал он тоном знатока.— Вы крепкий парень.

Вечером меня посетил другой парашютист, которого я еще не знал. Это был невысокий блондин, говоривший с характерным северофранцузским акцентом. Его недавно мобилизовали в армию. Широко улыбаясь, он произнес:

— А я, знаете ли, присутствовал при всем! Мне еще отец рассказывал, как коммунисты вели себя во времена Сопротивления: они умирали, но никогда ничего не говорили. Замечательно!

Я внимательно разглядывал этого юношу. У него было такое открытое, приветливое лицо... А между тем он говорил о перенесенных мной истязаниях, как об увлекательном спортивном матче, запавшем ему в память. Он хвалил меня без всякого стеснения, словно перед ним был победитель велогонки. Спустя несколько дней я увидел, как тот же юноша, с побагровевшим, искаженным злобой лицом, избивал заключен-

* Речь шла о комиссии по охране гражданских прав, которую представлял генерал Зеллер. *(Прим. франц. изд.)*

ного-мусульманина — несчастный недостаточно быстро спускался по лестнице. Этот «распределительный пункт» был не только местом пыток для алжирцев, но и школой растления молодых французов.

Надо сказать, однако, что один из парашютистов явно не одобрял действий своих коллег. Однажды вечером, часов около семи, когда в коридоре уже никого не было, открылась дверь моей камеры. Вошедший держал в руках продуктовую сумку. В ней были вишни, шоколад, хлеб, сигареты. Он протянул мне все это и быстро проговорил:

— Вот возьмите. Простите меня, но здесь невозможно разговаривать.

Крепко пожав мою руку, он поспешно вышел. Впоследствии Ир..., очевидно, сделал необходимые распоряжения: больше меня никто не навещал.

В последующие дни меня часто водили в лазарет. Когда я в первый раз вновь вошел в знакомую комнату, у меня сильно забилось сердце: я опасался новых вливаний пентотала. Однако в лазарете всего-навсего занялись лечением моих гноящихся ран. Я понимал, что заботы, объектом которых я стал, не дают оснований для каких-либо неожиданных выводов. В любом случае мои мучители были заинтересованы в улучшении моего состояния. Если они готовились снова подвергнуть меня пыткам, то им нельзя было доводить меня до чрезмерного истощения. Если же предположить, что они решили казнить меня, то для вскрытия им был нужен «чистый» труп, на котором было бы невозможно обнаружить какие-либо другие следы насилия, кроме «естественных» пулевых ран. Однако дни проходили, и во мне крепла надежда, что встревоженная общественность сумеет вырвать меня из рук парашютистов. Вместе с тем, я нисколько не сомневался, что они предпочтут мою гибель и связанный с нею общественный скандал той неминуемой буре, которую вызвали бы мои обличительные выступления, если бы я остался жив. Судя по всему, они уже успели обдумать и взвесить это. Недаром еще в те дни, когда я был не в силах подняться на ноги, один из парашютистов иронически заметил:

— Жаль, что дела твои плохи, ведь ты бы мог порассказать многое — небось, вышла бы пухлая книжонка!

Меня снова пытались допрашивать — те же Ша..., Де... и еще кто-то третий (этого человека я не знал). Они вызвали меня в кабинет, расположенный на том же этаже. Я сел. В сотый раз они задали мне тот же неизменный вопрос, однако на этот раз с соблюдением всех приличий.

— Где вы провели ночь накануне вашего ареста?

— Я уже дал свой ответ на этот вопрос, когда вы пытали меня,— сказал я.— Он ясен; я не намерен ничего говорить.

Они улыбнулись и не стали настаивать. Затем Де... спросил:

— А что, квартира снята на ваше имя? Можете спокойно ответить на мой вопрос— ведь, если вы откажетесь, мы все равно узнаем это от привратницы. Вы должны понимать, что отмалчиваться бессмысленно.

— Можете спросить у привратницы, если хотите. Что касается меня, то я не стану вам помогать.

Беседа заняла не более двух-трех минут, после чего Ша... проводил меня назад в мою темницу.

Спустя несколько дней ко мне явился с визитом лейтенант Ма..., адъютант генерала М... Сначала он без малейшей иронии заявил, что рад меня видеть. Затем принялся весьма пространно излагать сущность политической концепции офицеров — сторонников «умиротворения». Лейтмотивом этой концепции служил лозунг: «Мы не уйдем».

— Алжирцы живут в нищете, говорите вы? Ну что вы, не надо преувеличивать.

И лейтенант заявил, что знаком с «туземцем», зарабатывающим по восемьдесят тысяч франков в месяц.

— Вы, кажется, произнесли слово «колониализм»? Это понятие выдумали пораженцы. Конечно, в свое время были совершены кое-какие несправедливости, но отныне с этим покончено. Пытки? Знаете ли, наши парни — те, кто ведет эту войну, — не из пансиона благородных девиц. Война давным-давно бы кончилась, если бы коммунисты, разного толка либералы и не в меру сентиментальная пресса не восстанавливали общественное мнение против парашютистов, мешая им работать.

У меня не было ни малейшего желания пререкаться с ним. Я заметил лишь, что, к счастью для Франции, она может гордиться и другими сыновьями, в которых воплощен ее истинный дух, и иными — настоящими — подвигами. И я высмеял все эти стереотипные колонизаторские теории.

В конце концов он открыл мне цель своего посещения. Его уполномочили предложить мне следующее: от меня не станут требовать ответа на прежние вопросы, но взамен я должен буду изложить на бумаге свои соображения о современном положении в Алжире и его перспективах, после чего меня отпустят на свободу. Я, разумеется, отказался.

— Отчего? — спросил он.— Вы боитесь, что это будет использовано против вас?

— Да,— ответил я.—Это во-первых. А во-вторых, я не намерен сотрудничать с вами. Если хотите знать, что мы думаем — я имею в виду себя и своих товарищей — об алжирской проблеме, то обратитесь к комплекту «Альже репюбликэн». Я знаю, что у вас имеются все подшивки этой газеты, ведь редакция вашего печатного органа — «Ле Блэд» — заняла наше помещение.

Он не упорствовал. Переменив тему, он как бы между прочим заметил:

— Да. Знаете ли, я недавно принимал у себя вашу жену и ее адвоката. Они спрашивали меня, живы ли вы. Я ответил, что вы *еще* живы.

Затем он добавил:

— Я искренне сожалею о случившемся. Я симпатизирую вам и восхищаюсь вашей

стойкостью. Охотно пожму вашу руку — вряд ли нам еще доведется увидеться.

Закончив свою «роль», он вышел.

Накануне отправки в Лоди, спустя месяц после ареста, меня доставили в один из кабинетов на нижнем этаже. Здесь меня дожидался капитан парашютных войск, в зеленом берете Иностранного легиона. У него были жесткие торчащие волосы, остроконечное лицо, обезображенное широким шрамом, узкие злые губы, светлые выпученные глаза. Я сел напротив него. В то же мгновение он вскочил: ударом кулака в лицо он швырнул меня на пол и сбил с меня очки, их мне лишь недавно вернули.

— А ну-ка, сейчас же оставь этот наглый вид, с которым ты сюда явился.

В комнату вошел Ло... и остановился у окна. Увидев этого «специалиста», я решил, что скоро начнется пытка. Но пока я поднимался с пола, капитан успел водвориться на свое место.

— Хочешь закурить? — спросил он, внезапно переменив тактику.

— Нет, я не курю и к тому же прошу вас обращаться ко мне на «вы».

Важно было не только дать ему отпор, но и узнать, куда он клонит: намерен ли он подвергнуть меня пытке или же предпочитает беседу в «дружеском» тоне. Наградит ли он меня второй пощечиной или, напротив, учтет мое замечание — так или иначе, его реакция позволит мне понять, что меня ждет. Он ответил, что все это пустяки, и в дальнейшем уже обращался ко мне на «вы». Я спросил, могу ли я получить назад свои очки. Он, вероятно, решил, что я стремлюсь прочно запечатлеть в своей памяти его лицо.

— Можете разглядывать меня сколько хотите. Я — капитан Фо..., знаете ли, тот самый знаменитый эсэсовский капитан. Небось, слыхали обо мне?

Это был Фо..., начальник палачей из пресловутой виллы С..., прославившийся своей зверской жестокостью.

Он явно сожалел, что, поддавшись злобе, сорвался. Стараясь вести беседу в спокойном тоне, он пытался сгладить первое впечатление, даже велел принести две бутылки пива. Я медленно потягивал пиво, искоса наблюдая за ним и опасаясь, как бы ему не вздумалось вновь ударить меня или, чего доброго, разбить бутылку о мою голову.

— Вероятно, у вас там заведено на меня солидное дельце, не так ли? Интересно, как вы поступите со мной, если роли переменятся?.. Но я умею рисковать.

Затем без всякого перехода он вдруг произнес целую речь о писателях и художниках — коммунистах и либералах — и вообще об интеллигенции. Все его рассуждения отдавали непроходимым невежеством. Ненависть искажала его чрезвычайно подвижное лицо. Я дал ему высказаться и лишь иногда прерывал его отдельными замечаниями. Я делал это с единственной целью — выиграть время и сократить длительность пыток, коль скоро мне предстояло вновь испытать их.

И он задавал мне все те же вопросы, но не настаивал, когда я отказывался отвечать. Затем он вернулся к проблемам «большой политики». Капитан, словно безумный, метался по комнате. Временами он подбегал ко мне вплотную и злобно выкрикивал мне в лицо:

— Пусть война захватит Тунис и Марокко. — Он сожалел, что египетская экспедиция не привела ко всеобщему конфликту.— Я бы хотел, чтобы американская подводная лодка торпедировала французский корабль. Тогда у нас началась бы война с американцами — по крайней мере, было бы ясно, что к чему!

Я возражал ему довольно вяло: так говорят с душевнобольным, которого нельзя раздражать. Он не раз порывался ударить меня, но сдерживался. В середине «беседы» он неожиданно крикнул мне:

— Так вы не хотите ничего говорить? Имейте в виду, что я умею развязывать языки: приставлю ночью к горлу нож, и дело с концом. Я еще вами займусь.

Бесспорно, эти молодчики намеревались еще раз «заняться» мной, когда приняли решение направить меня в Лоди. В этот лагерь свозят всех «подозрительных» арестантов, которых затем извлекают оттуда по мере надобности.

* * *

Накануне последнего допроса и до неожиданного перевода в Лоди я в течение месяца наблюдал работу «фабрики пыток». Из своей камеры сквозь тюремный «глазок» я видел коридор, лестничную площадку и несколько ступенек. Сквозь тонкие стены доносились звуки из соседних камер.

Днем по лестнице и коридору непрестанно сновали взад и вперед парашютисты. Зачастую они пинками гнали перед собой измученных арестантов, затем загоняли их по пятнадцать-двадцать человек в комнаты, превращенные в тюремные камеры. Такие камеры — как я впоследствии узнал — были на каждом этаже. Пленники спали прямо на полу. В лучшем случае на трех-четырех человек приходился один-единственный матрац. Их окружала глубокая темнота. Шторы все время были опущены, чтобы из зданий, расположенных напротив, нельзя было что-нибудь увидеть. Целыми днями и неделями — иногда более двух месяцев — они ждали допроса, перевода в лагерь или тюрьму, иногда с ними инсценировали «попытку к бегству», иначе говоря — автоматная очередь в спину.

Два раза в день — в 14 и 20 часов (если только об этом не забывали) — нам приносили армейские галеты по пять штук днем и вечером, иногда хлеб, а также несколько ложек похлебки, приготовленной из остатков «господского» стола. Однажды я нашел в этой похлебке окурок, в другой раз — наклейку с консервной банки и фруктовые косточки, видно кем-то обсосанные и выплюнутые.

Раздачей пищи занимался мусульманин, который в свое время был стрелком во французских войсках, а затем перешел на сторону повстанцев. Во время одного из боев он был взят в плен и под угрозой смертной казни согласился прислуживать парашютистам. Его звали Була..., однако парашютисты в насмешку прозвали его «Пур ла Франс»*. Ему нахлобучили на голову синий берет и вложили в руки резиновую дубинку, которую он временами пускал в ход, чтобы выслужиться перед своими хозяевами. Этого ничтожного человека равно презирали все, как парашютисты, так и заключенные.

Но подлинная жизнь «распределительного пункта» начиналась только ночью. Я слышал, как парашютисты готовились к облаве. Из коридора доносились громкие звуки, топот сапог, звон оружия, приказания Ир... Затем сквозь слуховое окно со двора до меня долетали уже другие звуки. Парашютисты заводили свои «джипы» или «доджи» и уезжали. Час-другой царила тишина. Затем они возвращались. Автомашины были битком набиты людьми, подозреваемыми в сотрудничестве с повстанцами и схваченными во время облавы. На мгновение они появлялись перед моим взором, когда их вели мимо моей камеры по лестнице, площадке и коридору. Большей частью это были молодые люди. Многим из них, видимо, даже не дали одеться: одни были в пиджаках, другие шли босиком или в домашних туфлях. Иногда среди них попадались женщины, им было отведено правое крыло дома.

Все здание «распределительного пункта» оглашалось криками, руганью, громким злобным смехом. Обычно Ир... начинал допрашивать какого-нибудь мусульманина. Он приказывал ему: «А ну-ка, молись на меня!» Я представлял себе этого человека, оскорбленного до глубины души приказанием склониться в молитве перед лейтенантом-палачом. Первые вопли истязуемых пленников раскалывали ночной мрак. Это означало, что Ир..., Ло... и иже с ними приступили к своей основной «работе».

В одну из таких ночей на верхнем этаже пытали человека. Это был, судя по голосу, мусульманин в преклонном возрасте. В промежутках между душераздирающими воплями, которые вырывались из его груди, он повторял дрожащим голосом: «Да здравствует Франция! Да здравствует Франция!» Он, очевидно, полагал, что смягчит этим своих палачей. Однако они продолжали истязать его, и раскаты их смеха были слышны по всему дому.

В дни, свободные от карательных операций, Ир... и его молодчики измывались над пленниками, арестованными ранее. В полночь, иногда около часу ночи с шумом распахивалась дверь какой-либо из комнат, превращенных в темницу. Раздавался грубый окрик: «Встать, сволочь!» Парашютист называл фамилии: одну, другую, третью. Вызванные знали, что их ожидает. Всякий раз за «перекличкой» следовало длительное молчание, и парашютисту приходилось вторично выкрикивать те же фамилии. Это неизменно приводило его в бешенство. «Сучье отродье! Вы что, не можете ответить?» Арестанты поднимались со своих мест, и парашютист выталкивал их из камеры, подгоняя пинками.

В другую ночь Ир... разослал своих молодчиков по всему зданию — штурмовать тюремные камеры. С дубинками в руках они врывались в «спальни»: «Встать!»

От сокрушительного удара дверь моей камеры распахнулась и стукнулась об стену. Кто-то ударил меня в поясницу.

— Встать!

Я поднялся. Однако Ир..., проходивший по коридору, заметил меня.

— Этот нам не нужен,— крикнул он парашютистам и собственноручно захлопнул дверь.

Я снова улегся. Между тем этажи здания огласились невероятным грохотом, топотом сапог, звуками ударов, стонами.

Утром и вечером, когда Була... открывал дверь и протягивал мне «еду» или же когда меня водили в уборную, я часто встречал в коридоре заключенных мусульман. Одни возвращались в свою большую общую темницу, другие — в одиночные камеры. Многие знали меня в лицо: им случалось видеть меня раньше, на вечерах, организованных нашей газетой. Другим было знакомо мое имя. Я по-прежнему ходил обнаженный до пояса, со следами ударов на теле, с перевязанными руками и грудью. Они понимали, что меня истязали так же, как и их, и, проходя мимо, ободряюще говорили:

— Мужайся, брат!

В их глазах светилось сочувствие, горячая дружба и доверие, и я вдвойне гордился тем, что меня, европейца, они приняли в свою семью.

* * *

Так я прожил целый месяц, с постоянной мыслью о неминуемой смерти. Она могла прийти ко мне в любой момент — сегодня вечером или завтра на рассвете. Во сне меня по-прежнему мучали кошмары. Временами я просыпался в холодном поту.

Я нисколько не удивился, когда однажды вечером в мою камеру вошел Ша... Судя по всему, было около десяти часов. Я стоял у слухового окна, разглядывая бульвар Клемансо, где порой еще проносились редкие автомашины. Он сказал всего лишь несколько слов:

— Приготовьтесь. Мы отправимся недалеко.

Я надел свой грязный, рваный пиджак. Из коридора донесся голос Ша... .

— Вызовите также Одэна и Хаджаджа. Однако мы поведем каждого из них отдельно.

Десятки раз я прощался с жизнью, полагая, что пришел мой конец. Я снова подумал о Жильберте, обо всех, кого любил, о

* «За Францию».

том, как тяжко ранит их утрата. Но в то же время меня ободряло сознание, что я устоял в единоборстве с палачами. Меня окрыляла мысль о том, что я умру так, как всегда мечтал умереть, верный своему идеалу, своим товарищам по борьбе.

Со двора отъехала машина, послышался удаляющийся шум мотора. Спустя мгновение неподалеку, где-то около виллы Оливье, раздалась долгая автоматная очередь. Я подумал: «Одэн».

Я ждал, стоя у раскрытого окна, стремясь как можно дольше дышать ночным воздухом и видеть огни города. Но проходили минуты и часы, а Ша... не возвращался.

* * *

Я закончил свой рассказ. Никогда еще мне не было так трудно писать. Возможно, все это еще слишком свежо в моей памяти. Вместе с тем, меня преследует мысль, что в момент, когда я пишу эти строки, другие люди испытывают те же чудовищные страдания, которые я уже пережил. Этот кошмар будет длиться до тех пор, пока не кончится позорная война в Алжире. Но я должен был рассказать все, что знаю. Это мой долг перед «исчезнувшим» Одэном, перед всеми, кто, несмотря на пытки и издевательства, мужественно продолжает борьбу. Это мой долг перед теми, кто отдал жизнь за свободу своей страны.

Я пишу эти строки в семьдесят второй камере гражданской тюрьмы Алжира спустя четыре месяца после моего пребывания у парашютистов.

Всего лишь несколько дней назад во дворе тюрьмы пролилась кровь трех алжирских юношей. Она покрыла землю, еще пропитанную кровью славного патриота Алжира Фернана Иветона. Когда за осужденными пришел палач, из всех тюремных камер вырвался оглушительный вопль, сменившийся затем полной торжественности тишиной. В эти мгновения содрогалось от боли сердце Алжира... Шел дождь. Дождевые капли, сверкнув в темноте, ложились на железную решетку перед моим окном. Тюремщики затворили все окна. Однако мы слышали, как один из заключенных, перед тем как ему заткнули рот кляпом, воскликнул:

— Тахиа эль Джезаир! Да здравствует Алжир!— И сразу же — быть может, в момент, когда первый из трех узников взошел на эшафот,— над женской тюрьмой взвилась песня алжирских повстанцев:

С наших гор
Взлетает песня свободных людей,
Провозгласивших
Независимость родины.
Я отдам тебе все, что люблю,
Я отдаю тебе свою жизнь,
О страна моя... Страна моя...

Я был обязан рассказать все это французам, которых заинтересует мое свидетельство.

Пусть знают они, что алжирцы не отождествляют своих палачей с великим народом Франции, у которого они многому научились, чьей дружбой они глубоко дорожат.

Но народ Франции должен также знать, что здесь делается от *его имени*.

1957 г., ноябрь.

Международная анкета

В майском номере журнала наши читатели уже познакомились с творческими планами видных деятелей культуры ряда стран. Ниже мы продолжаем публикацию поступающих из-за рубежа ответов на два вопроса редакции:

1. Над чем Вы работаете в настоящее время?

2. Каковы Ваши ближайшие творческие планы?

Австралия

Алан Маршалл

Благодарю Вас за письмо и за интерес, проявленный к моей работе. Весьма приятно узнать, что о моем творчестве все больше узнают в России.

Что касается моей теперешней работы, то я неторопливо и методично готовлю продолжение своей книги «Я могу прыгать через лужи», которая, надеюсь, скоро появится в русском переводе.

В конце первой книги рассказывается о том, как я, будучи юношей, переехал в город, где работал клерком, прежде чем стал зарабатывать на жизнь литературным трудом.

Продолжение этой книги, над которым я сейчас и работаю, покажет, как писатель добивался признания в условиях, зачастую отнюдь не благоприятных, как изменяется лицо общества в развивающемся промышленном городе. В книге отразятся проблемы, стоящие перед писателем, который пытается следовать лучшим традициям австралийской литературы, традициям Лоусона и Причард, вопреки тем тенденциям, какие привели бы нашу литературу к бледному подражанию иностранным литературам.

О планах на будущее: я намереваюсь посетить социалистические страны Европы для того, чтобы встретиться и обменяться мнениями с писателями. Я хочу побеседовать с Вашими писателями, поучиться у них и укрепить наши связи.

Искренне Ваш

Alan Marshall

Албания

Спиро Джаи

Очень рад ответить на интересующие Вас вопросы.

В журнале «Нендори» (орган Союза албанских писателей) напечатана моя первая пьеса «Последнее действие». В ней описывается борьба рабочих-типографов нашей страны против владельцев типографий в период национализации и установления народной власти.

В данное время работаю над повестью, в которой хочется описать судьбу молодого партизана, сражавшегося против иемецких захватчиков на югославской земле. В ходе национально-освободительной борьбы наши партизаны сражались вместе с югославскими. Герой моей повести, вернувшись на родину, включается в работу по строительству новой жизни, несмотря на полученное ранение.

Собираюсь также написать рассказ из жизни нашей Народной Армии.

С дружественным приветом

Аргентина

Алехандро Касона

С большим удовольствием отвечаю на два вопроса, которые мне любезно предложил Ваш журнал.

1. В настоящее время работаю над «модернизацией» лучшей, по-моему, комедии испанского классика Тирсо де Молины «Дон Хиль Зеленые штаны». В ближайшие месяцы эта комедия будет поставлена театром «Лисео».

2. Я начал свою литературную деятельность с организации театра для рабочих и крестьян (инсценировал романсы, басни, пословицы и т. д.), затем писал для широких кругов городских зрителей. А сейчас хочу написать цикл пьес для детей. Я думаю, что заставить ребенка смеяться, думать и удивляться — одно из самых прекрасных занятий для художника.

Сердечный привет

Бельгия

Шарль Муасс

1. На днях получил из Праги только что вышедший из печати экземпляр антологии, составителем которой я являюсь и которая была заказана мне в ноябре 1956 года чешскими издательствами. Она насчитывает 225 страниц и посвящена выдающимся бельгийским поэтам, которых уже нет

в живых: это Верхарн, Роденбах, Эльскамп, Метерлинк, Мокель, Ван-Лерберге, Делакр и Перье. Антология включает также 37 страниц предисловия и 13 страниц сведений об авторах.

Почти одновременно пришли и гранки антологии современной чешской и словацкой поэзии на французском языке, которая выпускается издательством Артиа в Праге по случаю Всемирной выставки в Брюсселе. За исключением Незвала, крупные чешские поэты XX века совершенно неизвестны в Западной Европе, и я счастлив, что мне удалось заполнить эту брешь.

Сейчас занимаюсь составлением антологии современной болгарской поэзии на французском языке. Делаю это по просьбе моих коллег из Софии.

2. Собираюсь съездить в Будапешт и рассчитываю повидаться там с писателями, у которых, быть может, окажется желание познакомить Западную Европу с современной венгерской поэзией, в которой, думаю, есть немало талантов.

После возвращения займусь изысканием практических возможностей для опубликования моих до сих пор не изданных рукописей: «Надписи на стенах» — социальные поэмы; «Прага, вот мое сердце...» — цикл поэм, в которых я попытался воссоздать для читателей столь своеобразную атмосферу матери богемских городов, чтобы они могли разделить нежное восхищение, с которым я отношусь к ней; «Моцарт в Праге» — сборник поэм известного чешского поэта Ярослава Сейферта, которые я перевел на французский язык и к которым позволил себе написать предисловие.

Однако, поскольку в Бельгии поэзию почти не читают, проблему издания разрешить весьма трудно.

Вот, дорогие товарищи и коллеги, очень краткое перечисление моих теперешних работ и планов на ближайшее будущее. Я уж не говорю о том, как велико мое желание писать и писать. Но вы ведь знаете, что поэты у нас поставлены перед жестокой необходимостью зарабатывать себе на жизнь занятиями, чрезвычайно далекими от литературы.

Бесконечно признателен Вам за то, что Вы с такой симпатией интересуетесь моим творчеством, и прошу Вас принять уверения в чувствах братской дружбы.

Болгария

Камен Калчев

В 1958 году продолжаю работать над второй книгой романа «Семья ткачей». Его действие развертывается в провинциальном городе, известном своей старой текстильной промышленностью.

История и судьба моего главного героя такова: молодой человек теряет голову от успехов на предприятии, где он работает, оставляет жену, отходит от коллектива и постепенно опускается. Личная драма переплетается с проблемой морально-политического воспитания и роста рабочего класса, на плечи которого легла значительная часть социалистического строительства нашей страны.

Существует много подводных течений, пытающихся остановить наше движение вперед. Основные препятствия чинит поверженный враг, ко-

торый потерял и сон и покой с тех пор, как его лишили возможности грабить и эксплуатировать труд народа. Наш враг, сброшенный с исторической арены, уже стал анахронизмом, но все еще пытается встать на ноги и взять топор, чтобы загнать его в спину рабочего класса.

Допустит ли семья ткачей, чтобы было остановлено ее движение вперед по пути социалистического строительства? Будет ли разбита любовь, радость, счастье, личная жизнь? Конечно, нет. Но сколько усилий, сколько труда и сколько жертв необходимо для того, чтобы сохранить моральное и политическое единство этой святой семьи!

Таковы волнения и тревоги, вызванные личными и общественными конфликтами в нашей жизни, которые наполняют две книги моего романа «Семья ткачей».

Людмил Стоянов

Желания и намерения писателя еще не являются планом. Они зреют в его душе, и он даже не обращает на них достаточного внимания; ведь и цыпленку, прежде чем он выйдет из яйца, нужно развиваться.

При этом намерения очень трудно упорядочить. Мозг писателя, ученого, изобретателя — это такая лаборатория, в которой возникают самые различные идеи, образы, трагические и комические ситуации, размышления о действительности, о людях и их страстях, о природе и ее многообразии — целый сонм мыслей об обществе, о морали, о положительном герое, об атоме...— о чем угодно.

Мой так называемый «роман» (см. «Иностранную литературу» № 11, 1957 год) «Детство, молодость и война» не носит специфических черт романа; в нем нет вымышленной фабулы, героев, созданных воображением писателя, жизни, воспроизведенной из «ничего», типизации в зависимости от мастерства автора, психологического анализа. В нем рассказывается от первого лица о жизни обыкновенного мальчика, а затем юноши в деревне, в городе и особенно подробно о его участии в первой мировой войне. Две трети романа составляют воспоминания о подлинных событиях, все-таки преображенных художественным миропониманием автора, и только одна треть — плод его воображения.

Моя задача — показать в судьбе одного человека судьбу целого поколения (подобно моему герою, по жизни шли многие и многие), через личные впечатления, скорбь и радость героя показать на экране жизни ряд общественных событий того периода (1892—1918 гг.), раскрыть движущие пружины эпохи, еще не отраженной в болгарской художественной литературе.

Подобный метод работы я использовал и в повести «Холера»: он дает простор для обозрения, возможность автору стоять на «твердой почве».

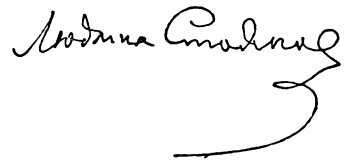
Для того чтобы закончить роман, мне необходимо несколько месяцев спокойной работы без заседаний, без докладов, без встреч и неприятных разговоров, чего, к сожалению, трудно достигнуть. Я из числа тех писателей, которые любят вмешиваться в развитие общественной и литературной жизни, иметь собственное мнение. Так, в моей библиографии насчитывается несколько тысяч заглавий, две трети которых — статьи, интервью, высказывания по актуальным вопросам. В них я затрагиваю проблемы советской литературы, социалистического реализма вообще, болгаро-советской

дружбы. Это привычка, которая стала моей второй натурой. Думаю, в этом нет ничего плохого, ибо и в статьи писатель может вложить умение, идейное и языковое мастерство, особенности стиля, силу внушения и убедительности.

Благодаря мудрой политике Коммунистической партии и ее призыву сплотить писательские силы вокруг партийного руководства, бороться против сектантства и догматизма, против проявлений ревизионизма, болгарская литература постепенно выходит из пассивного состояния, характерного для нее в последние годы.

Вот вкратце мой ответ на Вашу просьбу. Все зависит от времени, которое нам подарит жизнь. В моих планах — завершение романа «Совесть» (вторая часть книги «На рассвете»), драмы «В бой за свободу» (из жизни Христо Ботева), сборник стихов и поэм...

Читаю с интересом журнал «Иностранная литература». Он подобен «окну» в явления, происходящие в различных странах мира, с которыми, естественно, мы должны знакомиться, особенно с произведениями прогрессивных писателей, наших союзников. Желаю журналу еще большего успеха.



Бразилия

Жоржи Амаду

1. Работаю над романом, в котором будут отражены обычаи и жизнь людей из края какао (на юге штата Баия). Действие романа развертывается в 1925 году, когда жизнь города Ильеуса претерпевала различные изменения. Эта книга — сатира на феодальные пережитки, господствовавшие в ту пору.

2. Что касается будущей литературной работы, то планы мои весьма обширны. В частности, задумал написать цикл романов из жизни северо-восточных областей Бразилии.

В самое ближайшее время буду работать над сценарием по моему роману «Мертвое море» для фильма, который будет поставлен итальянским режиссером Карло Понти.

С сердечным приветом

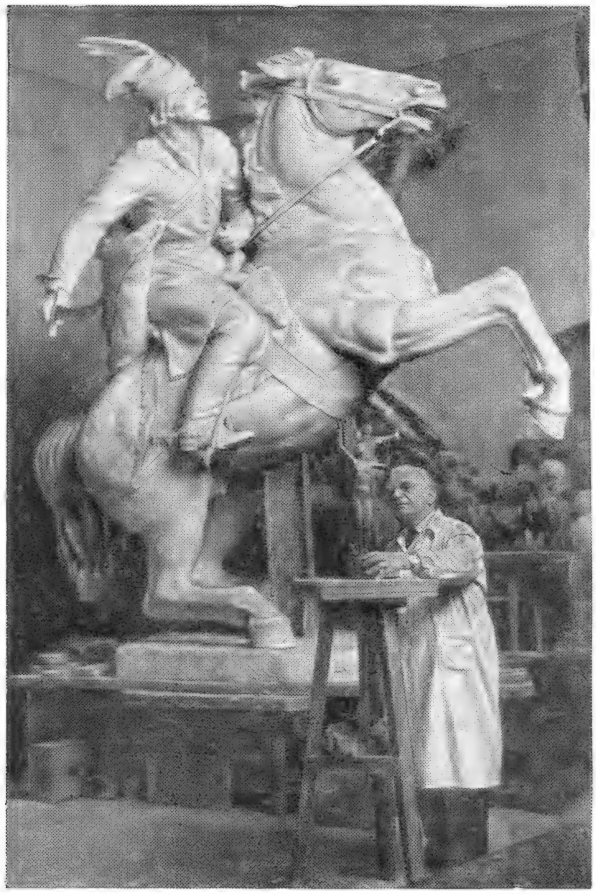
Венгрия

Жигмонд Кишфалуди Штробл

1. Недавно закончил скульптурную группу, посвященную дружбе Венгерской Армии со старшим братом — доблестной Советской Армией. Эту скульптуру передали представителям Советской Армии в дни празднования ее сорокалетия. Скульптура изображает двух героев — венгерского и советского, которые шагают вместе к общей цели.

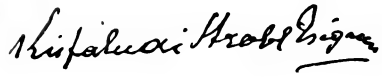
2. Мои планы на будущее. Хочу осуществить старую мечту: создать скульптурную группу изображающую венгерских борцов против турецких угнетателей. Кроме того, думаю над несколькими темами из сегодняшней жизни нашего народа.

Прилагаю фотографии части названной скульптурной группы, «Венгерский воин» и фотографию



скульптурной группы, посвященной дружбе Советской и Венгерской Армий.

С уважением



ГДР

Курт Метциг

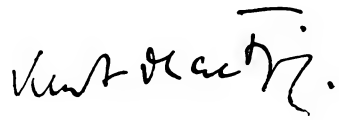
Уже около года работаю над постановкой цветного широкоэкранного фильма по роману польского писателя Станислава Лема «Астронавты», посвященного проблемам межпланетных путешествий. Эта важная тема, нашедшая свое воплощение в увлекательной фабуле, тесно связана с другим вопросом, волнующим все современное человечество,— борьбой против использования атомной энергии в военных целях. Поскольку обе эти темы— астронавигация и атомная энергия — вызывают живейший интерес во всем

Кадр из фильма киностудии ДЕФА, присланный К. Метцигом.

мире, в съемках фильма, производство которого будет осуществлено нами совместно с польской киностудией, изъявили желание участвовать кинодеятели различных стран. Нас очень обрадовало, что деятели советского кино положительно относятся к предложению сотрудничать с нами при съемках этого фильма. Работа над фильмом, постановка которого потребует необычайно больших затрат и технических средств, займет еще около года.

С благодарностью за интерес к моей работе и дружеским приветом Вашим читателям,

Ваш



Арнольд Цвейг

У меня был большой перерыв в работе после того, как в прошлом году я закончил двадцатилетний труд над романом «Время назрело». Он является первой книгой эпоса о мировой войне — «Великая война белых людей» — и служит прологом ко всем уже написанным романам, таким как «Унтер Гриша», «Воспитание под Верденом». К этому роману непосредственно примыкает книга «Молодая женщина 1914 года», которая, как я надеюсь, скоро появится в русском переводе.

Продолжаю работать над старыми произведениями и подготавливаю материал романа, который послужит заключением всего цикла о первой мировой войне. Он будет называться «Лед трогается», через год я должен начать его диктовать.

Тем временем должен выйти сборник моих стихов «Пять романсов». Эти стихи были написаны в разные годы, но до сих пор не издавались.

Надеюсь, что выполнил Вашу просьбу. С дружеским приветом,

Ваш

Голландия

Генри П. Л. Виссинг

«Иностранная литература» обращается ко мне как к писателю. Не слишком ли это большая для меня честь? За свою долгую жизнь — этим летом мне исполнится восемьдесят лет — я неоднократно спрашивал себя, заслуживаю ли я этого высокого звания. Правда, меня называют писателем

и в моей стране: разве я не был удостоен чести быть принятым в члены голландского ПЕН-клуба, а затем еще большей чести быть исключенным из него как коммунист. Что такое писатель? Я не смогу в точности определить это понятие применительно к людям творческого труда стран социализма. Зато я достаточно хорошо знаю жизнь, труд и обстановку, в которой работают голландские буржуазные писатели и их коллеги в Западной Европе. Да, я не принадлежу к числу тех голландских писателей, которые, подобно шелковичным червям, прилежно прядут нить «красоты». Я — скорее оса, попавшая в пчелиный улей капитализма.

У меня есть предшественник, наделенный отнюдь не скромной долей таланта, как я, но поистине великий человек. Вы его знаете. Это Мультатули. Он первый духовно раскрепостил наименее загрубелые души нашей буржуазной интеллигенции, он подверг бичеванию буржуазное лицемерие и маммоновскую жестокость. Еще юношей я преклонялся перед ним. Его мужество позволило мне подняться над крышами маленьких домиков моей родины. Но, как вы понимаете, не он остался моим идеалом. Ему на смену пришли идеалы социализма; Маркс, голландская поэтесса — подруга Розы Люксембург—Генриетта Роланд Хольст, и первые сознательные шаги революционного пролетариата нашей страны (1903 год) побудили меня жить ради интересов нового человечества. Чтобы восславить этот идеал, я возглавил — и разумеется, быстро прогорел (1914 год) — единственную газету, издававшуюся в начале века в Голландии для прогрессивной интеллигенции. Ради того же идеала я создал (1915 год) свою собственную еженедельную газету, в которой вместе со своими друзьями защищал идеи социализма. Когда славная Октябрьская революция зажгла свой пламень, мы целиком отдали нашу газету на службу защиты политики Ленина и тех идей, которые носят его имя. Затем 1 января 1921 года буржуазия похоронила и эту газету. Тем не менее наш еженедельник сделал полезное дело на одном из великих перекрестков истории. В течение шести незабываемых лет он поддерживал политику пролетариата и вдохновлял часть молодой интеллигенции. Случается, что его влияние на развитие социалистической идеологии вспоминают и сейчас.

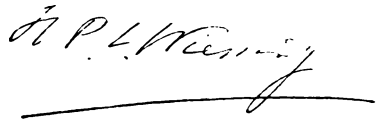
Но я не переставал писать. Не имея более своей газеты, я печатался то тут, то там. После второй мировой войны я входил в состав руководства еженедельника, издававшегося коммунистами и другими прогрессивными деятелями.

Теперь я стар, но отказываюсь умереть прежде, чем появится в свет некая книга.

Это будет книга моих воспоминаний. Отдельные отрывки из нее уже печатались в органе нашей компартии — газете «Ваархейд» — и в некоторых литературных изданиях. Я решил в этом году выделить достаточно времени и постараться изыскать средства, чтобы завершить книгу, существующую пока лишь в фрагментах и написанную только наполовину.

Книга будет состоять — раз уж вы меня об этом спрашиваете — из рассказа о моей молодости, протекшей в «Голландской Индии» в типично колониальной и феодальной среде, о времени моего возмужания и учебы в католическом и архибуржуазном Брабанте. Я хочу описать чувства молодого студента, столкнувшегося с бедностью яванцев и жалкой жизнью пролетариев Брабанта, и, наконец, пробуждение моего сознания, когда я слушал в амстердамском университетском клубе выступления безусых марксистов. Словом, я хочу описать процесс становления голландского интеллигента моего времени, показать, как он приходит к пониманию той истины, что марксизм-ленинизм восторжествует и что все усилия и жертвы не будут напрасны. Таким образом, герой книги становится в конце концов маленьким солдатом Революции.

Может быть, молодые люди, прочтя мою книгу, найдут в ней поощрение жить, как говорится в Библии, не только «для своего желудка». Я надеюсь на это. Закончив книгу, я подведу итог своей жизни и оставлю воспоминание своим детям и своему народу, который я так люблю.



Дания

Херлуф Бидструп

Со времени окончания войны и до настоящего времени я сотрудничаю в газете «Ланд ог фольк». Ежедневно рисую для газеты карикатуры на актуальные внешне- и внутриполитические темы. Эту работу намерен продолжать и впредь до тех пор, пока мои рисунки могут пригодиться датскому народу в его борьбе против холодной войны, Атлантического пакта, ремилитаризации Западной Германии, колониального гнета, фашизма, диктатуры доллара и эксплуатации рабочего класса.

Правда, в течение последних полутора лет я раз в два месяца прерываю свою работу, чтобы выступить по берлинскому (ГДР) телевидению. В передачах, которые снимаются на пленку, я выступаю с рисунками на актуальные политические темы и сам их комментирую. Эти фильмы были показаны также по пражскому и будапештскому телевидению, а один из них видели и московские телезрители.

Помимо политических карикатур, раз в неделю для воскресного номера «Ланд ог фольк» рисую юмористические «рассказы в картинках» на самые различные темы. К моему огромному удивлению и радости, эти серии приобрели популярность и в Советском Союзе.

Что касается планов на ближайшее будущее, то могу сказать, что мне предложили сделать книгу рисунков о жизни в Советском Союзе. Это очень ответственная задача, и я все не решаюсь приступить к ее осуществлению, особенно когда думаю, что в Советском Союзе много превосходных художников, которым эта работа, вероятно, удалась бы куда лучше, чем мне. Я уже дал согласие на предложение выполнить декорации и костюмы к постановке в Москве одной из комедий датского драматурга Людвига Хольберга.

И, наконец, в Москве же мне задали вопрос, не заинтересует ли меня работа над мультипликационным фильмом. Это очень интересно, но мультипликация — вещь настолько сложная, что, пожалуй, я не могу говорить об этой работе, как о деле ближайшего будущего.

Ханс Кирк

Мне не хотелось бы распространяться о своей теперешней работе, потому что, как говорят, много слов — мало дела. И все же сообщаю, что работаю над книгой о великом вожде ютландских крестьян Клеммене Андерсене. В шестнадцатом веке он поднял восстание против знати и королевской власти. Клеммен Андерсен и теперь еще живет в памяти народа

как символ свободы, хотя дворяне, казнив Андерсена, выставили для устрашения других его голову на высоком шесте. За справедливость можно бороться, и показывая победу несправедливости. Таковы мои планы на ближайшее будущее.

По-братски Ваш

Ханс Кирк

Индия

Бхабани Бхаттачария

В № 8 журнала «Иностранная литература» за 1956 год я сообщил советским читателям о том, что пишу роман «Богиня Золото». К настоящему времени роман должен был быть закончен, но помешала журналистская работа. Кроме того, я принял предложение правительства Индии написать очерк о древних скальных храмах Аджанты и Эллоры. Но сейчас я уже вернулся к работе над романом и надеюсь закончить его в ближайшее время.

Пользуюсь случаем, чтобы сказать своим читателям, насколько я рад, что первым переводом моих книг на иностранный язык был русский. Я имею в виду роман «Голод», выпущенный в Советском Союзе вскоре после его появления на языке оригинала. Теперь мои книги переводятся на русский, польский, чешский, словацкий, немецкий, румынский, болгарский, сербохорватский, французский, итальянский, голландский, датский, финский, шведский, норвежский, китайский, сингалезский и испанский (Аргентина) языки. Мои произведения переведены также на шесть индийских языков.

Тема моего следующего романа будет, по-видимому, связана со строительством в долине Домодара (огромное строительство, которое сыграет большую роль в экономическом развитии Бенгалии). Надеюсь, что у меня будет возможность посетить Советский Союз. Мои представления о Вашей стране, сложившиеся во время поездки в 1951 году, теперь, должно быть, устарели.

Бхабани Бхаттачарья

Студия „Бимал Рой продакшнз"

Мы получили Ваше письмо, в котором Вы просите рассказать о деятельности нашей организации. В связи с этим сообщаем Вам следующее:

1. Режиссер-директор Бимал Рой в настоящее время заканчивает фильм «Мадхумати», который представляет собой романтическую историю, развертывающуюся на живописном фоне Кумаонских холмов. Тема фильма — вечная любовь, для которой нет преград ни в жизни, ни в смерти. В фильме заняты видные актеры Дилип-Кумар, Виджайантимала, Джонни Уокер, Пран и другие.

2. Режиссер-директор Бимал Рой снимает также фильм «Суджата» (что означает «счастливая»), рассказывающий о девочке из касты «неприкасаемых», взятой на воспитание одной высокопоставленной семьей, о душевной драме ее приемных родителей, у которых есть собственная дочь того же возраста.

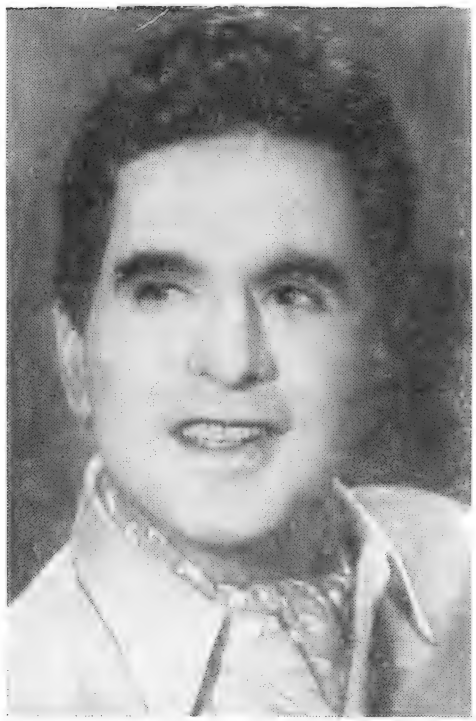
Проблема «неприкасаемых» является весьма серьезной в Индии, так как около пятидесяти миллионов людей исключены из общественной жизни,

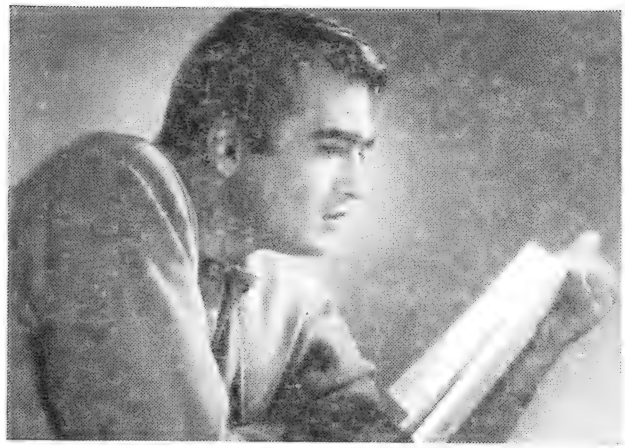
несмотря на законы, запрещающие негуманную практику «неприкасаемости».

Бимал Рой в фильме «Суджата» выступает в защиту страдающих масс «неприкасаемых» и призывает общественность присоединиться к их нелегкой борьбе за свое освобождение. Фильм будет закончен через несколько месяцев.

Роль «неприкасаемой» девушки исполняет Нитан, роль девушки из высокопоставленной семьи поручена Сунил Датт. В составе актеров также Шашикала, Сулохна, Лалиту Павар и Тарун Боуз. Музыку к фильму пишет Берман.

3. Режиссер-директор Бимал Рой хотел бы снять совместно с работниками советского кино фильм о жизни императора Ашока. Эта тема очень подходит для такого сотрудничества. Император Ашока вызвал удивление всего мира, когда, увидев ужасные страдания и смерть, которые несет война, решил прекратить успешные военные действия и посвятил себя делу справедливости и доброй воли. Идея такого фильма — идея мира — весьма актуальна для человечества. Дальнейшие переговоры о создании фильма совместного производства должны происходить в Москве.





Мы прилагаем к письму четыре кадра из фильмов «Мадхумати» и «Суджата», которые, надеемся, понравятся вашим читателям.

За студию «Бимал Рой продакшнз»

с благодарностью

Ваш

(М. Бакая).

Италия

Джина Лоллобриджида

Огорчена, что отвечаю с запозданием на Ваше письмо, но я только что вернулась в Рим из продолжительной поездки за границу.

Отвечаю на Ваши вопросы. Я не имею определенной программы. Скажу только, что готовлюсь к отъезду в Америку и что летом начну сниматься в новом фильме.

Сожалея, что не могу дать более точной информации, посылаю Вам с наилучшими пожеланиями фотографию из моего последнего фильма «Анна из Бруклина».

Витторио Де Сика

В настоящее время я играю в фильме немецкого кинорежиссера Штаудте «Пушечная серенада».

Готовлюсь к съемкам (в сентябре нынешнего года) фильма по сценарию Чезаре Дзаваттини под названием «Страшный суд начнется в 6 часов». В этом фильме я выступаю в качестве режиссера.

С сердечным приветом

КНДР

Ли Ги Ен

С радостью получив Ваше письмо, сообщаю о своих творческих планах.

1. Работаю над второй частью романа «Земля».

2. Собираю материалы для третьей части романа «Река Туманган».

Надо было бы закончить последнюю часть трилогии «Земля», но, наверно, она будет кончена лишь к 1961 году.

Кроме того, постараюсь писать очерки, заметки, рассказы.

Ваш

Хан Сер Я

С большой симпатией отношусь к Вашему журналу — он делает очень большое и очень важное дело. Отвечаю на Ваши вопросы.

1. В нынешнем году немереваюсь закончить вторую часть романа-трилогии «Солбонсан». Роман повествует о корейском революционном движении в тридцатых годах, тесно связанном с вооруженной национально-освободительной борьбой нашего народа, которой руководил Ким Ир Сен.

Вам известно, что, с одной стороны, эта борьба была вызвана гнетом японского империализма и зверской эксплуатацией широких масс трудящихся, в частности крестьянства, а с другой стороны, источником вдохновения этой борьбы служила победа Октябрьской революции в России и успешное строительство первого в мире свободного от эксплуатации социалистического государства.

Как видите, роман рассказывает о важном периоде истории нашего народа. Тут необходимо хорошее знание обстановки и фактов, и сейчас я занят сбором интереснейшего и обширнейшего материала.

2. В первую очередь хочу закончить трилогию. У меня имеется, конечно, и много других планов, но говорить о них было бы преждевременно.

Наша страна все еще не объединена, и южная ее часть находится по-прежнему под пятой американских империалистов. Для нас объединение родины — самый наболевший и животрепещущий вопрос. Совершенно естественно, что каждый корейский писатель отдает все свои силы и весь свой талант борьбе за мирное объединение родины.

Польша

Мария Домбровская

1. В течение многих лет работаю над повестью, окончательный вариант которой все еще не ясен для меня самой. Думаю, что у каждого писателя есть такое произведение, которое он хотел бы считать главным творением своей жизни и которое он не может закончить годами из-за все более растущих требований к самому себе. Первоначально повесть должна была называться «Приключения мыслящего человека». Но это слишком обязы-

вающее название будет, вероятно, изменено, хотя само по себе кажется мне хорошим. Некоторые отрывки из этой повести печатались в журналах и включены в мои «Избранные произведения».

2. О творческих планах на будущее позвольте сказать коротко. Известно, что каждый человек планирует для себя множество дел. Но о планах лишь тогда стоит говорить, когда они уже реализованы. В последнее время наши издатели предлагают переиздать мои давние публицистические произведения — особенно эссе о Конраде и так называемые «запечатления» о различных поездках, которые сейчас у нас называют репортажами. Вероятно, они будут изданы, хотя мне жаль времени и труда, которые придется потратить на подготовку к печати старых работ. Значительно больше, чем прежние произведения, меня интересует то, чего я еще не написала. Но, конечно, мне бы не хотелось, чтобы читатели держались того же мнения.

С уважением и приветом

Maja Dąbrowska.

Румыния

Чезар Петреску

1. Работаю над последней корректурой книги «Записки путешественника. Размышления писателя». Эта книга целиком посвящена моим писательским впечатлениям о старой России и о трех поездках в Советский Союз, которые позволили мне убедиться в происходящих социальных и экономических изменениях, увидеть великий культурный подъем и эволюцию советского человека. Как видите, это сложная книга, охватывающая исторический период, превосходящий четыре десятилетия, прошедшие со дня Октябрьской революции. Как и большинство румынских писателей, я еще до 1917 года, на школьной скамье, познакомился с Россией благодаря ее писателям Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Достоевскому, Тургеневу, Толстому, Чехову, Горькому. Почти все мы сформировались как писатели под влиянием классической русской литературы критического реализма, а затем сделали шаг к реализму социалистическому.

Я могу рассматривать новую книгу как свой писательский долг, который я, в мои преклонные годы, должен отдать русской литературе прошлого и великой советской литературе настоящего.

2. Одновременно работаю над романом о жизни людей моего поколения в Румынии. Он будет называться «Владим» или «Потерянный путь». Время действия этого романа иногда, возможно, будет совпадать со временем действия в книгах Константина Федина «Первые радости» и «Необыкновенное лето» или в романе Алексея Толстого «Хождение по мукам».

Но, несмотря на тождественность времени, на моей родине, для моего народа за годами «первых радостей» тогда «необыкновенного лета», чистилища революции не последовало. Наоборот, все высокие порывы молодежи были обезображены эпохой, лежавшей между двумя мировыми войнами, которая скорее всего напоминает столыпинскую реакцию в царской России. Итак: пути, отрезанные репрессиями, преследованиями, тюремным заключением, или, еще чаще, пути, потерянные, утраченные из-за соблазна компромиссов, капитуляции оппортунистов...

Кое о чем на эту тему я уже говорил в своих романах, написанных в те дни под непосредственным впечатлением момента. Сейчас я попытаюсь рассказать читателю об этом времени с более широкой и цельной точки зрения, сделать все окончательные выводы.

США

Лилиан Хеллман

В ответ на Ваш вопрос о моих творческих планах сообщаю, что в настоящее время я работаю над новой пьесой и уже наполовину закончила ее. У пьесы пока нет названия, и мне, право же, было бы трудно пересказать ее сюжет.

С уважением

Франция

Рене Клер

На Ваше письмо имею удовольствие ответить следующее:

Я занят сейчас подготовкой очередного фильма, съемки которого начнутся, вероятно, в начале будущего года, и у меня нет других планов, кроме создания этого фильма.

Примите уверения в моих самых лучших чувствах

Жан-Пьер Шаброль

Вот кратко и со всей откровенностью ответы на поставленные Вами вопросы:

1. В настоящий момент я читаю гранки моего нового романа, который называется «Лишний человек». Это история тридцати партизан, перед которыми стоит проблема расстрела проникшего в их среду человека. Три различные, политически и философски, концепции сталкиваются друг с дру-

гом перед лицом жестокой военной необходимости: убить человека, который все же не является до конца врагом.

2. Мои планы на будущее еще настолько неопределенны, что о них трудно говорить. Я начал писать два романа и оба бросил, ибо работа не удовлетворяла меня. Я все чаще думаю о третьем, действие которого будет происходить в феврале 1945 года. Это будет роман о любви французского танкиста и молодой депортированной француженки в только что занятом маленьком немецком городке, в котором еще осталось множество членов фашистской молодежной организации. Хотя уже исписано много черновиков, я никак не могу сказать с уверенностью, что когда-нибудь закончу эту книгу. Сейчас я представляю ее в том же плане, что и «Гнилую слободу» и «Лишнего человека», то есть как книгу о драме и проблемах, волнующих молодежь моего поколения, на котором война оставила свои глубокие следы. Это должна быть книга о влиянии на характер и поведение молодежи особых обстоятельств, в которых она оказывается, о колебаниях в вопросе о призвании человека, о вере в человека. Я хочу показать, как в самые трагические, самые черные минуты человек умеет сохранить и даже развивать в себе самое чистое, самое лучшее, что есть в нем, и как в безжалостном мире, в котором мы существуем, выживает чувство добра.

Вот и все. Надеюсь, дорогие друзья, это именно то, что вы от меня ждали.

С дружеским приветом

Чехословакия

Адольф Гофмейстер

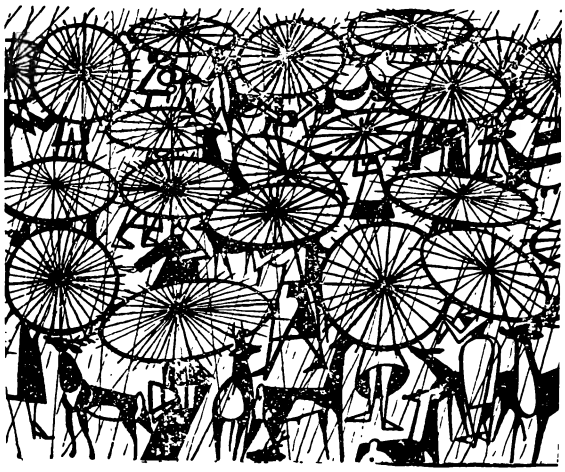
1. Заканчиваю книгу путевых очерков о Японии. Все иллюстрации к ней (около сорока черно-белых рисунков) уже готовы. Эта книга выйдет в издательстве «Чехословацкий писатель». По всей вероятности, она будет напечатана также в Японии, на японском языке. Иллюстрированный журнал «This is Japan» печатает выдержки из этой книги на английском языке.

2. Начинаю подбирать материал для сборника «Приключения будущего». В него войдут фантастические новеллы и небольшие романы об иных мирах или о будущем нашей планеты. Они будут очень оригинально иллюстрированы.

Успехи советской науки и запуск искусственных спутников Земли вызвал интерес чехословацких читателей к литературе такого жанра. Я всегда очень любил этот жанр и был неутомимым читателем Жюля Верна, а во время войны, в одиночке фашистской тюрьмы, когда все сюжеты были исчерпаны, я сам писал фантастические рассказы. Меня назначили редактором этого сборника и ответственным за его художественное оформление.

3. Начинаю делать первые иллюстрации для нового издания классического произведения Жюля Верна «В 80 дней вокруг света». Они должны быть готовы к началу сентября.

4. Начинаю писать первую часть мемуаров (1917—1925 гг.): об откликах на Великую Октябрьскую социалистическую революцию у нас в средней школе, об окончании войны и перевороте в Праге 28 октября 1918 года, о создании союза художников «Девять сил» и о наступлении революцион-



ного авангарда, о создании Коммунистической партии Чехословакии. Хотя в моем распоряжении имеется богатый материал, все же пройдет некоторое время, пока я кончу писать эту книгу. В процессе переоценки прошлого этот период — один из важнейших, а поколение, являющееся носителем идей этого времени,— поколение Волькера, Незвала, Фучика... Работа меня очень радует, но, по правде говоря, не хватает времени для ее выполнения.

5. Из своих лучших рисунков, карикатур и книжных иллюстраций хотел бы составить небольшую передвижную выставку и направить ее в кругосветное путешествие в Москву, Ленинград, Киев, Пекин, Париж, Рим, Венецию, Лондон и т. д. Быть может, также в США. Хотелось бы проверить, что я умею и чего не умею делать.

6. Хотелось бы предпринять путешествие по родной стране и написать о ней очерк, как я уже сделал о целом ряде других стран, — например, «Поверхность пятилетки» (об СССР, 1931 г.), «Американские качели» (о США, 1936 г.), «Турист поневоле» (об эмиграции во время войны, 1939—1945 гг.), «Открытки из Китая» (о КНР, 1953 и 1955 гг.), «Виды с пирамид» (о Египте, 1956 г.) и «Мэйд ин Джапэн» (о Японии, 1957 г.). Но сделать это, по-видимому, гораздо труднее, потому что свою страну мы все же знаем лучше.

7. Хотел бы написать комедию и сценарий для кинофильма. И то и другое одновременно и на один и тот же сюжет. Меня вдохновляет то, что недавно вновь была поставлена моя пьеса «Поющая Венеция». Но где взять время?

И наконец — не знаю, относится ли это к Вашей анкете,— я получил задание пропагандировать большую выставку чехословацкого готического искусства, которая состоится в этом году в Праге. Помимо того, я был назначен комиссаром выставки народного искусства Чехословакии в Париже и получил ряд других заданий.

С сердечным приветом

А. Гофмейстер. Рисунки к книге «Мэйд ин Джапэн».

Швеция

Эрик Асклунд

Работаю над романом, в котором хочу показать современный Стокгольм, его жителей, его трудовую жизнь и социальные проблемы, главная из которых, по-моему,— жилищная проблема. Более сорока тысяч жителей Стокгольма испытывают жилищную нужду (очень велик приток населения из сельской местности), десять процентов из них находятся в катастрофических условиях. Жилищный кризис так велик, что часто оказывает роковое влияние на жизнь молодежи. Однако наряду с этим я хочу показать и строительство, ведущееся в пределах Большого Стокгольма, огромные перемены, которые произошли в городе за последние десять-пятнадцать лет. Я покажу также рост безработицы. Мне хочется отразить жизнь в ярких эпизодах и ситуациях, где столкнутся представители разных поколений, где будут показаны противоречия между отцами и детьми. Я хочу показать заблуждения и равнодушие какой-то части столичной молодежи, американизацию, погоню за наслаждениями и в то же время чувство социальной ответственности, сознательность другой ее части. У представителей моего поколения дети уже достигли критического возраста, и мне хочется осветить проблему взаимоотношений между отцами и детьми с точки зрения и тех и других.

В 1957 году я закончил серию так называемых «романов о Манне». Это в какой-то мере автобиографические произведения, главный герой которых — Манне — мой ровесник. Я прослеживаю его жизнь с детства до двадцати лет, то есть с периода мировой войны до конца двадцатых годов и эпохи великого кризиса. Теперь я с величайшим удовольствием принимаюсь за работу над книгой, которая должна отразить нашу эпоху, социальные проблемы сегодняшнего дня. В серию «романов о Манне» входит пять книг. В книге «Манне» (1949) описывается детство героя, которое протекает в пролетарском районе Стокгольма — Сёдер. В «Красной рубахе» (1951) — игры и увлечение спортом сменяются в жизни юного героя интересом к политическим и социальным проблемам. Третья книга — «Сын мормона» — обязана своим названием отцу героя — пожилому рабочему лесопильни, религиозному мечтателю, члену секты мормонов. Действие этой небольшой повести, показывающей противоречия между отцом и сыном, развертывается в сельской местности. В четвертой части — «Юноша в зеркале» — Манне — мальчик на побегушках и рабочий склада в стокгольмском районе Клара. Действие пятой и последней книги — «Квартал Венеры» — происходит в старейшем районе Стокгольма «Старом городе», где Манне работает на складе. В ней повествуется о том, как Манне преодолевает чуждые влияния, становится писателем. Здесь же рассказана история его трагической любви.

Отвечая на первый вопрос, я, пожалуй, отчасти ответил и на второй. Но, кроме названной работы, я мечтаю написать большой роман о своей родине, в котором хотел бы осветить роль Швеции в современную эпоху. По правде говоря, за рубежом о Швеции знают очень мало; да и мы, шведы, тоже живем слишком разобщенно (особенно в сельской местности), а между тем, американизация, начавшаяся со вторжения в область техники, стала угрожать нашей национальной самобытности. Но мы отнюдь не принадлежим Америке. Мы — члены рабочего Интернационала, и наш рабочий класс должен глубоко осознать это и сохранить свой собственный реалистический взгляд на то, как нам следует жить в нашей родной стране. Уровень жизни в Швеции высок, но политическое и социальное сознание шведов слишком поверхностно. Показав, что значительные группы населения Швеции живут гораздо хуже, чем это кажется жителям боль-

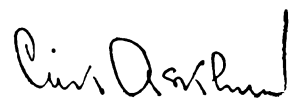
ших городов, а также осветив другие жгучие проблемы, писатель будет способствовать созданию более правильного представления об истинном положении дел в стране как во внутриполитическом, так и в международном плане.

Вся трудность в том, чтобы найти литературную форму для произведения на эту тему. Может быть, в основу сюжета должно лечь описание жизни ремонтного рабочего или шофера, обслуживающего дальние маршруты, потому что люди этих профессий колесят из конца в конец страны. Работа над таким произведением потребует много времени и дальних поездок. Для того чтобы осуществить ее, шведский писатель должен пойти на многие материальные и личные жертвы. Но одна мысль, что когда-нибудь эта работа будет доведена до конца, служит отличным стимулом.

Помимо вышеизложенного, я занят работой над пьесой, герой которой — моряк.

20 июня 1958 года мне исполняется пятьдесят лет. В связи с этой датой выходят две мои книги: сборник «Стихи в прозе» и другая, в которую войдут восемь очерков, из них семь в свое время я читал по радио. Книга будет называться «Гость природы».

Моя жена Лис Асклунд работает в шведском радиовещании и ведает передачами на социальные темы. В частности, она ведет программу под названием «Разговор по душам», в которой отвечает на вопросы радиослушателей. Осенью 1957 года она выпустила книгу; в соответствии с радиопередачами книга получила название «Разговор по душам».



Ханс Сельмер Эд

Правда о моей стране

(ЗАМЕТКИ НОРВЕЖСКОГО ПИСАТЕЛЯ)

Человек, который хочет рассказать правду о своей стране и том обществе, где он живет, испытывает чувство страха, так как боится исказить факты, изложить их упрощенно, боится как бы нарисованная им картина не оказалась неверной или недостаточно четкой. Человек, который хочет говорить правду, должен спросить самого себя: а соответствуют ли мои представления истине, совпадают ли они с действительностью?

Мне не знакомы условия жизни в Советском Союзе, и я могу лишь строить предположения относительно того, как живут люди в социалистическом мире. Я никогда не бывал в социалистических странах. Но я верю Илье Эренбургу, когда он говорит, что советских писателей объединяет чувство любви к социалистическому обществу, в котором они живут, и чувство уверенности в будущем. Я верю также советским государственным деятелям, когда они утверждают, что государства с различным общественным строем могут сосуществовать, сотрудничать и мирно соревноваться.

Норвегия — красивая страна. Берега Норвегии изрезаны глубокими фьордами, которые далеко вдаются в глубь высокогорной страны. По фьордам, чуть вспенивая воду, снуют рыбачьи боты, покачиваясь скользят лодки с одинокими рыбаками на борту. Невдалеке находится жилище рыбака — небольшой скромный домик у подножия синих гор. По лугам бродят коровы, козы, виднеются фруктовые сады, ягодные кусты, картофельные поля. Упорным трудом народ добывает себе пропитание. То, что дают земля и море, с незапамятных времен было основой существования для людей, живущих по берегам фьордов.

В Норвегии почти вовсе нет широких открытых земельных угодий. Там, где нет холмов и горных цепей, расположены узкие горные долины, по которым, пенясь, сбегают ручьи и реки, да пустынные горные плоскогорья, где пасутся лишь дикие олени.

Почти все дети знают названия городов Норвегии. А те, которым довелось немного попутешествовать, знают даже названия дорог и небольших поселков. Нас, норвежцев, немногим более трех миллионов человек.

Говорят, что мы, норвежцы, люди холодные, лишенные темперамента, что мы боимся проявлять свои чувства, скупы на слезы и улыбки. Несомненно, что и радость и горе имеют свои признаки и символы, но я сомневаюсь в том, что испанец с его быстрой речью, сверкающими черными глазами, лучше выражает свое душевное состояние, чем какой-нибудь замкнутый норвежец, живущий в одной из долин своей страны.

Норвегия — капиталистическая страна. Однако в нашей стране ни один честный человек не испытывает к капитализму чувства любви. Этот строй не способен духовно обогатить кого бы то ни было, он нас не воодушевляет. В Норвегии условия таковы, что многие люди охвачены стремлением уничтожить капитализм. Тысячи людей из всех слоев общества вступили в борьбу для того, чтобы устранить порожденные этой системой пороки.

Тринадцать лет назад у нас был праздник — наконец наша страна была освобождена. Война была окончена. Мы имели право радоваться, и мы радовались. Где-то внутри нас росло чувство любви к человечеству. Мы обнимались и плакали. Тринадцать лет — не столь долгий срок. Взрослые хорошо помнят те дни, когда вытаскивали припрятанные радиоприемники, чтобы все могли слушать Лондон и Москву. Германия капитулировала. Фашизм будет вырван с корнем. Прошло то время, думали мы, когда одни были господами, а другие рабами. В те дни, тринадцать лет назад, мы говорили друг другу слова, шедшие из глубины сердца.

Мы были готовы перейти к мирной жизни, мы были полны решимости строить новое, лучшее общество. Мы хотели жить подобно большой счастливой семье, в мире и дружественных отношениях с нашими соседями. Чувство победы и уверенность в будущей жизни давали нам новые, чудесные силы. Ослепленные и полные иллюзий,

смотрели мы вперед, не задумываясь над тем, что новые темные силы готовятся использовать нас в своих преступных целях, готовятся обогатиться за счет нашей доверчивости и готовности к самопожертвованию.

Мы думали, что покончили с ложью, мы думали, что все люди стали лучше...

Прошло немного времени, и мы поняли, что это были иллюзии. Англичане зажигали костры и швыряли обувь и одежду в огонь в то время, как многие были одеты в лохмотья. Капитализм ожил. Люди, владевшие перед войной заводами, ворочавшие банковскими капиталами, вернулись к власти. Господа обращались к рабочему классу, и голоса их были просящими, уговаривающими и заманивающими. Вы должны прилежно работать, говорили они, вы не должны лениться, не должны бастовать, не должны протестовать. Страна находится в упадке. Наша страна бедна, но если все будут добросовестно трудиться, то...

Рабочий класс собирал силы и добросовестно трудился, он взвалил себе на плечи тяжелую ношу, чтобы поставить страну на ноги. Росла продукция, выпускаемая заводами. В лесах стучали топоры. Люди на заводах работали, не щадя своих сил. Наши моряки, проплававшие всю войну, не знали отдыха и теперь — после краткого отпуска они вновь уходили в море. Многие продолжали плавать на судах, так и не повидав родины, о которой в годы войны тосковали до боли в сердце.

Несмотря на то, что уровень производства быстро рос, предприниматели твердили, что вклад рабочего класса недостаточно велик. Рабочим повсюду говорили, что они лентяи и не выполняют своих обязанностей. В буржуазных кругах стало признаком хорошего тона говорить о том, как ленивы и неблагодарны рабочие.

Крупная буржуазия, надежно укрывшаяся под сенью доллара, считала, что Америка с ее атомной бомбой является властелином земли. Поэтому она всячески старалась втянуть Норвегию в НАТО. Она сделала это, и политика Норвегии пошла по опасному пути. Многие честные норвежцы, среди которых были представители всех слоев общества, чувствовали, что национальной гордости нанесен ущерб, они чувствовали, что честь свободного народа оскорблена. Но тех, кто поднимал свой голос в знак протеста, не было слышно достаточно хорошо. И тогда на передний план выходили пессимисты и проповедовали, что в мире никогда не будет мирного сосуществования, никогда не будет мира.

А что в это время делала норвежская молодежь?

Тысячи и тысячи молодых норвежцев вели борьбу за свои непосредственные жизненные интересы, заключавшиеся в том, чтобы построить себе дом, иметь свой очаг. Мечта о своем доме, собственном саде, мечта обзавестись семьей и иметь детей, мечта о счастливой жизни — эта мечта горела в сердцах сотен тысяч молодых людей, никогда не владевших ни единым футом земли....

Люди, болтающие о лени рабочего класса, не знают, что такое работа. В то время пока сынки и дочери капиталистов танцевали в ресторанах, рабочая молодежь продолжала трудиться на своих участках: до самой ночи они рыли землю, выкапывали большие камни, вычерпывали воду и нечистоты, прокладывали трубы, строили, паяли, обливались потом. Люди, строившие себе дома, лишали себя сна. Они работали ежедневно 14—16 часов, будь то в будничный день или в праздник, они выгадывали каждый грош, а тем временем тень банка все больше и больше нависала над ними.

Сегодня открыто говорят о сокращении производства на многих предприятиях, о безработице и кризисе перепроизводства. Это, между прочим, не означает, что произошло катастрофическое понижение жизненного уровня, что народ голодает, что нужда кричит о себе на всяком перекрестке, что безработица приняла большие масштабы. Однако простая домашняя хозяйка прекрасно знает, что она не имеет возможности поставить на стол то, что ей бы хотелось. Для этого не хватает заработной платы. Ей приходится экономить. Даже в мелкобуржуазных семьях часто можно видеть на столе самые дешевые продукты питания. Приобретение пары башмаков или одежды становится проблемой.

В течение последнего десятилетия в Норвегии рос уровень промышленного производства. Были сданы в эксплуатацию новые электростанции, построены новые предприятия. Мы создали крупный современный торговый флот. Казалось бы, что мы заложили основы для быстрого подъема жизненного уровня. Но, несмотря на это, цены на товары у нас растут. Теперь каждому ясно, что условия жизни становятся все хуже и хуже.

Четверть века назад в нашей стране разразился тяжелый экономический кризис, который оставил глубокие следы на всех рабочих семьях. Был голод и царила отчаянная нужда, шла ожесточенная борьба за жизнь. Эту нужду, эти годы кризиса рабочие сравнивают с ситуацией, возникшей в послевоенные годы.

Представители промышленников утверждают, что у нас в стране сейчас все хорошо, что жить теперь легко. Нам приходится постоянно слышать, что наше государство благоденствует. Некоторые социал-демократические газеты не устают трубить о той нужде, которая царила в нашей стране двадцать пять лет назад, они пытаются убедить своих читателей, что теперь у них нет никакого основания жаловаться. Политические ораторы, разъезжающие по всей стране, тоже пытаются успокоить народ. По их словам, мы должны быть довольны тем, что живем в свободном государстве, что мы мало имеем оснований для жалоб, что мы должны быть благодарны.

Эти ораторы виноваты прежде всего в том, что допускают грубые упрощения.

Тому, кто путешествует по Норвегии, бросается в глаза, что вся земля разбита на небольшие участки, разгороженные во всех направлениях каменными оградами и заборами. Как правило, ни одна ферма не имеет больших земельных наделов. У фермеров нет никакого плана рационального землепользования, нет планов строительства. Методы производства не совершенствуются, и это ложится бременем на экономику страны. Но худшим злом является то, что людям, занимающимся сельским хозяйством, постоянно приходится искать помощи у государства, чтобы как-нибудь выжить. На какую бы ферму в Норвегии вы ни пришли, везде люди мучительно думают о том, где найти финансовую помощь для поднятия новых земель, для расширения пастбищ, для получения лесных угодий. Они вынуждены в той или иной форме выпрашивать себе поддержку. Люди, живущие в городах и выплачивающие высокие налоги, с большим недовольством смотрят на то, что крестьяне получают финансовую поддержку, что они не могут стоять на своих собственных ногах, а это порождает враждебность между городским населением и населением сельских местностей.

Как и все прочие люди, мы связаны с нашей трудовой деятельностью, которая изо дня в день формирует наш образ жизни и наши мысли. Когда норвежские рыбаки выходят в море, они преисполнены теми же желаниями и чувствами, что и японские рыбаки, выходящие на лов рыбы в Тихом океане. Когда рабочий на лесозаготовках в Канаде валит дерево и смотрит, как оно с шумом падает на землю, в его душе возникают те же чувства и мысли, что и у норвежского лесоруба. Когда норвежский и польский журналисты сидят за пишущей машинкой, то они оба полны желания написать статью, которая бы понравилась читателю. Они совершенно одинаково напрягают свой ум, если даже статьи, которые они пишут, касаются весьма различных тем. Когда норвежский капиталист просматривает свои бухгалтерские книги, то он, подобно американскому капиталисту, хочет обнаружить, что за истекший год получил бóльшие барыши. Когда борец за мир в Норвегии предпринимает что-либо и пытается пробить стену, воздвигнутую между Востоком и Западом, когда он пытается воспрепятствовать недружелюбию между государствами и предотвратить войну, то он испытывает те же чувства любви к людям и к жизни, что и русский борец за мир.

Трудно найти людей, которые бы не пытались заглянуть вперед и не старались понять, что их ожидает в будущем. Неужели должна произойти новая мировая война, неужели чудовищные бомбы все сравняют с землей, а возможно, и уничтожат людей? Может быть, бесполезно строить дома, железные дороги и заводы, создавать необходимые человеку предметы? Что можно сделать для того, чтобы оградить от этого бедствия дома, свои семейные очаги, мир и саму жизнь? Всякий человек рано или поздно ставит перед собой этот вопрос. Сейчас, в последнее время, стало казаться, что люди в Норвегии всколыхнулись и начали искать ответ на этот вопрос.

Но неуверенность и сомнения, страх перед возможностью новой войны живут бок о бок с самым горячим желанием отстоять мир. К самим себе и к тем, кому мы верим, мы обращаемся с вопросами: кто правит страной, почему у нас появляется так много иностранных генералов, которые устраивают конференции с нашими генералами и государственными деятелями? Служит ли делу мира тот факт, что офицеры НАТО прочно осели в Норвегии? К чему нам строить и расширять наши аэродромы так, чтобы на них могли приземляться самые крупные бомбардировщики? Разве не лучше было бы для нас, если бы мы вели политику нейтралитета?

Десять лет нам говорили о «железном занавесе», о противоречиях между Америкой и Советским Союзом. Однако мы увидели, что противоречия существуют не только между коммунизмом и капитализмом, но также и между капиталистическими странами, дерущимися за мировые рынки.

Когда мы задумываемся над этими вопросами, нам становится ясно, что ответственность за две мировые войны, в результате которых погибло несколько десятков миллионов человек, падает на капиталистические страны. Но радио и газеты переполнены всякого рода сообщениями и предсказаниями, так что в итоге в голове у нас создается полный сумбур. Утверждают, будто все зло притаилось за «железным занавесом». Некоторые газеты хотят заставить нас поверить, что корни всего того зла, которое несет миру капитализм, находятся в Кремле и Сибири, в загадочной Советской стране.

Но мы теперь живо интересуемся Советским Союзом, нас интересуют пути и судьбы Китая, нас интересуют люди, живущие за пресловутым «железным занавесом». Когда в нашей стране находилась группа русских туристов, которая знакомилась с достопримечательностями Осло, она была в центре внимания нашей прессы. Многие люди из Норвегии ездили в Советский Союз в составе различных делегаций, в нашу страну, в свою очередь, приезжали русские делегации. Наши и русские государственные деятели встречались и беседовали в дружественном тоне. Политические обозреватели и те, кто интересуется социальными проблемами, встречают все сообщения, поступающие из социалистических государств, с большим вниманием. Но даже и те, кто обычно не проявляет особого интереса к политике, тоже начинают интересоваться идеями коммунизма; их высказывания по этому вопросу редко имеют что-либо общее с марксизмом — лишь не-

которые из этих людей открывали книги Ленина. Но высказывания их появляются в большом количестве, и это показывает, что люди у нас в значительной части знают, что происходит в социалистических странах, которые не строят своих планов на расширении границ, на обмане, противоречиях, классовой борьбе. Люди стали понимать, что такое коммунизм и какое значение имеет Октябрьская революция.

Мы знаем, что Октябрьская революция явила собой миру нечто новое, что она ознаменовала начало гибели мирового капитализма. Это событие вдохнуло надежду во всех прогрессивных людей Норвегии. Как известно, ложь и клевета в адрес Советского Союза приобрели огромные размеры; в подобных условиях трудно было сохраниться доброжелательному отношению к этой стране. Но несмотря на все это, мы знаем, что в лице Советского Союза представлена чистая идея коммунизма; несмотря ни на что, мы надеемся, что эта страна осуществит поставленные ею задачи, что она всегда будет вести борьбу за душевную чистоту, свободу, верность, любовь, равенство и братство, за все те высокие идеалы, которые всегда вдохновляли наш народ.

Всякий раз, когда кто-либо из норвежцев обнаруживает новые черты в жизни Советского Союза или когда кто-либо из русских приезжает к нам в страну и беседует с нашими людьми, в «железном занавесе» появляются новые трещины.

Одна из наших крупных буржуазных газет некоторое время назад напечатала письмо, полученное от русского летчика, которому во время войны пришлось приземлиться на норвежской территории. Норвежцы прятали его от врага до тех пор, пока не наступил мир. В своем письме русский летчик рассказывает о своей семье, о своей жизни. Читатель чувствует, что каждое слово в его письме правдиво. То, что он пишет, так человечно и понятно.

Как было бы хорошо, если бы удалось наладить связь между рабочими наших предприятий, судоверфей и русскими рабочими. Ведь простое письмо может заложить основу товарищеской беседы.

Разве медицинские сестры в наших больницах не были бы рады, если бы в один прекрасный день получили письмо от какой-либо из медицинских сестер, работающих в одной из больниц Москвы? И она, я думаю, получила бы ответ. Кто был бы более счастлив получить письмецо, чем старые люди, живущие в наших домах для престарелых? В настоящее время расстояния уже не столь непреодолимы, как это было в прошлом. Нужно просто написать о своих чувствах и мыслях, и этого достаточно.

В наших педагогических институтах среди будущих преподавателей существует самое смутное представление о жизни в Советском Союзе. Разве не мог бы какой-нибудь русский лектор рассказать им об условиях работы в школе своей страны, о том, что волнует русскую молодежь? Учащиеся наших педагогических институтов пожали бы протянутую им руку. Они не хотят быть слепыми по отношению ко всему тому, что происходит в СССР.

Жертвы, которые понес Советский Союз в войне против фашистской диктатуры и угнетателей, заставили нас, норвежцев, относиться к русским с чувством глубокой признательности. Эту признательность мы сохраним навсегда. Ответственность за то, что мы не сумели достойным образом отблагодарить советский народ за возвращение нам свободы, лежит в первую очередь на тех редакторах, журналистах и писателях, которые хотели бы, чтобы мы забыли о чувстве признательности.

Мы можем с уверенностью заявить, что никто в Норвегии не желает, чтобы вновь разгорелся пожар мировой войны. Мы все против войны. Мы не собираемся расширять нашу территорию за счет других стран. Решимость, с какой все миролюбивые народы мира выступают против новой войны, препятствует осуществлению планов американцев, которые на всех углах кричат и шумят о новой войне и которые хотят вооружить Норвегию атомной бомбой.

Люди, павшие в борьбе против фашизма, не могут встать и открыть глаза. Перед нами, оставшимися в живых, стояла задача осуществить их идеалы, но сумели ли мы построить такое общество, как они хотели? Нет, мы не выполнили своих обещаний. Но еще не поздно выполнить то, чего требуют мертвые.

Норвегия стоит на перепутье. Мы любим свою отчизну, у нас есть честь и самолюбие. С горечью смотрим мы на то, как наши генералы разъезжают за границей, отвешивая низкие поклоны. Народ не желает, чтобы мы подчинялись американским миллионерам. Сегодня государство выбрасывает миллиарды крон на военные нужды, в то время как народ собирает деньги на социальные нужды, заботясь об облегчении страданий душевнобольных, о лечении страдающих туберкулезом и больных раком, заботясь о том, чтобы строились спасательные суда, чтобы Красный Крест имел средства для поддержания своей деятельности. Желаниям народа соответствует политика нейтралитета — нейтралитет даст нам новые силы. Мы готовы вести борьбу за наш государственный суверенитет.

Еще не поздно переложить руль на другой борт. Возможно, мы это сделаем вскоре. Возможно, мы это успеем сделать своевременно, так что народ сможет достойным образом примкнуть к тем силам в мире, которые действительно борются за мир и справедливость. Большая ответственность за это лежит на честных людях, на тех, кто должен решать судьбы Норвегии.

ИЗ ИСТОРИИ
зарубежных связей мастеров русской культуры

А. М. Горький в Сорренто.

ПИСЬМА АЛЕКСЕЮ МАКСИМОВИЧУ ГОРЬКОМУ

от Ромена Роллана, Анри Барбюса, Луиса Поля Локнера, Стефана Цвейга, Младена Исаева, Юрико Миямото и Йосико Юаса, Герхарта Гауптмана, Раджи Рао, Альберто Маритано.

Международные связи Горького были исключительно обширны. Ему писали со всех концов мира, писали люди самых различных национальностей, различных убеждений. В личном архиве Горького сохранились тысячи писем зарубежных общественных деятелей, писателей, журналистов, педагогов, художников, артистов, рядовых читателей. Тематика этих писем неисчерпаемо разнообразна: от философских и эстетических проблем — до простодушной просьбы об автографе.

Особенный интерес представляют письма литераторов, в частности — зарубежных. В данное время Архив А. М. Горького завершает подготовку к печати обширного (около 50 печатных листов) тома переписки Горького с зарубежными писателями, критиками и публицистами. Ниже мы помещаем ряд неопубликованных писем зарубежных литераторов к А. М. Горькому из названного издания. Письма публикуются в хронологическом порядке, по оригиналам, хранящимся в Архиве А. М. Горького.

1

От Ромена Роллана

(Франция)

18 марта [19]18 г., Вильнёв (Во), вилла «Ольга».

Дорогой друг!

Мне неизвестен точно день Вашего рождения, но я помню, что он в этом месяце и, вероятнее всего,— на этих днях. Мне хотелось бы, чтобы это письмо передало Вам мои сердечные чувства.

Вы родились на ущербе зимы, на рубеже зарождающейся весны, в пору приближения равноденствия. Это совпадение символизирует Вашу жизнь, которая была связана с гибелью старого мира и с возникновением, среди бурь, мира нового.

Вы были подобны высокой арке, соединяющей два мира, прошлый и будущий, а также Россию и Запад. Приветствую арку! Она царит над дорогой. И те, что придут вслед за нами, еще долго будут ее видеть.

А я, человек, которому выпало счастье жить одновременно с Вами и — вдали от Вас — разделять Ваши сомнения и надежды, я ныне желаю Вам, великий труженик, чтобы тихий вечер опустился на пажити, которые Вы вспахали ранней зарей!

Братски обнимаю Вас
Ромен Роллан

Отношения Р. Роллана и М. Горького представляют замечательный пример творческой дружбы двух гениальных людей. Личная встреча писателей состоялась впервые в 1935 году в Москве. Но еще в 1905 году Р. Роллан прислал Горькому свою книгу «Заря» (первый том «Жан-Кристофа») — как братское приветствие русскому писателю, подвергшемуся преследованиям царской полиции. В декабре 1916 года между Ролланом и Горьким завязывается переписка, продолжавшаяся около двадцати лет. Она отражает философские и эстетические искания двух великих художников, их замыслы, их участие в борьбе за мир и является живым свидетельством культурных связей России и Франции.

А. М. Горький и Ромен Роллан, 1935 г.

2

От Анри Барбюса

(Франция)

17 февраля 1921 г., Омон-пар-Санлис (Уаза).

Дорогой и великий товарищ!

Я бесконечно благодарен Вам за письмо, полученное в ответ на мое. Прежде всего хочу, чтобы Вы знали, какую огромную радость доставляет мне возможность непосредственного общения с Вами. Нет необходимости распространяться о том, какое место Вы занимаете в наших мыслях (я говорю о своих товарищах и о себе) и каким бесценным преимуществом для нашего дела является участие в нем такой интеллектуальной и моральной силы, какую Вы собой представляете.

Начало письма А. Барбюса А. М. Горькому.

Aumont par Senlis (Oise) le 17/II/1921

Clarté

TÉLÉPHONE: NORD 69-62

Cher et Grand Camarade,

Je vous remercie infiniment de le lettre que vous m'avez écrite en réponse à celle que je vous avais adressés. Avant tout je tiens à vous dire que c'est une grande joie pour moi de me trouver ainsi en rapports directs avec vous. Je n'ai pas besoin de vous dire la place que vous tenez dans nos pensées, à mes camarades et combien nous considérons comme un précieux avantage pour notre cause l'adhésion d'une force intellectuelle et morale comme celle que vous représentez

J'ai su il y a déjà longtemps que vous aviez fait une préface pour l'édition russe de mon livre "le Feu". Quoique bien tardivement je tiens à vous dire combien j'en ai été et j'en demeure fier et reconnaissant vis-à-vis de vous

Je suis tout à fait désolé d'apprendre que votre santé laisse à ce point à désirer Je fais les voeux les plus ardents pour que le traitement auquel vous vous

Уже давно я знал о Вашем предисловии к русскому изданию моей книги «Огонь». Хотя и с большим запозданием, разрешите сказать Вам, что я был горд, как горжусь этим и теперь, и что я очень благодарен Вам.

Я в отчаянии, что Ваше здоровье до такой степени расстроено. Горячо желаю, чтобы предпринятое лечение как можно быстрее помогло Вам.

Не забуду Ваше обещание написать что-нибудь для нашего журнала «Кларте», когда у Вас появится возможность и досуг.

Полагаю и даже глубоко и твердо убежден, что работа, которую стремится проводить группа «Кларте»,— публичные выступления, издание книг и журнала,— при теперешнем состоянии борьбы идей, в свете настоящих событий является самым необходимым делом, способствующим социальному прогрессу. В мире еще слишком много укоренившихся заблуждений и невежества. Общественное мнение еще до такой степени фальсифицируется и сбивается с толку, что те изменения, которые отвечают здравому смыслу и справедливости, не могут быть осуществлены и прочно привиты. Прежде всего необходимо направить внимание общественности — другими словами, тех, кто в этом сам заинтересован,— на великие и светлые принципы, с которыми она почти столь же мало знакома, как и вожаки империалистического капитализма. Именно этой цели, то есть распространению великих интеллектуальных и моральных истин, но вне прямой, открытой борьбы и вне всяких партийных вопросов, посвятила себя группа «Кларте». Это — программа распространения основных идей гуманизма, которые следует прежде всего внедрять в сознание для того, чтобы могли быть реализованы последующие завоевания. Мы должны готовить и как можно шире привлекать единомышленников. Мы стремимся к этому, не связывая себя с какой-то партией. Мы устанавливаем такие грани для принципов, которые мы стремимся вывести на основе критического обсуждения идей и явлений, чтобы их, эти принципы, не могли запятнать никакие серьезные заблуждения или пороки некоторых современных социологических концепций и, в первую очередь, реформизма.

Я уже излагал эти установки и тенденции «Кларте». Но я знаю, что порой эти мысли бывали неправильно истолкованы, и мне хочется путем выше изложенных кратких указаний раскрыть истинный смысл нашего движения.

Будьте уверены, дорогой и великий товарищ, в чувстве моего преданного восхищения.

Анри Барбюс

Переписка Горького и Барбюса свидетельствует о большой идейной близости двух писателей. Их объединяла совместная борьба против империалистической реакции и ее крайнего выражения — фашизма,— борьба за мир и демократию. Горький еще в 1919 году написал статью о Барбюсе. А. Барбюс посвятил ряд статей мировому значению творчества Горького.

Уже давно я знал о Вашем предисловии к русскому изданию моей книги «Огонь» — статья Максима Горького о романе А. Барбюса «Огонь» была напечатана в журнале «Коммунистический Интернационал» № 3, 1919 г. под заглавием «Замечательная книга («В огне» Анри Барбюса)», а затем как предисловие к отдельному изданию романа в 1919 году и в других изданиях.

«Кларте» — международная группа писателей, организованная А. Барбюсом в 1919 году. Группа объединяла западноевропейских писателей различного политического направления, выступавших против империалистической войны, за мир между народами. Участниками «Кларте» были А. Франс, П. Вайян-Кутюрье, Г. Уэллс и другие. Группа имела свой печатный орган — сначала газету, потом журнал. К деятельности группы «Кларте» положительно относился В. И. Ленин, пославший ей в ноябре 1922 года приветственное письмо (см. В. И. Ленин. Соч., 4 изд., т. 33, стр. 396).

3

От Луиса Поля Локнера

(С Ш А)

27 февраля 1923 г., Берлин.

Мой дорогой учитель и друг!

Прекрасное предисловие к моей работе глубоко тронуло и взволновало меня. Мне кажется, что это наиболее человечный документ, написанный кем-либо за последнее время. Каждое слово в нем вызывает во мне как бы ответное эхо. Даже если бы это не имело никакого отношения к моей слабой попытке писать, я счел бы честью обнародовать Ваш призыв к человечеству о предотвращении войны.

Но сейчас — только подумать — этот призыв будет опубликован в качестве предисловия к моей книге! Тысяча благодарностей Вам. Я не могу выразить словами свою признательность Вам за то, что Вы таким образом придаете значимость тому, что по сравнению с Вашими собственными произведениями должно казаться очень банальным.

Сейчас же, как только немецкое издание, которое должно первым появиться в печати, будет в моих руках, я сочту за честь приехать в Сааров и привезти Вам экземпляр книги.

Еще раз приношу Вам мою сердечную благодарность. Я никогда не забуду этой любезности.

Искренне благодарный Вам
Луис П. Локнер

Локнер, Луис Поль (род. в 1887 г.) — американский журналист, переводчик и радиокомментатор; после первой мировой войны долгое время находился в Берлине в качестве корреспондента американской прессы.

В 1915 году Л. П. Локнер сопровождал американского автомобильного короля Генри Форда, отправившегося на специальном корабле из США в Европу якобы для того, чтобы «помирить» воюющие страны. Локнер был главным секретарем «Нейтральной конференции по постоянному посредничеству», организованной Фордом. Выяснив положение в Европе, Форд сбросил маску миротворца, вернулся в США, ликвидировал мирную организацию и начал расширять производство оружия. «Миротворческую» экспедицию Форда пацифист Локнер критически описал в книге «Попытка американского Дон-Кихота Генри Форда спасти Европу». К немецкому изданию этой книги, вышедшему в 1923 году, А. М. Горький и написал предисловие (А. М. Горький. Собрание сочинений, АН СССР, т. 24). На русском языке книга Локнера со статьей А. М. Горького вышла в 1925 году под названием «Генри Форд и его «Корабль мира».

...приехать в Сааров... — в 1922—1923 гг. А. М. Горький проходил курс лечения в санатории в немецком городе Саарове (Саарбург).

4

От Стефана Цвейга

(Австрия)

29 августа 1923 г., Зальцбург.

Глубокоуважаемый господин Горький!

Редко приносила почта в мой дом такую хорошую весть, как весть о том, что Вы желаете включить в Ваш сборник мою новеллу «Письмо незнакомки». Само собой разумеется, я с радостью выражаю свое согласие, но самая большая радость для

Начало письма Стефана Цвейга А. М. Горькому

29. Aug 1923

KAPUZINERBERG 5
SALZBURG
(Österreich)

Verehrter Herr Gorki,

selten hat mir die Post so gute Nachricht ins Haus gebracht, als die Nachricht, Sie wollten meine Novelle „Der Brief einer Unbekannten" in Ihrer Sammlung bringen. Selbstverständlich bin ich freudig einverstanden: aber das Freudigste ist für mich Ihre Zustimmung. Ich liebe Ihr Werk unendlich: seit Jahren hat mich nichts dermaßen erschüttert, wie die Schilderung Ihrer

меня — В а ш е одобрение. Я люблю Ваше творчество бесконечно: уже много лет меня ничто так не потрясало, как описание Вашего первого брака в «Воспоминаниях». В немецкой литературе нет никого, в чьих произведениях была бы такая непосредственность правды. Я знаю, ее можно достигнуть также с помощью искусства, может быть даже с помощью искусных приемов, но Ваша н е п о с р е д с т в е н н о с т ь является для меня единственной: даже у Толстого не было такой естественности повествования. Как я люблю Ваши книги! Как уважаю я Вас за ту гуманистическую позицию, которую Вы занимаете в течение всех этих преступных лет!

У меня сейчас так хорошо на душе — и это потому, что я решился выразить Вам свою любовь и уважение. И не сочтите меня за назойливого человека, если я пошлю Вам две книги: сборник новелл «Амок» и книгу о романе — «Три мастера»,— которая содержит работу о Достоевском. Вы совсем не обязаны их читать, Вам нет надобности благодарить меня. Вы можете непрочитанными подарить их кому-нибудь. Просто у меня возникла потребность послать Вам что-нибудь.

Если же Вы захотите когда-нибудь доставить мне большую радость, пришлите мне несколько листков из какой-нибудь Вашей рукописи. Я собираю (не так, как маленькие девочки автографы) подобные рукописные материалы прежде всего из любви к писателям, а также для того, чтобы глубже проникнуть в их работу. Достоевский у меня представлен двумя главами из «Униженных и оскорбленных», Толстой — двумя главами из рукописи «Крейцеровой сонаты»,— оба оригинала я приобрел перед войной, в результате больших денежных затрат и усилий. Как был бы я счастлив, если бы Вы дополнили этих Диоскуров несколькими страничками, написанными Вашей рукой!

Еще одно: если Вам к о г д а - н и б у д ь понадобится в Германии что-либо, имеющее отношение к литературным делам, я был бы счастлив оказать Вам услугу.

С уважением Ваш
Стефан Цвейг

Не упустите случая посетить Роллана!!! Это целое с о б ы т и е в жизни — познакомиться с ним. Его доброта, его справедливость не имеют себе равных на этой бедной земле; сила его духа так велика, что побеждает немощи тела.

А. М. Горький высоко ценил творчество С. Цвейга. В письме издателю И. В. Вольфсону от 17 июля 1926 года он так отзывается об австрийском мастере слова: **«Это — серьезный писатель и довольно своеобразный, друг Р. Роллана, но вне его влияния»** (Архив А. М. Горького). И в другом письме к тому же адресату: **«Это очень талантливый писатель и, видимо, прекрасный человек»** (письмо от 2 ноября 1926 года. Архив А. М. Горького). В январе 1930 года Горький сообщил из Сорренто своему секретарю: **«Был Цвейг. Очень хороший, скромный и талантливый человек, тонко разбирается в наших делах и вполне искренне симпатизирует «волшебной» работе Соввласти»** (Архив А. М. Горького). Выход в свет собрания сочинений С. Цвейга на русском языке А. М. Горький оценивал как **«праздник»** (письмо И. В. Вольфсону от 12 ноября 1926 года. Архив А. М. Горького). К этому изданию Горьким было написано предисловие.

Переписка А. М. Горького с С. Цвейгом началась в 1923 году и продолжалась до самой смерти Горького. В Архиве А. М. Горького хранится телеграмма С. Цвейга семье Горького от 19 июня 1936 года, отправленная в связи со смертью великого русского писателя: **«До глубины души потрясен тем, что чудесные глаза, которые смотрели на наш мир с такой добротой и поэтичностью, как ничьи другие, закрылись навсегда. Выражаю глубочайшее сочувствие. Стефан Цвейг».**

...Вы желаете включить в Ваш сборник мою новеллу...— 6 августа 1923 года А. М. Горький писал Р. Роллану: **«Стефан Цвейг, автор книги о Вас, не есть ли и автор «Письма незнакомки»? Буде это так — передайте ему мое искреннейшее восхищение этим его превосходным рассказом. Прекрасная вещь: она глубоко взволновала меня, и я предложил одному из русских издателей в Берлине включить ее в серию книг, издаваемых им под общим заголовком — «Любовь»... Будет ли Цвейг иметь что-либо против включения «Письма незнакомки» в эту серию?»** (Архив А. М. Горького).

В письме к А. М. Горькому от 28 августа 1923 года Р. Роллан сообщал: **«Стефан Цвейг — действительно автор прекрасного рассказа, о котором Вы пишете. Я передал ему Вашу просьбу; он будет от этого в восторге. Я не сомневаюсь в том, что он Вам напишет»** (Архив А. М. Горького).

...описание Вашего первого брака... — имеется в виду рассказ А. М. Горького «О первой любви» (1923).

...книгу о романе...— книга С. Цвейга «Три мастера. Бальзак, Диккенс, Достоевский». Лейпциг, Инзель-ферлаг, 1923.

Диоскуры — мифические греческие герои, близнецы Кастор и Поллукс.

5

От Младена Исаева

(Болгария)

30 декабря 1927 г., О-в Хвар.

Дорогой товарищ!

Я болгарин, молодой человек, эмигрант. Русский язык понимаю, но говорить и писать по-русски не могу; немножко понимаю по-французски. Буду вам писать по-болгарски.

Я — эмигрант, нахожусь в Югославии вот уже полтора года. Был изгнан, как только закончил VII класс гимназии. Будучи учеником, я много читал — не только то, что было связано с уроками, но и другие книги. Я прочитал внимательно все Ваши книги. Целые ночи не спал, увлеченный романом «Мать». Вы — подлинный создатель, отец настоящего рабочего романа в России. Я горячо приветствую Вас!

В мое сознание проник солнечный луч — Ваша идея свободы (идея Андрея и Сашеньки в «Матери»). Тогда я начал бороться. Видел, как течет кровь — дорогая человеческая кровь. Я не испугался: было время, когда я с карабином в руках был в рядах моих борющихся братьев.

Во время учебы в гимназии я писал рассказы и стихи. Некоторые из них были напечатаны в рабочей прессе, которая была тогда — остается и теперь — весьма малочисленной.

В эмиграции я находился в очень плохих условиях: выполнял тяжелую работу с раннего утра до позднего вечера, спал в погребе, голодал. В результате — заболел туберкулезом. И теперь, молодой (мне 21 год), я гасну и беспомошно погибаю. И кажется, что это будут последние месяцы моей жизни — умру, как сегодня тысячи и миллионы умирают.

Но я все же работаю: пишу и пишу рассказы, стихи, статьи, фельетоны. Отказываюсь от отдыха, которым мог бы теперь располагать.

Конец письма Младена Исаева А. М. Горькому

Тук съм на остров Хвар, в Адриатическо море
с още неколко болни — туберкулозни другари,
ще остана тук неизвестно до кога.
Мен ми е нужна морална подкрепа за
да продължа работата. Дайте ми такава.
дайте ми отговор; Пишете ми на Руски
език, аз ще Ви разбера. Аз ще разбера
Вашите ценни съвети — съветите на един
всесветски писател, съветите на милия,
скъпия дѣдо Горки.
Адрес: Mladen Yzajev o. Hvar, Dalmacija SH.S
Ще се чувствам щастлив, ако получа отговор на
~~твоя~~ това мое писмо
Прощавайте, че Ви отнемам скъпото време —
аз, един загиващ младеж, пълен с пламък —
пламък загасващ; също извинявайте и за това
че ви пиша на български: вервам ще разберете.
Приемете горещи поздрави скъпи учителю
Ваш малък ученик

о. Хвар
30. XII 1927 г.

М. Исаев

Нахожусь я сейчас на острове Хвар, в Адриатическом море, вместе с группой таких же, как я, больных туберкулезом товарищей. До каких пор я останусь здесь, не известно.

Мне нужна моральная поддержка, чтобы продолжать работу, — дайте мне ее, дайте мне напутствие. Пишите мне по-русски, я пойму Вас. Я пойму Ваши ценные советы — советы всемирно известного писателя, советы милого, дорогого дедушки Горького.

Адрес: Mladen Isajev, o. Hvar, Dolmacija.

Я буду считать себя счастливым, если получу ответ на это мое письмо. Простите, что отнимаю у Вас дорогое время. Я — измученный, но полный огня юноша. Простите также, что пишу Вам по-болгарски — верю, что поймете.

Примите мои горячие поздравления, дорогой учитель.

Ваш маленький ученик

М. Исаев

Исаев, Младен (род. в 1907 г.) — видный болгарский поэт. В прошлом — активный участник антифашистской борьбы, подвергался преследованиям со стороны фашистских властей. В 1922 году вступил в комсомол, в 1923 году принимал участие в Сентябрьском вооруженном восстании. После подавления восстания М. Исаев был вынужден эмигрировать в Югославию, где находился с лета 1926 года по осень 1929 года.

6

От Юрико Миямото (Тюдзё) и Йосико Юаса

(Япония)

[Между 30 августа и 8 сентября 1928 г., Ленинград].

Наш любимый писатель Алексей Максимович!

Мы две японские писательницы. Приехали в Россию восемь месяцев назад и теперь живем в одной же гостинице с Вами. Нам очень хотелось бы видеть Вас, хотя мы хорошо знаем, как Вы заняты, и очень боимся помешать Вам. Но все-таки мы очень рады были бы, если Вы уделили бы нам несколько Вашего дорогого времени. Когда Вам удобно.

Юрико Тюдзё

Йоси Юаса

Записка Ю. Миямото и Й. Юаса написана на русском языке. К записке приложены визитные карточки обеих писательниц.

Ю. Миямото и Й. Юаса прибыли в Москву в конце декабря 1927 года. Летом следующего года они выехали в Ленинград и остановились в Европейской гостинице, где и встретились с А. М. Горьким. А. М. Горький в 1928 году был в Ленинграде с 30 августа до 8 сентября.

Миямото (Тюдзё), Юрико (1889—1951) — видная японская писательница-коммунистка. С 1932 года, после второго брака, известна под фамилией Миямото. Автор многих произведений, в частности повестей «Равнина Бансю» и «Футисо», отразивших японскую действительность в первые месяцы после окончания второй мировой войны. Крупнейшим произведением писательницы является автобиографическая трилогия — романы «Нобуко» (1927), «Два дома» (1947), «Вехи» (1950). В романе «Вехи» рассказывается о пребывании писательницы в Советском Союзе. Последние страницы романа рисуют героиню накануне возвращения на родину, когда она принимает окончательное решение вступить в ряды освободительного движения своего народа.

Юаса, Йосико (род. в 1897 г.) — известная японская переводчица. Ею переведены, в частности, «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Три сестры» А. П. Чехова и его переписка с О. Л. Книппер, «Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина и многие другие произведения русской литературы. В период пребывания в Советском Союзе (1927—1930) Юаса перевела «Детство» М. Горького; этот перевод помещен в 25-томном собрании сочинений М. Горького, выходившем в Японии на протяжении 1929—1932 гг. В предисловии к переводу Юаса называет «Детство» М. Горького своим любимым произведением.

Нам очень хотелось бы видеть Вас... — получив эту записку, А. М. Горький на следующее же утро принял Ю. Миямото и Й. Юаса. Эта встреча описана Ю. Миямото в статье «Моя встреча с Горьким» (журнал «Бунгэй аннай», 1936 г.). Писательница сообщает, что во время беседы Горький уделил значительное внимание японской литературе, а также положению женщин в Японии. В своем автобиографическом романе «Вехи» Миямото добавляет, что писатель беседовал с Йосико Юаса о постановке пьесы «На дне», о переводах его произведений на японский язык. На прощание Миямото подарила Горькому свой роман «Нобуко», а Юаса — перевод переписки А. П. Чехова с О. Л. Книппер.

На протяжении августа 1936 года Миямото написала ряд статей, посвященных памяти великого писателя, в том числе — «Покойный Горький» (журнал «Фудзин корон»), «Особенности творческого развития Горького» (журнал «Кайдзо»), «Женские образы в произведениях Горького» (журнал «Бунгаку хёрон»).

7

От Герхарта Гауптмана

(Германия)

28 сентября [1932 г.], Карловы-Вары.

Неся ответственность продолжателя наследия и бремя обязательств духа, Вы всегда были борцом, а Ваша жизнь — бесконечной жестокой борьбой. Я приветствую великого и истинного сына русской земли.

Герхарт Гауптман

Телеграмма прислана Г. Гауптманом в связи с сорокалетием литературной деятельности А. М. Горького.

8

Из письма Раджи Рао

(Индия)

31 октября 1934 г.

...Прежде чем закончить это письмо, я хотел бы воспользоваться случаем и выразить Вам мое чрезвычайно глубокое восхищение силой и человечностью Ваших произведений и еще сказать Вам, что наряду с «Жан-Кристофом» Ваша «Мать» была одним из значительнейших элементов в формировании моего творчества. У нас в Индии говорят: «Дай струям ручейка слиться с рекой!». Дорогой учитель, если я снова обращаюсь к Вам, то это потому, что ручейку нужна река.

С уважением и восхищением
Искренне Ваш
Раджа Рао

P. S. Должен ли я добавить, что политически я принадлежу к крайне левому крылу индийского Национального Конгресса и искренне желаю сближения между Россией и Индией.

Раджа Рао (1909—1945) — индийский писатель, автор рассказов, посвященных жизни беднейших слоев крестьянства Индии. Писал на английском языке.

9

От Альберто Маритано

(Аргентина)

21 ноября 1935 г., Сан-Хенаро (провинция Санта-Фе).

Товарищу Максиму Горькому.

Дорогой товарищ!

Посылаю Вам небольшую книжку, цель которой — отразить жизнь нашей буржуазии. Книжка неценная, но, думается, очень правдивая.

Повсюду людей волнуют одни и те же проблемы. У нас страдают и борются так же, как и в любой другой стране, которая не смогла еще сбросить ярмо капитализма. Поэтому мы должны говорить о вещах, которые Вас и Ваших товарищей уже не беспокоят или, вернее, не беспокоят Вас в Вашей стране.

Мы всегда с любовью читаем Ваши произведения. Они так же популярны, как книги Толстого, Андреева и других. Вы знаете это. Нас восхитила «Мать» — книга о Революции. Но мы любим Вас не только за книги. Мы любим Вас за Вашу самоотверженность, искренность, за Вашу постоянную борьбу на благо пролетариата. Мы любим Вас так же, как любим Роллана: не только за то, что Вы большой писатель, но и за то, что Вы большой и хороший человек.

Само собой разумеется, что в среде буржуазии слова «хороший человек» имеют другой смысл, но между нами не может быть ложных толкований.

Маленький роман, который я Вам посылаю, может быть, не скажет Вам ничего нового, но некоторые его строки покажут Вам, как интересует нас жизнь страны, сумевшей подняться до высшего уровня культуры и гуманности.

Сегодня Россия интересует всех нас. В ней мы видим свет, которого не хватает всегда человеку. Мыслящий мир обращает свой взор к этой пролетарской стране, наблюдая, как народ, раньше стоявший на коленях, превращается ныне в народ сознательных трудящихся.

У нас в стране думают и говорят только о том, что связано с Россией. То, что не относится к коммунизму, считается второстепенным. Очевидно, нет необходимости упоминать об этом: Вы это знаете и так. Но это оправдывает посылку моей книги, что, возможно, отвлечет Вас от работы. Мы не хотим быть только зрителями. Мы тоже боремся и нуждаемся в этом сближении, которое придает силы и направляет одновременно.

Когда война уже показывает свой хищный оскал, когда фашизм хочет утопить мир в трясине варварства, нам остается одна надежда — пролетариат. И как опора и защита — Россия. Россия, которая смогла воспитать вас — тружеников во всех областях жизни.

Многие из моих земляков побывали в СССР и видели вас борющимися и создающими будущее. Я не могу поехать, по крайней мере сейчас: слишком много сил отнимает борьба за кусок хлеба. Если мои строки дойдут до Вас и Вы не будете слишком заняты, вспомните на минуту о нас — аргентинских борцах, аргентинских пролетариях. Этим Вы поддержите нас. Мы будем продолжать наш путь, обратив взоры на страну-светоч, на народ, который сумел покончить с буржуазным обществом и создать нового человека.

Примите, старый учитель, восхищение молодежи, которая не может быть моложе Вас, потому что Вы до сих пор боретесь и работаете как символ нового, идущего на смену старому.

Сердечный привет трудящимся СССР. **Альберто Маритано.**

Маритано, Альберто (род. в 1902 г.) — аргентинский писатель. Наиболее значительные из его произведений — «Воспоминания о школе» и «Паблито». Архивом А. М. Горького недавно получено от А. Маритано письмо. **«С детства мне было известно, какую трудную школу жизни прошел Горький,** — пишет Маритано.— **Мне тоже не довелось учиться в школе. Я самостоятельно... овладел началами культуры.... Я всегда преклонялся перед русскими писателями за то, что они несли человечеству идеи гуманизма; Горький, в моих глазах,** — **самый человечный из них... О влиянии, которое оказали на меня книги Горького, я мог бы написать целую повесть».**

Посылаю Вам небольшую книжку... — по-видимому, речь идет о романе А. Маритано «Хозяева».

Публикация подготовлена коллективом научных сотрудников Института мировой литературы им. А. М. Горького. Общая редакция Н. Жегалова

Максим Горький. (Дружеский шарж чехословацкого художника Франтишека Бидло).

М. Хананов

Наш друг Ивар Дигернес

Старый моряк, капитан Канут Дигернес, никогда не думал, что его сын Ивар отвергнет славную профессию предков — мореходство. Но так случилось, и старик, в конце концов, помирился с сыном и даже гордился, что в семье имеется свой грамотей.

Ивар Дигернес родился в Бергене, в Норвегии, но я, по русскому обычаю, звал его Иваром Канутовичем. А моя мать называла его просто Иварьком.

Страстью Дигернеса с юных лет были книги. Но среди его литературных привязанностей главное место занимала русская литература, и ее изучению он решил посвятить свою жизнь. Окончив филологический факультет университета в Осло, он приехал в нашу страну и стал студентом Московского университета.

Давно это было, но до сих пор перед моим взором стоит юноша, сероглазый, стройный, с мягкими чертами лица...

И мне вспоминается, как в тридцатые годы я, тогда студент Московского университета, стал часто встречать на семинарских занятиях по литературе незнакомого молодого человека в черных роговых очках. Юноша очень внимательно слушал лекции, все время что-то записывал и, не стесняясь, задавал вопросы на ломаном русском языке.

У юности всегда много поводов для дружбы. У нас нашлись общие интересы — литературные,— и мы познакомились, а вскоре и подружились. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю эту дружбу.

Была в Дигернесе какая-то ненасытная жажда ко всему, что касалось литературы нашей страны. Все свободное от посещений университета время он проводил в библиотеках и скоро так овладел русским языком, что мог вести на нем споры и дискуссии на сложнейшие темы.

В то время вышел в свет роман М. Шолохова «Тихий Дон». Никогда не забуду Дигернеса в эти дни. Обычно сдержанный, даже по-северному немного замкнутый, он восторженно хвалил книгу, называя ее крупнейшим произведением двадцатого века, предсказывал, что она займет одно из первых мест в мировой литературе. «Тихий Дон» стал его любимой книгой, а Михаил Шолохов — любимейшим писателем.

Но вот наступил час разлуки. Мы одновременно окончили университет, и жизнь

Ивар Дигернес

наша пошла по разным путям. Я уехал работать в Среднюю Азию, а Дигернес вернулся к себе на родину, в Норвегию.

Минуло двадцать лет. Много раз я вспоминал о своем друге. И так получилось, что ни разу мы не написали друг другу.

Но в первом номере журнала «Иностранная литература» за 1955 год, в разделе «Из месяца в месяц», под рубрикой «Норвегия», я прочитал однажды, что издательство «Ню даг» организовало в Осло выставку книг прогрессивных писателей. На открытии выставки с обзором современной литературы выступил Ивар Дигернес...

Теплым потоком нахлынули воспоминания, и я, не колеблясь, отправил в Норвегию письмо. В нем я рассказал о юношеской дружбе двух студентов — советского и норвежского. Может быть, писал я, докладчик и мой потерянный друг Ивар Дигернес одно и то же лицо...

Прошло очень немного времени, и я получил толстый конверт из Норвегии. Это было письмо от Дигернеса, взволнованное и радостное, каким и должно быть письмо от настоящего друга. Завязалась переписка, и вот что мне стало известно о Дигернесе...

Возвратившись после окончания Московского университета на родину, он вместе с писателем Нурдалем Григом стал издавать литературный журнал «Вейен фрем». Когда началась война, он бежал из Осло в Нарвик. Но немцы захватили и этот город, и мой друг вместе с семьей ночью перебрался в Швецию, где пробыл всю войну. Жизнь была очень трудной, но все же Дигернес избежал ареста и концлагеря — участи многих своих товарищей.

Работы ему долго не давали. Он пережил безработицу и лишения. Но когда Советская Армия стала бить фашистов, шведы начали с интересом относиться к «загадочной русской душе». Ивар Дигернес читал курс русской литературы в гимназии, выступал с лекциями и докладами о советской литературе. В Стокгольме у него родился сын. Он назвал его в честь советского народа русским именем Иван...

После возвращения в Осло Дигернес становится сотрудником газеты «Фрихетен» — центрального органа компартии Норвегии.

Но главным его занятием, делом жизни, как он выражался, была большая работа, которую он вел в области пропаганды советской литературы. Дигернес перевел на норвежский язык работы Ленина, новый учебник политической экономии. В числе переведенных им книг — несколько томов Горького, Толстого, Достоевского, «Жатва» Николаевой и, конечно, любимый «Тихий Дон» и «Поднятая целина» Шолохова.

Примечательна судьба перевода «Тихого Дона». Дигернес закончил его в 1948 году. Но издатель не решился в годы разгара холодной войны издать роман Шолохова. Перевод Дигернеса пролежал в сейфе издателя без движения почти семь лет. И только когда «климат несколько потеплел», издатель отважился, и в свет вышло издание «Тихого Дона» в переводе Дигернеса.

Это было крупное литературное событие. Критика и газеты всех направлений дали высокую оценку роману и переводчику, который сумел передать «сочный реализм» произведения Шолохова. По единодушному мнению норвежских критиков, в «Тихом Доне» дается такая же широкая эпическая картина жизни, как и в «Войне и мире» Л. Толстого...

Книга в самый короткий срок одержала блестящую победу. Она завоевала читателя, привлекла внимание общественного мнения к литературе Советского Союза и развеяла миф об ее «упадке» и «кризисе».

Перевод «Тихого Дона» вышел несколькими изданиями. Такой успех для Норвегии, где книги стоят довольно дорого, не совсем обычен. Издатель, наверно, не жалеет о том дне, когда он «рискнул» издать роман М. Шолохова.

Дигернес мечтал о поездке в Москву, и я послал ему приглашение. Но, увы!.. Такая поездка, писал он мне, стоит значительных денег, и он не может ее осуществить. Подрастают дети, им нужно дать образование, а прогрессивных интеллигентов не очень балуют...

Из последнего письма Дигернеса я узнал, что он перевел «Судьбу человека» М. Шолохова и закончил перевод двенадцатитомного собрания сочинений В. И. Ленина. Скоро оно должно выйти в свет.

Недавно в норвежской печати Дигернес опубликовал статью о Софийском соборе в Киеве. Речь в ней идет о том, что при реставрации Софийского собора были обнаружены фрески, изображавшие семейство князя Ярослава Мудрого, его жену Ингигерду (Ирину) и трех дочерей Анну, Елизавету и Анастасию.

Известна судьба Елизаветы. Она была выдана замуж за норвежского короля Харальда и стала норвежской королевой. Харальд считается основателем города Осло — столицы Норвегии. Налицо старинные связи между Киевской Русью и Норвегией.

По просьбе Дигернеса я достал фото фресок Софийского собора, но послать их ему не успел...

В ночь под Новый год Дигернес внезапно почувствовал себя плохо и был доставлен в городскую больницу. После исследований, которые продолжались две недели, главный врач больницы с жестокой прямотой сообщил больному, что у него рак желудка, что болезнь запущена и неизлечима. В тяжелом, подавленном состоянии Дигернеса привезли домой.

Известие о болезни друга потрясло меня. Я не мог представить, что Ивар Дигернес, деятельный, полный кипучей энергии здоровяк, умирает...

Я отправил ему письмо. Я призывал его встряхнуться и решительно начать борьбу за жизнь. Я приглашал его срочно приехать в Москву лечиться.

Но мое письмо Дигернеса не застало. Восьмого февраля он умер...

Вот и все, что я хотел рассказать о моем друге Иваре Дигернесе.

Немногим из наших читателей знакомо это имя. А между тем, Ивар Дигернес не только мой личный друг — он наш друг, друг советского народа, один из тех, кто скромно и бескорыстно трудился во имя великой идеи дружбы народов, кто немало сделал для установления культурных контактов между норвежским и советским народами. И чтобы в какой-то мере исправить эту несправедливость, я и решил написать о нем. Я хочу тем самым отдать последнюю дань моему покойному другу.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Прощание.

Пабло Неруда

ХОСЕ ВЕНТУРЕЛЛИ

Мы с Вентурелли — старые друзья, хотя мне уже за пятьдесят, а ему едва тридцать. С виду это огромный малый. Он скуп на слова. Улыбается глазами и руками: так уж повелось у художников. Мы, поэты, не умеем двигать руками. А вот они бросают фразу, не закончив, берут ее с воздуха, формуют ее, наносят ее на стену и пишут красками. Долгое время Вентурелли, больной легкими, находился в санатории на высоком склоне чилийских гор. Это было время, полное чудес. Художник, казалось, умирал, и мы уже собрались его хоронить — но не тут-то было. К нам стали приходить десятки его изумительных картин и эскизов, любовно выдержанных в драматических, одному Вентурелли присущих тонах: багрово-желтых, охряно-зеленых.

Я бродил по улицам, по шахтам, по берегам рек, бросая вызов маленькому тирану, который, словно злая мошка, жалил мой народ. Время от времени рисунки Вентурелли встречались с моими стихами: одни спускались с заснеженных гор, другие поднимались из архипелагов растительности. И в свете скрестившихся молний видел я его живопись. [illegible] были встречи путни[illegible]артизан. Ведь все [illegible]ники и партизаны [illegible]аю, который дал [illegible]турелли и мне. [illegible]а Чили, острая, [illegible] снегах, в песчаных отмелях, жестоко изрезанная горами и океаном, знает морскую весну, золотую и необъятную, знает и голод, что днем и ночью завывает под окнами бедняцких домов.

Вот так встретились в пути наши стремления, так слились в общий свет наши раздельные лучи, и так родилась наша трудовая дружба.

Потом со мной произошло еще больше чудес, чем с Вентурелли. Я ушел в недра моего народа: меня искала полиция. Это была полиция

Дорога.

Знамена мира (фрагмент).

той самой злой мошки, но так как мне не следовало попадаться ей на глаза, я сменил дом, улицу, город. Сменил собственную тень.

Я писал «Всеобщую песнь». Но только что написанные листы могли попасть в руки преследователей, и потому, едва лишь стихи уходили из моих рук, как их переправляли по волшебным каналам, размножали, печатали. Возрожденный к жизни, деятельный Вентурелли руководил этим подпольным издательством, и в потаенных «подземельях свободы», как сказал бы Жоржи Амаду, накапливались тысячи страниц, мало-помалу составляя книгу. Несколько раз все это чуть не становилось добычей злой мошки; полицейские допрашивали всех и каждого, и нередко они делали это, не догадываясь о том, что сидят на стопках листов моей книги. А Вентурелли все приносил и уносил страницы, правил гранки, соединял разрозненные части книги, спрятанные в тайных местах, подобно ученому, составляющему скелет доисторического животного.

Но за время этих скитаний странника и партизана Вентурелли дополнил мои поэмы своими волнующими

Не забыть.

Вверху и внизу: иллюстрации к роману В. Тейтельбойма «Семя в песке».

гравюрами. Он изобразил конквистадора с крестом и ножом, маленького индейца Анд, героического гусара, расстрелянных забастовщиков. Он воспроизвел безудержный полет образов моей поэзии: кувшин из голубой глины, и бабочку, и обнаженную статую, летящую на носу корабля. Вентурелли велик, по-детски наивен и полон драматизма, как сама Америка. Порою он ужасен. Тогда он не видит ничего, кроме траура и воронов. Он беспомощен: глядит в пропасть и готовится к смерти. Он как бы говорит: мы умрем, народы, мы не вынесем тяжести всех этих жестокостей, мы уже не можем существовать. Но вдруг Вентурелли улыбается. Все изменилось. Зрелость приходит на смену его измученным образам: действие — это мать надежды. В последние годы Вентурелли был более живым, чем когда-либо, странствовал, как никогда. Он пересек необозримый Советский Союз, обосновался в Народном Китае.

Его мироощущение изменилось. Он уже не смотрит в пропасть. Линия его стала удивительно чиста, уверенно и жизнерадостно изображает он окружающий мир. Здоровенный парень с Андийских гор, он снова вернулся к жизни и показывает нам замечательные образцы своего возрождения: организованность, ум, добродушие, веселье и труд.

Теперь уже нам нет необходимости встречаться с молодым художником где-то на дороге, среди снега и морской пены, на горных перевалах. Взявшись за руки, мы вместе идем по одному пути.

«Америка, я взываю к тебе не напрасно!»

Рисунок из цикла «Смерть на площади».

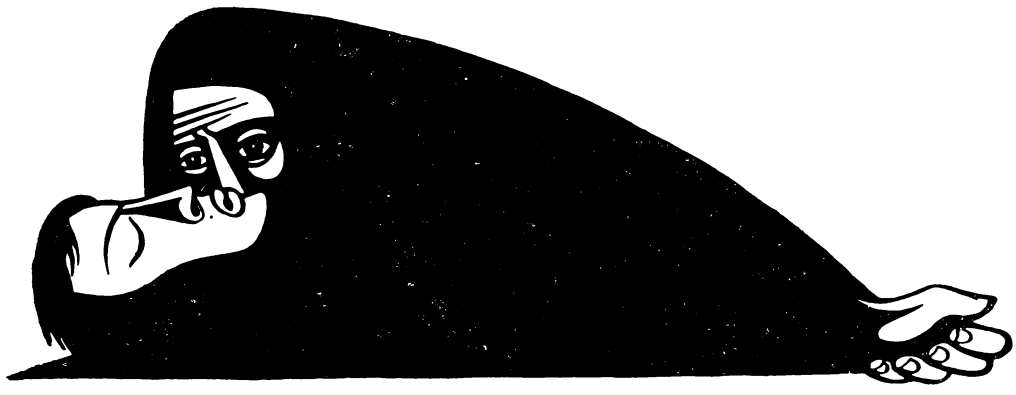


Рисунок из цикла «Смерть на площади».

Предательство.

Пробудись, лесоруб!

Отреченность.

Слезы в пути.

Забастовка.

Иллюстрация к роману
В. Тейтельбойма «Семя в песке».

Акварель.

Они добывают селитру.

Отдых.

За вышиванием знамени.

Полдень.

Из зарисовок, сделанных в Советском Союзе.

Портрет мира.

Из зарисовок, сделанных в Советском Союзе.

ЛЕНИН И ФИННЫ

□

Sylvi-Kyllikki Kilpi. Lenin ja suomalaiset. Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Tammi, 1957.

□

После гражданской войны 1918 года в Финляндии правящие круги страны замалчивали деятельность В. И. Ленина и роль Советского Союза в финляндском вопросе. Буржуазные правители Финляндии проводили так называемую политику «поворачивания спиной к Востоку».

Во второй половине 40-х годов с воспоминаниями о В. И. Ленине начинают выступать многие финские граждане, встречавшиеся с Владимиром Ильичем. В Финляндии при изучении современных советско-финляндских отношений все чаще обращаются к устным и печатным выступлениям Ленина по финляндскому вопросу. Появляется все больше переводов произведений В. И. Ленина, растет его популярность в широких народных массах. В Тампере открыт музей В. И. Ленина, ведется подготовка к сооружению ему памятника и открытию мемориальных досок в ряде городов, например на Рабочем доме в Котка, где в 1907 году происходила конференция большевиков, на которой присутствовал Владимир Ильич.

В октябре прошлого года издательство «Тамми» выпустило книгу «Ленин и финны», написанную председателем общества «Финляндия — СССР» госпожою Сюльви-Кюлликки Кильпи.

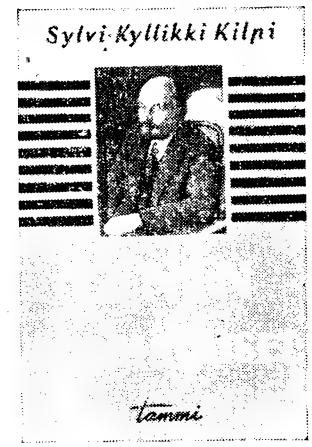
С.-К. Кильпи проделала большую и кропотливую работу по собиранию рассказов и воспоминаний финнов, встречавшихся с Владимиром Ильичем, черпая сведения из самых разнообразных источников — газетных статей, рукописных и устных воспоминаний и т. д. Особенно большой материал собран автором о деятельности В. И. Ленина в период становления независимости Финляндии.

Много места в книге отведено описанию того, как тепло, по-дружески относились к Владимиру Ильичу представители интеллигенции и простые люди Финляндии. С.-К. Кильпи пишет:

«У нас всегда заботились о Ленине... охраняли его безопасность, помогали практически в налаживании быта. Матери семейств хлопотали, чтобы приготовить ему вкусную пищу».

Автор приводит воспоминания финского социал-демократа Вяйнё Хаккила о встречах с Владимиром Ильичем: «Нам представили некоего «товарища Вебера», он говорил по-немецки. Мы не могли создать для него больших удобств, но гость их и не требовал. Он спал на раскладушке, ел принесенную в комнату пищу, был всегда в отличном настроении и много писал. Меня поражала осведомленность Ленина в финляндских делах».

С уважением вспоминают о Владимире Ильиче Кустаа Ровио, верный помощник



Ленина во время его пребывания в Финляндии, переехавший в 1918 году в Петроград; Ирьё Сирола, неоднократно встречавшийся с В. И. Лениным в Финляндии и в Советском Союзе вплоть до 1921 года; Э. Хуттунен, депутат социал-демократической фракции сейма; Севери Алапне, член революционного комитета социал-демократической партии Финляндии и другие.

Радушно встречали Ленина в домах простых финских тружеников. Одной из таких семей была семья железнодорожника Артура Бломквиста, в которой Ленин под фамилией Иванова жил в 1917 году в течение шести недель. В доме Бломквиста Владимир Ильич закончил свой труд «Государство и революция». Известный финский художник Галлен-Каллела неоднократно предоставлял свою студию в распоряжение русских револю-

ционеров, находящихся в Финляндии.

В книге рассказывается и о том, как финские железнодорожники и моряки помогали доставлять из-за границы в Россию «Искру» и другую нелегальную литературу, и об оказании финнами помощи русским большевикам, скрывавшимся в Финляндии от преследований царизма. Через Финляндию налаживались связи с русскими заграничными партийными центрами.

Кильпи описывает выступление Ленина на партийной конференции в Хельсинки в 1907 году. Конференция происходила в помещении небольшого завода. Социал-демократ В. Хаккила вспоминает о том, с каким вниманием была выслушана присутствующими речь Владимира Ильича.

Одна из глав книги посвящена пребыванию Ленина на Парайских островах во время перехода его через Финский залив в 1907 году. Автор основывается преимущественно на воспоминаниях двух организаторов этого перехода — Людвига Линдстрёма, члена Шведского рабочего общества в городе Турку, и Сантери Нуортева, редактора газеты «Социалист» («Sosialisti»).

Много внимания уделяет Кильпи описанию деятельности В. И. Ленина в период борьбы финнов за независимость страны.

В 1910 году царизм повел наступление на права финского народа. Был принят закон, фактически лишавший финляндский сейм законодательных прав. Этот новый поход царизма на автономию Финляндии Ленин назвал «разбойничьим предприятием». Временное правительство, по существу, продолжало политику царизма. Меньшевики также выступили против автономии Финляндии. Только большевики встали на защиту интересов финляндского народа. В «Письмах из далека» В. И. Ленин указывал: «Российский пролетариат обеспечит Финляндской республике полную свободу, вплоть до свободы отделения...»

Буржуазное правительство Финляндии во главе со Свинхувудом вначале не пожелало проводить мирные переговоры с молодым Советским правительством о дальнейшей судьбе Финляндии. Оно обратилось за поддержкой к кайзеровской Германии, но получило отказ.

В конце декабря 1917 года Свинхувуд решил все же обратиться к Советскому правительству с вопросом о признании независимости Финляндии. В день, когда правительственная делегация отправилась в Петроград, в газете «Тюэмиес» («Työmies») появилась заметка, в которой говорилось: «Русские товарищи обещали содействие в срочном признании независимости Финляндии».

Двадцать восьмого декабря Ленин принял в Смольном финских представителей, прибывших для предварительных переговоров. Выслушав подробный доклад государственного секретаря Энкеля о положении в Финляндии и о причинах задержки обращения к правительству Советов, Ленин сказал в своей речи, что если финляндский Сенат примет решение официально обратиться к Совету Народных Комиссаров, то Совет признает независимость Финляндии.

Помощник государственного секретаря Идман вспоминает: «Умные и проницательные глаза В. И. Ленина убеждали в силе его воли. Речь его была так же проста, как и манера держаться... Ленин принял нас дружелюбно, извинился, что заставил ждать...»

В начале января 1918 года ВЦИК утвердил постановление Совета Народных Комиссаров о признании государственной независимости Финляндской республики и принял «Декларацию революционного правительства о независимости Финляндии». В. И. Ленин, вручая представителям финляндского правительства грамоту о признании Советской страной независимости Финляндии, спросил просто: «Довольны вы теперь?»

Книга госпожи Кильпи имеет, несомненно, немаловажное значение и явится вкладом в укрепление дружественных отношений между Финляндией и Советским Союзом.

И. Марцина

РАБОТА ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕВОДА

□

Theodore H. Savory. The Art of Translation. London, Jonathan Cape, 1957.

□

Весьма примечательны и сама эта книга и ее автор. Теодор Савори по образованию зоолог, по узкой специальности — арахнолог, один из немногих авторитетов в науке о пауках, а по должности преподаватель биологии в английских колледжах и школах.

Савори принадлежит к числу весьма распространенных в англосаксонских странах «просвещенных любителей». Однако, если другие его собратья — из дельцов на покое — щеголяют друг перед другом обширными коллекциями раковин, мхов, а то и спичечных коробков или винных этикеток, Савори, оставаясь тружеником науки, на досуге интересуется словом. В 1953 году вышла его книга «Язык науки», в настоящее время, наряду с исследованием по истории арахнологии, он готовит книгу «Стиль прозы и личность писателя».

Савори давно интересуется научным и художественным переводом, и сочетание качеств ученого и дилетанта сказалось и в разбираемой книге «Искусство перевода».

С одной стороны, из книги видно, что художественный перевод для Савори —

занятие для души, его «конек». С другой стороны, в ней поставлены многие важные проблемы, о характере которых говорит содержание глав: труд переводчика, искусство перевода, краткий исторический очерк, принципы перевода. Затем идет рассмотрение отдельных, особо интересующих автора вопросов: перевод античных писателей, перевод стихов, перевод с французского и немецкого, учебный перевод, процесс перевода, научный перевод. Эти вопросы, конечно, далеко не исчерпаны в этой небольшой книжке, но поставлены и рассмотрены они достаточно четко.

Савори считает, что переводчик в каждом конкретном случае должен поставить и разрешить три основных вопроса: что сказал автор, что он имел в виду и как автор выразил свои мысли. С той же пунктуальностью Савори намечает основные расхождения во взглядах на перевод, группируя их в следующие шесть дилемм:

1. Перевод должен сохранять слова оригинала.
   Перевод должен передавать идеи и образы оригинала.
2. Перевод должен читаться как перевод.
   Перевод должен читаться как оригинал.
3. Перевод должен отражать стиль переводчика.
   Перевод должен отражать стиль оригинала.
4. Перевод должен читаться как текст, современный оригиналу.
   Перевод должен читаться как текст, современный переводчику.
5. Переводчик не должен ничего ни прибавлять, ни убавлять.
   Переводчик может кое-что прибавлять и убавлять.
6. Перевод стихов должен быть сделан прозой.
   Перевод стихов должен быть сделан стихами.

Фиксируя разные точки зрения, Савори не скрывает, что в первых трех случаях он придерживается второго решения, а в последних трех случаях занимает по необходимости компромиссную позицию. Компромисс этот вытекает из основного противоречия художественного перевода, сформулированного еще Александром Тайтлером в следующих трех положениях работы «Опыт о принципах перевода», вышедшей в 1790 году:

Перевод должен полностью передавать мысли подлинника;

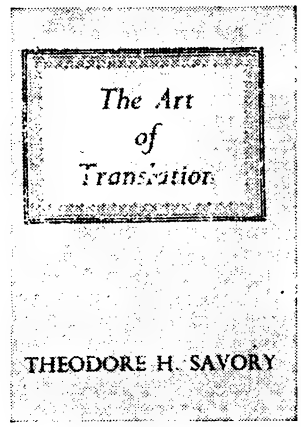
Стиль и общая манера должны быть выдержаны в духе подлинника;

Перевод должен сохранить всю непосредственность и непринужденность подлинника.

Словом, все та же дилемма, которая стоит перед современным переводчиком: не забывать, что он только переводчик, и в то же время не забывать, что читатель хочет прочесть иноземного автора на своем родном языке.

Приведем в качестве примера некоторые доводы Савори в пользу творческого перевода. Если оригинал читается как оригинал, рассуждает автор, то и перевод, для того чтобы полноценно передать оригинал, должен читаться как оригинал. А отсюда следует, что по переводу читатель не должен узнавать, с какого языка он сделан. Развивая мысль Савори, можно считать, что для него важнее, чтобы в переводе было отражено своеобразие автора, причем использованный автором местный колорит может быть передан переводчиком отдельными штрихами и намеками, без ущерба для строя своего языка.

Признавая зависимость переводчика от автора, Савори в то же время требует признать и тот факт, что перевод — это результат творческого труда переводчика. Для подтверждения этой давно известной истины Савори цитирует между прочим слова переводчика «Одиссеи» Э. В. Риё: «У Гомера, как и у всех великих писателей, форма и содержание неразрывно связаны... И ограничиваясь для их передачи набором таких же английских слов, мы не сохраняем ни формы, ни



содержания». Слишком буквальный перевод Савори считает ошибочным и допускает возможность переконструирования фразы автора для того, чтобы на другом языке добиться того же эффекта.

Может случиться, что, добившись, наконец, удовлетворяющего его перевода какого-нибудь трудного места у классического автора, переводчик затем обнаружит, что до него это было достигнуто другим. Как быть в таком случае?—спрашивает Савори. Разумеется, проще всего какой-нибудь перифразой избежать такого совпадения. Но что выиграет автор, переводчик и читатель, если в результате такого подхода в переводе «Гамлета» появится, скажем, монолог: «Жить иль не жить?», а Франческе да Римини будет приписана фраза: «В тот день нам было не до книги»? И Савори склоняется к другому решению: если переводчик, сделав все, что в его силах, обнаружит, что отдельные выражения уже были использованы другими, он не должен менять их. Более того, говорит Савори, по мнению английского теоретика перевода Постгейта,— «это добавочный довод в пользу того, чтобы сохранить их». И в самом деле *такое* совпадение опасно только для слабого переводчика, у которого нет ничего своего за душой.

Как судить о качестве перевода? Савори напоми-

нает пример, предложенный известными переводчиками на французский язык Ричи и Муром, которые советуют показать перевод страницы, характерной, скажем, для стиля Рескина, двум образованным французам. И если один, плохо знающий английский язык и литературу, скажет: «Хорошо написано. А кто автор?», а другой, отлично знающий английский язык и литературу, скажет: «Это Рескин. Не помню только откуда»,— тогда есть основания полагать, что перевод сделан хорошо.

Многие суждения Савори сходны или тождественны со взглядами советских переводчиков. Однако кое в чем Савори преувеличивает значение переводческой вольности, особенно поэтической, а кое в чем недооценивает возможностей им же разделяемого творческого метода. Он совершенно правильно возражает против буквального перевода пословиц. Но вместо немецкой поговорки «Mit Wölfen muss man heulen» он как будто предлагает сугубо академичный вариант: «When in Rome do as Rome does» («В Риме поступай как римлянин»), не учитывая возможности воссоздания ее на других языках в форме аналогичной пословицы, например «С волками жить, по-волчьи выть», или выбора аналога из более близкого культурного слоя.

Книга Савори содержит интересный информационный материал. Так, Савори говорит о возросшем за последнее время в Англии интересе к художественному переводу. Он указывает, что в серии «Пеликэн букс» вышло несколько новых хороших переводов. Он упоминает также, что третья программа Британского радиовещания в последнее время уделяла внимание художественному переводу, причем сначала в передаче читался оригинальный текст, а затем переводы различных авторов. В частности, Савори отмечает передачу нового перевода «Энеиды», выполненного известным поэтом Сесилем Дей Льюисом.

В некоторых главах книги Савори приводит любопытные случаи. Так, говоря об опасности расширительного перевода, Савори сравнивает стих псалма 34 «Всегда воздам хвалу тебе, Господи!» с его английской перифразой в книге гимнов, начало которой звучит примерно так: «Во всех превратностях судьбы, и в радости и в горе...», то есть десять (а по-английски двенадцать) слов вместо одного слова — «всегда».

Книга Савори написана легким слогом, снабжена библиографией, указателем имен. Но есть одна частность, которая указывает, что автор к этой работе относится как любитель: почти треть библиографического списка дана без указания года и места издания.

В целом книжка Т. Савори, наряду с последними книгами и статьями советских авторов, работами Эдмона Кари, Альфреда Куреллы, С. Поллака и других, еще раз свидетельствует о том, что мысль многих теоретиков работает в одном направлении — в сторону все более глубокого обоснования проблемы верного и одновременно творческого перевода.

Иван Кашкин

ПОЭЗИЯ И ЖИЗНЬ

□

Liść człowieka. Poezja miłosna. Wydawnictwo Poznańskie, 1957.

Trybuna Literacka, № 7/15, 1958.

□

В конце 1957 года в литературной жизни Познани произошло событие, которое в какой-то мере является типическим для польской, особенно молодежной, поэзии сегодняшнего дня. Познанская группа молодых писателей «Вежбак» выпустила томик интимной лирики с несколько необычным названием — «Лист человека».

«Вежбак» объединяет восемь молодых поэтов. Шестеро из них: Рышард Данецкий, Мариан Гжесьчак, Матей Мария Козловский, Юзеф Ратайчак, Конрад Сутарский и Евгениуш Ваховяк — авторы вошедших в сборник стихотворений. Группа «Вежбак» выпустила коротенький манифест, где молодые писатели заявили, что они первыми в стране совместно выступают в защиту своих художественных и философских взглядов, стоят на позициях марксистского мировоззрения, пропагандируют новаторство в поэзии и одновременно ратуют за использование таких художественных средств, которые понятны для современного читателя. Поэтический образ, заявили писатели группы, должен не затруднять, а помогать пониманию авторского замысла.

Было бы несправедливо отказывать молодым поэтам в таланте. Томик включает ряд хороших стихотворений с образными сравнениями, живыми оборотами, свежими поэтическими находками. Рышард Данецкий, стихотворениями которого открывается сборник, один из самых талантливых, на наш взгляд, в этой группе. Его стихи разнообразны по форме и содержанию и необычайно выразительны. Обращает на себя внимание, например, его прекрасное стихотворение «Ночь».

Но есть в сборнике и другие стихотворения — мрачные, циничные, заумные, которые не вяжутся с пред-

ставлением о лирической поэзии. Они удручающе однообразны.

Главная же беда в том, что содержание томика решительно расходится с основными положениями манифеста трудно сказать, какое из стихотворений написано «с позиций марксистского мировоззрения», лишь немногие, лучшие из них доступны пониманию читателя, а новаторство большей части их можно поставить под сомнение. Молодые поэты при всем своем стремлении идти в ногу с жизнью и даже указывать ей путь уходят в узкий мир интимных человеческих переживаний, ища вдохновения где-то между сном и явью.

Возможно, такая оценка кому-нибудь покажется несправедливой или чрезмерно строгой. Однако перед лицом грандиозных задач, которые стоят перед польским народом, поэтический дебют группы «Вежбак» представляется мелким, разительно несоответствующим тому большому счету, который предъявляет действительность молодому поколению.

Предоставим слово поэту старшего поколения, польскому пролетарскому писателю Владиславу Броневскому. Недавно в еженедельнике «Трибуна литерацка» Владислав Броневский поделился впечатлениями о своей творческой поездке по промышленным центрам Польши, а также высказал некоторые мысли о современной польской поэзии. Броневский в феврале этого года побывал в Плоцке, Лодзи, Сосновце, Катовицах, Ополе, на тракторном заводе «Урсус» под Варшавой.

Посещение Новой Гуты, встречи с производственным активом, с молодежью этого гигантского металлургического комбината, замечательные успехи его коллектива и широкие перспективы на будущее произвели на поэта неизгладимое впечатление. «Сама Новая Гута стала теперь городом,— говорит В. Броневский.— Она действительно новая, в техническом и общественном отношении». Как непохожа настоящая Новая Гута на ту, которую нарисовал Адам Важик в пресловутой «Поэме для взрослых», где карикатурно изображал польский рабочий класс и выражал свое неверие в строительство социализма в Польше! Всюду Броневского встречала переполненная рабочая аудитория, жадно впитывавшая его революционные стихотворения, принимавшая их как свои, близкие по духу...

«Именно там, на этих шахтах и предприятиях, я окончательно убедился в том, что молодежь, что народ жаждет поэзии, такой поэзии, которая понятна ему,— говорит поэт.— И здесь я бросаю суровый упрек молодому поколению поэтов, которые погрязли в абстракции и не видят, не верят, что поэзия связана с жизнью человека, с его борьбой. Сегодняшняя молодежная поэзия любой ценой старается быть оригинальной, даже в ущерб ясности содержания».

Владислав Броневский высказал совершенно справедливое мнение, что поэзия выполняет свою общественную роль не только в стихах с непосредственно революционной тематикой. «Я верю в прекрасную польскую поэзию,— заявил В. Броневский,— в которой будут и березы, и клены, и замечательные цветы, но среди всего этого должно быть ядро революционного дела».

Владиславом Броневским сказаны простые и искренние слова, которые молодым поэтам, еще не нашедшим правильных путей в литературе, не осознавшим всей глубины общественной роли поэзии, следовало бы с благодарностью воспринять как творческую заповедь: «Поэзия — это ведь жизнь. Жизнь и красота. Предметом моего беспокойства является тенденция самой молодой польской поэзии уйти от мира, в котором мы живем. Не таков путь к рабочему классу».

А. Мельников

ТРИЛОГИЯ НАГИБА МАХФУЗА

□

نجيب محفوظ.
بين القصرين، السكرية،
قصر الشوق.
القاهرة

□

В конце прошлого года египетскому писателю Нагибу Махфузу была присуждена государственная премия за трилогию «Между двумя дворцами». Арабская критика отметила общественную значимость нового произведения Нагиба Махфуза и даже сравнила его с «Сагой о Форсайтах» Голсуорси и с романами Драйзера, так как писателю удалось создать яркую историю трех поколений мелкобуржуазной семьи на широком фоне социальной и политической жизни Египта в период между двумя мировыми войнами.

Нагиб Махфуз начал писать в середине тридцатых годов. Первые его произведения — исторические романы — не оставили заметного следа в египетской литературе. В послевоенные годы имя Нагиба Махфуза становится все более и более популярным среди арабских читателей. В романах «Новый Каир» (1945), «Хан аль-Халили» (1946), «Начало и конец» (1949) и других он реалистически описывает современность, главным образом жизнь средних классов. Герои этих романов, как правило, стремятся только к личному благополучию, они далеки от интересов народа и от общественной жизни. Некоторые из них

не прочь помечтать о социальной справедливости, но это отвлеченные, туманные мечты.

В трилогии «Между двумя дворцами» Нагиб Махфуз впервые показал героев, которые активно борются за улучшение жизни народа, раскрыл в известной степени общественные силы, определившие формирование их характеров и мировоззрения.

Действие романа начинается в годы первой мировой войны в Каире, в семье купца Ахмеда Абд аль-Джавада. Это обычная обеспеченная мусульманская семья, в которой муж — полновластный владыка, а жена — покорное существо, работающее от зари до зари. За двадцать пять лет супружеской жизни Амина лишь несколько раз вышла из дому, чтобы навестить своих родителей. Однажды она осмелилась выйти из дому одна, что вызвало гнев Абд аль-Джавада, благочестивейшего мусульманина, свято чтущего традиции и обычаи. Но благочестие Абд аль-Джавада внешнее: друзья знают, что у него несколько любовниц и что время он проводит в ресторанах и игорных притонах. Автор не скупится на саркастические сравнения, описывая похождения Абд аль-Джавада и его приятелей.

Старший сын Абд аль-Джавада, Ясин, пошел по стопам отца. Такой же беспринципный и жестокий, он, однако, более откровенен в своих поступках, чем отец: он выгоняет жену и приводит домой проститутку.

Фахми, второй сын Абд аль-Джавада, резко отличается от отца и старшего брата чистотой и честностью. Вращаясь среди студенчества, Фахми проникается идеями национально-освободительной борьбы и ненавистью к английским колонизаторам: «Народ не может жить, если им правят иностранцы»,— говорит он. В дни восстания 1919 года мы видим его среди демонстрантов, требующих эвакуации английских войск из Египта и полной независимости страны. Фахми погибает во время расстрела демонстрации, но память о нем живет в душе его младшего брата Кемаля и племянника Ахмеда.

Кемаль непохож на порывистого Фахми, хотя разделяет его идеалы. Против воли отца он становится простым учителем. Жажда знаний, стремление к самоусовершенствованию сделали Кемаля высококультурным человеком. Однако он далек от того, чтобы участвовать в борьбе прогрессивных сил. Он больше склонен к философическим размышлениям о том, что есть любовь и ненависть, красота и безобразие. Кемаль — это мелкобуржуазный интеллигент, типичный для того периода, когда египетская буржуазия начала отходить от национально-освободительной борьбы.

Истинным патриотом, духовным наследником Фахми становится Ахмед Ибрахим Шукет, племянник Фахми и Кемаля. Он вырос в предвоенные годы, когда в Египте началась борьба с проникновением фашистской агентуры. Сблизившись с сотрудниками антифашистского журнала, Ахмед начинает интересоваться марксизмом. Но и ему мешают усвоенные с детства мелкобуржуазные взгляды на жизнь.

В становлении характера Ахмеда большую роль сыграла Сусен Хаммад, секретарь редакции журнала, дочь печатника. Образ Сусен — один из немногих пока еще в арабской литературе образов женщины, которая ведет самостоятельную трудовую жизнь. Окончив среднюю школу, но не имея возможности учиться дальше, Сусен занимается самообразованием, читает марксистскую литературу, увлекается книгами советских писателей, произведениями Горького. Энергичная и целеустремленная, она завоевывает популярность в кружках прогрессивной молодежи.

Ахмед и Сусен полюбили друг друга, но родные Ахмеда противятся его намерению жениться на дочери рабочего. Ахмед порывает со своей средой: он становится

сотрудником журнала, пишет антифашистские статьи, выступает с лекциями перед рабочими. В конце романа Ахмеда арестовывает полиция, но читатель закрывает книгу в полной уверенности, что друзья Ахмеда и его единомышленники не оставят борьбы за интересы народа, против сил империалистической и феодальной реакции.

Нагиб Махфуз считается одним из лучших стилистов в современной арабской литературе. Особенно хорош в его романах диалог, проникнутый грубоватым жизнерадостным юмором. Романы свободны от сентиментальности, все еще присутствующей даже в лучших произведениях арабской литературы. К недостаткам трилогии следует отнести растянутость действия в ряде эпизодов, неоправданное стремление автора ввести в повествование формальные элементы драмы (некоторые главы являются, по существу, драматическими картинами, вставленными в повествование).

Трилогия Нагиба Махфуза «Между двумя дворцами» — одно из крупнейших произведений арабской литературы послевоенного периода. Ее появление свидетельствует о подъеме литературного движения в Египте, о стремлении египетских литераторов посвятить свое творчество интересам народа.

В. Борисов

АВТОБИОГРАФИЯ АЛЬФРЕДА КОППАРДА

□

A. E. Coppard. It's Me, O Lord! London, Methuen & Co, 1957.

□

Известный английский новеллист Альфред Коппард умер на восьмидесятом году жизни, не дождавшись появления в свет своей последней книги, книги воспоминаний о годах молодости, и единственного его опыта в создании большой повести. В одном из многочисленных обращений к читателю Коппард говорит, что в своей автобиографии он беззастенчиво рекламирует собственные произведения. Это, конечно, шутка, но действительно автор многократно упоминает свои рассказы, описывает обстановку, в которой они рождались. Вот почему книга так много дает для понимания произведений Коппарда.

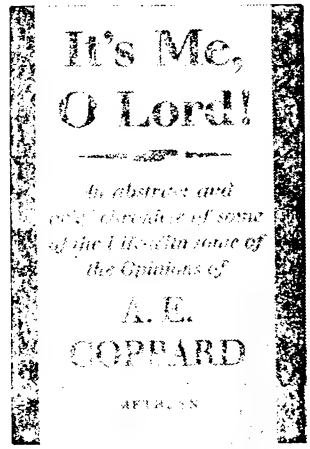
В русском переводе опубликованы лишь немногие из них. Между тем, Коппард написал более двадцати сборников рассказов, многие из которых принадлежат к лучшим образцам современной английской новеллистики. В них изображены привычные горести и скромные радости простых людей, их трудная борьба за жизнь, за крохи покоя и довольства. Жестокость человека к человеку, муки бедности, горечь непонятого чувства, тяжелое бремя разочарования в самых близких и любимых — для всего этого Коппард находит точные, выразительные слова. Чаще всего рассказы Коппарда печальны, но печаль его светлая. Рисуя великое разнообразие жизненных трагедий, писатель никогда не теряет веру в право и способность человека быть счастливым и свободным.

Коппард назвал повесть о днях своей жизни «Это я, господи!» В книге любопытно сочетаются полная, казалось бы, откровенность со сдержанностью в рассказе о своей внутренней жизни; беспечность — с серьезностью; непринужденная, а иной раз беспорядочная болтовня — с последовательностью в осуществлении основного замысла. Замысел этот заключается в том, чтобы показать, как из едва грамотного, невежественного мальчика на побегушках постепенно вырастает гражданин и писатель с широким кругозором.

Решающее значение в этом росте имел жизненный и социальный опыт Коппарда. Положение его семьи, большой семьи портного, рано погибшего от туберкулеза, было настолько тяжелым, что жестокая школа унижений и страданий началась для будущего писателя с самого раннего детства. С каким тяжелым чувством стыда приносил он домой матери и младшим сестрам черствый хлеб, который раздавали неимущим местные благотворительные организации! Десяти лет он пошел в люди, работал в мастерских и газетах Лондона, в лавках и конторах провинциального Брайтона.

Но горькие испытания не сломили неиссякаемого оптимизма и жизнелюбия Коппарда. С острым любопытством он присматривался к людям, к великому разнообразию людей, с которыми сталкивала его жизнь. Перед нами — жадные владельцы лавок и контор, шумные и грубые, но добродушные клерки, бойкие стенографистки, рассудительные фермеры, библиотекари, журналисты, мастеровые и многие, многие другие.

К тому времени, когда Коппард вступил в академические и литературные круги, у него уже был богатый запас наблюдений над людьми разных сословий и состояний; благодаря этому его творчество никогда не замыкалось в интеллигентском мирке, далеком от широких жизненных просторов, благодаря этому так разнообразны созданные им образы, так велик их социальный диапазон.



В автобиографии особенно удались Коппарду портреты его родителей — красивой, молодой матери с ее веселостью и жизнерадостностью, но и со вспышками гнева и раздражительности, вызванными невыносимыми тяготами ее существования, и отца, философа-вольнодумца, страстного демократа и мечтателя, преданного красоте родных полей и холмов. Именно отцу был обязан мальчик своей любовью к природе и к долгим прогулкам. Описанию их Коппард посвящает немало вдохновенных страниц.

Но едва ли не самой сильной страстью его были книги. Читал он самозабвенно и более всего стихи, мечтая когда-нибудь стать поэтом, новым Чосером, Китсом, или Браунингом. Огромное влияние оказали на него также классики русской литературы. В числе своих учителей Коппард называет Тургенева, Толстого, Достоевского и особенно Чехова. Из английских прозаиков он чаще всего упоминает последнего реалиста XIX века Томаса Харди — в неожиданном сочетании со Стерном, Диккенсом и Бернардом Шоу. Впрочем, Коппард не раз подчеркивает, что в своих литературных занятиях он неизменно стремился идти собственным путем.

Многообразие жизненных и художественных впечатлений, бурная и неутомимая деятельность — такова была

пройденная Коппардом школа писательского мастерства. Книга дает убедительный ответ на вопрос о том, под влиянием каких факторов складывалась творческая индивидуальность писателя, из каких источников он черпал свой душевный опыт. Ответ этот дан в удивительно непосредственной, эмоциональной форме, повествование течет вольно, чередуясь с многочисленными отступлениями, смешными анекдотами, неожиданно вспыхивающими воспоминаниями. Оно подкупает и располагает к себе читателя своей простотой, человечностью, безыскусственностью и вместе с тем остротой многих из заключенных в нем суждений.

В то же время нельзя отделаться от ощущения, что историю своей жизни Коппард излагает оторванно от жизни Англии, от общественных сил, определявших судьбу его страны, его поколения и его собственную судьбу. О войне 1914—1918 годов мы узнаем только, что Коппард в ней не участвовал; о социальном брожении тех лет не говорится вообще ничего. Отношение писателя к общественным событиям явствует только из того, что он называет себя социалистом и атеистом.

К сожалению, свою автобиографию Коппард доводит только до начала двадцатых годов, то есть до своего вступления на литературное поприще, а ведь именно в произведениях писателя отчетливо проявилась нераскрытая в воспоминаниях его связь с современностью.

Напряженная творческая деятельность не помешала Коппарду принять энергичное участие во всенародном движении за мир. «...Какая бы ни шла война,— писал он в 1953 году, — большая или малая, холодная или горячая, это значит: где-то какая-то подлая сила решила за нас, простых людей, что нам не жить в мире». С глубокой серьезностью говорил Коппард об ответственности писателя: «Литература — это та закваска, на которой восходит хлеб, питающий демократию... Писатели всего мира, объединяйтесь!»

Последняя книга Коппарда, мужественного гражданина и чуткого писателя, заслуживает самого доброго внимания и уважения.

Н. Дьяконова

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ РЕЦЕНЗИИ

□

„L'Express", Paris, № 349, 1958.

□

В одном из последних номеров французского еженедельника «Экспресс» опубликована статья Жана-Луи Бори «Маэстро Моравиа». Уже в этом словечке «маэстро» есть какой-то вызывающе-иронический оттенок, и название статьи не обманывает читателя: Жану-Луи Бори решительно не нравится «Чочара», последняя книга Альберто Моравиа, который, по словам рецензента, хотя и не утратил свойственного ему мастерства, но, увы, уже далеко не тот «итальянский Достоевский», каким он был в двадцатых и тридцатых годах, когда появились его первые книги. Да, да, конечно, вздыхает Жан-Луи Бори, это тоже «добротная книга», «ручная работа», образец виртуозной техники, но и только... «Моравиа последних лет восхищает нас своим искусством, но уже не задевает нас за живое, не оставляет в нас неизгладимого следа, как Моравиа первых романов».

Скажем прямо: статья Жана-Луи Бори, напротив, добротностью не отличается, но тем не менее «задевает нас за живое» явным и довольно беззастенчивым искажением содержания и идейного смысла романа Моравиа.

Одна девочка, слишком рано познакомившаяся с литературой для взрослых, сказала как-то: «Госпожа Бовари» очень похожа на «Анну Каренину», только Эмма отравилась, а Анна бросилась под поезд». Это несколько поверхностное суждение неизменно вспоминается нам всякий раз, когда мы сталкиваемся с такой интерпретацией художественного произведения, которая зиждется на сведении его к тощей и плоской сюжетной схеме. Но если в оправдание девочки нетрудно было бы привести смягчающие вину обстоятельства, то мы решительно не видим их, когда речь идет о литераторе, который прибегает к такому методу, представляя читающей публике на страницах серьезного еженедельника новую, только что переведенную на французский язык книгу выдающегося иностранного писателя. А именно так, по существу, и поступает Жан-Луи Бори. В его изложении «Чочара» сводится к пошлой истории о том, как «маленькая святая», подвергшись насилию, превратилась в «снедаемую похотью самку». Что за беда, если в это прокрустово ложе не укладывается ни образ самой чочары, героини романа, ни образ Микеле, в высшей степени знаменательный для нового этапа в творчестве Моравиа. Что за беда, если при этом смещаются все пропорции и широкое полотно, написанное действительно кистью мастера, становится лишь туманным фоном натуралистически трактуемой детали. Так проще, а быть может, и удобнее. Если бы критик ставил своей задачей зачеркнуть все идейно-политическое содержание романа Моравиа, как романа антифашистского и объективно антибуржуазного, он, пожалуй, не придумал бы ничего лучшего.

«Война это не только сплетение случайностей и абсурдов, но вместе с тем и «разоблачительница», — пишет Бори, усматривая в этом смысл романа.— Подобно тому, как она пробудила в Розетте, святой по неведению, дремавшую в ней чувственную женщину, а в Чезире, честной по привычке и по традиции, воровку, готовую при случае прибрать к рукам то, что плохо лежит, она обнажает подлинную натуру каждого из людей, которых она захлестнула. Война делает невозможными какие бы то ни было иллюзии; вера в невинность и бескорыстие (слова, пригодные для мирного времени) уступают место горькой трезвости, безнадежной ясности».

Нет ничего легче, чем сложить большую ложь из маленьких кусочков правды. Кусочек правды, заключенный в этом рассуждении, видит и Чезира, когда она говорит: «...война — это великое испытание; люди проверяются на войне, а не в мирной жизни — не тогда, когда существуют законы, уважение к окружающим, страх божий, а когда от всего этого и следа не остается, каждый поступает, как ему подсказывает его истинная натура, уже не сдерживаемая никакой уздой». Но если сам Бори не поднимается до более широкого взгляда на вещи, то это отнюдь не означает, что идея романа сводится к нехитрой мудрости его героини. Война, как и всякое суровое испытание, действительно обнаруживает и дремавшие до времени силы, и скрытую слабость, и внутреннюю крепость, и тайную гнилость. Это верно, кстати сказать, не только применительно к отдельной личности, но и к классам, и к государствам.

Но нельзя злоупотреблять словом «испытание». Война не просто экзамен, который выпускники более или менее успешно выдерживают (или не выдерживают), но который сам по себе не прибавляет им ни знаний, ни способностей, ни жизненного опыта. Годы войны — это годы страшной, уродливой, нечеловеческой жизни, которые ни для кого не проходят бесследно, годы тяжелых утрат и мучительных прозрений. Война не «проявила» в Розетте «снедаемую похотью самку», как проявляют негатив в химическом растворе, но надломила ее, душевно травмировала, втоптала в грязь, как опустошила и разорила Италию. Чезира не оказывается «воровкой» по натуре, а поддается — вернее, едва не поддается — тлетворному действию миазмов не отделимого от войны морального разложения. Иначе говоря, вопреки тому, что, по существу, приписывает ему Бори, Моравиа отнюдь не видит в затемнениях и в заревах пожарищ того естественного освещения, при котором все и вся предстает в своем истинном облике и которое освобождает нас от таких «иллюзий», как вера в чью бы то ни было душевную чистоту и бескорыстие, заменяя их «горькой трезвостью».

Подлинная трезвость — не синоним цинизма и безнадежности. Освобождение от иллюзий не означает утраты веры в человека и в его будущее. Так, война не просто рассеяла книжные представления Микеле о крестьянах и вообще о народе, заменив их «безнадежной ясностью», а привела его к пониманию той истины, что, если силы мира и демократии хотят одержать подлинную, а не иллюзорную победу, они должны после войны построить «новый мир, в котором будет больше справедливости, больше свободы и больше счастья, чем в прежнем».

С точки зрения Моравиа, война—и «разоблачительница», и «развратительница», и «просветительница», но прежде всего она — безмерное народное бедствие и чудовищное преступление против человечества. Бедствие, которое не минует ни Филиппо, убежденного в том, что «война страшна только для дураков» и что, «если торговля идет хорошо, значит, все в порядке», ни Чезиру, которая надеется «переждать» войну в деревне, как пережидают дождь под навесом, ни даже Кончетту и ее сыновей, для которых война означает, что все позволено. Преступление, к которому причастно не только фашистское правительство, но и весь господствующий класс, не исключая и синьоров, «не занимающихся политикой». И о книге, в которой показано все это,—и показано с огромной художественной убедительностью,—Бори ничтоже сумняшеся говорит, что ее мораль — фатализм и резиньяция, что это «не протест против войны и тем менее обвинительная речь», а «учебник покорности и приспособленчества»! Он не утруждает себя доказательствами, почитая достаточным объявить финал романа всего лишь «ловкой подтасовкой» и предупредить читателя, что тот не должен верить слезам Розетты, которые, «по мысли Моравиа, спасают все, выдавая ее скорбь, а значит, пробуждение сознания, а значит, воскрешение веры в будущее», и что не следует принимать всерьез символический смысл, придаваемый писателем евангельской притче о Лазаре, который встает из гроба, смердящий и обвитый погребальными пеленами.

Однако не Моравиа, а Бори в действительности прибегает к подтасовке, впрочем, не особенно ловкой, когда благородную веру в человека, в его душевные силы, в его способность вопреки всему возвыситься над цинизмом и отчаянием — а именно в этой вере и состоит гуманистический пафос романа — истолковывает как благословение страданиям, которые якобы только и позволяют человеку восстать из «могилы равнодушия и жестокости».

Мы далеки от намерения противопоставить предвзятой и бездоказательной критике Бори безудержную апологетику. Если бы Жан-Луи Бори написал, а «Экспресс» поместил статью, в которой отмечалась бы абстрактность гуманизма

Моравиа, если бы в этой статье говорилось о том, что Моравиа не увидел и не смог показать в силу ограниченности своего мировоззрения реальные силы, противостоящие фашизму и войне, что Микеле — не более чем первый набросок положительного героя, еще не облеченный в плоть и кровь, что Моравиа несравненно сильнее в отрицании, нежели в утверждении,— мы согласились бы с этим. Но подобная критика не имеет ничего общего с тем, что пишет Бори, который стремится зачеркнуть все сильное, что есть у Моравиа... Остается только пожелать Жану-Луи Бори, писателю небесталанному, хотя и не «маэстро», чтобы его собственные произведения получили в литературной критике более добросовестное и вдумчивое истолкование.

Бори не одинок. Любопытно, что вслед за его статьей в «Экспресс» появилась во многом сходная заметка Чарльза Пура в газете «Нью-Йорк таймс». Пур тоже находит, что «Чочара» «не прибавляет лавров Моравиа», и тоже полагает, что главное в «Чочаре» — эпизод изнасилования Розетты, а страницы, подводящие к этому эпизоду, то есть три четверти романа, «всего лишь прелюдия». Наконец, и Пур высказывает ту мысль, что война не калечит душевно, не растлевает людей, а «в лучшем случае — если позволительно так выразиться — лишь усугубляет и вскрывает их порочность».

Но есть в заметке Пура и нечто «новое». Она направлена не только и даже не столько против Моравиа, сколько против итальянского народа, который, видите ли, «слишком быстро начал называть поражение освобождением, а освобождение победой», которому-де не очень-то пристало распространяться об ужасах войны, потому что он не пережил таких бомбардировок, какие испытали, скажем, англичане, который якобы проявил черную неблагодарность, позволив себе критическое отношение к действиям союзников, и который, по мнению Пура, едва ли был искренен в выражении своих антифашистских чувств.

Мы не станем подыскивать достаточно сильные выражения, чтобы ответить на все эти тирады. Заметим только, что здесь критика переходит в свою противоположность: если нападки на писателя логикой вещей перерастают в злобные выпады против его народа, это только доказывает народность, а значит, и непреходящее значение его творчества.

К. Наумов

ПОВЕСТЬ О БОЛЬШОМ ХУДОЖНИКЕ

□

まつやま・ふみお
柳瀬正夢, 東京, 五味書店, 1956

□

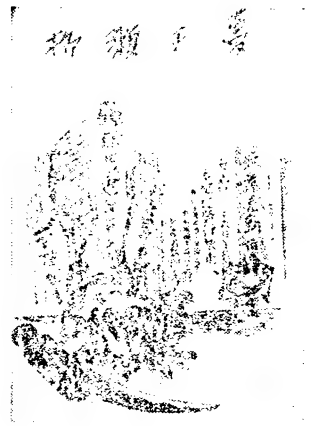
В послесловии к своей книге художник-карикатурист Мацуяма Фумио пишет, что считал своим долгом написать книгу о Янасэ Масаму — выдающемся художнике, творчество которого представляет целую эпоху в развитии революционного искусства Японии.

Эта книга, написанная живым и страстным языком, является не только биографией, не только очерком творчества художника, но и правдивым рассказом о развитии пролетарского искусства Японии в годы его наивысшего подъема.

Двадцатые годы в Японии ознаменовались подъемом прогрессивного искусства: появилось так называемое «Движение пролетарского искусства». Оно было связано с усилением революционной борьбы японского рабочего класса, с ростом его классового сознания под влиянием Октябрьской социалистической революции. Автор книги пишет: «Замечательной особенностью этого периода является то, что в искусстве полуфеодальной Японии возникло революционное классовое движение в его наиболее яркой и выразительной форме».

«Движение пролетарского искусства» неотделимо от имени Янасэ Масаму точно так же, как развитие прогрессивной литературы тесно связывают с именем Кобаяси Такидзи — основоположника пролетарской литературы в Японии.

Янасэ Масаму прожил короткую жизнь, он погиб в возрасте сорока шести лет во время бомбардировки Токио, незадолго до окончания второй мировой войны. Но жизнь художника в искусстве продолжается, его картины до сих пор живут и



волнуют людей, призывают их к борьбе за лучшее будущее

Творчество Янасэ Масаму развивалось в те годы, когда различного рода формалистические школы и течения в искусстве получили в Японии большое распространение. Было очень легко попасть в водоворот этого мутного потока и потонуть в нем.

Ранние работы Янасэ Ма-

саму носят следы влияния формалистических течений. То было своеобразной данью времени, моде. Но дальнейшее развитие творчества художника пошло иным путем. Из художника-пейзажиста, увлекающегося формалистическим искусством, он стал художником-графиком, мастером политического плаката и карикатуры.

Этот поворот в творчестве художника произошел тогда, когда Янасэ сблизился с социалистическим рабочим движением, когда он впервые понял, что «художник — это солдат армии пролетариата», что назначение искусства состоит в служении народу. Связав свою жизнь и творчество с революционной борьбой рабочего класса, Янасэ Масаму преодолел влияние формализма. Его искусство приобрело реалистические черты, стало жизненным и боевым, доступным для самых широких народных масс.

Революционный подъем двадцатых годов в Японии способствовал возникновению ряда организаций революционного искусства, в том числе известной «Лиги пролетарских художников» (1929). Автор книги приводит большой фактический материал о деятельности этих организаций, дает им подробную характеристику, рассматривает ошибки, имевшие место в их деятельности. В Японии издано очень мало работ об этом интересном и сложном периоде развития национального искусства, поэтому книга Мацуяма Фумио представляет особую ценность как рассказ очевидца, как анализ событий прошлого, сделанный художником-коммунистом.

Янасэ Масаму возглавлял творческие организации передовых художников того времени, активно сотрудничал в их печатных органах. В этот период он создал огромное количество агитационных плакатов и политических карикатур. На протяжении 1925—1927 годов, а также в 1931 году карикатуры и плакаты Янасэ ежедневно появлялись на страницах «Пролетарской газеты». По его карикатурам и плакатам можно проследить все события политической жизни Японии того времени. «Работы Янасэ, — говорит Мацуяма Фумио,— это иллюстрация политической, экономической и социальной борьбы японского народа».

Большой интерес представляют плакаты Янасэ, призывающие к солидарности с рабочим классом Китая, к защите молодой Советской республики, плакаты, зовущие выступить в защиту Сакко и Ванцетти.

Янасэ Масаму — художник большого и многогранного таланта. Он был не только талантливым графиком. Он писал маслом, иллюстрировал детские книги, оформлял газеты и журналы, создав оригинальный рисунок шрифта для левой прессы, писал стихи и рассказы. Янасэ Масаму является также автором книги о немецком пролетарском художнике Гроссе, творчеством которого он одно время увлекался. Но наибольшей выразительности достигло его искусство в политической карикатуре и агитационном плакате. Продолжая традиции лучших мастеров национального искусства, Янасэ сделал свои плакаты и карикатуры острыми и выразительными. Они стали оружием классовой борьбы пролетариата того времени.

Позже, когда реакция обрушилась на рабочее движение, когда тысячи смелых борцов были брошены в тюрьмы, Янасэ был дважды арестован по делу об участии в движении пролетарского искусства. Однако аресты и пытки не сломили воли художника. По выходе из тюрьмы он продолжал работу в нелегальных партийных органах, принимал активное участие в сплочении сил революционного искусства.

В мрачные годы реакции тридцатых годов, когда японский империализм вел бешеную подготовку к агрессии в Китае, и затем в период войны на Тихом океане все левые печатные издания были закрыты. Потянулись годы вынужденного молчания и надежды на освобождение. Но Янасэ не суждено было дожить до окончания войны. Он погиб в расцвете творческих сил и таланта. Память о нем хранят его друзья и соратники, многочисленная армия прогрессивных художников современной Японии.

Автор книги о Янасэ Масаму сумел воссоздать обаятельный образ талантливого художника и борца, имя которого является символом передового искусства Японии, а жизнь — образцом служения народу.

А. Коломиец

РОМАН О ФРАНЦУЗСКИХ ПАРЛАМЕНТАРИЯХ

□

René Masson. Le parlementaire vertueux. Paris, Robert Laffont, 1957.

□

Рене Массон не новичок в литературе: в 1946 году он получил премию Стендаля за свою первую книгу рассказов «Жандармы и воры», а в 1955 году премию «Попюлист» за роман «Приятели милосердия». Новый роман «Добродетельный парламентарий» лишний раз доказывает, что автор талантлив и обладает зорким зрением. Все в этой книге как-то по-парижски легко, и в то же время грустно и полно безысходности. Но такова жизнь в тех кругах общества, которые рисует нам Рене Массон.

Роман приоткрывает завесу над той областью французской жизни, которая мало освещается в литературе,— этим в значительной степени и объясняется наш интерес к нему. Персонажами книги Массона являются по большей части депутаты парламента, «народные из-

бранники», как иронически называет их сам автор. Рассказ ведется от лица одного из таких депутатов, по имени Лурмель. Это сорокалетний циник, у которого ничего нет за душой и нет никакой цели в жизни, если не считать того, что он хочет найти тихую пристань, женившись на любовнице, и не прочь, конечно, получить министерский портфель.

В бурбонском дворце, где заседает парламент, представленный в романе в самой будничной обстановке, появляется новое лицо, депутат Жюстен Фюльбер, представитель города Шони, ветеринар по профессии.

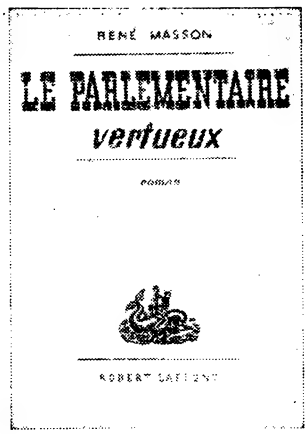
Рассказывая о жизни своего героя, Рене Массон набрасывает картину провинциального французского городка: глухие улицы, лавчонки, субботний базар, пахнущий овощами, болтовня обитателей под традиционными городскими платанами. Мы узнаем, что господин мэр приобретает на какие-то средства автомобиль и заводит любовницу, а в так называемом «Дворце коровы», где занимаются улучшением породы коров, обнаруживается грандиозная растрата.

Представитель этого городка в парламенте, Фюльбер, не в пример многим своим согражданам — честный и простодушный человек. Неожиданно очутившись в сутолоке парижской жизни, Фюльбер знакомится с нравами бурбонского дворца, заводит дружбу с Лурмелем, хотя тот испытывает к нему высокомерное презрение. Лурмеля, знакомого со всеми тонкостями парламентской кухни, раздражает этот чудак, не понимающий карикатур, донкихотствующий по пустякам и принимающий всерьез свой депутатский мандат.

Неприязнь Лурмеля к Фюльберу усугубляется мотивами чисто личного порядка. У Лурмеля связь с очаровательной Аньес, секретаршей лидера той партии, к которой принадлежат оба депутата. Но это не мешает Лурмелю завести интрижку с женой Фюльбера, Сюзи, хотя изысканный парижанин и подсмеивается над ее провинциальными манерами и розовыми шляпками. В общем — банальный адюльтер, со встречами по пятницам в укромном кафе на авеню Фурш. Между тем, Аньес начинает чувствовать симпатию к Фюльберу за его «идеализм», за желание расчистить авгиевы конюшни парламента, и в конце концов Лурмель остается в полном одиночестве.

Впереди незаметно подкрадывающаяся старость, горькие мысли по утрам в неопрятной холостяцкой комнате. Впрочем, после очередного министерского кризиса Лурмель еще имеет возможность за свою преданность лидеру партии получить портфель министра.

Фюльбер попытался издавать в Шони независимый печатный орган. Лурмель иронизирует над затеей наивного парламентария, так как подобным изданиям затыкают рот. И действительно, из этой попытки ничего не вышло. Но Фюльберу удается все-таки напечатать в другой шонийской газете со смешным названием «Обозрение ярмарок и базаров» разоблачительное сообщение, касающееся знаменитого генерала. Несмотря на то, что газетку читают четыре нотариуса и три торговца, все же происходит парламентский скандал. Чтобы замять дело, в ход пускаются все средства. В результате редактор «Обозрения» пускает себе пулю в лоб, а Фюльбер горько рыдает. Конечно, Лурмель и на эти слезы смотрит с брезгливой гримасой.



Однако и Фюльбер и Лурмель только статисты. В действительности событиями руководят люди, которые не появляются на страницах романа, за исключением Келлермана, типичного политикана, который стоит во главе искусственно сколоченной партии, получающей поддержку от подозрительных финансовых групп. Заправилы партии ждут удобного случая, чтобы сформировать правительство. И когда Фюльбер протестует против парламентских махинаций лидеров и выходит из партии, ему резонно замечают, что ведь и его избрание было оплачено из той же кассы. Этот второй план романа, разоблачающий мир политиканов и бульварных журнальчиков,— самое интересное в книге.

Конечно, не Фюльбер опора борьбы за справедливость во Франции; но Рене Массон не захотел или не смог развернуть свой роман в широкое полотно французской жизни, ограничившись узкими рамками одной малопочтенной политической партии и личной жизнью двух-трех депутатов.

Ант. Ладинский

АНГЛИЯ

НОВЫЕ СТИХИ РОЯ ФУЛЛЕРА

Рой Фуллер принадлежит к тому поколению современных английских поэтов, которые выступили в 30-е годы с произведениями, проникнутыми пафосом борьбы с фашизмом. В отличие от некоторых своих собратьев, пытающихся рассматривать социальные стихи как «грехи молодости», Рой Фуллер сохраняет критическое отношение к современной буржуазной действительности. Об этом свидетельствуют не только его романы «Двойной занавес» и «Лицо общества», в которых писатель рисует неприглядную картину современных английских нравов, но и последний сборник стихов «Сад Брута», выпущенный издательством Андре Дейч.

Газеты отмечали, что сборник отличается от произведений других английских поэтов тем, что Рой Фуллер по-прежнему пишет о несправедливостях окружающей его жизни. Правда, как подчеркивает обозреватель журнала «Букс энд букмен», поэт не всегда прямо выражает свое отношение к общественной проблематике современности, «нередко предпочитая мифологические и исторические аналогии».

Обозреватель «Таймс литерари сапплмент» выделяет иронический тон и критический дух этих стихов. Спокойствие его строгих, лишенных украшения поэтических строф, пишет он, оказывается обманчивым. Под скучной обыденностью того, о чем он пишет, чувствуется ужас перед несправедливостями, страстное и «трогательное сочувствие к жертвам». По мнению обозревателя, в этом и заключается «истинное значение Роя Фуллера как писателя», человека, для которого на первом плане стоит выступление против социальной несправедливости, «вера в общество, где у всех будут одинаковые права».

ЧТО ПРОИСХОДИТ С АНГЛИЙСКИМ КИНО?

По сообщениям печати, кинематография Англии переживает сегодня один из самых мрачных периодов своей истории. «Обзёрвер» приводит такие красноречивые цифры: после войны в стране закрылось 500 кинотеатров, из них 400 — начиная с 1956 года. А прогнозы на будущее еще менее утешительны. «Оптимисты говорят,— пишет газета,— что из существующих в настоящее время 4100 кинотеатров исчезнет тысяча, а пессимисты в своих расчетах доходят до двух тысяч».

Англичане перестают ходить в кино. В прошлом году, подчеркивает «Обзёрвер», посещаемость английских кинотеатров была ниже, чем до войны.

Английский режиссер Клайв Доннер на съемке фильма «Сердце ребенка» объясняет маленькому артисту Ричарду Уильямсу задачу, которую тот должен выполнить в очередной сцене.

(Журнал «Филм энд филминг»).

Резко сокращается выпуск кинофильмов. Одна из студий крупнейшей кинокомпании «Рэнк организейшн» сначала запланировала выпустить в 1958 году двадцать фильмов. Если положение не улучшится, сообщил корреспонденту «Обзёрвера» управляющий фирмы, эта цифра будет сокращена до девяти фильмов.

«Рэнк организейшн» спешно превращает свои закры-

тые кинотеатры в танцевальные залы. «Обзёрвер» приводит слова одного директора независимого кинотеатра в Уэст Мидленде, с грустной иронией заметившего, что если «владелец кинотеатра хочет получить от него прибыль, он должен быть готов превратить его в лавку по продаже мороженого».

Пытаясь установить причины столь плачевного состояния английской кинематографии, «Обзёрвер» указывает, что «одни объясняют его конкуренцией телевидения, другие низким жизненным уровнем англичан, третьи самими фильмами, которые кажутся им чересчур «роскошными» по сравнению с теми условиями, в которых живут люди».

Англичанам надоела стандартная голливудская и подражающая ей английская кинопродукция. Об этом пишут сами кинозрители в своих письмах, часто появляющихся за последнее время на страницах английских газет и журналов.

Как пытаются поправить свои дела кинодельцы? Они, например, просят правительство снять налог на зрелищные предприятия. «Но даже если в новом бюджете,— пишет «Обзёрвер»,— будет предусмотрена отмена налога, то и тогда это не спасет многие кинотеатры — таково мнение, на котором единодушно сходятся почти все работающие в кинопромышленности».

Что же касается конкурентной борьбы с телевидением, то газета с нескрываемой насмешкой рассказывает о том, какую «энергию» проявили четыре крупнейшие английские киномонополии, когда узнали, что американская кинокомпания «Парамоунт» продала телевидению свою фильмотеку художественных картин, выпущенных до 1948 года. Узнав об этом, все четыре киномонополии послали фирме «Парамоунт» грозное предупреждение: если проданные фильмы появятся на экранах английских телевизоров, то ни один из фильмов «Парамоунт» не появится на экранах кинотеатров. «Но, кажется,— иронически замечает «Обзёрвер», — требовать гарантии уже немного поздно».

Видимо, подобные гарантии не помогут английской кинематографии. «Мы хотим хороших фильмов, не так ли? Или еще чего-нибудь лучшего». Этими словами одного владельца английского кинотеатра заключает свою пространную статью «Обзёрвер». И с этим мнением трудно не согласиться, ибо английский зритель хочет видеть интересные и полезные фильмы. Тогда он перестанет бойкотировать кинотеатры.

БИРМА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

Недавно в Рангуне состоялась художественная выставка, организованная бирманским обществом переводчиков (БОП). На ней экспонировались работы ряда ведущих бирманских художников и скульпторов.

Из большого числа работ, представленных на рассмотрение выставочного комитета, было отобрано 137 картин, выполненных акварелью, и 85 — маслом, а также 8 скульптур из гипса и воска.

Среди картин, получивших наивысшую оценку комитета,— акварельный портрет лауреата Международной премии Мира писателя Такин-Кодо Хмаинга, написанный М. Н. Туном, картина О. Маунга «Базар близ Бхамо» и ряд других.

Как сообщает «Нью таймс оф Бирма», живой интерес посетителей вызвали представленные на выставке две пагоды — Шведагон и Паган Бу,— выполненные из соломки на фоне черного атласа (художник У Тин).

На открытии выставки, которое состоялось в присутствии членов правительства, дипломатического корпуса и общественных деятелей, выступил д-р У Маунг.

Отметив, что искусство занимает ведущее место в культурной и социальной истории бирманского народа, У Маунг провел параллель между искусством и литературой.

«Назначение литературы,— сказал У Маунг,— отражать жизнь. Чтобы правильно понять ее, необходимо использовать не только свой жизненный опыт, но и опыт других. Литература обогащает именно таким жизненным опытом. Тем же целям служит и искусство. Искусство и литература являются гранями одного и того же эстетического опыта.

Необходимо,— продолжал д-р Маунг,— поощрять развитие искусства в Бирме. В этом деле большая роль принадлежит художественным выставкам, которые намечено проводить ежегодно».

БОЛГАРИЯ

ПОВЕСТЬ О ПРОШЛОМ

В одном из последних номеров журнала «Септември» рассказывается о повести Спаса Кралевски «Железнодорожники».

События, о которых говорится в повести,— знаменитая стачка железнодорожников, потрясшая всю Болгарию, — происходили вскоре после окончания первой мировой войны.

Главный герой повести — юный Панчо. Его характер мужает в атмосфере нелегкой борьбы рабочих. Демонстрации, митинги, стычки с полицией, превращение вчерашних крестьян, незаметных стрелочников и кочегаров в сознательных бойцов — все это производит на мальчика неизгладимое впечатление. Но он не только наблюдатель, а и посильный участник событий. Сам полуголодный, Панчо разносит еду по домам наиболее нуждавшихся, собирает деньги в стачечный фонд среди своих одноклассников.

Соприкосновение с бастующими дает ответ на вопросы, которые давно уже возникали в душе подростка. И хотя стачка заканчивается поражением, читателю ясно: встанут новые бойцы — Панчо и его сверстники — и под руководством партии коммунистов доведут борьбу до победы.

Спас Кралевски сумел с большой яркостью показать зреющий в юном герое протест, бунт против неправды жизни. Этот процесс, пишет рецензент «Септември», прослежен писателем без словесных деклараций, без экзальтации, спокойно и непринужденно. Положительно оценивает журнал и образ матери Панчо, молчаливой, много выстрадавшей женщины, до конца преданной своей семье, а значит, и делу, за которое борются ее муж и сын.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ЭПОПЕЯ В КАРТИНАХ

В Софии состоялась выставка картин русских и румынских художников, посвященных войне 1877-1878 гг. за освобождение Болгарии от турецкого ига.

Впервые жители столицы имели возможность увидеть оригиналы полотен, запечатлевших такие исторические события, как форсирование Дуная русскими войсками, первые бои на болгарской земле, легендарную оборону Шипки. Особенно сильное впечатление на посетителей выставки произвели полотна знаменитого художника-баталиста Верещагина «Побежденные», «Панихида» и «Перед атакой», а также картины художников Дмитриева-Оренбургского, Поленова, Покова и других.

«Выставка «Освободительная война в картинах и рисунках»,— пишет газета «Литературен фронт»,— большой и радостный праздник в нашей культурной жизни. Она является прекрасным выражением живой и плодотворной связи между нашим народом и братскими народами Советского Союза и Румынии».

БРАЗИЛИЯ

ЮБИЛЕЙ ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА

Исполнилось 60 лет со дня рождения и 40 лет творческой деятельности выдающегося художника Эмилиану ди Кавалканти. С именем этого мастера кисти связано утверждение в бразильской живописи национально-патриотического направления.

В полотнах ди Кавалканти нашли подлинно реалистическое воплощение типы людей северо-восточных штатов — крестьяне, ремесленники, рабочие,— сцены из сельской и городской жизни, значительные события наших дней. Особенно известны его женские портреты, в частности, мулаток, за которые он получил ряд международных премий.

Деятельность ди Кавалканти многогранна. Он не только художник, но и скульптор, писатель, поэт, журналист. Человек передовых убеждений, ди Кавалканти в течение последних четырех десятилетий последовательно выступает против сил реакции и войны. В странах Латинской Америки его хорошо знают как испытанного антифашиста и демократа. За свои взгляды ди Кавалканти не раз подвергался преследованиям и арестам, которые все же не смогли сломить этого мужественного патриота.

Ди Кавалканти принимает активное участие в борьбе бразильской общественности за проведение в стране демократических преобразований. Он сотрудничает в прогрессивном двухнедельнике «Пара тодос» и является художественным редактором журнала «Лейтура».

В дни 60-летия ди Кавалканти в Рио-де-Жанейро вышел в свет альбом репродукций последних работ художника. Его творчеству посвящены выставки, недавно открытые в Музее современного искусства в Сан-Паулу, в картинных галереях Сан-Сальвадора и Рио-де-Жанейро, а также специальные выпуски журналов «Пара тодос», «Жорнал ди летрас» и «Лейтура». Жоржи Амаду опубликовал в «Пара тодос» очерк, рисующий яркий образ этого замечательного художника и гражданина Бразилии.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО В БРАЗИЛИИ

Начало 1958 г. ознаменовалось крупным событием в литературной жизни Бразилии. Как сообщает бразильский двухнедельник по вопросам культуры «Пара

Художник Э. ди Кавалканти в своей мастерской. (*Журнал «Лейтура»*).

тодос», издательства «Вербум» в Рио-де-Жанейро и «Итатиайа» в Белу-Оризонти выпустили в новом переводе роман Л. Н. Толстого «Война и мир».

Произведения великого русского писателя стали переводиться в Бразилии сравнительно недавно. Впервые издательство «Сивилизасáн» выпустило его повесть «Хаджи Мурат» в 1934 году. Впоследствии произведения Л. Н. Толстого издавались в стране неоднократно. Так стали достоянием читателя «Казаки», трилогия «Детство», «Отрочество» и «Юность», «Крейцерова соната», «Поликушка», «Рубка леса» и ряд других. Роман «Воскресение» издавался в Бразилии трижды, а «Анна Каренина» выдержала шесть изданий. Роман «Война и мир» издан в этом году в новом переводе известного литературоведа Оскара Мендеса.

«Издание этого произведения обогатило бразильскую литературу одним из высочайших достижений человеческой мысли»,— отмечает «Пара тодос». Четырехтомное издание иллюстрировано работами советского графика Д. Шмаринова.

Публикация романа Л. Н. Толстого «Война и мир» открыла новую серию «Вечный роман», которая начала издаваться с этого года в Бразилии.

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ

Творчество Грасилиану Рамоса — одно из самых интересных явлений в литературной жизни современной Бразилии. Поборник передовых идей нашего века, выдающийся художник слова, этот писатель снискал себе любовь и уважение всех соотечественников. Его романы «Детство», «Тоска», «Никчемные души» затрагивают острые социальные проблемы северо-восточных штатов страны. Они переведены на многие языки мира. Не меньшей известностью пользуется его последняя работа «Записки из тюрьмы». Грасилиану Рамос был большим другом Советского Союза, куда приезжал в 1952 году, побывав также в Чехословакии. Об этой поездке он написал в своей книге «По Советскому Союзу и Чехословакии».

Бразильская общественность бережно относится к творческому наследию Грасилиану Рамоса. Выходящий в настоящее время в Рио-де-Жанейро журнал «Лейтура» публикует на своих страницах некоторые произведения писателя. По сообщению того же журнала, недавно в городе Палмейра-дуз-Индиус, где писатель жил и работал в течение многих лет, принято решение об открытии музея Грасилиану Рамоса.

ВЕНЕСУЭЛА

ФИЛЬМ О БОЛИВАРЕ

По сообщениям газеты «Насьон», итальянский продюсер и режиссер Дино Де Лаурентис принял предложение латиноамериканских кинематографистов руководить постановкой фильма о герое национально-освободительного движения в Латинской Америке Симоне Боливаре. Фильм будет создан по биографическому роману о Боливаре, написанному аргентинским писателем Энрике Кампос-Менендесом. Съемки новой кинокартины будут проходить в Южной Америке и Европе.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПЛАНЫ И ДЕЛА ИЗДАТЕЛЬСТВА «АУФБАУ-ФЕРЛАГ»

По старой традиции на весенней ярмарке в Лейпциге, в так называемом Ганзейском доме, состоялся «парад книги». Издательства ГДР, участвовавшие в выставке, демонстрировали на стендах множество новинок.

Как отмечает газета «Нейес Дейчланд», на лейпцигской ярмарке в этом году особенно явственно почувствовалось, как органично входят в культурную жизнь республики старые и новые издательские имена. К числу таких новых, но уже зарекомендовавших себя издательств относятся «Ауфбау-ферлаг» и «Мительдейчер ферлаг». Первое из них намерено опубликовать книги в серии «Ряд». Эта серия будет включать все литературные жанры. Так будут изданы литературные пародии Р. Шнейдера «Из вторых рук», стихи У. Бергера, роман Г. Ледига «Кулачное право», рассказы, фельетоны.

В плане издательства «Ауфбау-ферлаг» — выпуск кинороманов Фридриха Вольфа. Кроме того, сообщает «Нейес Дейчланд», издательство готовит к печати новые произведения, законченные известными немецкими писателями,— том рассказов Анны Зегерс под названием «Хлеб и соль», двухтомник новых стихотворений Иоганнеса Бехера. Будет издан сборник писем Фридриха Вольфа.

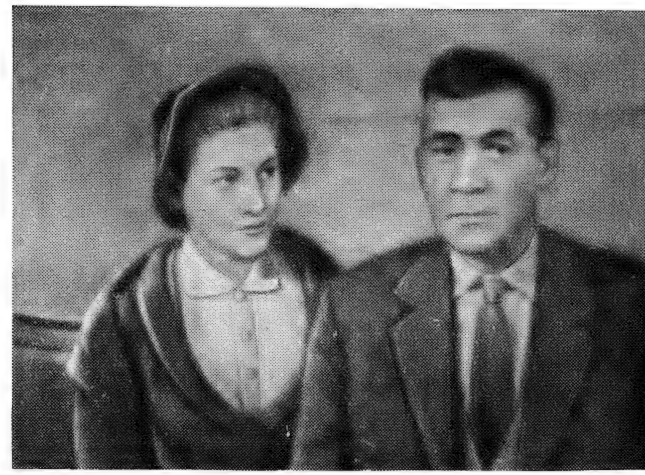
Газета «Дер морген» высоко оценивает начинание издательства «Ауфбау-ферлаг», выпускающего классику в серии «Немецкая народная библиотека». Уже вышли собрания произведений Э. Т. А. Гофмана, И. П. Гебеля, полное собрание сочинений Готфрида Келлера (крупнейшее за всю историю издание произведений швейцарского классика).

Немалое место в работе «Ауфбау-ферлаг» занимает выпуск произведений иностранной литературы. На ярмарке в Лейпциге были представлены отдельные произведения Достоевского, сборник рассказов Лакснесса. Выпущен первый том десятитомного собрания произведений Константина Федина.

НОВЕЛЛА ЛЕОНГАРДА ФРАНКА НА ЭКРАНЕ

Студия ДЕФА снимает по одноименной новелле западногерманского писателя Леонгарда Франка художественный фильм «Возвращение Михаэля». Режиссер фильма — Герберт Бальман, в главных ролях снимаются артисты Раймунд Шельхер и Гизела Улен.

Знакомя читателей со сценарием нового фильма, газета «Дер морген» отмечает, что значение этого произведения — в его изобличительной силе. Фашизированный государственный аппарат Западной Германии пользуется целым арсеналом средств и методов в борьбе с антифашистскими, демократическими элементами. Показав этот аппарат в своем произведении, Леонгард Франк дал возможность кинематографистам демократической Германии выступить против фашизации Западной Германии средствами киноискусства.



Кадр из фильма «Возвращение Михаэля». В главных ролях Гизела Улен и Раймунд Шельхер.
(Газета «Дер морген»).

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ГЕНРИХА МАННА

Двадцать шесть — тридцать томов составит планируемое Немецкой академией искусств издание произведений Генриха Манна.

Подготовка этого историко-критического издания стала возможной благодаря инициативе дочери писателя — Леони Манн-Ашкенази, передавшей все литературное наследство Генриха Манна через правительство Чехословацкой Республики в собственность ГДР. Ценнейшее наследство Генриха Манна, отмечает газета «Дер морген», заняло особое место среди одиннадцати литературных архивов, хранящихся ныне в секции литературы Немецкой академии искусств.

По словам журнала «Зонntаг», первые два тома издания выйдут в свет в 1961 году — к 90-летию со дня рождения писателя.

Сцена из оратории Игоря Стравинского «Царь Эдип» в постановке Государственного баварского оперного театра.
(Журнал «Дас шёнсте»).

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Писатель Маи Тук Люан рассказал на страницах французского коммунистического журнала «Пансе» о литературной жизни его страны. При колониальном режиме, пишет он, книги прогрессивного направления запрещались и были недоступны для народа. Лишь теперь литература стала достоянием масс. За истекшие 12 лет, пишет Маи Тук Люан, пришлось преодолеть много трудностей на пути возрождения национальной культуры страны. В прошлом году среди писателей Вьетнама развернулась дискуссия, отразившая борьбу различных тенденций в литературе. В ходе этой дискуссии передовые писатели вели борьбу с группой Фан Кхои, которая пыталась под демагогическими лозунгами защитить давно отжившую теорию «искусства для искусства». Некоторые писатели выступали против руководящей роли партии в вопросах литературы. Однако все эти попытки потерпели неудачу.

Автор статьи сообщает далее, что в республике ежегодно издаются десятки романов, повестей и сборников стихов.

Характеризуя наиболее яркие достижения последних лет, Маи Тук Люан останавливается на ряде произведений. Он называет недавно опубликованный роман молодого писателя Нгуена Нгока «Страна поднимается», имевший большой успех у читателей. Роман повествует о жизни и борьбе горных племен Южного Вьетнама. Повесть романиста и драматурга Нгуена Хюи Тыонга «Западня» посвящена событиям тяжелых лет, предшествовавших Освободительной войне 1944—1945 гг., когда около двух миллионов крестьян погибло от голода. Молодой писатель Нгуен Каи посвятил свою книгу «Конфликт» одной из самых актуальных проблем страны — аграрной реформе. Важнейшей проблемой сегодняшнего дня во Вьетнаме, пишет автор статьи, является объединение страны. Ей посвящено много произведений в прозе и стихах.

Маи Тук Люан рассказывает о том, что многие южно-вьетнамские писатели перешли в Народно-демократический Вьетнам. Так, он называет писателя Хоанг Ван Бона, опубликовавшего недавно роман «Розы и хризантемы», в котором описываются события и атмосфера Южного Вьетнама, стремление вьетнамцев к воссоединению страны.

В заключение автор статьи пишет, что в 1957 году была образована Ассоциация вьетнамских писателей, объединившая группу передовых литераторов. Писатели внимательно изучают теорию социалистического реализма. Они стремятся повышать идейный и художественный уровень своих произведений, глубже проникать в жизнь народа, чтобы создавать еще более зрелые и правдивые книги.

ИНДИЯ

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБРАМАНЬЯ БХАРАТИ

В конце прошлого года в Москве отмечалось 75-летие со дня рождения крупнейшего индийского поэта, основоположника современной тамильской поэзии Субраманья Бхарати. По решению Венского конгресса сторонников мира, его произведения будут переводиться на языки разных стран.

Индийская пресса сообщает, что в Мадрасе вышли из печати две книги, посвященные жизни Субраманья Бхарати. Профессор П. Махадеван опубликовал первую подробную биографию поэта — «Субраманья Бхарати, патриот и поэт». Автор обстоятельно знакомит в ней с политической обстановкой в Индии конца XIX столетия. Это помогает правильно понять разностороннюю общественную и литературную деятельность Бхарати и оценить его роль в борьбе за независимость страны. Кроме того, автор дает критический анализ его творчества. В монографию включены отрывки из произведений поэта.

«Читра Бхарати» («Жизнь Бхарати в фотографиях») — так называется вторая книга. Это иллюстрированная биография поэта, составленная Р. А. Падманабхан. Автор посвятил созданию этого труда не один десяток лет. Он лично побывал во всех местах, связанных с жизнью и творчеством Бхарати, вел многолетнюю переписку с близкими ему людьми, собирая фотографии и документы и проверяя различные факты литературной и общественной деятельности поэта. В книге помещены оригиналы писем Бхарати, фото журналов, которые он издавал, и многие другие материалы.

«САГА ОБ ИНДИЙСКОЙ СКУЛЬПТУРЕ»

В издательстве «Бхаратья видья бхаван» (Бомбей) вышла первым дешевым изданием монография К. М. Мунши «Сага об индийской скульптуре». В книге 185 фоторепродукций, демонстрирующих образцы всех школ древней индийской скульптуры. На фотографиях показаны и менее известные скульптурные произведения Уттар Прадеша, Раджастана, Гуджарата. В альбоме представлены не только фотографии. Автор обстоятельно рассказывает о различных художественных школах, оценивает отдельные произведения.

Коллекция дает довольно полное представление о замечательных памятниках индийского искусства, отмечает рецензент газеты «Стейтсмен». Как подчеркивают другие газеты, книга хорошо оформлена и создает в целом убедительную картину богатейшего наследия Индии в области пластических искусств.

ИТАЛИЯ

«ДЕЛО» ПЕЙРЕФИТТА

Вот уже много времени вся римская, а также и парижская печать занимается «делом» Пейрефитта. Роже Пейрефитт — известный французский писатель, бывший дипломат, проработавший долгое время в Риме во французском посольстве при Ватикане и близкий к католическим кругам. Известность Пейрефитту принес его роман-памфлет «Посольства», разоблачавший нравы дипломатического мира французской столицы. После опубликования этой книги Пейрефитту пришлось оставить дипломатическую карьеру. В скором времени он выпустил продолжение — книгу «Конец посольств», также имевшую большой успех у читателя.

Французский писатель Роже Пейрефитт. *(Журнал «Вие нуове»).*

Но еще больше шума во Франции, а также во всех католических странах, особенно в Италии, наделали его книги «Ключи святого Петра» и «Кавалеры Мальтийского ордена», освещающие закулисную сторону жизни Ватикана и Мальтийского ордена — подлинных «государств в государстве». В этих романах-памфлетах, в частности, рассказывалось о «мирской» деятельности Ватикана, католических прелатов, членов семейства папы Пия XII — о различного рода финансовых махинациях, сделках, спекуляциях, вскрывались коррупция, царящая в высших сферах католической церкви, связи Ватикана с политическими и деловыми кругами Италии и т. п. Итальянское издание книги «Ключи святого Петра» по настоянию Ватикана было запрещено еще два года назад, а в начале этого года происходил ряд судебных процессов против книготорговцев, продававших эту книгу в Италии. Мотивы запрещения: «оскорбление главы иностранного государства (т. е. папы римского), церкви и религии».

Однако это запрещение и процессы явились лишь прелюдией к преследованиям самого Пейрефитта Ватиканом и послушными ему итальянскими властями. Поводом к кампании против французского писателя явилось опубликование в римской газете «Паэзе сера» перевода его статьи «Папский Рим», помещенной до этого в одном из парижских журналов. Орган Ватикана газета «Оссерваторе романо», а вслед за ней римские газеты «Куотидиано» — орган светской организации Ватикана «Католическое действие» и «Пополо» — орган правящей христианско-демократической партии обрушились на Пейрефитта с самыми невероятными обвинениями, всячески оскорбляя и понося его и даже требуя его высылки из Италии (не подозревая о тучах, собирающихся над его головой, Пейрефитт в это время уединенно жил на острове Сицилия, в деревне возле Таормины, работая над новым романом).

Одновременно с беспрецедентной по своему грубому тону кампанией католической печати против французского писателя Ватикан предпринял дипломатический демарш перед итальянским правительством, требуя возбуждения против Пейрефитта судебного дела по тем же мотивам, по которым в Италии запрещена его книга «Ключи святого Петра». Итальянские власти послушно выполнили это требование; одновременно к суду привлечен и заместитель ответственного редактора газеты «Паэзе сера» Микеле Салерно. Из книжных магазинов в городах Италии полиция изымает произведения Пейрефитта, в Милане полицейские потребовали от хозяина типографии, где печатается перевод «Ключей святого Петра», рассыпать набор. Французский писатель, со своей стороны, подал в суд на газету «Оссерваторе романо», обвиняя ее в диффамации, и обратился к итальянской и французской печати с призывом защитить его от преследований, которым он подвергся со стороны Ватикана и итальянских властей.

Пейрефитт горячо любит Италию. Одна из его книг — путевые заметки «От Везувия до Этны» — посвящена югу страны. «Никто не может обвинить меня,— ска-

зал Пейрефитт в одном интервью, — что я нарушил обязанности гостя. Я думаю, что нахожусь в Италии, в демократической и свободной стране, а не в государстве Ватикан».

На имя Пейрефитта поступают десятки писем и телеграмм от деятелей культуры Италии и Франции с выражением солидарности. Опубликовано обращение в защиту Пейрефитта от имени Национального комитета писателей Франции за подписью Луи Арагона. Итальянский писатель и кинорежиссер Марио Солдати, писатель и художник Карло Леви, писатель Джованни Комиссо выступают инициаторами сбора подписей итальянских деятелей культуры под манифестом протеста против преследований французского писателя. В поддержку Пейрефитта также выступил и видный католический писатель Джанкарло Вигорелли. Даже один из членов правительства Италии — министр Карли направил Пейрефитту в «личном порядке» телеграмму с выражением солидарности, чуть было не поплатившись за это своим министерским постом.

Итальянская прогрессивная печать отмечает, что преследование французского писателя не случайно было начато именно теперь — оно является составной частью общего широкого наступления, предпринятого Ватиканом и католической церковью в Италии.

«Дело» Пейрефитта — столь же явное и вопиющее вмешательство Ватикана во внутреннюю жизнь Италии, как и нашумевшее «дело» Белланди — итальянского гражданина, подвергшегося по наущению епископа города Прато травле и избиению.

«Дело» Пейрефитта выходит далеко за рамки «литературного скандала», как его хотели бы представить некоторые правые газеты. Призывая дать отпор наступлению католической реакции, прогрессивная печать указывает, что преследования Пейрефитта следует рассматривать не только в свете жизненно важной для Италии и особенно актуальной в настоящий момент проблемы отношений между государством и церковью, но и как очередную попытку католической реакции расправиться с писателем, позволившим себе критиковать Ватикан.

Кадр из кинофильма «Великая голубая дорога». В роли Скуарчо — Ив Монтан.

(Газета «Унита»).

ЭКРАНИЗАЦИЯ ПОВЕСТИ СОЛИНАСА «СКУАРЧО»

Итальянская печать помещает подробные рецензии, посвященные фильму итало-франко-югославского производства «Великая голубая дорога», поставленному режиссером Джилло Понтекорво по повести молодого писателя Франко Солинаса «Скуарчо» — произведению, привлекшему своей свежестью и яркостью большое внимание литературной критики и читателей в прошлом году. В центре фильма, как и в повести Солинаса,— самобытная и красочная фигура сардинского рыбака Скуарчо, который, чтобы спасти свою семью от нищеты, прибегает к недозволенному средству лова — он глушит рыбу динамитом. Действия Скуарчо выглядят как бунт одиночки против окружающей его нищеты и бесправия. Автор сценария Солинас и режиссер Понтекорво показывают, что этот индивидуальный протест Скуарчо обречен на неудачу. Ни ловкость, ни смелость, ни хитрость Скуарчо не могут ему помочь, пока он борется в одиночку против нищеты, суровой стихии. Осознает это и сам Скуарчо, но поздно: он гибнет, подорвавшись на самодельной мине.

Прогрессивная печать дает высокую оценку фильму, отмечая, что он, благодаря острой социальной теме и углубленному раскрытию внутреннего мира героя, является значительным вкладом в дело развития итальянского неореализма. Снимался фильм в Далмации и в Риме. Исполнитель роли Скуарчо — Ив Монтан.

ПОСЛАНИЕ ДЗАВАТТИНИ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОННИКОВ МИРА

На происходившей во Флоренции Национальной конференции сторонников мира было зачитано письмо, присланное известным писателем и кинодраматургом Чезаре Дзаваттини. В своем послании Дзаваттини

напоминает деятелям культуры о той ответственности, которая лежит на них в борьбе «против слепого страха войны, против неспособности создать реальные условия, могущие обеспечить мир, против убеждения иных в том, что человек якобы не может больше сам распоряжаться уготованной ему судьбой, против распространения настроений фатализма и всякого рода мистики, пытающихся оправдать войну».

«Я обращаюсь к представителям итальянской культуры,— говорит Дзаваттини,— с призывом помочь нам найти такие средства художественного выражения, такой язык, чтобы мы могли выразить стремление к миру... Всегда горячо восторгаясь достижениями культуры и ее деятелями, я неизменно мечтал о том, чтобы культура не была такой пассивной, как сейчас, а могла бы влиять на политику, чтобы она сама стала политикой. Это отнюдь не глупая утопия — надеяться, что представители итальянской интеллигенции найдут в себе силы включиться в борьбу за мир и сделают ее призванием своей жизни. Ведь культура — это мир, это уважение к человеку...»

КАНАДА

ИЗДАНИЕ ЛУЧШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Издательство «Макклелэнд энд Стюарт» приступило к выпуску массовой дешевой серии лучших произведений канадской литературы. Вышли первые четыре книги этой серии: сборник путевых очерков «По дорогам прерий» Фредерика Гроува, впервые опубликованный в 1922 году, роман 30-х годов «Такова моя возлюбленная» Морли Коллахана, сборник сатирических произведений Стивена Ликока «Литературные ляпсусы» и, наконец, роман Синклера Росса «Что касается меня и моего дома» о жизни захолустного городка канадских прерий.

До конца 1958 года предполагается выпустить еще две книги: «Железная лютня» Габриэллы Рой и Сэма Слика и «Часовщик» Томаса Холибертона.

Книги издаются в мягком переплете с иллюстрациями и предисловиями крупнейших специалистов по канадской литературе.

Газета «Кенэдиен трибюн» приветствует начинание издательства «Макклелэнд энд Стюарт» и желает ему успеха.

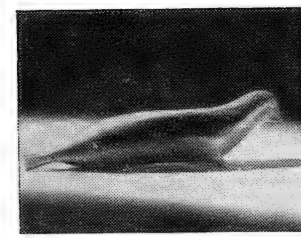
«ПШЕНИЧНАЯ БОГИНЯ»

Так называется вышедший недавно в Оттаве сборник фольклора канадских индейцев и эскимосов, составленный Дайамондом Дженессом и изданный Государственным музеем Канады.

«Кенэдиен трибюн» отмечает не только большую этнографическую, но и литературную ценность сборника.

«Жизнь индейцев,— пишет газета,— уже давно стала предметом исторической фальсификации. В наше время к этому добавляют свою лепту Голливуд и телевидение, создающие весьма далекое от действительности представление об индейцах».

В сказаниях и легендах, помещенных в сборнике, читатель найдет подлинную картину жизни индейского и эскимосского народов. Мужество, честность и верность — вот качества, присущие героям этих легенд, будь то эскимосская «Заколь-



Образцы изделий из кости и камня, экспонировавшиеся на выставке народного творчества канадских эскимосов, показанной в различных городах Англии в январе—апреле нынешнего года.

(Журнал «Студио»).

дованная жена» или ирокезская «Пшеничная богиня».

Сборник богато иллюстрирован и содержит карту размещения индейских и эскимосских племен.

КИТАЙ

ВЕЛИКИЙ КИТАЙСКИЙ ДРАМАТУРГ

В июне этого года, по решению Всемирного Совета Мира, отмечается 700-летие с начала творческой деятельности великого китайского драматурга Гуань Хань-цина.

Гуань Хань-цин родился в 20-х годах XIII столетия, а умер на рубеже XIV. Он был подлинным патриотом. Его глубоко волновала судьба родины, он скорбел о тяжелой доле народа.

Перу Гуань Хань-цина принадлежит более 60 пьес, из которых до наших дней сохранилось лишь около двадцати. Всю свою жизнь Гуань Хань-цин был тесно связан с народом, хорошо знал и понимал мысли и чаяния простых людей. С точки зрения народа он и показывал жизнь в своих пьесах. Народность драм Гуань Хань-цина и их реалистичность неотделимы друг от друга. Большинство его пьес—это «суд над жизнью» того времени. Его пьесы близки и понятны сегодняшнему зрителю именно благодаря своей правдивости, социальной направленности, актуальности, показу живых человеческих характеров и нравов эпохи.

В своем творчестве Гуань Хань-цин опирался на народные истоки искусства. В его пьесах сохранены все элементы, присущие народной драме,— злободневность, социальная направленность, образность и живость языка, широкое использование фольклора, обычаев и т. п. Все это определило глубоко национальный характер драматургии Гуань Хань-цина.

Широкая галерея персонажей, созданных Гуань Хань-цином, позволяет говорить о том, что его драматургия — это живая картина эпохи, в которой нашли отражение противоречия того периода, борьба классов, нравы и обычаи. Ярко выраженная антифеодальная направленность его пьес, их демократизм, так же как и высокое художественное мастерство, оказали огромное влияние на последующее развитие китайской драматургии. Многие образы Гуань Хань-цина до сих пор живут на китайской сцене, а некоторые из его драм переведены на русский, английский, французский, японский языки.

* * *

Как сообщает газета «Гуанминжибао», пекинские литературные издательства в связи с юбилеем Гуань Хань-цина издадут произведения великого драматурга. Китайское театральное издательство наметило выпустить «Сборник пьес Гуань Хань-цина», куда войдут все его сохранившиеся драматические произведения. Предполагается также издать «Избранные малоизвестные пьесы Гуань Хань-цина» и «Иллюстрации к пьесам». Издательство народной литературы выпустит в свет «Сборник избранных пьес Гуань Хань-цина», куда войдут наиболее значительные произведения драматурга.

ЗА РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Китайская ассоциация работников литературы и искусства, Союз китайских писателей, Союз китайских драматургов, Союз китайских композиторов и музыкантов и Союз китайских художников провели недавно совещания, на которых обсуждался вопрос о дальнейшем развитии литературы и искусства.

Выступая на одном из совещаний, заместитель председателя Китайской ассоциации работников литературы и искусства Чжоу Ян сказал, что в 1957 году была одержана большая победа в борьбе против правых элементов среди работников литературы и искусства. Работники литературы и искусства еще тверже встали на социалистический путь и в своей творческой работе добились больших успехов. Чтобы содействовать крутому подъему в области литературы и искусства, творческим работникам необходимо еще шире и глубже связаться с рабочими и крестьянскими массами и добиться не только того, чтобы у нас было больше художественных произведений, но и того, чтобы по качеству они были лучше, чем раньше. Поэтому работники литературы и искусства должны решительно идти в деревню, в горные районы, на заводы и фабрики, в воинские части и долгое время жить вместе с трудящимися. Это следует рассматривать как основной курс в области литературы и искусства.

Один из ключевых моментов в развитии творчества, продолжал Чжоу Ян, заключается в развертывании литературной критики. Чжоу Ян говорил о том, чтобы редакции всех литературных журналов и руководство творческих организаций развернули критику и свободную дискуссию путем опубликования статей, проведения собеседований. Все журналы должны в своей работе неуклонно придерживаться курса «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ».

Выступивший на совещании писатель Лао Шэ особо подчеркнул, что необходимо еще эффективнее использовать имеющиеся силы и всесторонне отображать различные новые явления нашей жизни. Писатель Чжао Шу-ли, драматурги Тянь Хань, Ян Хань-шэн, Оуян Юй-цянь, Цао Юй и кинорежиссер Цай Чу-шэн в своих выступлениях отмечали, что работники литературы и искусства должны одновременно работать как над крупными, так и над небольшими, но содержательными произведениями, своевременно откликаться на события и новые явления, характеризующие облик нашей эпохи.

На расширенном заседании президиума Китайской ассоциации работников литературы и искусства было решено вывести правые элементы — Дин Лин, Цзян Фэна, Чэнь Ни, Бай Лан и других из состава Всекитайского комитета Ассоциации. В члены президиума Ассоциации были дополнительно избраны Сюй Гуан-пин и У Цзо-жэнь.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СЛЕТ ДЕЯТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ

Более 800 представителей печати, науки, литературы и искусства республики собрались в Пхеньяне, чтобы выразить протест против подавления свободы слова властями Ли Сын Мана, а также заявить о своей горячей поддержке борющихся за свободу деятелей печати Южной Кореи.

Председатель Центрального правления Союза корейских журналистов Хан Пир Хун выступил с докладом о современном положении печати в Южной Корее. После доклада начались прения.

Все выступавшие подчеркивали, что подлинная свобода слова будет возможна в Южной Корее только тогда, когда оттуда будут выведены американские войска и создано демократическое правительство. Они призвали всех деятелей печати и интеллигенцию Юга и Севера усилить взаимные контакты и культурный обмен, бороться за достижение национального объединения страны.

ПЛАН ВЫПУСКА КИНОКАРТИН В 1958 ГОДУ

Работники корейской киностудии прилагают все усилия к тому, чтобы выпускать еще больше кинофильмов. Они предполагают создать 13 художественных, 32 документальных и научных кинофильма, 72 выпуска кинохроники, а также 5 картин дублировать.

Работники киностудии закончили ко дню корейской Народной армии фильм «Бессмертие» по сценарию Син Дон Чера. В нем отображены мужество и патриотизм воинов Народной армии, героически отбивших так называемую «весеннюю кампанию» врага.

Начата работа над кинокомедией «Наш зять и наша сноха», сценарий которого написан Хон Гоном, Ли Тык Хоном и Ли Тя Еном, а также над фильмом «Критический момент» Чу Мина и Хан Сан Уна о борьбе со шпионажем. Производятся съемки кинофильмов «Сказание о девушке Симчен» и «Слышен звон», рассказывающих о творческом труде рабочих.

Кроме того, в этом году предполагается выпустить ряд кинофильмов об антияпонской борьбе корейского народа до освобождения и на тему социалистического строительства в городе и деревне.

МАЛАЙЯ

ЮБИЛЕЙ КИНОФИРМЫ

Малайская общественность отметила одиннадцатую годовщину кинокомпании «Мэлейен филм юнит» (МФЮ).

По сообщениям печати, начав с постановки четырех фильмов, «Мэлейен филм юнит» в настоящее время выпускает 60 картин в год. 37 фильмов малайского производства демонстрировались в 54 странах Запада и Востока. Ряд фильмов был удостоен премий на международных кинофестивалях.

Так, за период с 1954 по 1957 год из двенадцати основных премий за документальные фильмы, которые присуждались участникам четырех кинофестивалей стран Азии, восемь было вручено компании МФЮ. На фестивале 1955 года в Камбодже фильм «Малака прежде и теперь» был удостоен премии как лучший туристский фильм.

Газеты указывают на многогранность тематики художественных и научно-популярных кинофильмов, поставленных студиями МФЮ, но одновременно привлекают внимание к вопросу о технической отсталости малайской кинопромышленности.

НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ

Газета «Мэлей мейл» сообщает о проведении «Недели малайской культуры». В программе «Недели» — организация разнообразных представлений, а также цикл бесед по различным вопросам малайской культуры, в которых приняли участие ведущие малайские специалисты Т. Крисмас, Т. Хуссейн, Т. Ц. Мохамед и другие.

Как сообщает та же газета, целью «Недели культуры» был сбор средств для проведения конгресса малайской культуры.

МЕКСИКА

КОНГРЕСС РАБОТНИКОВ ТЕАТРА

В столице Мексики, городе Мехико, состоялся первый Панамериканский конгресс работников театра. В его работе приняли участие представители 11 стран американского континента: Аргентины, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Чили, Гватемалы, Гаити, Мексики, Перу, США и Бразилии.

На конгрессе обсуждались общие проблемы театрального искусства. В связи с необходимостью развития более тесных взаимоотношений между национальными театральными ассоциациями различных стран на конгрессе было принято решение образовать Панамериканский театральный институт. В его задачи входит организация взаимного обмена опытом, обмена актерами, режиссерами, техническими работниками и

целыми театральными труппами. Второй Панамериканский театральный конгресс состоится в будущем году в Гаване (Куба).

ОБЪЕДИНЕННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПОСЛЕ III КОНФЕРЕНЦИИ АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Важнейшим событием культурной жизни арабских стран в минувшем году явилась III конференция арабских писателей.

Печать арабских стран продолжает посвящать работе этой конференции обширные материалы.

Главный редактор журнала «Ар-Рисаля аль-Гедида» писатель Юсуф ас-Сибаи пишет в передовой статье: «Рекомендации, которыми закончилась конференция, не только правдиво резюмируют ее работу, но прежде всего выражают интересы литературной жизни в арабских странах за последнее время. Они отражают рост арабской культуры, которая будет развиваться и расцветать день ото дня».

Ас-Сибаи призывает писателей активно бороться за претворение в жизнь рекомендаций III конференции, в частности за создание Всеобщего союза арабских писателей, куда должны войти писатели всех арабских стран. Он призывает писателей включиться в подготовку IV конференции арабских писателей.

Журнал «Ар-Рисаля аль-Гедида» поместил интервью с сирийскими писателями — участниками конференции Шауки аль-Багдади, Ханна Миной и Аделем Абу Шанабом, а также с крупнейшими писателями Египта Махмудом Теймуром, Абд ар-Рахманом аш-Шаркави и Нагибом Махфузом, в которых они приветствуют идею создания Всеобщего союза арабских писателей и высказывают пожелания относительно характера деятельности этой организации.

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

По сообщениям печати, в Сирийском районе создан Союз арабских писателей, объединивший различные литературные группы.

Значительная часть членов союза — литературная молодежь. Входят в него и известные сирийские литераторы, такие, как Наззар Каббани, Ибрахим аль-Кайлани и другие.

РУМЫНИЯ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — СОВРЕМЕННОСТЬ

«Борьба за истину и борьба за социализм — синонимы. Вот первый аргумент, который доказывает, что искусство эпохи социализма, осваивая и ценя все художественное наследие человечества, не может не быть реалистическим искусством... Но это реализм особого рода, и поэтому мы его определяем, как реализм *социалистический*». Так писал журнал «Вяца ромыняскэ» в передовой статье, посвященной 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции и основным проблемам современной румынской литературы. Тот же журнал подчеркивал при этом, что социалистический реализм «предполагает наиболее глубокое и полное эстетическое выражение правды жизни, взятой в перспективе борьбы за победу социализма».

Проблемам социалистического реализма был посвящен расширенный пленум Комитета Союза писателей РНР. На пленуме с докладом «Проблема отражения действительности в современной литературе» выступил критик Пауль Джорд-

Сцена из трагедии Шекспира «Гамлет» в постановке передвижного Норвежского государственного театра.

(Журнал «Театр и фильм»).

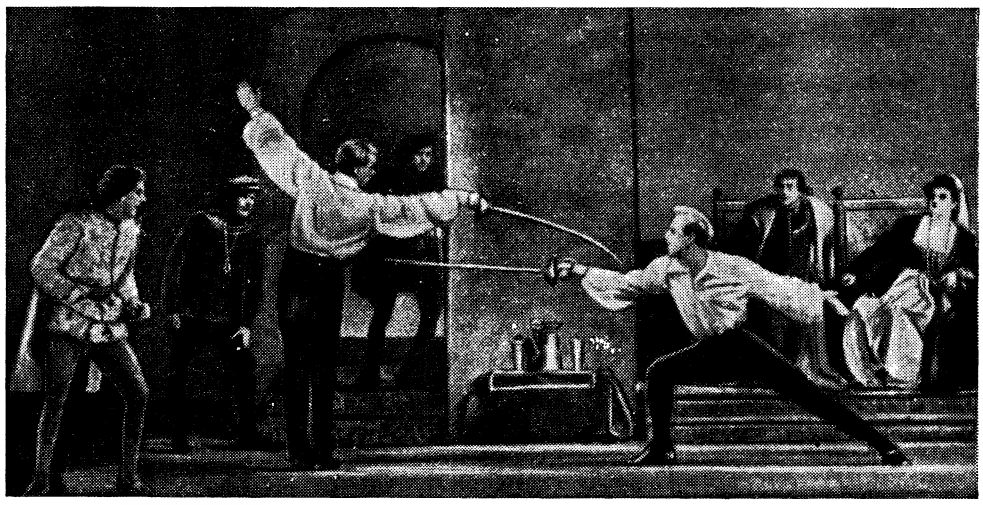


Рисунок польского художника Бронислава Линке «Бремя», *(Газета «Трибуна литерацка»).*

жеску. Докладчик отметил, что и произведения, написанные на историческую тематику, могут решать актуальные проблемы современности, но это вовсе не означает, что они должны решаться только таким образом. «Появление большого количества исторических романов в ущерб актуальной современной теме вызывает некоторую тревогу». «Какие причины мешают развитию литературы, посвященной непосредственной действительности?» — задает вопрос докладчик и отвечает: «Основную опасность представляет собой влияние буржуазной идеологии. Это практически выражается в недооценке наших достижений, бегстве от современной проблематики, мелкобуржуазном критицизме и негативизме, а в теоретическом плане — в ревизии ленинского принципа партийности литературы». Анализируя современное состояние румынской литературы, докладчик охарактеризовал как ее положительные, так и отрицательные стороны. Он заявил:

«Мы должны констатировать, что за последние годы написано мало произведений о коллективизации сельского хозяйства, о крупнейших народных стройках, о жизни рабочих, хотя число таких произведений должно было бы расти.

Существует крайне опасная тенденция в поэзии уходить в узколичную, окрашенную пессимизмом тематику, писать аполитичные, оторванные от действительности стихи»...

Отметив далее, что в румынской литературе имеется немало достижений, П. Джорджеску говорил о том, что за последние годы появились значительные произведения, посвященные недавнему прошлому, что эти книги вошли в сокровищницу классической румынской литературы и завоевали себе уважение также и за границей.

Напомнив, над чем работают сейчас румынские писатели, П. Джорджеску выразил надежду, что текущий год ознаменуется появлением новых значительных произведений о нашей эпохе. Подробно остановившись на проблеме положительного героя, докладчик призвал писателей создать образ героя современности, простого человека, который, «сознательно слив свою волю с волей коллектива, отдает все силы строительству новой жизни».

Писатели и критики, выступавшие в прениях, единодушно поддержали докладчика.

Газета «Скынтейя», центральный орган Румынской рабочей партии, комментируя итоги пленума, писала: «Нелегко открывать новое, нелегко успешно решать тяжелые и сложные задачи нашей противоречивой эпохи. Но писатель, вдохновляемый в своем творчестве духом партийности, руководимый принципами марксистско-ленинской эстетики, всегда найдет правильный и истинный путь.

Афиша Международного фестиваля театров кукол и марионеток, проходившего в Бухаресте в мае—июне с. г. *(Журнал «Румани д'ожурдюи»).*

Обсуждение проблемы современности в литературе на пленуме Комитета Союза писателей является исходным пунктом для более широкой и интенсивной идеологической и творческой работы, для обогащения и непрерывного качественного подъема литературы, вдохновляемой сегодняшним днем в жизни нашей родины и народа».

США

ГОЛЛИВУДСКАЯ «ДЕСЯТКА» ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Десять лет тому назад десять деятелей Голливуда — сценаристов, режиссеров и продюсеров были осуждены на различные сроки тюремного заключения за отказ отвечать на вопросы пресловутой Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности относительно их политических взглядов и принадлежности к прогрессивным организациям.

Как сложилась дальнейшая судьба голливудской «десятки»? Только один из них — Эдвард Дмитрик стал ренегатом, согласившись пойти на поклон Комиссии по расследованию, и — что уже не вызывает удивления — преуспевает в Голливуде... Во время следствия сценарист Сэмюэль Орнитц тяжело заболел и весь свой срок заключения пробыл в тюремной больнице; в 1957 году он умер. Альва Бесси и Джон Говард Лоусон пишут книги. Но, как известно, книги таких «сомнительных» авторов в США не пользуются успехом у издателей и не приносят хотя бы минимальное благополучие. Так, например, Альве Бесси приходится работать распорядителем сцены и конферансье в одном из ночных клубов, Лоусону — выступать с лекциями по городам страны. Другие члены «десятки» вынуждены зарабатывать на «черном рынке» Голливуда, на котором через подставных лиц продают кинобизнесменам свои произведения. В числе тех, кто продает свои сценарии на «черном рынке», Адриан Скотт, Герберт Биберман и Далтон Трамбо. Сообщая эти сведения, южноафриканская газета «Нью эйдж» пишет, что, как предполагают, именно Трамбо скрывается под псевдонимом Роберт Рич. В прошлом году Ричу была присуждена премия Академии киноискусства за сценарий фильма «Храбрец».

История эта весьма характерна для условий, в которых вынуждены жить и работать некоторые киноработники США. Вот как о ней писал не так давно голливудский корреспондент австралийской газеты «Трибюн», озаглавив свое сообщение: «Сага о том, как храбрый бык и неизвестный автор испугали робких магнатов гигантской промышленности». Приводим эту корреспонденцию почти полностью.

«Все началось с того,— читаем мы в заметке,— что из Мексики без обычной голливудской рекламы с полуобнаженными «полузвездами» в США прибыл трогательный фильм о дружбе маленького мальчика и быка. Назывался фильм просто: «Храбрец».

Прошло время, и «Храбрец» завоевал приз Академии киноискусства за лучший киносценарий — маленькую золотую статуэтку. И тут в идиллическое повествование о «Храбреце» врываются такие осложнения, которых Академия не знала за все 29 лет своего существования.

Дело в том, что г-н Роберт Рич, который должен был получить приз за сценарий «Храбреца», оказался подставным лицом. Ужас объял членов Академии: а вдруг подлинный автор.— один из десяти голливудских писателей из черного списка Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности?

Предприимчивый репортер журнала «Варайети» явился к одному из десяти — писателю Далтону Трамбо — и спросил напрямик:

— Вы Роберт Рич?

— Нет, черт возьми. Я Далтон Трамбо.

— А кто, по вашему мнению, Роберт Рич?

— Майкл Уилсон,— не задумываясь отвечал Трамбо (Майкл Уилсон — автор многих сценариев, в том числе сценария фильма «Соль земли»).

— А может быть, все-таки вы написали сценарий «Храбреца»?

— Мне приписывали столько фильмов, что я давно уже выработал привычку: если фильм более или менее хороший, я отвечаю, что не могу ни признать, ни отрицать своего авторства. У меня не хватит духа отрицать, что я написал «Храбреца», так как фильм слишком хорош. В нем нет ни убийств, ни наркоманов, ни соблазненных невинных девушек, ни выстрелов, ни извращений. Вообще я не понимаю, как он попал на экран.

Итак, золотую статуэтку Оскара за сценарий «Храбреца» пришлось пока спрятать в сейф.

Выступая незадолго до этого с интервью по телевидению и радио, Далтон Трамбо сказал, что, несмотря на черный список, куда, кроме голливудской «десятки», входят и другие писатели, попавшие в немилость Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, студии покупают их сценарии на «черном рынке». Более того, заявил Трамбо, за последние 10 лет многие из этих сценариев выдвигались на соискание премии Академии киноискусства. Трамбо не назвал эти сценарии».

Таким образом, подавляющее большинство голливудской «десятки» остались верны себе и не стали на путь измены своим убеждениям. Наряду с ними многие другие прогрессивные киноработники вынуждены скрываться под псевдонимами или вообще уйти из кино. Это еще раз подтверждает, что фастов и дмитриков в США не так уж много.

ТУРЦИЯ

НОВЫЙ СБОРНИК РАССКАЗОВ О НАСРЕДДИНЕ ХОДЖЕ

Турецкое издательство «Едитепе» выпустило в свет сборник, в который вошло 252 рассказа о Насреддине Ходже.

Насреддин Ходжа — любимый герой многих народов Востока, в том числе и Турции. Рассказы о нем исполнены житейской мудрости и народного юмора, хотя немало времени прошло с тех пор, как они были написаны. Сама личность этого популярного героя вызывает много споров, ибо до сего времени не установлено, существовал ли он на самом деле или является плодом народного творчества.

Однако, как пишет в предисловии к сборнику его составитель известный турецкий фольклорист Эфлятун Джем Гюней, ныне никто не отрицает того факта, что Насреддин Ходжа занял достойное место в мировой юмористической литературе. Переводы рассказов о нем изданы на 72 языках мира.

В рецензии на новый сборник, помещенной в газете «Едитепе», отмечается хорошая литературная обработка рассказов. В них сохранен живой народный язык, богатый меткими выражениями, пословицами.

КНИГА О КЯТИБЕ ЧЕЛЕБИ

В связи с 300-летием со дня смерти выдающегося историка и географа Кятиба Челеби вышла в свет книга, посвященная его жизни и деятельности, как сообщает газета «Терджюман».

Этот замечательный ученый, пишет газета, был незаслуженно забыт потомством, и нынешнее поколение мало что знает о его трудах. А между тем, Кятиб Челеби посвятил свою жизнь борьбе против фанатизма и косности, за правду в науке, что в его время считалось тяжким грехом.

ФРАНЦИЯ

ПРЕМИЯ ПЕРЕВОДЧИКУ

Общество французских поэтов присудило профессору французской литературы Палермского университета Гульельмо Ло Курцио премию в 200 тысяч франков за переводы на итальянский язык Вийона, Мопассана, Бомарше, Бодлера и других французских авторов. Эта премия присуждается каждый год попеременно французским и итальянским переводчикам.

ПРОСПЕР МЕРИМЕ ПОД ЗАПРЕТОМ

Недавно режиссер Джон Берри снял фильм по новелле Мериме «Таманго». Новая картина вышла на экраны Франции, но власти запретили демонстрировать ее в «Черной Африке» и Алжире. По-видимому, в правительственных кругах опасаются, что «многие алжирцы узнают себя в Таманго и его товарищах по цепям»,— пишет «Юманите». В связи с этой мерой цензуры ряд деятелей кино обратился с протестом в цензурное управление.

Мадлен Аллейн (автор романа «Зеленые манговые деревья») выступила в «Леттр франсез» со статьей, озаглавленной «Являемся ли мы наследниками французской революции?». Напомнив, что Франция была первой страной, запретившей рабство, писательница упрекает правительство в том, что оно боится фильмов, направленных против угнетения и колониального порабощения. «Власти боятся,—

Режиссер Мишель Витольд поставил в парижском «Театр д'ожурдюи» первую пьесу журналиста Луи Сапена «Папа добрый боженька», описывающую нравы небольшого городка, большинство населения которого — негры. В этой комедии играют актеры-негры, в большинстве своем любители. В главной роли выступает знакомый нашему читателю писатель Фердинанд Ойоно, чью повесть «Старый негр и медаль» мы напечатали в № 12 за 1957 год.
На снимке: Ф. Ойоно в пьесе «Папа добрый боженька».
(Еженедельник «Леттр франсез»).

Кадр из нового совместного франко-итальянского фильма режиссера Кристиан-Жака «Закон есть закон». В главных ролях — комические актеры Фернандель и Тото.
(Журнал «Чинема нуово»).

продолжает Мадлен Алейн,— того, что фильм наведет зависимые народы на размышления. Неужели любой намек на тему о рабстве кажется нам атакой на колониальный режим? Или мы уверены, что нас ненавидят, и не можем перенести на экране вида негров, нападающих на белых, которые эксплуатируют, угнетают, убивают их?.. Неужели мы захотим отрицать всякое стремление к свободе у народов, находящихся под нашей властью?»

Постановщик «Таманго» — Берри рассказывает в «Леттр франсез» о нетерпении, с которым в Африке ждут фильма. Один из его создателей так отозвался о произволе французских властей: «Фильм говорит о рабстве — его запрещают... Может быть, это сделано ради того, чтобы не смущать американцев... Когда смотришь этот фильм, вспоминаются негры, живущие на Миссисипи».

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ МОРИСА РАВЕЛЯ

Общественность Франции широко отметила двадцатую годовщину со дня смерти Мориса Равеля. В Парижском театре оперы состоялся торжественный концерт, организованный Обществом Мориса Равеля, руководимым известной пианисткой Маргаритой Лонг. В концерте были исполнены произведения Мориса Равеля, отражающие основные жанры его творчества: «Испанская рапсодия» и «Шехеразада» для симфонического оркестра, фортепианный Концерт для левой руки, хореографическая поэма «Вальс» и опера «Испанский час».

«Леттр франсез» сообщает своим читателям, что в юбилейные дни миланский театр «Ла Скала» также поставил «Испанский час» с участием французских певцов.

В Брюсселе напечатана монография бельгийского музыковеда Ван Акера о творчестве Равеля, подробно анализирующая художественный стиль композитора.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРОЩАНИЕ С МАРИЕЙ ПУЙМАНОВОЙ

В течение последних месяцев литература Чехословакии понесла большие потери: ушли Петр Безруч, Витезслав Незвал, а недавно скончалась Мария Пуйманова — талантливая писательница, пламенная патриотка, верная дочь Коммунистической партии, искренний друг Советского Союза.

«Мария Пуйманова...— подчеркивается в траурном извещении Союза чехословацких писателей,— была одним из величайших представителей нашей современной литературы, яркой личностью в нашей и мировой социалистической культуре... одним из пионеров социалистического реализма в чешской литературе».

На страницах чехословацкой печати появились полные тепла и грусти прощальные стихи Ярмилы Урбанковой, Франтишека Бранислава. Критик Ф. Буриánek выступил с очерком жизни и творчества Марии Пуймановой, ее прозы и поэзии, отмечая ее ясный ум, горячие чувства и сознание общественного долга. О том, как всем будет не хватать этого благородного человека, пишет поэт В. Завада. Писатель В. Каня вспоминает свою первую встречу с Пуймановой во время стачки в городе Мосте, куда она еще совсем юной приезжала по предложению Юлиуса Фучика.

С прощальными словами любви, грусти и благодарности к Марии Пуймановой обратились не только поэты и писатели Чехословакии. С болью пишут о большой утрате Георгий Караславов из Болгарии, Рышард Матушевский из Польши. Союз писателей Китая скорбит по поводу кончины поэтессы, написавшей после посещения Китая сборник стихов, проникнутых искренней любовью к китайскому народу. От имени немецких писателей говорит о тяжелой потере Макс Циммеринг. В чехословацких газетах опубликованы телеграммы советских писателей, лично знавших М. Пуйманову, в том числе Леонида Леонова и Мариэтты Шагинян.

Пресса многих стран поместила статьи, посвященные памяти Марии Пуймановой.

В прощальной речи на похоронах Марии Пуймановой министр культуры Чехословакии Ф. Кагуда напомнил слова поэта Иржи Волькера: «Рабочий смертен, но труд его живет».

«ПО СЛЕДАМ СТРАХА»

Так назвал свое новое произведение чешский писатель Турек Сватоплук, известный советским читателям по романам «Ботостройка» и «Без шефа».

Повесть посвящена венгерским событиям осени 1956 года. В беседе с корреспондентом журнала «Кветы» автор определил свое произведение как «повесть о верности и измене». Т. Сватоплук подчеркнул, что большую помощь в создании новой повести ему оказало то, что он был свидетелем февральского заговора чехословацкой буржуазии в 1948 году. «Февральские события,— говорит он,—помогли мне в раскрытии характеров и настроений при работе над моим новым произведением «По следам страха», написанным о венгерских событиях. Хотя оба эти события, на первый взгляд, далеки друг от друга, речь идет об одном — о подрывных действиях и заговорах империалистических сил против социализма, против мира».

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

Два фильма привлекли за последнее время внимание зрителя в Чехословакии. Один из них — экранизация получившего в 1954 году Государственную премию романа Карела Птачника «Год рождения 1921». Это взволнованный рассказ о чешских юношах, увезенных

фашистами в порядке «тотальной мобилизации» в Германию. (См. рецензию на этот роман в «Иностранной литературе» № 2, 1955 г.).

Постановка была осуществлена совместно чехословацкими и немецкими киноработниками. «В результате этого сотрудничества,— пишет «Руде право»,—был снят политически острый и художественно убедительный фильм. Чешские актеры создали глубокие, индивидуализированные образы чешских юношей, а актеры Германской Демократической Республики сумели правдиво воплотить в жизнь как образы фанатиков-фашистов и их мелкобуржуазных прихлебателей, так и честных немцев — участников подпольного движения Сопротивления».

Второй фильм, поставленный словацким кинорежиссером Пальо Биеликом, называется «Сорок четыре». Это история вспыхнувшего в мае 1918 года восстания в Крагуеваце, где был размещен 71-й пехотный полк австро-венгерской армии, состоявший главным образом из вернувшихся из России бывших военнопленных — чехов и словаков.

Несмотря на несколько растянутую экспозицию первой части фильма, пишет «Руде право», «нам редко приходилось видеть кадры, обладающие такой идейной и эмоциональной насыщенностью и художественной выразительностью».

«Портрет шахтера-подрывника» работы чехословацкого художника Яна Ржиги. *(Газета «Руде право»).*

9 мая текущего года этот фильм был удостоен Государственной премии имени Клемента Готвальда.

Кадр из нового словацкого фильма «Сорок четыре». *(Газета «Культурен живот»).*

ЧИЛИ

ТВОРЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ

Чилийский еженедельник «Вистасо» сообщает о состоявшейся в Консепсьоне конференции писателей, организованной университетом этого города. В конференции приняли участие писатели, поэты, драматурги и литературоведы Чили. Присутствовали на ней и преподаватели литературы Аргентины, Мексики, Бразилии, а также Канады, Франции, Испании и США.

О том, как много ждали от этой встречи писатели, сказал В. Тейтельбойм, автор известных романов «Сын селитры» и «Семя в песке»: «Если результаты встречи будут отвечать возлагаемым на нее надеждам, она положит начало хорошей традиции, которая может служить примером для других латиноамериканских стран. Она будет способствовать сплочению чилийских писателей, которые до сих пор в большей или меньшей степени всегда выступали разрозненно».

На конференции был заслушан ряд выступлений, среди которых заслуживают упоминания доклад писателя Никомедеса Гусмана «За развитие чилийского романа и рассказа и их гуманистических традиций», выступления поэта Никанора Парры «Креолизм в чилийской поэзии» и писателя В. Тейтельбойма «Чилийский роман и действительность». Драматург Фернандо Дебеса подчеркнул в своем выступлении значение образа национального героя для развития чилийской драматургии.

Жаркая дискуссия развернулась вокруг проблемы социальной направленности в литературе. Сторонники «чистого искусства» получили решительный отпор не только от писателей, но и от присутствовавших на заседаниях конференции представителей широких кругов читателей.

Молодой поэт Эфраин Баркеро, лауреат Муниципальной премии по литературе за 1957 год, сказал: «Любое поэтическое произведение непременно должно иметь социальное звучание». Образно сказал об этом чилийский писатель Карлос Леон: «Если святые, политические деятели и генера-

лы имеют своих биографов, то почему бы и простому люду не иметь их».

Интерес, проявленный широкими кругами чилийской общественности, к конференции был настолько велик, что сообщения о ходе ее на время вытеснили со страниц многих газет даже полицейские и спортивные новости.

В результате всестороннего обмена мнениями по вопросам писательского мастерства и современного состояния чилийской литературы были намечены меры дальнейшего развития национальной культуры.

Конференция единодушно приняла предложение о том, чтобы подобные встречи проводились ежегодно. Был утвержден проект создания на базе Консепсьонского университета Издательства чилийских писателей, главнейшей задачей которого должна быть помощь национальным авторам, в первую очередь молодым. Большое значение имеет решение конференции о проведении писательских семинаров. На этих семинарах маститые писатели поделятся творческим опытом с начинающими авторами.

По убеждению чилийских литераторов, конференция писателей является важным шагом к подготовке и созыву в недалеком будущем Национального конгресса писателей Чили.

В ЗАЩИТУ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В латиноамериканских странах ширится движение за укрепление и развитие взаимных культурных связей.

Как сообщает чилийский еженедельник «Вистасо», группа аргентинских поэтов в феврале этого года побывала в Сант-Яго и договорилась со своими чилийскими коллегами о проведении в сентябре 1958 года в Буэнос-Айресе «Встречи молодых латиноамериканских поэтов».

Ассоциации аргентинских и чилийских писателей высказались в поддержку этой инициативы. Кроме двух упомянутых стран, принять участие во «Встрече» уже изъявили желание молодые поэты Бразилии, Мексики, Уругвая, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора.

Приветствуя это важное в культурной жизни Латинской Америки событие, «Вистасо» указывает, что «Встреча молодых латиноамериканских поэтов» в Буэнос-Айресе «будет одним из тех цветов, семена которых брошены пять лет назад участниками Конгресса культуры».

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ

«В СУДЕБНОЙ КЛЕТКЕ»

Лондонская газета «Дейли уоркер» сообщает о выходе книги, посвященной одной из самых чудовищ-

Георг Рюдеберг и Гюнн Воллгрэн в ролях Иванова и Саши («Иванов» А. П. Чехова в постановке стокгольмского театра «Драматен»).
(Журнал «Урд о билд»).

ных судебных инсценировок нашего времени — процессу 156 прогрессивных деятелей Южно-Африканского Союза, выступивших против насаждаемого правительством «апартеида» (расовой дискриминации) и обвиненных за это в... измене родине.

Автор книги—бывший редактор южно-африканского журнала «Драм» Энтони Сэмпсон. Названа книга «В судебной клетке», так как в течение первых шести месяцев процесса обвиняемые помещались в зале суда в особой клетке, сделанной из проволочной решетки.

Организаторы этой судебной провокации против прогрессивных сил страны подготовили бумажные горы «документов», а также ворох «улик» и «вещественных доказательств». Автор рассказывает, что защита буквально потонула в дебрях двенадцати тысяч «документов» (!), которые требовалось изучить, и восьми тысяч страниц свидетельских показаний, насчитывающих три миллиона слов. Рецензент Джэк Уоддис приводит образчики тех «документов», которые фигурировали на суде в качестве «разоблачительных». Один из них — это поваренная книга с поистине устрашающим названием «Русские рецепты приготовления еды»... Одна из деклараций ООН тоже была представлена как подрывной документ.

Характерно, что в ходе процесса 61 человек были освобождены за полным отсутствием каких-либо инкриминирующих материалов. 95 человек продолжают еще оставаться под судом, и, как полагает автор статьи в «Дейли уоркер», процесс может затянуться на весь 1958 год.

Оценивая политическое и моральное значение книги Сэмпсона, Джэк Уоддис пишет, что автору удалось показать рост влияния Африканского Национального Конгресса, «показать биение сердца демократического движения в Южно-Африканском Союзе».

«Единство и мужество, проявленные арестованными,—подчеркивает Уоддис,—

могли спорить лишь с единством и растущей боеспособностью народных масс. Таким образом, те надежды, что южно-африканское правительство связывало с процессом, явно рухнули».

ЯПОНИЯ

ТРУД ПО ИСТОРИИ ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вышла в свет книга «Пятьдесят лет литературы», принадлежащая перу крупного японского литературоведа, председателя Ассоциации деятелей литературы и искусства (Бунгэйка кёкай) и члена Академии изящных искусств Аоно Суэкити, который возглавлял группу японских литераторов, посетивших в мае этого года Советский Союз.

Как сообщает журнал «Сюппан ньюс», Аоно начинает свою книгу с воспоминания о том, что еще юношей, пятьдесят лет назад, прочитав один из романов Тургенева в переводе Фтабатэя, он пришел к выводу, что литература является его призванием. Тургенев был тем, кто указал Аоно путь в жизни.

В книге Аоно, указывает рецензент, дается широкая картина литературной жизни Японии последних пятидесяти лет. Это чрезвычайно важный период — становление и развитие современной японской литературы.

Аоно Суэкити, говорится в рецензии, активный участник движения пролетарской литературы, собравшего под свои знамена прогрессивную, боевую часть японских писателей. Именно благодаря своему участию в этом движении Аоно наиболее подробно останавливается на нем, но это не мешает ему достаточно полно рассказать и о других интересных явлениях, происходивших в японской литературе.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Лю Бай-юй — 劉白羽 (род. в 1915 г.) — известный китайский писатель, секретарь Правления Союза китайских писателей, автор повести «Заря впереди».

В № 9 «Иностранной литературы» за 1957 г. была опубликована статья Лю Бай-юя «Холодное течение правых элементов в литературе».

Константы Ильдефонс Галчинский — Konstanty Ildefons Gałczyński (1905—1953) — видный польский поэт. Перу Галчинского принадлежат произведения: «Лирика» ("Liryka", 1954), «Сатира, гротеск, лирическая шутка» ("Satyra, groteska, żart liryczny", 1955), «Стихи» ("Wiersze", 1956), «Стихи для детей» ("Wiersze dla dzieci", 1957).

Публикуемые стихи взяты из II книги пятитомного собрания сочинений К. Галчинского, выходящего в Польше.

Комптон Маккензи — Compton Mackenzie (род. в 1883 г.) — один из старейших английских писателей, активный участник движения сторонников мира. Перу Комптона Маккензи принадлежат несколько десятков книг — романы, сборники рассказов, пьесы. Наиболее известны романы «Ступени алтаря» ("The Altar Steps", 1922), «Виски вволю» ("Whisky Galore", 1947), «Тонкий лед» ("Thin Ice", 1955) и др.

Роман «Ракетная горячка» ("Rocket Galore") был опубликован в 1957 году.

Тойн де Фрис — Theun de Vries (род. в 1907 г.) — известный голландский писатель, автор многочисленных романов, рассказов, статей.

В журнале «Иностранная литература» публиковались выступления Тойн де Фриса по вопросам литературы и искусства (см. № 11 за 1957 г., № 2 за 1958 г.).

Публикуемый рассказ прислан редакции в рукописи.

Ханс Сельмер Эд — Hans Selmer Edh (род. в 1925 г.) — норвежский писатель, автор трилогии «Странники», «Пусть дорога ведет дальше», «Вопреки».

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

Пабло Неруда — Pablo Neruda (род. в 1904 г.) — крупнейший поэт Чили, видный общественный деятель, автор сборника стихов «Испания в сердце» ("España en el corazón", 1938), поэмы «Всеобщая песнь» ("El canto general", 1950), «Оды простым вещам» ("Odas a las cosas elementales", 1955). Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, Н. И. Родионов** (зам. главного редактора), **В. П. Терешкин, М. А. Шолохов, С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефоны: В 3-51-47; В 1-15-08.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. Ф. Марков.*

А 05236. Сдано в производство 14/IV 1958 г. Подписано к печати 18/VI 1958 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 8,0 бум. л. + 1 вкл. П. л. 24,66 + 1 вкл. Зак. 817

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 8 руб.